



Грамматика порядка

*Историческая социология
понятий, которые меняют
нашу реальность*

Александр Бикбов

С Е Р И Я

С О Ц И А Л Ь Н А Я

Т Е О Р И Я

В Ы С Ш А Я

Ш К О Л А

Э К О Н О М И К И

С Е Р И Я

С О Ц И А Л Ь Н А Я

Т Е О Р И Я

ГРАММАТИКА ПОРЯДКА

*Историческая
социология понятий,
которые меняют
нашу реальность*

АЛЕКСАНДР БИКБОВ



Издательский дом
Высшей школы экономики
МОСКВА, 2014

УДК 316.3
ББК 60.5
Б60

Составитель серии
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Дизайн серии
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Рецензент
кандидат социологических наук,
доцент кафедры общей социологии НИУ ВШЭ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ

Бикбов, А. Т.

Б60 Грамматика порядка: Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность [Текст] / А. Т. Бикбов; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. — 432 с. — (Социальная теория). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-1001-8 (в пер.).

Книга социолога Александра Бикбова — это результат многолетнего изучения автором российского и советского общества, а также фундаментальное введение в историческую социологию понятий. Анализ масштабных социальных изменений соединяется здесь с детальным исследованием связей между понятиями из публичного словаря разных периодов. Автор проясняет устройство российского общества последних 20 лет, социальные взаимодействия и борьбу, которые разворачиваются вокруг понятий «средний класс», «демократия», «российская наука», «русская нация». Читатель также получает возможность ознакомиться с революционным научным подходом к изучению советского периода, воссоздающим неочевидные обстоятельства социальной и политической истории понятий «научно-технический прогресс», «всесторонне развитая личность», «социалистический гуманизм», «социальная проблема». Редкое в российских исследованиях внимание уделено роли академической экспертизы в придании смысла политическому режиму.

Исследование охватывает время от эпохи общественного подъема последней трети XIX в. до митингов протеста, начавшихся в 2011 г. Раскрытие сходств и различий в российской и европейской (прежде всего французской) социальной истории придает исследованию особую иллюстративность и глубину. Книгу отличают теоретическая новизна, нетривиальные исследовательские приемы, ясность изложения и блестящая систематизация автором обширного фактического материала. Она встретит несомненный интерес у социологов и историков России и СССР, социальных лингвистов, философов, студентов и аспирантов, изучающих российское общество, а также у широкого круга образованных и критически мыслящих читателей.

УДК 316.3
ББК 60.5

В оформлении обложки использован фрагмент картины Giuseppe Pellizza da Volpedo. Quarto Stato, 1901.

ISBN 978-5-7598-1001-8

© Бикбов А.Т., 2014
© Оформление. Издательский дом
Высшей школы экономики, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. МЕТОД ИСТОРИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ ПОНЯТИЙ	9
Понятие и его смысл	11
Работа с материалом: деления и приемы	26

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ГЕНЕАЛОГИЯ НОВОГО ПОРЯДКА

I. СТРУКТУРА ПРОЕКТА: «СРЕДНИЙ КЛАСС» ДЛЯ «ДЕМОКРАТИИ»	43
Русский XIX век: географическая граница как смысловая	47
Политическая предыстория «среднего класса»: собственность и умеренность	56
Интернационализация «среднего класса»: от стабильности до платежеспособности	69
II. РОССИЙСКИЙ «СРЕДНИЙ КЛАСС»: ЭНЕРГИЯ РАЗРЫВА И РАССЕИВАНИЯ	81
На периферии новой понятийной сетки (начало 1990-х годов)	83
Средние-буржуазные: политический поворот и советский стигмат (1950–1960-е годы)	100
Третья производительная сила «бесклассового общества» (1970–1980-е годы)	115
Нормализация «среднего класса» (1990–2000-е годы)	124
«Средний класс» в медийном и в уличном пространстве (2011–2012 гг.)	144
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: «ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ» И ВНИМАНИЕ К РАЗЛИЧИЯМ	163

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ СОВЕТСКИХ ПОНЯТИЙ

III. ФУНКЦИЯ «ГУМАНИЗМА» В ОФИЦИАЛЬНОЙ СОВЕТСКОЙ РИТОРИКЕ	173
«Социалистический гуманизм»: функциональная константа и ее контекст	175

Смысловые и силовые сдвиги: модель анализа.....	182
От теорий тоталитаризма — к анализу риторических схем и баланса сил	191
IV. БУРЖУАЗНАЯ «ЛИЧНОСТЬ»	
В ГОСУДАРСТВЕ «ЗРЕЛОГО СОЦИАЛИЗМА».....	195
Понятие в символическом и социальном порядке	197
«Личность» как функция «потребления».....	202
Официальные классификации: от «масс» — к «личности»	212
Новые социальные дисциплины: между «коллективом» и «личностью»	217
Философские импликации: автономная «личность».....	224
Освобождение «личности» — как политический компромисс.....	231
V. РОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА	
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА»	238
Научное управление обществом.....	240
Рождение ведомства из задач усовершенствования техники.....	247
«Академизация» Гостехники и циклы реформ	249
Цивилизационный сдвиг: от «науки на службе практики» — к «научно-техническому прогрессу»	256
VI. «НАУКА» БЕЗ «ПРОГРЕССА»:	
ПОСЛЕСОВЕТСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ ПОНЯТИЯ	263
От «прогресса» к «потенциалу», или в направлении международного рынка	263
1991: «разрушение» или «создание»?	272
Становление «вневедомственной экспертизы»: техническое как политическое	277
Революция технических классификаций: собственность и статистика	286
Инфляция понятий: сильная «наука», слабые «ученые».....	294
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ОТ ИСТОРИИ ПОНЯТИЙ —	
К ПОНИМАНИЮ ИСТОРИИ.....	300

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. КРИТИЧЕСКАЯ (САМО) ОБЪЕКТИВАЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ

VII. РОССИЙСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ГЕНЕЗИС ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОСНОВАНИЙ		308
Институты, универсалии и здравый смысл: методологическое введение		308
Принципы мышления и генезис социологических институтов		313
Общность политических координат и поворотные точки		322
Правила метода и «социальная проблема»		325
Образцовые классификации и образцовые карьеры		334
Immobilis in mobile		343
VIII. НЕКОЛЛЕГИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА: ЭСКИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МИКРОИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ		349
Хронология и география анализа		354
Социология как политический выбор <i>Belle Époque</i> : республиканцы <i>versus</i> антимонархисты		357
Основополагающий критерий: коллегиальное самоуправление <i>versus</i> начальственное управление дисциплиной		361
Гений места: рождение советской социологии из духа руководства		376
Двойная карьера и понятийные компромиссы		384
Дисциплинируя социологию заново: институциональные пределы обновления понятий		393
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ: ПОДВОДЯ ИТОГИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ДЕРЕГУЛЯЦИИ		408
Является ли язык первой инстанцией расизма?		410
Институционализированный расизм Академии: гипотеза дерегуляции		414
Дерегуляция обменов, концентрация власти: «естественность» расизма		418
Императив саморегуляции: изгнание расистов из Академии		426

Введение.

Метод исторической социологии понятий

Настало время прояснить понятия. Означающие их слова ясны или кажутся таковыми. Проблема заключается не в семантике, а в центрах силы, отношения между которыми имеют учредительный характер для нашего языка, как и для самой реальности. Со времен просветителей известно, что институты — это материализованные понятия. Но верно и обратное. Эмиль Дюркгейм с Марселем Моссом, Эмиль Бенвенист, Райнхарт Козеллек, Джордж Лакофф и другие исследователи различными способами продемонстрировали, что понятия — это социальные институты¹. Данная интуиция столь же продуктивна в интеллектуальном отношении, сколь опасна в политическом. Господствующий сегодня исторический и политический оппортунизм, подкрепленный скоростью социальных изменений, часто склоняет нас видеть в понятиях *просто* слова: они имеют смысл, но мы используем их так, словно те избавлены от принудительной силы факта. Как следствие, из публичной речи, будь она политической или академической, непрерывно ускользает реальность, которой понятия придают форму и окончательность. Между тем язык, компрометирующий понятия, — это прежде всего язык без истории, которая, как повторял Пьер Бурдьё, и есть подлинное коллективное бессознательное.

Подобное положение дел вовсе не означает, будто наш язык предельно свободен для рефлексии о настоящем. Напротив, от-

¹ Эмиль Бенвенист выносит эту интуицию в заглавие самого известного своего исследования, словаря индоевропейских институтов, предлагая рассматривать отношения между понятиями как слепок исторических отношений между центрами силы и как проект последующего равновесия между этими центрами. В русском издании словаря «институты» переводятся как «термины». Редактор издания оправдывает это языковым здравым смыслом начала 1990-х годов и неограниченностью предметной области анализа: Степанов Ю. «Слова», «понятия», «вещи». К новому синтезу в науке и культуре // Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов / пер. с фр. под ред. Ю.С. Степанова. М.: Прогресс-Универс, 1995. С. 5.

казываясь иметь дело со своей исторической определенностью, он погрязает в прошлом, реальном или воображаемом, не способный совладать с силой факта. Реактуализация истории-бессознательного в зоне рефлексивной работы с настоящим может сопровождаться сегодня такими усилиями и рисками, которые делают успех предприятия маловероятным. При этом публичное использование понятий редко обходит стороной «большую» событийную историю в ее традиционном и зачастую мифологизированном изложении. Подобных аллюзий как раз достаточно, а порой и больше необходимого. Наша публичная речь крайне не-рефлексивна в первую очередь в отношении исхода даже недавних социальных столкновений, которые определяют победителей и проигравших на годы вперед, — тех, что создают социальный порядок в собственном смысле слова. Погруженные в пространство актуальной публичной речи, мы живем в иллюзорном мире открытого настоящего и любых возможных исходов. Тогда как в понятиях, которыми мы пользуемся как *просто* словами, нередко уже содержится эскиз нашего будущего, а отчасти — и указание мест, которые нам в нем определены.

То, что «мертвые хватают живых», — лишь одна и давняя проблема. Другая состоит в том, как мы этого не замечаем. Внимание к понятиям оправданно не только ради ретроспективной регистрации их роли в настоящем и освобождения от груза прошлого. Не менее важна их проективная потенция, т.е. способность понятий создавать будущее, доопределяя реальность в форме институтов. На обширном материале европейской истории Козеллек с коллегами показывает, что использование слов как понятий самым радикальным образом меняет будущее и само переживание времени. Этот кардинальный политический факт имеет следствия для реальности, как и для методологии ее исследования. В своем пределе исследование понятий совпадает с раскодированием генезиса реальности. Его ожидаемый результат — вскрытие той разметки, которая, выражаясь ученым языком XIX в., нечувствительно присутствует в реальности, встроенная в ее восприятие и оценку ее потенций, и сообщает элементам реальности смысл и ценность. Исследование позволяет отслоить от реальности понятийную сетку, ключевые элементы которой сформированы когда-то ранее, вероятно, с другими целями и, очевидно, в иных социальных условиях. Прошрое, запечатленное в узлах и ячейках этой сетки, не диктует нам вос-

приятия актуальности с неизбежностью приговора. Ее элементы прагматически переприсваиваются и калибруются вслед за смещениями и разрывами в силовых полях, которые мы и склонны отождествлять с «самой реальностью». Однако история обнаруживает себя не только в прямом диктате неотменимых условий: ранее установленных границ, групп родства и бесспорных очевидностей. Исторически определенные формы опосредуют любой разрыв, который создает следующую, прежде немислимую разметку реальности, т.е., в конечном счете, саму известную и понятную нам реальность. Значит, исследование понятий — это прояснение и *подготовка условий* такого разрыва.

ПОНЯТИЕ И ЕГО СМЫСЛ

Понятийные структуры, подвергнутые историко-социальному анализу, в отличие от экономических показателей и даже политической догматики, способны дать более точное понимание специфики политического и социального режима послесоветской России и СССР, как и познавательных возможностей и профессиональной организации социальных наук в СССР и после. Чтобы приблизиться к такому пониманию, необходим метод, для начала позволяющий выделить понятия, в которых порядок обнаруживает себя в наиболее ясной и действенной форме, — т.е. ключевые социальные и политические категории. Вслед за этим такой метод должен обеспечить устойчивые результаты при фиксации смысла понятий, не испытывающего критической зависимости от произвола исследователя и при том не сводящегося к разновидности энциклопедической статьи. Наконец, метод должен раскрывать произвольное отношение между двумя типами социальных структур: понятийными и теми, что не могут воспроизводиться вне языка, но к языку не сводятся, — т.е. между смысловым и силовым измерениями социальной практики.

Таким образом, социальному исследованию понятий предпосланы три кардинальных методологических вопроса: 1) Что такое понятие и какие понятия следует избрать предметом исследования? 2) Как определять смыслы понятия и фиксировать их в систематической форме? 3) Как возвращать понятие в реальность, т.е. проследивать его действие на непонятийные социальные структуры?

Два первых вопроса давно и активно обсуждаются разработчиками конкурирующих версий истории понятий и истории идей². Ответы на них представлены у исследователей, обращавшихся к социальному действию языка и производящему характеру понятий: от Райнхарта Козеллека и Квентина Скиннера, вместе с коллегами и последователями работающих с периодами большой длительности, через Ролана Барта и Джорджа Лакоффа, сосредоточившихся на актуальности социального порядка, к исследователям, которые, как и российские авторы нескольких сборников, с начала 2000-х годов дополнили историю понятий изучением периодов средней длительности³. Однако не все эти ответы достаточно эксплицитны и не все они удовлетворяют задачам исторической социологии. Кроме того, третий вопрос, хотя декларативно озвучивается в рамках той же истории понятий, не может быть в действительности решен без об-

См., например, чрезвычайно содержательный и иллюстративный в этом отношении сборник: *The Meaning of Historical Terms and Concepts. New Studies on Begriffsgeschichte* / ed. by H. Lehmann, M. Richter. Washington (DC): German Historical Institute, 1996.

³ К настоящему времени на русском языке имеется несколько обзоров, которые с разной степенью детальности представляют существующие подходы: *Копосов Н.Е.* История понятий вчера и сегодня // *Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XX века. Вып. 5.* СПб.: Алетей, 2006; *Буссе Д.* История понятий — история дискурса — лингвистическая эпистемология // *Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге* / под ред. Н.С. Плотникова, А. Хаардта, при участии В.И. Молчанова. М.: Модест Колеров, 2007; *Плотников Н.* Язык русской философской традиции: «история понятий» как форма исторической и философской рефлексии // *Новое литературное обозрение. 2010. № 102*; *Бедекер Х.Э.* Отражение исторической семантики в исторической культурологии // *История понятий, история дискурса, история метафор* / под ред. Х.Э. Бедекера. М.: Новое литературное обозрение, 2010; *Миллер А., Сдвижков Д., Ширле И.* Предисловие // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода: в 2 т. / под ред. А. Миллера, Д. Сдвижкова, И. Ширле. М.: Новое литературное обозрение, 2012. Т. 1. Исследования на российском материале представлены в сборниках: *Понятие государства в четырех языках* / под ред. О. Хархордина. СПб.: Издательство Европейского университета; Летний сад, 2002; *Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XX века. Вып. 5.* СПб.: Алетей, 2006; *Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге* / под ред. Н.С. Плотникова, А. Хаардта, при участии В.И. Молчанова. М.: Модест Колеров, 2007; «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода: в 2 т. / под ред. А. Миллера, Д. Сдвижкова, И. Ширле. Т. 1. М.: Новое литературное обозрение, 2012; а также в отдельных статьях, опубликованных вне тематических сборников.

ращения к исследовательскому арсеналу социологии. Поэтому здесь я обозначу собственные методологические предпосылки исследования, которое представлено в данной книге. Это не будет исчерпывающим изложением метода. Не желая разбивать текст книги на теоретические и исторические главы, я буду возвращаться к отдельным предпосылкам и допущениям по мере работы с материалом, тем самым наряду с кратким наброском во введении предлагая «заземленную» теорию.

Прежде чем развернуть ряд посылок и исследовательских операций, следует сделать важное замечание. Если с самого начала очертить поле исследования, сосредоточившись на определении понятия как элементарного семантического или социального факта, это не даст никакого понимания действий, которые исследователю необходимо совершить, чтобы выделить ключевые понятия из потока публичной речи, выявить социальные коллизии при наделении их смыслом и ценностью, установить роль понятия в регламентации практик. Поэтому я сразу предложу операциональное определение понятия: не *что* есть понятие, а *как* можно изучать понятия социологически.

1. Социальную «работу» понятий следует искать в измерении, отличном от истории слов. В рамках историко-социологического исследования меня в первую очередь интересует место понятия в социальном порядке, а не историческая траектория лексем от общества к обществу, из одной языковой среды в другую или от одних авторов к другим. Само по себе описание историко-географической траектории — важная исследовательская задача, которую на российском материале решает ряд авторов сборников «Персональность...» и «Понятия о России...»⁴. Однако для

⁴ Полные библиографические данные сборников см. в предыдущей сноске. Следует отметить, что задачи проектов к этому не сводятся. Работа над словарем персональности направлялась сравнительной перспективой, которая через семантические различия позволила дифференцировать функции понятия в различных культурных контекстах. Координатор проекта Николай Плотников отмечает: «Эта задача была совершенно проигнорирована Райнхартом Козеллеком, который рассматривал поле европейских языков как семантически и социокультурно однородное, причем сосредоточивался в основном на немецком языковом материале применительно к Новому времени. Лишь у его учеников возникло осознание того, что ключевые понятия выполняются в разных контекстах разные функции и задают различные модели описания социального. Проект "Персональность" возник именно из этой проблематики, и траектория рецепции тех или иных семантических

целей исторической социологии важнее описать и объяснить, как данное понятие — вне зависимости от траектории его географического движения — «работает» в актуальных социальных практиках и межпозиционной борьбе. Знание географической траектории понятия может быть полезным в случае, если оно позволяет точнее объяснить особенности использования, т.е. придания понятию смысла *здесь и теперь*. Так, уделяя внимание осаждению смыслов в историческом поле понятия «средний класс», я обращаюсь к англо- и франкоязычным источникам (см. гл. I наст. изд.). Это делается для того, чтобы прояснить активные и тупиковые генетические линии понятия и уточнить способы его определения в России сегодня. Однако я не вполне достигаю дальней цели, объяснения социальной «работы» понятия, оставаясь преимущественно в границах политического и интеллектуального круга производителей его смыслов и лишь на материале самых недавних событий (2011–2012 гг.) проверяя, включается ли оно в практики непрофессионалов. Если большая социологическая задача исследования — объяснить, как понятие направляет самый широкий спектр практик, как его смыслы рассеиваются и оседают в эмпирическом разнообразии взаимодействий, предлагаемое в настоящей книге исследование имеет лишь подготовительный характер.

В главах, посвященных исторической организации социологии и социальных наук, я возвращаюсь к связям понятия с географией. Здесь речь идет уже не о понятиях, которые, подобно «среднему классу», производятся социальными учеными о мире, а о самом понятии «социология». Хотя географические пути понятия объективируют в первую очередь политические отношения между обществом-донором и обществом-реципиентом, за первым шагом анализа, отсылающим к языковой географической карте понятий, следует второй, который направлен уже не на *географическую историю*, а на *территориальную логику* заимствованных категорий. Как и понятие «средний класс», которое остается исключительно экстерриториальным в русской научной речи XIX и начала XX в. (т.е. за редкими исключениями не используется авторами для описания «своего» социального порядка), аналогичным статусом обладает понятие

признаков отступает в нем на второй план» (из переписки с автором, 21.04.2014).

«социология». В начале XX в. ни институционально, ни лингвистически русская социология не может быть материализована в ином пространстве, нежели Париж. Но есть и противоположные примеры. В главе V я анализирую превращение науки и научности в доктринальное основание советского режима и прихожу к прямо противоположной констатации. Хотя понятие «прогресс» попадает в русский язык из европейских, преимущественно французских источников, а «научно-технический прогресс» вводится в словарь международных центров экспертизы, вероятно, раньше, чем в официальный советский словарь, символическая ценность этой категории в демонстрации различий между социализмом и капитализмом настолько велика, что Советский Союз послевоенного периода превращается в образцовую иллюстрацию «научно-технического прогресса», признанную и на международной сцене. В данном случае географическая история понятия полностью переопределяется его территориальной логикой.

2. Перед реконструкцией «работы» понятий следует определиться со списком тех из них, «работа» которых вносит наибольший вклад в субъективные схемы практик: их воспроизводство гарантирует порядок, в пределе они и являются самым социальным порядком⁵. Различные версии истории понятий и исторической семантики, естественно, не предлагают одного испытанного приема в формировании первичного списка. Козеллек в некотором смысле дает понять: вы сами увидите, когда перед вами — базовое понятие. Это приемлемо для исторического труда, ориентированного на составление обширного лексикона, но недостаточно для историко-социологического исследования, сфокусированного на изучении практик. Среди основных причин здесь можно назвать не только трудности такого подхода, плохо согласующиеся с требованием минимального обоснования в социологии, но и сбой лингвистического порядка. Создатели лексиконов, которые описывают социальный порядок на

⁵ Обсуждение тезиса о субъективных основаниях социального порядка потребовало бы самостоятельного раздела и обращения к различным ветвям социологических традиций. Чтобы избежать этого в данном тексте, отошлю к статье, в которой этот тезис развернут на некотором графическом и биографическом материале: Бикбов А. Социальные неравенства и справедливость: реальность воображаемого (рисунки современного общества в России и Франции) // Логос. 2007. № 5.

периодах большой длительности, тяготеют к выбору в качестве ключевых понятий изолированных лексических единиц: «труд», «власть», «государство», «общество», «класс» и т.д.⁶ Это позволяет поддерживать консистентность лексикона, несмотря на сдвиги в социальных условиях воспроизводства системы языка. Однако периоды средней и малой длительности демонстрируют нам решающее отличие от этой картины. Среди наиболее действительно работающих понятий — по крайней мере, в российском случае — мы обнаруживаем *составные* лексические конструкции. Если это «класс», то «рабочий» или «средний», если «прогресс», то «научно-технический», если «гуманизм», то «социалистический» и т.д. В таких обстоятельствах попытки некоторых российских авторов механически копировать европейские исторические лексиконы, не соблюдая удвоенной бдительности в отношении социальных условий оборота понятий и исторической дистанции при реконструкции их смысла, дают весьма проблематичные результаты⁷. В действительности выявить, какие понятия лучше «работают», и означает дать ответ на вопрос, что есть ключевое историческое понятие в данный период. На интервалах, ограниченных десятилетиями или, самое долгое, столетием-полтора, социальные понятия, в которых объективируются осцилляции и сдвиги социального порядка, имеют форму лексических сочетаний.

В общем виде ключевые понятия — это такие конструкции, которые в ходе масштабных сдвигов социальных и политических структур выполняют функции операторов сдвига. Напри-

⁶ Образцом здесь, конечно, служит немецкий «Geschichtliche Grundbegriffe», выстроенный таким образом.

⁷ Именно такой предстает торопливая попытка краткого словаря русских политических понятий Олега Хархордина. Автор пренебрегает систематическим поиском граничных социальных условий в воспроизводстве исторической лексики и увлеченно перемежает периоды большой длительности в пределах одного абзаца (Хархордин О. Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное обозрение, 2011). До более успешных опытов систематического словаря нельзя сказать наверняка, в какой мере небрежно-компилятивная организация статей этого издания обязана простой нехватке последовательной и методологически обоснованной обработки материала. Несмотря на это, текст представляет собой удачную иллюстрацию: без той или иной разновидности социальной истории или исторической социологии история понятий состоятельна лишь тогда, когда исследователь разделяет понятийные очевидности с изучаемыми авторами.

мер, «классовая война» операционализирует смысл «пролетарского государства» в первые два десятилетия после революции 1917 г., «научно-технический прогресс» и «всесторонне развитая личность» — характер режима «развитого социализма» в 1960–1980-е годы, «средний класс» — смысл послесоветского перехода к «демократии». Как отслеживать систематические возмущения, которые такие понятия вносят в ближайший контекст высших определений социального порядка и политических режимов (таких как «социализм», «капитализм», «демократия»)? Существует несколько показателей, позволяющих отбирать понятия на более твердых основаниях, нежели интуиция участников событий или держателей исторического архива.

Это изменения в словаре официальной государственной речи, в частности, публичных обращений высших государственных руководителей к населению и к политическому аппарату; материалы политических дебатов и экспертных дискуссий ввиду принятия новых законов, выработки перспективных планов и политических проектов; рабочая («серая») литература, издаваемая ограниченным тиражом для внутреннего использования правительственными комиссиями, техническими и финансовыми подразделениями органов власти, разнообразными вспомогательными структурами. За пределами корпуса официальной политической или официально лицензированной экспертной речи это статистика распространения отдельных понятий в заглавиях публикаций или их примерная оценка, которая может основываться на появлении или исчезновении отдельных библиографических категорий в высокоэтитизированных библиотечных классификаторах, отражающих символическую ценность этих понятий. Еще одним показателем служит активизация интеллектуальных дебатов вокруг того или иного понятия или темы, которая через идейную контроверзу вносит вклад в историческое поле понятия и дополняет его новыми элементами, доступными для повторной активации десятилетия спустя, в том числе в иных национальных и политических контекстах⁸. Наконец, это факты перевода доктринальных понятий в техни-

⁸ Райнхарт Козеллек достаточно подробно останавливается на этом, говоря о «наслоениях смыслов»: Козеллек Р. К вопросу о темпоральных структурах в историческом развитии понятий // История понятий, история дискурса, история метафор / под ред. Х.Э. Бедекера. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

ческие, такие как перенос понятий «прогресс» или «фундаментальная наука» 1960-х годов с высоких политических трибун в номенклатуру государственного бюджета. То есть закрепление отдельных понятий в той институциональной форме, которая уже относительно нейтральна к последующим политическим катаклизмам. В начале 1990-х годов «научно-технический прогресс» перестает выполнять функцию ключевого оператора, или понятия-посредника, в определении государственного режима социализма и плановой экономики. Однако понятия «прогресс» и «фундаментальная наука» по сей день сохраняются в структуре российского государственного бюджета.

3. Оставляя в стороне реконструкцию историко-географической траектории понятий, социологическое исследование признает актуальность другого вопроса, оживляющего дебаты между английской и немецкой школами истории понятий. Это вопрос: кто и что производит понятия? Очевидно, что ответ на него не может быть слишком простым. Но что можно сделать сразу — это отказаться от традиционно филологической и в значительной мере архаичной установки, которая предполагает исследование «авторского и интенционального механизма в конструировании социальной реальности, осмысленной в языке»⁹. Участники проекта «Понятия о России», к счастью, не следуют презумпции индивидуального авторства понятий и, отвечая на вопрос «кто?», указывают в первую очередь на имперское правительство. Введение этой инстанции в описание периода (XVIII–XIX вв.), когда участием государства в производстве социального порядка несвойственны более современные нам монопольные формы, требует дополнительных пояснений и уточнений. Альтернативу этому составляет ряд материалов проекта «Персональность». Они демонстрируют ключевую роль в становлении семантического поля понятия «личность» интеллек-

⁹ Именно так координаторы проекта «Понятия о России» определяют общую цель коллективного исследования (Миллер А., Сдвижков Д., Ширле И. Предисловие // Указ. соч. С. 5–6). Это не слишком отличается от исходной методологической установки Квентина Скиннера, которая тяготеет скорее к классической филологии с ее инстанциями авторского намерения и идеи, чем к социальной семантике понятий (Skinner Q. *Meaning and Understanding in the History of Ideas // History and Theory*. 1969. No. 1). Конечно, не все авторы сборника «Понятия о России» и даже не все соавторы предисловия в своей работе строго придерживаются цели, обозначенной подобным образом.

туальных групп и центров того же периода, которые не имеют прямой связи с государственным аппаратом. Именно в работах и дебатах участников этих групп и центров приобретают эталонную форму некоторые смыслы, которые повторно активизируются при масштабных политических сдвигах в послевоенном СССР и в ходе демонтажа советского режима. Так или иначе, фактическое обращение к коллективным инстанциям наряду с текстами индивидуальных авторов важно, поскольку сближает методологии истории и социологии понятий. Оба проекта предлагают важные элементы для дальнейшего изучения не географической, а социальной траектории понятий. На основе данных, которые вводятся в настоящей книге, к государственным органам и интеллектуальным группам в XX в. следует также прибавить экспертные инстанции, в первую очередь научные и образовательные институты, а также СМИ, которые становятся основными «изготовителями» конкурирующих смыслов: часть последних государственный аппарат институционализирует в качестве политических универсалий.

Даже если в отдельных случаях можно проследить вклад тех или иных инстанций и участников в итоговую конструкцию понятия, следует исходить из того, что продукт подобных конструкторских усилий соотносим не с индивидуальной авторской интенцией или результирующим вектором нескольких интенций, а с практиками, локализованными в различных, в первую очередь профессиональных, институциях по производству смыслов. В этой перспективе понятие выступает анонимным и коллективным продуктом уже на отрезке его лексического генезиса. Такой его характер лишь закрепляется в ходе последующей циркуляции по каналам уполномоченной речи. Рутинные академические публикации, ведомственная «серая» литература, оформление технических классификаторов позволяют наблюдать неприглядную в своей серийности социальную жизнь понятий, которая избавлена от благородных оттенков истории идей, часто обязанной своим звучанием крайне узкой селекции авторитетных источников из мира философии, художественной литературы, образцовой политической риторики. Понятие приобретает характер ключевого через множество повторов и копирований, зачастую нерелексивных, порой механических. Такое положение дел прекрасно иллюстрирует сегодня социальная траектория основных политических категорий.

Перекочевывая из авангардных художественных и маргинальных академических публикаций в черновики безымянных спичрайтеров, которые дополняют их результатами диффузных заимствований и несистематизированного чтения, отдельные понятия становятся предметом публичного высказывания политических руководителей после того, как текст выступлений проходит их личную правку или редакцию их секретарей; будучи переозвучены и заново контекстуализированы журналистами, исходные лексические конструкции снова попадают в заглавия академических и экспертных, уже серийных публикаций. Именно в таком анонимизирующем публичном обороте единицы исторического публичного словаря окончательно избавляются от следов исходного авторства и становятся общими понятиями в собственном смысле, подобно популярному музыкальному мотиву или удачному анекдоту. Сам процесс продвижения лексической конструкции от одной инстанции к другой, в ходе которого происходит насыщение и переопределение ее смыслового поля, перепроизводит ее как понятие, которое находит свое место в символической архитектуре порядка.

4. Сознательное включение в исследование широкого круга социальных инстанций по производству понятий, который в пределе смыкается с набором профессиональных, биографических, политических условий производства и циркуляции смыслов, представляет собой серьезный разрыв с господствующими версиями истории понятий и истории идей. В частности, Квентин Скиннер отрицает важность изучения «социального контекста» авторского высказывания, усматривая в нем источник огрублений и ошибок при интерпретации авторского замысла¹⁰. Райнхарт Козеллек отчасти склонен рассматривать реальность социальных институтов как производную от смысла понятий, когда приглашает видеть в отдельных базовых понятиях такую производящую потенцию, которая определяет ход социальной истории¹¹. Отличительная характеристика исторической социо-

¹⁰ Skinner Q. Op. cit. P. 39–48. Подробнее дискуссию на этот счет см.: Бивир М. Роль контекстов в понимании и объяснении // История понятий, история дискурса, история метафор...

¹¹ С этой точки зрения очень показателен, например, разбор понятия «брак» и его исторической эволюции: Козеллек Р. Социальная история и история понятий // Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XX века... С. 49–50. При этом было бы неверно приписывать

логии понятий, опыт которой я предлагаю в настоящей книге, заключается в том, чтобы вовсе отказаться от мыслительной фигуры «социальный контекст», будто бы комплементарной смыслу или даже замыслу, заключенному в понятии.

Социология, отправным горизонтом которой служит социальная, т.е. коллективная и объективная реальность, позволяет исследовательски и операционально определять смысл понятия следующим образом: смысл — это то, как данное понятие используется в коллективных контроверзах и в процессах институционализации. Не больше и не меньше. Вне социальных взаимодействий, которые направляются теми или иными понятиями, невозможно установить какой-либо смысл. И если какой-то исторический смысл нам непосредственно доступен или очевиден, это оказывается возможным лишь потому, что условия нашего существования сохраняют сходство или подобие с ранее действовавшими. Часто у нас нет возможности с достаточной полнотой восстановить эмпирическое содержание взаимодействий. Однако следует максимально близко придерживаться этой посылки. Понимание — лишь следствие взаимодействий, которые производят субъективность. Такое операциональное определение понятия ближе всего к предложенному Пьером Бурдьё «практическому смыслу», который одновременно является практическим чувством, т.е. тем смыслом, которым вещи и понятия «естественно» наделены для участников взаимодействий, в условиях возможности, определяемых объективными социальными структурами¹².

По этой причине «индивидуальный автор» Скиннера, интенционально генерирующий смыслы, равно как «базовое понятие» Козеллека, генерирующее рамочные условия реальности, в качестве центральной методологической фигуры должны уступить

несвойственный методологический радикализм взвешенному и даже осторожному анализу Козеллека отношений понятия с реальностью. Резюмируя подход, который представлен в словаре «Основные исторические понятия», он явным образом указывает: «Понятия — это и показатели, и действующие силы политической и социальной жизни», и их использование «подвержено также действию внелингвистических сил, таких как [социальные] структуры, которые не могут быть изменены в одночасье» (*Koselleck R. A Response to Comments on the Geschichtliche Grundbegriffe // The Meaning of Historical Terms and Concepts... P. 61, 67*).

¹² Бурдьё П. Практический смысл / пер. с фр. А. Бикбова, Е. Вознесенской, С. Зенкина, Н. Шматко под ред. Н. Шматко. СПб.: Алетейя, 2001. Кн. I. Гл. 3, 5.

место иной формуле: гомологии, или соответствию, между семантическим и социальным пространствами данного общества в данный период, которые взяты *сами по себе*, безотносительно к авторству и идейным рамкам. Такая смена методологического фокуса имеет по меньшей мере два кардинальных следствия, отделяющих историческую социологию понятий от исторической семантики и истории идей.

Во-первых, смыслообразование отныне рассматривается как практика *среди прочих*, т.е. как социальная практика. В этом случае для ее объяснения в целом иррелевантно представление об исходном замысле или авторской интенции так же, как оно бесполезно при объяснении других элементов социальной реальности *sui generis*. Следуя логике социологического подозрения, мы всегда можем достаточно точно локализовать подобный замысел, обращенный на значимое историческое понятие, в наборе объективных возможностей, биографических склонностей, характере борьбы, которую автор высказывания ведет в своей профессиональной среде или на политической сцене и т.д. Исходная авторская интенция, или смысл, который автор приписывает понятийной конструкции, будут здесь так или иначе детерминированы социальными, т.е. коллективными и объективными условиями самой возможности того или иного понятия. Бесконечная спираль «авторский замысел или объективные условия» вменяет исследованию ложный вопрос. Поэтому смысл понятия в историко-социологической работе следует исходно рассматривать как продукт и продуктивное основание социальной реальности. И смысл понятий, и смысл действий уже *наличествует* в эмпирической истории, зарегистрированный в текстах и иных результатах социальной практики. Нам следует изучать и описывать их как данные.

Во-вторых, анализ понятий, их семантического контекста, генерируемого отношениями с другими понятиями, исторического поля отдельных категорий, продуктивных и тупиковых (для каждого отдельного периода в разных языковых общностях) генеалогических линий исторической семантики имеет значение не сам по себе, не как акт реконструкции понятийного архива. Все исследование так или иначе имеет своим дальним горизонтом прояснение того, как понятия направляют практики. Достаточным для такой работы можно признать весьма ограниченный набор понятий, которые предоставляют доступ

к ранее ненаблюдаемым и неочевидным свойствам порядка. Составление исчерпывающего словарного списка, эта во многом предельная амбиция истории понятий или истории идей, вступает в конфликт с задачами исторической социологии, поскольку почти неизбежно, а порой и декларативно разрывает главную искомую связь — между семантическим и силовым измерениями порядка. Конечная цель исторической социологии понятий — не произвести исчерпывающий лексикон ключевых социальных и политических универсалий каждого периода, а глубже проникнуть в работу социальных механизмов, описав, как понятия выполняют «работу» узловых элементов социального порядка. Здесь основным ответом на вопрос «кто или что производит понятия?» служит анализ связи между институциональными (и институционализирующими) практиками и семантическими контекстами, которые формируются вокруг отдельных понятий, выполняющих роль социальных и политических универсалий в ходе работы инстанций освящения и распространения, таких как научные центры, государственный аппарат или СМИ.

5. В связи со сказанным историко-социологическое исследование вносит еще одну существенную поправку в методологию работы, предложенную Райнхартом Козеллеком. Козеллек предлагает различать в семантическом поле понятий Нового времени область опыта и горизонт ожиданий. Не отрицая эвристичности этого различия, историческая социология оперирует не только и не столько областью исторического опыта, осажденного в семантике понятия, сколько эмпирическим референтом понятия, который наделяется достаточно узким и специальным значением. На периодах малой и средней длительности эмпирическим референтом таких понятий, как «государство», «наука», «свобода слова» и др., выступает не опыт гражданства, исследований или публичного высказывания, а институты государства (например, министерство экономики или полиция), науки (академии наук и университеты), журналистики (редакции СМИ). Иными словами, эмпирический референт в данном случае, во всем спектре значений лексического термина — это прежде всего коллективные инстанции, которые гарантируют само социальное существование и воспроизводство понятия. Такие инстанции, как машины по производству смыслов, также служат источником проектных ком-

понент понятия, которые нормативно отсылают к желаемому или возможному будущему.

Признание исторической социологией множественности инстанций, т.е. коллективного и анонимного «авторства» понятий, не гарантирует нас от искажений перспективы, которые определяются локальной спецификой гуманитарных и социальных исследований. В частности, за пределами истории науки и науковедения российские исследователи редко обращаются к интеллектуальным центрам как источникам производства языковой и социальной реальности. Если в случае естественно-научных дисциплин это еще может согласоваться со здравым смыслом, куда труднее оказывается признать, что глубокое воздействие на реальность способны оказывать социальные и гуманитарные дисциплины. В современном российском обществе, как и в позднесоветском, эта немыслимость прямо соотносится с убеждением «нас никто не слушает», которое в академических стенах подкрепляется слабостью структур коллегиального самоуправления¹³. Но, хотя академические социологи и их коллеги из смежных дисциплин слабо регламентируют условия собственной профессиональной жизни, результаты их систематической деятельности, пускай самые компромиссные в содержательном отношении, вносят решающий вклад в придание реальности ее воспринимаемой и узнаваемой формы. Происходит это по мере интеграции академической экспертизы в государственное управление. Уже в 1960-е годы, включившись в экспертный корпус государственного аппарата, социологи, психологи, философы не просто воспроизводят в академическом регистре понятия, звучащие с высоких государственных трибун. Через публичные дискуссии и вал публикаций они активно участвуют в придании новых смыслов политическим понятиям. В форме докладов и аналитических записок академические эксперты поставляют первичный речевой материал для публичного политического высказывания, а затем закрепляют политически освященные смыслы понятий в доктринальных и исследовательских публикациях. Результатом этого двойного переноса становится институционализация нетривиальных понятийных связей, которые сообщают новый смысл кардиналь-

¹³ Я подробно анализирую эти обстоятельства в главах третьего раздела книги.

ным политическим универсалиям. Именно так в административный и академический оборот 1960-х годов вводятся прежде невообразимые комбинации: «научно-технический прогресс» и «личность», «научно-технический прогресс» и «свободное время»¹⁴, — которые неявным образом перехватывают более ранние милитаризованные определения политической универсалии «социализм» и переводят ее в мирный, отчасти «буржуазный» контекст.

Демонтаж режима «научного социализма» и становление центров внеаппаратной и негосударственной экспертизы как конкурирующей, если не доминирующей формы интеллектуального участия в государственном управлении, вносит структурные изменения в этот процесс, но отнюдь не отменяет его. Даже то, что социологи, экономисты, политологи говорят сегодня об обществе торопливо или недобросовестно, придает смысл текущему балансу сил, который закреплен в понятиях «средний класс», «трудовые ресурсы», «бедные», «электорат», «элиты», «производительность» и т.д. В этих обстоятельствах перестают действовать в иных случаях решающие различия между образцовым теоретическим высказыванием и рутинной аппаратной речью, высотами интеллектуальной изобретательности и нищетой политического сервилизма. Академические ученые и университетские преподаватели говорят то, что говорят. И весь корпус публичной речи, более не нуждающийся в предварительном государственном лицензировании, может быть использован и используется политически *post factum*. Вклад научных и образовательных институтов в производство политических понятий, со всей механикой интеллектуальных страховочных механизмов, которые заранее встроены в их публичный оборот, делает вдвойне опасными ограничения, которые диктует историческая семантика понятий. По меткому замечанию Пьера Бурдьё, «всякий анализ идеологий в узком смысле как легитимирующих дискурсов, не включающий в себя анализ соответствующих институциональных механизмов, рискует стать не более чем добавочным вкладом в

¹⁴ См., напр.: Научно-технический прогресс, социальное развитие и свободное время. Информационный бюллетень Советской социологической ассоциации / под ред. А.А. Зворыкина. 1969. № 9 (24). Эта связь подробно анализируется в гл. IV наст. изд.

эффективность этих идеологий»¹⁵. Демистифицирующая цель историко-социологического исследования понятий состоит в том, чтобы соотнести эту публичную речь с условиями ее производства, которые снабжают такую речь способностью размечать реальность, придавая последней актуальный и перспективный смысл.

РАБОТА С МАТЕРИАЛОМ: ДЕЛЕНИЯ И ПРИЕМЫ

Если понятия объективируют историю в форме текстового архива, как и в невидимой власти над настоящим и будущим, историко-социологическое исследование становится наиболее действенным способом описывать согласованные между собой лингвистические и политические эффекты «работы» понятий. Сохранение лексики прежнего периода в публичном обороте настоящего обязано воспроизводству социальных структур точно так же, как исчезновение из публичного оборота прежде ключевых универсалий, а смещение ранее господствующих категорий на периферию понятийной сетки сопоставимо с миграцией к ее центру узкоспециализированных или маргинальных смысловых единиц. Когда подобные семантические события распространяются на масштаб всей понятийной сетки, захватывая множество ее узлов одновременно, они вступают в прямую связь с социальным порядком, обеспечивая его консервацию или преобразования. В подобных случаях мы можем быть уверены, что семантика публичной речи синхронизирована с масштабными сдвигами в до- и непонятийных социальных структурах. Порой связь между смысловыми и силовыми структурами артикулируется явным и рефлексивным образом, как в случае революционной необходимости. Но чаще эта связь не так очевидна в каждый отдельный момент и требует специального исследования.

В противоположность ранним подходам, сосредоточенным на выделении «твердого ядра» семантики понятий и дальнейших операциях с этим ядром, предлагаемый в данной книге подход основан на анализе различий между текстами и позициями, где определяется смысл понятий. В качестве точек отсчета я беру группы текстов, схожие в функциональном отношении

¹⁵ Бурдые П. Указ. соч. С. 263.

и расположенные на достаточной хронологической дистанции одна от другой, что позволяет фиксировать значимые семантические различия¹⁶. При этом среди текстов, принадлежащих одному периоду, я уделяю особое внимание тем, которые объективируют различные, в пределе противоборствующие позиции, претендующие на придание понятию смысла, или резюмируют результаты такой борьбы. Это имеет принципиальное значение, когда мы наблюдаем, как при помощи понятий создаются или разрушаются институты, укрепляются альянсы и обостряются конфликты, совершается мобилизация социальных групп. Здесь смысл социального действия оказывается неотделим от ценности, которую приписывают понятию, включенному в это действие. Возвратное движение между понятиями текстов, которые призваны направлять практику, и практикой, которая институционализирует понятия, составляет элементарную рабочую схему историко-социологического исследования. Далее я поясню, как некоторые методологические установки, вписанные в эту схему, реализуются в исследовательских приемах.

1. Смысл и ценность понятия не могут быть установлены вне семантического контекста, которым его снабжают другие понятия, находящиеся с ним в наиболее устойчивой узусальной связи. Любое понятие связано с другими, и эта связь, понятая как текущая конфигурация понятийной сети в синхронном срезе, образует семантические гнезда, с которыми имеет дело практический деятель или исследователь. Чтобы сделать более понятным этот принцип, уместно напомнить о соссюрковском определении знака в системе, который актуален также в отношении отдельных социальных понятий: «В языке, как и во всякой семиологической системе, то, что отличает один знак от других, и есть все то, что его составляет»¹⁷. Приступая к работе с тем или иным понятием, мы должны отдавать себе отчет, что беремся за один край понятийной сетки, и интересующее нас понятие

¹⁶ Вопросы максимальной дистанции (хронологической, а как следствие, и семантической) и ширины хронологического шага в целом достаточно активно обсуждаются исследователями. См., напр.: Буссе Д. Указ. соч. С. 122–123. В настоящей книге этот шаг в большинстве случаев измеряется двумя-тремя десятилетиями.

¹⁷ Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию / пер. с фр. под ред. А.А. Холодовича. М.: Прогресс, 1977. С. 154.

тянет за собой те, с которыми оно на тот момент наиболее тесно связано, они, в свою очередь, создают дальнейшие натяжения всей смысловой сети.

Если операционализировать практикуемый мною анализ семантики в терминах существующих подходов, он близок к модели ассоциативного тезауруса¹⁸, хотя и отличается от нее прежде всего способом измерения. Для исследований по реконструкции ассоциативного словаря естественного языка характерна статистическая обработка совместных вхождений (связей) терминов, представленных у его носителей. Анализ семантики социальных и политических понятий в настоящей книге с технической точки зрения представляет собой «ручную» и выборочную обработку контекстообразующих связей в опубликованных текстовых источниках¹⁹. В целом базовый лингвистический инструмент исторической социологии понятий — это выявление устойчивых ассоциаций между ключевыми понятиями и отслеживание периодов, когда такие контексты обновляются, т.е. когда в устойчивые отношения с изучаемым понятием вступают новые термины.

¹⁸ Леонтьев А.А. Словарь ассоциативных норм русского языка. М.: Издательство МГУ, 1977; Русский ассоциативный словарь: в 2 т. / Ю.Н. Караулов, Г.А. Черкасова, Н.В. Уфимцева, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов. М.: АСТ-Астрель, 2002.

¹⁹ Лежащий в основании ассоциативного тезауруса отказ от жесткого разделения между семантикой и грамматикой (Караулов Ю.Н. Ассоциативная грамматика русского языка. М.: Русский язык, 1993. С. 5–7) позволяет не отождествлять ключевые понятия с грамматической формой отдельно взятого существительного. Это подкрепляет использованное мною определение семантического смысла понятия в контексте устойчивых ассоциативных связей как совместного употребления существительных или конструкций в форме прилагательное-существительное. При этом расхождения между устойчивыми спонтанными реакциями носителей языка и теми связями, которые выявляет анализ корпуса уполномоченной публичной речи, могут быть значительными. Так, по данным «Русского ассоциативного словаря» Юрия Караулова с коллегами, на стимул «личность» наиболее частыми реакциями стали «человек», «яркая», «незаурядная», «темная» (от 75 до 18 вхождений), тогда как на реакцию «всесторонняя» и «всесторонне развитая» пришлось по одному вхождению из 658. Неоднозначная картина характеризует стимул «прогресс», на который первыми следуют реакции «науки», «вперед», «регресс» (по 7–9 вхождений), тогда как «научно-технический» имеет два вхождения из 108 (<tesaurus.ru/dict/dict.php>, последний доступ 22.04.2014).

2. Понятие, которое означает не только ограниченный исторический опыт или проект, но относительно открытую к изменениям конфигурацию практик (прежде всего институционализированных), за счет эффекта семантического гнезда генерирует множество вторичных смыслов, не сводящихся к изолированным словарным формам. Среди этих вторичных смыслов особо следует выделять коннотации, которые через контекст употребления указывают на социальную *ценность* понятия. Так, функциональное различие между конструкциями «яркая личность» или «всесторонне развитая личность» и «темная личность» заключается в первую очередь в символической ценности, которая приписывается термину «личность» в каждом из случаев. И если каждая из таких конструкций вписана в воспроизводство господствующих позиций в конкретный период, например, когда в публичной речи государственных деятелей и журналистов в 1930-е годы слово «личность» с регулярностью коннотируется отрицательно, можно сделать вывод о социальной девальвации соответствующего понятия (см. гл. IV наст. изд.). Не следует забывать, что понятия, выделенные исследователем из их семантических гнезд, всегда хранят на себе отпечаток исследовательского произвола. Именно поэтому в целях корректной реконструкции смысла понятий важно связное описание семантических и социальных параметров их воспроизводства. С семантической точки зрения, как бы ни была велика взаимная подвижность отдельных элементов каждого такого гнезда, относительную устойчивость фиксируемого исследователем смысла обеспечивает постоянство словарных ассоциаций. С точки зрения социальной механики устойчивые семантические связи с большей вероятностью будут обнаруживаться там, где эта связь поддерживается институционально, т.е. там, где понятие «работает» как основа институционализированной практики.

Выбирая между реконструированным смыслом или словарным термином понятия, на первом этапе работы необходимо следовать за термином, прослеживая его генезис и превращения в различных социальных контекстах. Так, если «социалистический гуманизм» в 1930-е годы определяется через классовую ненависть, а в 1950-е — через недопущение новой войны (см. гл. III наст. изд.), то в первую очередь нас должны интересовать смысловые разрывы, которые присутствуют в контексте лексического термина «гуманизм», а не устойчивый понятийный

смысл «классовой ненависти», который практически лишается собственного лексического выражения в послевоенный период. Если термин меняет смысл или понятие закрепляется в иной словарной конфигурации, следует рассматривать это как часть истории понятия, которая может прерываться при сохранении словарной формы, и наоборот. Поскольку смысл и ценность понятия не рассматриваются вне практик, которые их учреждают и в производство которых они включены, социологический анализ, сопровождающий семантический, позволяет проследивать «приключения» понятий почти без потерь, характерных при составлении одного только текстуального (семантического) лексикона.

3. Приведенное ранее определение смысла понятия через взаимодействие имеет важное следствие. Семантический контекст понятия может быть в конечном счете раскодирован как продукт учреждающих социальных взаимодействий между различными позициями (группами, институтами) носителей и посредников. Здесь имеет смысл обратить внимание на два конкурирующих подхода к категоризирующей лексике, или историческим понятиям как единицам социального действия. В рамках методологий Райнхарта Козеллека и Квентина Скиннера понятия рассматриваются как смыслообразующие и генерирующие социальное действие единицы, чья принудительная сила в большей мере обязана естественному языку, чем историческим конфигурациям «социального контекста». В версии социолингвистики Пьера Бурдьё понятия описываются как элементы уполномоченной речи, т.е. смысл и значение понятия определяются в первую очередь тем, какую социальную позицию занимает публично высказывающийся, а рецепция его речи зависит от того, кем и как он был уполномочен на высказывание²⁰. Тем самым, поляризуя модели каждой из двух методологий, можно обобщить их следующим образом. Первая модель допускает, что смысл понятия генерирует новые отношения сил в социальной реальности и создает или изменяет саму публичную сцену социального действия. Тогда как вторая указывает, каким образом силовые отношения определяют выбор и смысл понятий,

²⁰ Bourdieu P. Le langage autorisé: note sur les conditions sociales de l'efficacité du discours rituel // Actes de la recherche en sciences sociales. 1975. Vol. 1. P. 5–6.

которые в тот или иной момент, синхронизированный с текущим состоянием баланса сил, или иерархизированным набором позиций, вводятся на публичную сцену.

Если эти два набора исходных допущений выступают конкурентами в теоретическом отношении, то в ходе историко-социологического исследования они фиксируют разные этапы исследовательской процедуры. Генеративный характер исторических понятий, на который обращает внимание Козеллек, позволяет отбирать из текстового корпуса те лексические конструкции, которые обладают наибольшей проектной «силой» или потенцией, выраженной в том числе и количественно. Например, в указанном ранее виде вала тематических публикаций в самых разнообразных профессиональных секторах, в форме стратегических классификаторов: административных, экономических, библиографических, торговых и т.д. Внимание к социальным и властным характеристикам носителей понятия, которые лежат в основе модели Бурдьё, позволяет проследить, в какие силовые отношения изучаемые понятия вписаны в текущий момент и как их смысл связан с силовой структурой уполномоченной речи, в частности, с институциональной организацией публичного высказывания. Такой двойной ход позволяет не только описать захват понятием новых семантических контекстов, но и объяснить социальные условия этой динамики, от институциональных инвестиций в поддержание той или иной конфигурации понятийной сетки до биографической предрасположенности тех или иных участников взаимодействия к использованию отдельных терминов. Среди прочего, двойной шаг анализа позволяет структурно фиксировать «кому выгодно», чтобы та или иная лексема превратилась в ключевое понятие, через актуальный или проектный смысл которого можно влиять на баланс сил. Это в точности отвечает основной задаче исторической социологии понятий, которую я назвал ранее: установление соответствий между расстановкой социальных сил и структурой понятийной сетки, отраженной в ключевых понятиях.

4. Выявление устойчивых контекстообразующих связей в семантике понятий и отказ от рассмотрения лексем в «чистом виде», т.е. вне социальных взаимодействий, ведет к уточнению лексической размерности ключевых понятий. Я уже указывал, что на протяжении последнего российского столетия в качестве

понятий наиболее действенно «работают» не изолированные словарные универсалии, а составные лексические конструкции. В политической, научной, журналистской практике присутствуют не «достоинство», а «человеческое достоинство», не «личность», а «гармонически развитая личность», не «прогресс», а «научно-технический прогресс» и т.д. Предваряя результаты исследования, представленные в настоящей книге, я готов сформулировать сильное допущение об общей структуре российского понятийного словаря. Плохо «работая» изолированно в разметке реальности, лексические единицы в качестве исторических понятий размечают реальность (в актуальности и проекте), только когда вступают в устойчивые отношения с другими понятиями, образуя синтагмы. Это справедливо для терминов «личность», «прогресс», «достоинство», обладающих относительно долгой российской историей. Это верно и для более «молодых» в российском политическом и культурном горизонте понятий, таких как «демократия», которые нуждаются в дополнительных квалификациях, чтобы генерировать более ощутимые эффекты реальности: используется ли в разных случаях для универсалии «демократия» квалифицирующий нормативный признак «российская», «мировая» или «суверенная». Схожую картину раскрывает семантико-социальное поле русского понятия «средний класс», реальность которого видится крайне проблематичной даже горячим апологетами, пока заемный термин не дополняется квалифицирующими признаками, такими как признак «российский» — он не просто локализует «класс» географически, а отсылает к набору «особых» социальных свойств²¹.

²¹ Контекст приписываемых свойств задает восходящая к началу 1990-х годов тематическая дискуссия о несходстве стандартов жизни (и критериев выделения) среднего класса в России и в «цивилизованных странах». Почти через 20 лет после открытия этой дискуссии в публицистике эмпирические исследования социологов по-прежнему строятся на нормативном отнесении к успешным образцам: «В России, где состояние общества с точки зрения его социальной структуры, политической повестки дня, а во многом — и общественного сознания, соответствует скорее Центральной Европе 1950–1960 годов, чем сегодняшнему состоянию европейского общества, концепция среднего класса представляется весьма актуальной» (Критерии выделения и определение численности среднего класса в современном российском обществе // Городской средний класс в современной России. Аналитический доклад. М.: Институт социологии РАН и Фонд им. Фридриха Эберта в РФ, 2006. С. 7). (Конструированию понятия

Необходимость в уточняющих *квалификациях*, которые делают понятие «работающим», с большой вероятностью объясняется длительным понятийным трансфером, который происходит в виде импорта не только терминов, но и политических институций, частичного и компромиссного на всем своем протяжении²². Конечно, российский случай не исключителен, и схожие свойства понятийной сетки мы, с большой вероятностью, обнаружим в других обществах с аналогичной практикой. Наличие внешних эталонных форм, которые становятся предметом трансфера, выступает источником основополагающего смыслового и ценностного напряжения, пока степень, форма и успех реализации проектов в обществах-донорах систематически идеализируются в обществах-реципиентах. Идеализация закрепляет в смысловом поле понятий иерархию между полноценными заемными образцами «цивилизованных» норм и неполноценными местными реалиями. Если в рамках развернутого высказывания такое напряжение традиционно выражается в явном противопоставлении «российского» (наделяемого негативной символической ценностью) и «цивилизованного» (с позитивной ценностью)²³, то в свернутом виде то же противопоставление содержится уже в лексической форме понятий. Конструкции «российский средний класс», «суверенная демократия», «социалистический гуманизм» и даже «всесторонне развитая личность» отчетливо коннотируют несовпадение локальных версий реальности с заимствуемыми проектными категориями «средний класс», «демократия», «гуманизм», «личность». Такую схему трансфера, которая воспроизводит регулярную асимметрию между образцовыми понятиями и «не вполне подходящей» реальностью, трудно квалифицировать

«средний класс» российскими социологическими и экспертными инстанциями посвящена гл. II наст. изд.)

²² Следует отметить, что большинство исследований по истории понятий в России имеют своей отправной точкой факты заимствования ключевой интеллектуальной и политической лексики в русском языке и культуре из европейских.

²³ Конечно, в периоды реакции, которые следуют за активной и никогда не завершенной вестернизацией политических и социальных институтов, порядок ценности инвертируется. Позднесоветская модель представляет в этом отношении более сложную схему заимствований-отталкиваний, которой посвящены главы второго раздела настоящей книги.

иначе как самоколонизацию. С содержательной точки зрения продуктивной здесь будет параллель с исследованиями Николая Плотникова, который обнаруживает в основании российских государственных реформ, начиная с XVIII в., метафорическое представление о российском обществе как «*tabula rasa*»²⁴. Регулярное нормативное преобразование местной «бесформенной материи», форма для которой каждый раз заново заимствуется в институтах Западной Европы, является достаточно точным выражением перманентной самоколонизации²⁵.

Если реальность соответствует понятиям лишь с квалифицирующими оговорками и решающая оговорка обозначена в самой словарной форме, то дополнительные квалификации делают сцепление с реальностью более или менее приемлемым. При этом нет сомнений, что действительным источником сохраняющегося зазора служат не отношения между понятием и реальностью, а сама практика переноса понятий — в том числе лингвистическая, но в первую очередь политическая. Трансфер понятий с квалифицирующим признаком производит структурный эффект, во многом противоположный натурализации, как ее определяет Ролан Барт²⁶. В отличие от натурализации, которая превращает историческое в природное в интересах господства, стирая заложенные в понятии различия и противоречия и тем самым существенно затрудняя его критику, прием квалифи-

²⁴ В частности, см. его доклад на философском факультете МГУ «Государство и личность в русской интеллектуальной истории. История понятий как форма социальной критики». 26.05.2010.

²⁵ Среди исследований, обращающихся к российской и советской истории в терминах колонизации и постколониализма, следует также упомянуть сборник: Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России / под ред. А. Эткинда, Д. Уффельмanna, И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2012. Отправной в анализе российской истории здесь служит модель этнико-географической колонизации, которая напрямую не отсылает к организации понятийной сетки. Эвристичной, однако, предстает сама попытка критического анализа имперского правления как колониального. Остается сожалеть, что статья координаторов проекта определяет внутреннюю колонизацию таким образом, который почти не позволяет различать практики этнической колонизации и практики классового и иных форм господства (Кукулин И.В., Эткинд А.М., Уффельманны Д. Внутренняя колонизация России: между практикой и воображением // Там, внутри...).

²⁶ Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Мифологии / пер. с фр. С. Зенкина. М.: Издательство им. Сабашниковых, 1996.

кации неявно и непрерывно ставит под сомнение реальность, стоящую за понятием, а в случае, когда подобным образом сконструирован целый ряд ключевых универсалий, — реальность самого общества. На деле квалифицирующая конструкция ключевых понятий, свойственная трансферу колониального типа, выполняет двойную социальную функцию. Она сообщает приемлемый (временный и компромиссный) характер понятию при его переносе и адаптации в действующей понятийной сетке, что позволяет тому «работать» как форме восприятия реальности. И она же оставляет открытым отходной путь для политических и экспертных инстанций в случае масштабных консервативных сдвигов в балансе сил, которые в России (и не только) сопровождаются систематической критикой «Запада», куда генетически отсылает ряд заимствований, чье происхождение не окончательно стерто процессом их использования. Принимая во внимание социальную модель понятийного трансфера, в историко-социологическом исследовании следует обращать особое внимание на лексическую конструкцию понятий и извлекать из нее так много политического, как это возможно.

5. Отдельного пояснения в рамках настоящей работы, вероятно, заслуживает само определение политического. В предельном отношении ключевые понятия настолько политические, насколько они являются общими. Дело в том, что любое понятие превращается в ключевое историческое, лишь став предметом уполномоченной речи и работы по универсализации и институционализации. В поле социальной практики это означает, что понятие пропускают через свою речь профессионалы от политики, число его употреблений растет в языке СМИ, адресующихся к большинству, оно используется в мобилизующей речи не только в профессиональной политике или во взаимодействиях между политическими делегатами и мобилизованным большинством, но и, например, в борьбе между научными группами, литературными альянсами и т.д. Именно таким образом стратегические узлы понятийной сетки советского общества сквозным образом скрепляются и коннотируются понятийными парами «личное — коллективное», «чистое — практическое», «абстрактное — классовое» и рядом подобных, которые представляют собой одновременно формы мышления, конкурирующие карьерные стратегии, научные категории, мотивы политических кампаний и репрессий, а в отдельных случаях — условие жизни

и смерти политических и научных противников²⁷. Во всех случаях понятия аккумулируют в своем смысловом поле прагматику межпозиционной борьбы, которая неразрывно связана с балансом социальных сил.

Властные эффекты этой прагматики возвращают нас к отождествлению Эмилем Бенвенистом понятия и института. Практикуемый мною метод не чужд бенвенистовскому радикализму: ключевое понятие, которое мы рассматриваем не как изолированный элемент культурного словаря, а как *raison d'être* административного учреждения или полюс практической оппозиции, управляющий борьбой между фракциями противников, — *и есть* институт. Пьер Бурдьё, в чьих исследованиях наряду с аппаратом социологии задействованы инструменты социолингвистики, также уделяет исключительное внимание категориям и классификациям, понимаемым как языковые и мыслительные различия, которые *непосредственно* упорядочивают практики²⁸. Такие различия, лежащие в основе производства социальных групп и взятые в качестве исходной переменной исследования, позволяют зафиксировать разнообразие речевых и силовых действий, которые материализуют смысл. Например, понятие «средний класс», которое является одновременно семантической и социальной категорией, находит определение в перечне критериев социологического или маркетингового исследования (по уровню доходов и образования, характеру занятости, типу потребления), в показателе численности из системы государственной статистики, в императиве поддержания общественной стабильности из уст страстного публициста или

²⁷ Вся историю науки советского периода можно представить через серию оппозиций, в которых определяют себя противостоящие фракции профессионализирующихся исследователей и профессиональных доктринеров. При этом оппозиции задаются не только полярными терминами, такими как «личность и коллектив», но и достаточно тонкими контекстуальными различиями, для которых используется одна и та же базовая лексика: «гармонически развитая личность» и «коммунистическое воспитание личности», «средние слои в союзе с пролетариатом» и «средние классы буржуазной пропаганды» и т.д. (Подробнее эти эффекты рассмотрены в главах второго раздела настоящей книги.)

²⁸ Я не буду давать здесь ссылку на какую-то одну работу Бурдьё, учитывая, что «категории» и «классификации» составляют такую же неотъемлемую часть методологического арсенала его исследований, как и понятия-инструменты «поле» или «габитус».

государственного деятеля, в несогласии с высоким налогом на прибыль из публичной речи политического представителя, в самохарактеристике члена правления частного банка на митинге протеста и т.д.²⁹ Эти определения могут отсылать к некоторым общим основаниям и интеллектуальным операциям или игнорировать друг друга. В пространстве конкурирующих политических идеологий «средний класс» наделяется миссией по мирному спасению общества от межклассового насилия и революции. В пространстве стилей жизни тот же «средний класс» кристаллизуется на стыке потребительских влечений и экспертизы повседневности: в форме регулятива стиля жизни, который нишевые СМИ транслируют аудитории своих разборчивых читателей. Важно, что каждый из этих способов противопоставляет «средний класс» чему-либо или кому-либо еще, пускай и не всегда в явной форме, практически вводя такое смысловое различие (если мы анализируем современный российский случай, то в пределе — дистанцию по отношению к «советскому»), которое одновременно служит перформативным способом деления людей на группы.

Использование таких различий в качестве единиц анализа отменяет жесткую методологическую границу между поняти-

²⁹ В целом понятие «средний класс», которому посвящено исследование первого раздела настоящей книги — великолепная иллюстрация глубокой, но незаметной политизации актуального социального словаря. С конца 1990-х годов наиболее частыми мотивами академической и экспертной речи в отношении среднего класса в России остаются критерии и численность этой гипотетической группы. И почти никогда предметом рефлексии не становятся политические запросы, адресованные профессионалам по производству смыслов, по мере реализации которых понятие наделяется теми или иными проектными признаками. Одновременно связь категории «средний класс» с другими проектными универсалиями, например, «демократия», может устанавливаться и утрачиваться на удивительно кратких хронологических промежутках. Это характерно не только для российской, но и для европейской публичной речи. Так, если во второй половине 1990-х годов язык «единой Европы» утверждает связь между «средним классом» и «демократией», всего десятилетием позже в официальных документах Евросоюза российский «средний класс» определяется лишь как емкий покупательский «рынок» европейской продукции. Использование критического метода исторической социологии обнаруживает специфическую обратную связь: чем более глубоко категория определена политически, тем меньше эксперты, участвующие в придании ей смысла, склонны замечать эту определенность.

ем, классификацией, категорией и институтом. В решающем для исторической социологии измерении все они возвращают исследователя к смыслу, который доопределяет и упорядочивает силовые линии социальных взаимодействий. В настоящей книге разнообразие форм, в которых выражены эти различия, рассмотрено как элемент общего пространства, где социальная и хронологическая дистанция, отделяющая введение в публичный оборот понятия от создания института, а создание института — от использования технической классификации, может быть неощутимой. Такое понимание позволяет уйти, среди прочего, от бесперспективных противопоставлений, навязываемых «теоретической социологией» и гуманитарной публицистикой: норма или реальность, порядок или изменения, культура или власть, эмпирическое или априорное, микроуровень или макроуровень и т.д. В исследовании, внимательном к практическим различиям, подобные смысловые суррогаты мгновенно вытесняются работой по реконструкции явных и свернутых текстуальных оппозиций, которые в изучаемый период используются непосредственными участниками взаимодействий. А также выявлением таких контекстов, где производится декларативный или неявный разрыв со смыслами понятия предшествующего периода и где новые контекстообразующие связи между понятиями позволяют обнаружить присутствие новых социальных позиций или смену отношений между существующими. Именно в этих точках история понятий становится наиболее политической. Через обращение к социальным условиям таких разрывов мы получаем возможность прояснить, как функционирует и как меняется социальный порядок.

ГЕНЕАЛОГИЯ
НОВОГО ПОРЯДКА

Что сегодня в России наиболее осязаемо маркирует 25-летний разрыв с прежним политическим и социальным порядком? Обилие городских кафе и вывески на латинице, свободный оборот международных валют и поездки за границу, поиск работы через собеседования и манера одеваться? Несомненно. Обширно рассеянные и регулярно воспроизводимые, эти признаки складываются в стилистические ансамбли: способы организации времени, привычек, желаний, — которые придают новому порядку характер неустрашимой данности. За осязаемыми ансамблями регулярных обыденных взаимодействий, где приобретает или подтверждает свое эмпирическое содержание современность, проступают менее очевидные структуры — порядок в собственном смысле слова. Некоторые из этих структур еще не обладают собственной понятийной формой, которую им, возможно, предстоит получить в будущем. Иные, напротив, предстают результатом осуществления проектных форм — результатом, который всегда расходится с проектом, хотя никогда не разрывает с ним окончательно, имея его своим регулятивом, ориентиром или, по меньшей мере, требованием безопасности.

Не является ли большинство очевидных для нас форм актуального порядка воплощением проекта или серии связанных между собой проектов? Это было бы слишком сильным утверждением в платоновском духе. Не способны ли мы видеть порядок вместо конstellляции случайностей именно потому, что реальность отвечает заранее введенной понятийной разметке? Целый ряд исследователей, в том числе далеких от истории понятий, отвечают на этот вопрос утвердительно¹. Проблема эмпириче-

¹ Этот ответ содержится, например, в аналитике Пьером Бурдьё легитимных делений социального мира, через которые реальность становится воспринимаемой, действие — осуществимым, порядок — приемлемым и управляемым (напр.: Бурдьё П. Описывать и предписывать // Логос. 2003. № 4–5). Согласно Бурдьё, такие деления выражены в оппозициях, структурирующих поле восприятия, а не в серии изолированных понятий. В этом — лингвистическом — измерении его метод остается верным не только структуралистскому кредо, но и соссюрвовскому определению знака, который получает значение только через отношения с другими знаками. Деления могут не иметь понятийной формы и успешно функционировать как схемы практического чувства. Однако легитимный язык, который не перестает интересовать Бурдьё как средство придания формы реальности, может включать в синхронном срезе те же проектные категории, к исследованию которых, с иными инструментами, обращается история понятий.

ского разрыва проекта с реальностью, т.е. анализ отношений, в которые вступают между собой смысловые и силовые порядки, — один из учредительных моментов социологического исследования. Он присутствует и в этом разделе книги, и в книге в целом. Однако эмпирические рассеивания на границах и стыках символического порядка — не главный ее предмет. Я предлагаю эскиз работы по установлению тех исходных границ и делений, которые в качестве ориентиров и регулятивов направляют производство реальности. Вернее, ту ее часть, которая не предшествует проекту, а включена в создание проекта или следует за ним. Аргумент в пользу такого подхода состоит в том, что генеалогия актуального порядка еще недостаточно ясна и изучена даже в своей проектно-нормативной части. И первой задачей в этих условиях становится предварительное прояснение и систематизация тех предпосланных форм, в которых мы, нередко сами того не замечая, мыслим реальность своего общества и строим планы в ее отношении.

І. Структура проекта: «средний класс» для «демократии»

В ряду таких *понятий-проектов* особое место принадлежит понятию «демократия». Имеется немного политических универсалий, настолько отчетливо соединяющих в себе логики торжественного доктринального перформатива и будничной процедурной констатации. Вероятно, ранее таким свойством обладал «научно-технический прогресс», перипетиям которого посвящены две другие главы этой книги. В последние десятилетия циклы политической борьбы и синхронизированной с ними политической журналистики изобилуют возвратами к значению понятия «демократия» с целью пересмотреть и переприсвоить его в интересах фракций-победителей. Квалификация *любого* политического режима, который должен определяться по отношению к демократии, отражает сегодня господствующий характер этой универсалии, т.е. ее неустрашимость из политических классификаций. Гибридные конструкции, подобные «суверенной демократии», которые используются во всем мире далеко за пределами России, служат прекрасной тому иллюстрацией: от «исламских демократий» Ближнего Востока до критикуемых проектов «ограниченной демократии» во Франции. Однако без понятий-посредников, которые контекстуально определяют смысл универсалии, невозможна ни ее семантическая перенастройка, ни предваряющая ее фиксация особого места и ценности в сетке политических категорий. Эксплуатируемое предельно активно, а потому неуловимо текучее в публичной речи понятие «демократия» должно быть оснащено менее броской прагматической «изнанкой», благодаря которой заинтересованные манипуляции над ним могут быть упорядочены, а само оно может быть ограждено от чрезмерной девальвации.

В господствующем сегодня экономическом способе определять социальный мир, как и во всем корпусе высказываний об экономике и по экономическим вопросам, таким понятием-посредником служит «[частная] *собственность*». В России 1990-х годов она тесно увязывается с успехом демократических

и рыночных реформ и с этого момента утверждается в центре сетки политических и социальных категорий. Егор Гайдар, один из ключевых проектировщиков нового экономического и политического порядка, называет «уникальные проблемы, которых, пожалуй, не было у других стран», относя к ним «формирование среднего класса, осознание обществом и государством идеи легитимности частной собственности»². Три века ранее интеллектуальная и политическая работа с этим понятием в некоторых европейских контекстах приводит к признанию собственности предварительным условием личности³. Не вполне очевидное следствие такой работы в российских 1990-х — ее перенос в контекст борьбы с «пережитками» социализма: частная собственность признается спасительной против государственного «иждивенчества», производящей на свет нового «хозяина» (страны, земли, дома) по факту одного только юридического оформления⁴.

Следуя экономической линии в генеалогии российской демократии, можно предположить, что она ведет нас к таким социальным категориям, как «предприниматели» или даже «богатые». Однако это допущение будет неверным. Контекст универсалий, которые занимают центральное место в категориальной сетке, демонстрирует большую семантическую и историческую вариативность. То же развернутое высказывание, которое признает собственность высшей добродетелью нового (проектируемого) порядка, может присваивать негативную ценность собственникам. Именно это мы в явном виде наблюдаем у некоторых авторов начала 1990-х годов, от наивных теоретиков социальной утопии после СССР до критиков-реалистов, которые видят опасность для демократии в укреплении «богатых», чьи ряды пополняются новыми предпринимателями и старыми директорами приватизируемых предприятий, в том числе когда собственность передается «государственно-капиталистическим концернам, номенклатурным государственным и партийным

² Гайдар Е. Государство и эволюция. М.: Евразия, 1995. С. 201.

³ См.: Плотников Н. Личность и собственность. Аксиоматика личности в европейской и русской философии // Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге / под ред. Н.С. Плотникова, А. Хаардта, при участии В.И. Молчанова. М.: Модест Колеров, 2007.

⁴ См.: Кирчик О. Дискуссии по аграрному вопросу в постсоветской России // Отечественные записки. 2004. № 1.

работникам, сросшимся с ними мафиози»⁵. В конце десятилетия связь крупной собственности с демократией в России подвергаются сомнению даже либеральные центристы, которые склонны противопоставлять ее малой собственности и критиковать механику возникновения крупных состояний в условиях государственной коррупции⁶.

Не став «священной», как того требовали радикальные экономисты-реформаторы и политически близкие им публицисты, через некоторое время «собственность» приобретает более скромный технический статус, закрепившись в административных, кадастровых, фискальных классификаторах. Однако и сегодня нормативное соединение демократии с частной собственностью воспроизводится в целой серии контекстов, вплоть до самых неожиданных. Например, в экзаменационных заданиях по обществоведению, которые играют не последнюю роль в политической социализации старшеклассников. Здесь мы сталкиваемся с триадой «собственности», «личности» и «демократии», которая отсылает нас к духу Джона Локка. При подготовке к экзаменам среди неоконченных суждений, к которым следует подобрать верное окончание, мы можем обнаружить и такое: «Экономические основы гражданского общества предполагают следующее...» Верный ответ гласит: «частная собственность выступает в качестве экономической основы независимости личности»⁷. В тех же подготовительных материалах к экзамену обоснованием связи гражданского общества и демократии

⁵ См.: *Беляева Л.А.* Российское общество в преддверии рынка: тревоги, ожидания, надежды // *Мир России*. 1992. № 1; *Шкаратан О.И., Фигатнер Ю.Ю.* Старые и новые хозяева России (от властных отношений к собственническим) // Там же; *Умов В.И. (Пантин В.И.)* Российский средний класс: социальная реальность и политический фантом // *Политические исследования*. 1993. № 4.

⁶ См., напр.: *Кузьминов Я.* Слабость государства порождает коррупцию // *НГ-Политэкономика*. 1999. № 17 (39). Спустя почти десять лет схожие выводы звучат в публицистике еще более критической и, очевидно, исходящей с конкурирующего политического полюса. Напр.: *Примаков Е.* Современная Россия и либерализм // *Российская газета*. Власть. 2012. 17 декабря; *Симонян Р.* Реформы 1990-х годов: общественно-политические результаты // *Континент*. 2011. № 147.

⁷ *Кишенкова О.В., Семке Н.Н.* ЕГЭ. Обществознание. Универсальный справочник. М.: Эксмо, 2012. С. 308. В ряду некоторых прочих это пособие используется в средних школах Москвы для подготовки учеников к Единому государственному экзамену.

служат слова Ральфа Дарендорфа: «Фактически гражданское общество — общий знаменатель демократии и эффективной рыночной экономики»⁸. Иными словами, даже если безусловность этой связи ставится под сомнение специалистами, еще долгое время она сохраняет обязательный характер при адресации речи к куда менее искушенной публике.

Оставив в стороне чистые нормативные контексты, мы легко обнаружим, что в политическом и академическом секторах «собственность» встречается в определении понятия «демократия» вместе с целым рядом других понятий-посредников. В начале 1990-х годов их связь, как в случае «собственности», может быть выражена эксплицитно и служит точкой приложения усилий со стороны социологов, экономистов, политологов и, не в последнюю очередь, журналистов. Примеры артикулированной экспертной критики крупной собственности дают нам подсказку в поисках менее двусмысленного понятия-посредника среди социальных категорий. Учитывая, что «богатые» могут нести угрозу для нового порядка, а «бедные» дважды стигматизированы своей неудачливостью и «иждивенческой» связью с советским режимом, авторы целого ряда текстов прочно ассоциируют успех демократии с теми, кто в их глазах олицетворяет спасительную середину социальных иерархий. В двух поворотных точках истории нового российского порядка, в начале 1990-х и в начале 2010-х годов, социальные гарантии «демократии» встречаются в плотной связке с понятием «средний класс». Согласно серийно тиражируемому определению, «в странах с развитой рыночной экономикой и демократическим политическим строем [средний класс]... выполняет ряд функций, важнейшей из которых является функция социального «стабилизатора» общества»⁹. С существованием, активностью и численностью

⁸ Кишенкова О.В., Семке Н.Н. Указ. соч. С. 294–295. Не менее красноречиво правильное решение тестового экзаменационного задания из другой подборки: в Конституции страны Z после смены диктатуры демократией обязательно должна быть представлена следующая статья: «В государстве обеспечиваются равные условия развития для предприятий различных форм собственности, гарантируется неприкосновенность частной собственности» (<soc.reshuege.ru/test?theme=148&test=true>, последний доступ 03.04.2013).

⁹ В данном случае цитата из: Средний класс в постсоветской России: происхождение, особенности, динамика (Аналитический доклад по материалам всероссийского социологического исследования) // Средний

этой социальной категории в различных сегментах публичной речи связывается успех «демократической модернизации общества», поддержание «демократических ценностей», демократизация политического режима.

РУССКИЙ XIX ВЕК: ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА КАК СМЫСЛОВАЯ

До любого детального анализа высказываний 1990-х годов о среднем классе следует уточнить происхождение того понятийного конструктора, который в них задействован. Прежде всего имеют ли они связь с дореволюционной российской историей понятия? Историк Михаил Велижев возводит ее к сочинению Сергея Уварова¹⁰, написанному по-французски, где «средний класс» отождествляется с «третьим сословием» как моральной и политической силой. Такой смысл во многом обязан выборочному заимствованию французских интеллектуальных образцов, которые не закрепляются в русских понятийных соответствиях. Спорадический перенос, который продолжается в более поздних публикациях, написанных уже по-русски, в середине XIX в. инкапсулирует понятие во французском контексте. С некоторыми оговорками это справедливо для всей доминирующей линии российской политической и социальной мысли, на преемственность с которой порой претендует академическое и журналистское высказывание 1990-х. Например, в «Очерках вопросов практической философии» Петра Лаврова (1859) понятие «средний класс» употребляется всего один раз — в переводе цитаты французского автора. В «Письмах из Франции и Италии» Александра Герцена (1847–1852) «среднего класса» нет, но симптоматично используется понятие «классы»: в контексте европейских событий. В его же сборнике «Былое и думы» (1868), где речь идет о российских

класс в современном российском обществе / под общ. ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой, А.Ю. Чепуренко. М.: РНИСиНП-РОССПЭН, 2000. С. 78. Ссылка из этой цитаты ведет на статью Татьяны Заславской и Регины Громовой, опубликованной двумя годами ранее.

¹⁰ Велижев М. «Цивилизация» и «средний класс» // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода: в 2 т. / под ред. А. Миллера, Д. Сдвижкова, И. Ширле. Т. 1. М.: Новое литературное обозрение, 2012.

реалиях, «классы» либо отсутствуют, либо прямо отождествляются с «сословиями»¹¹.

Для рубежного периода начала XX в. также не характерен особый интерес к «среднему классу». В «Общем ходе всемирной истории» Николая Кареева (1903), где предложен эскиз социальной иерархии, встречаются «имущие классы» и даже «культурный класс»; но этим трансгисторическая модель социальной структуры ограничивается, явственно тяготея к образцам европейского Старого порядка. «Средний класс» не встречается ни в одном из текстов сборника «Вехи» (1909) — в отличие от основополагающего «образованного класса» интеллигенции, которому присвоена высокая проектная ценность. Интерес к «демократическому движению» и «торжеству эгалитаризма» у Питирима Сорокина в «Преступлении и каре» (1914)¹² не притягивает в тот же текст «средний класс»: понятие появляется в трудах социолога уже в американский период. То есть даже в работе молодого ученого-прогрессиста, хронологически близкой к революции 1917 г., «средний класс» не становится понятием-посредником «демократии» и «эгалитаризма».

Важное исключение из этой системы умолчаний составляет, на первый взгляд, радикальная критическая ветвь, представленная Николаем Чернышевским и русскими марксистами. В «Капитале и труде» Чернышевского (1859) мы находим «средний класс» в значении, близком к французской «буржуазии»: это «банкиры, купцы и мануфактуристы», а также «антрепренеры... заводчики и фермеры». Более того, здесь категория получает некоторую проектную ценность. Расположенный между «высшим классом» и «простым народом», «средний класс еще не совер-

¹¹ «Один из самых печальных результатов петровского переворота — это развитие чиновничьего сословия. Класс искусственный, необразованный, голодный, не умеющий ничего делать...» (Герцен А.И. *Былое и думы*: в 3 кн. М.: Художественная литература, 1982. Ч. 2. Гл. XV). В некоторых случаях происходит обратный перевод российских категорий в европейские, например, когда автор говорит о «спартаковской жажде восстания рабочего класса против среднего сословия» в Англии (Там же. Ч. 6. Гл. IV).

¹² Сорокин П. *Преступление и кара, подвиг и награда: Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали*. М.: Астрель, 2006. С. 444–463. В кратком историческом обзоре Сорокин снова останавливается на сословиях, характеризуя победу третьего сословия во Франции как «окончательную точку в процессе уравнивания услуг и привилегий буржуазии» (Там же. С. 460).

шенно уничтожил всякую самобытность в высшем сословии и не совершенно поглотил его в себе... с каждым годом во всех странах средний класс торжествует экономические победы и часто наносит политические поражения своему сопернику»¹³. Европейское сходство оказывается неслучайным: как и во многих других случаях, речь идет не о России; контекст употребления понятия ограничен авторским разбором английской политэкономической теории. Тот же принцип управляет появлением «среднего класса» в небольших текстах Георгия Плеханова «Столетие великой революции» (1889) или «Огюстен Тьерри и материалистическое понимание истории» (1895).

Не менее показательны в этом отношении тексты Владимира Ленина. В работе «Развитие капитализма в России» (1899) среди социальных категорий, вовлеченных в становление нового экономического порядка при распаде традиционного крестьянского уклада, он упоминает «новые общественные классы, по необходимости стремящиеся к связи, к объединению, к активному участию во всей экономической (и не одной экономической) жизни государства и всего мира». Такой социальный тип ассоциируется с промежуточной категорией фабричного крестьянина, который представляет собой «особый класс населения, совершенно чуждый старому крестьянству, отличающийся от него другим строем жизни, другим строем семейных отношений, высшим уровнем потребностей, как материальных, так и духовных». Однако «особый класс» постоянно ускользает от окончательного превращения в понятие, несмотря на то что, наряду с «классом рабочих» и «буржуазией», в итоговую социальную типологию автор вводит такие менее очевидные классовые категории, как «зажиточные мелкие хозяева» и «бедные мелкие хозяева»¹⁴.

Отдельную категорию текстов составляют труды исследователей, активно оперирующих материалом большой истории. К их числу относится обширный историко-правовой труд Бориса Чичерина «Курс государственной науки» (1894), где вводится понятие «средние классы». Более того, оно представлено в целом ряде ключевых проектных контекстов: «посредствующим

¹³ Чернышевский Н.Г. Капитал и труд // Чернышевский Н.Г. Соч.: в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1987. С. 37.

¹⁴ Ленин В. Развитие капитализма в России // Ленин В. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 3. М.: Политиздат, 1971. С. 382, 547, 505.

звеном между богатыми и бедными может быть только средний класс», «за редкими исключениями, научное и литературное движение исходит от средних классов», «средние классы... не имеют ни времени, ни охоты посвящать себя общественной деятельности», при этом «преимущественно перед всеми другими, являются представителями общего права»¹⁵. Особенность текста состоит в том, что в общей историософской схеме, предложенной на его страницах, не проводится различий между обществами и географическими регионами, т.е. дана история человечества. При этом в культурных и политических отсылках неизменно доминируют имена европейских деятелей, что по умолчанию сообщает истории мира очевидный европоцентризм. Сходная логика характерна уже для более ранних исторических работ. В трудах Николая Устрялова (1837–1841), Тимофея Грановского (1849–1850), где вводятся «средние классы», история России помещена в контекст европейской истории. И именно в этой сравнительной перспективе новое понятие получает смысл, прямо отсылая к эталонной структуре европейских обществ¹⁶.

В плотно насыщенном социальными категориями исследовании «Экономический строй России» исторического социолога Максима Ковалевского (1900)¹⁷ мы обнаруживаем целую серию социальных понятий, отношения и соответствия между которыми, впрочем, не прояснены: «низшие классы», «ремесленники», «буржуазия», «крестьяне», «сельская буржуазия», «крупная городская буржуазия», «капиталисты», «дворяне», «духовенство», «промышленный и торговый класс», «торговое сословие», «коммерсанты», «предприниматели», «рабочие», «мещане», «мелкое сословие» и даже «сельское и городское среднее сословие» или просто «среднее сословие». Последнее контекстуально наиболее близко к «среднему классу»: слой собственников, не принадлежащий ни к дворянству или духовенству, ни к «низшим классам». Однако именно в этом тексте понятие не получает никакого проектного смысла, т.е. не связывается с прогрессом,

¹⁵ Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Т. I–III. М.: Типография товарищества И.Н. Кушнерев и Ко, 1894. Т. II. Кн. 3. Гл. VI «Общественные классы».

¹⁶ Леонтьева О. Понятие «класс» в российской мысли XIX — начала XX века // «Понятия о России»... С. 303–304. Например, у Грановского «средний класс» — это купечество и флорентийские банкиры.

¹⁷ Этот текст тогда же переведен с французского.

демократией и т.д., и растворяется в череде синонимов и замен. В другом труде Ковалевский использует «классы» и «сословия» как полные синонимы, в том числе когда говорит о «среднем» или «третьем»: «Что касается третьего сословия, состоявшего из городских и сельских обывателей, то оно пользовалось единственной привилегией — платить налоги, от которых высшие классы были освобождены»¹⁸. В целом сравнительные или историко-философские работы историков, вероятно, играют кардинальную роль в переносе классовых моделей в российский публичный оборот. Однако даже если в таком переносе задействованы «средние классы», понятие сохраняет плотную связь с европейским миром и исчезает при устранении этой точки отсчета.

Таким образом, во всем корпусе текстов, не исключая марксистские, понятие «среднего класса» остается отчетливо *экстерриториальным*. Оно фиксирует опыт европейского мира и четко маркирует границу между ним и Россией¹⁹. Учитывая показательное отсутствие у понятия какой-либо символической ценности, неразрывно связанное с его крайне спорадическим употреблением, мы можем сделать важный вывод. Даже в тех случаях, когда авторы пользуются, казалось бы, одним и тем же понятием «класс» применительно к обоим мирам, на каждый из них они проецируют принципиально разные социальные типологии. Очередной яркой иллюстрацией этому становится подробное исследование Василия Ключевского «История сословий в России» (1886), где «средний класс» отсутствует, а понятия «класс» и «сословие» используются как частично взаимозаменяемые: «Сословиями мы называем классы, на которые делится

¹⁸ Ковалевский М. Очерки по истории политических учреждений России / пер. с фр. А. Баумштейна под ред. Е. Смирнова. СПб.: Издание М. Пляголева, 1908. С. 39.

¹⁹ Для домарксистского периода этот вывод, возможно, будет справедлив и в отношении «классов» в целом, за некоторыми исключениями. В своем анализе Ольга Леонтьева демонстрирует, как понятие «класс» входит в интеллектуальный оборот русского XIX века, сохраняя высокую лабильность значений (Леонтьева О. Указ. соч. С. 10). При этом она не проводит последовательного различия контекстов: говорят ли историки, публицисты, философы о «классах» в Европе или в России. Некоторые детали цитируемых текстов заставляют думать, что, если «класс» используется как социальный, а не административно-юридический термин, у одних и тех же авторов он будет чаще встречаться в описании европейских реалий, нежели российских.

общество по правам и обязанностям»²⁰. Говоря о классах как о разрядах внутри сословий, Ключевский пользуется понятием как инструментом административной и научной, а не социальной в современном ему смысле типологии. По фискальному и политическому положению он выделяет «вооруженный класс», «служилый класс», «класс бояр», «класс приказчиков», «класс богатых людей», «свободные классы» и т.д.

Ограничиваясь в своем анализе периодом до первой половины XVIII в., Ключевский оставляет шанс для более современных альтернатив. Возможно, в интеллектуальной и политической понятийной сетке конца XIX в. формируется не прямой словарный эквивалент «среднего класса»? Не выполняют ли эту функцию «разночинцы», «третье сословие», «средний слой» или даже «третий элемент», появляющийся в публичном обороте на рубеже веков?

Некоторые из этих альтернатив обладают отчетливым проектным потенциалом, но попадают в первую очередь не в сетку социальных и экономических делений, а в рамки явственно политических оппозиций. Это относится к «третьему элементу», который становится обозначением для наемных земских служащих, участвующих в местных учреждениях наряду с правительством и земством. Такая узкая и, казалось бы, техническая категория признается изобретателем понятия «большой политической опасностью для существующего государственного строя»²¹. Десятилетием позже отдельные авторы связывают с ним надежды на смену политического строя в пользу конституционного (Там же). «Среднее сословие», на первый взгляд, лучше всего подходит на роль понятия-проекта, эквивалентного «среднему

²⁰ Строго говоря, наряду с этим общим определением, открывающим текст, автор предлагает развернутое объяснение тому, как «экономические классы превращались в политические сословия». Иначе говоря, между «классами» и «сословиями» в большинстве случаев прослеживаются родо-видовые отношения. Мимоходом Ключевский замечает: «С великими усилиями складывались и пробивались промежуточные классы, которые отрывали себе частички прав высшего сословия, платя за них частями обязанностей низшего». Но в рамках исторической систематики эти «промежуточные» классы не получают никакого общего обозначения и проектного смысла, распадаясь на ряд исторических категорий (все цитаты даны по: Ключевский В.О. История сословий в России. Полный курс лекций. Минск: Харвест, 2004).

²¹ Колеров М., Плотников Н. Примечания // Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991. С. 531.

классу». Однако его смысл далек от привычного нам, который формируется в результате нескольких переопределений. Историческая ирония заключается уже в том, что иллюзорна сама традиционность сословного строя в России. Понятие «сословия», термина церковного происхождения, спроецированного на все общество, становится таким же новшеством для второй половины русского XVIII века, как «классы» — для второй половины XIX. В своем исследовании Ингрид Ширле показывает, что до 1760-х годов в России «сословий» попросту не существует, а социальные категории за пределами полюсов двухчастной модели недооформленны и очень подвижны. Изобретение «сословий», или «родов», в терминологии государственного акта, которым они учреждаются, — это проектный ответ на «нехватку третьего сословия», которая дисквалифицирует Россию перед лицом европейских обществ в век Просвещения²². В подобных обстоятельствах «третье сословие», безусловно, предстает ключевым понятием-проектом, хронологически углубляя ту перспективу, где даже в административной практике отсутствует устойчивая сетка социальных делений. Однако в проектом характере этого понятия предшествующего периода заключена и его проблематичность для последующего. В первую очередь оно отражает иерархию прав и привилегий при Старом порядке, нередко наследуемых. Тогда как понятие «класса» во второй половине XIX — начале XX в. отчетливо вписывается в один контекст с собственностью, личностью и политическим влиянием.

Менее официальный «средний слой» появляется в целом ряде контекстов этого периода, в том числе в примечаниях работы Ленина о развитии капитализма, где он поясняет его как «разночинцев, интеллигенцию» и квалифицирует следующим образом: «так характерен для капиталистического развития всех стран, не исключая и России»²³. Казалось бы, единый контекст

²² Ширле И. Третий чин или средний род: история поиска понятия и слов в XVIII веке // «Понятия о России»... Уже в дебатах XIX в. учреждение сословий государственным актом становится для некоторых интеллектуальных групп основой для противопоставления искусственных «сословий» естественно складывающимся «классам» (Леонтьева О. Указ. соч.). При этом те авторы, кто вносят решающий вклад в учреждение оппозиции между «сословиями» и «классами», как историк Александр Градовский, могут утверждать, что в современном им российском обществе (1875) классов нет (Там же. С. 313).

²³ Ленин В. Указ. соч. С. 488.

капитализма располагает высказывание к поиску соответствий между «средним слоем» разночинцев и европейским «средним классом» через экономическую и цивилизационную активность обоих. Однако, как и в «Вехах», оппозиция, полюс которой маркирует эта категория, в первую очередь — культурная и отчасти политическая. У Ленина она противопоставляется быту, «близкому к дореформенному, с бесправием, темнотой и приниженностью привязанного к заводам населения, с “добросовестным ребяческим развратом” “господ”»²⁴. У Чернышевского «средний класс», «средний слой» и «среднее сословие» — простые синонимы в указанном контексте разбора английской политэкономии. Во введении к «Экономическому строю России», адресованному французской публике, Ковалевский говорит о «деревенском третьем сословии, стоящем за частную собственность», чьему возникновению хотели бы воспрепятствовать «горячие защитники русского “мира” и периодических переделов»²⁵. Кажется, наконец, найдено искомое понятие-проект, которое контекстуально привязано к универсалии собственности, при этом будучи частью, во-первых, цивилизационной контрверсы, во-вторых, контекста глобального капитализма. Однако и это «сословие», которому лучше подходит квалификация класса, встроено автором в демонстрацию аналогии между современными ему российскими дебатами и европейской экономической мыслью XVI–XVII вв.

Остается ли «средний класс» призраком в пространстве русской публичной речи? Очевидно, что более точный поиск соответствий или разрывов с европейским словарем требует более детального исследования, начало которому уже положено. Но сейчас можно выдвинуть гипотезу, которая вряд ли будет всерьез поколеблена более тщательной проработкой текстов и контекстов русской социальной мысли XIX — начала XX в. Даже если в этом корпусе публичной речи в некоторый момент появляется «третий элемент», наделенный всеми признаками социальной категории-проекта, такой, например, как «интеллигенция», вся понятийная сетка и система оппозиций, в которую она встроена, блокирует ее отождествление со смысловым ядром «среднего

²⁴ Ленин В. Указ. соч. С. 488.

²⁵ Ковалевский М. Экономический строй России / пер. с фр. СПб.: Издание А.В. Ермолаевой, 1900. С. 4.

класса» европейских обществ. И господствующие реформистские, и более радикальные революционные ожидания оставляют «средний класс» по ту сторону европейской границы и описывают российское общество и проецируемые на него изменения по преимуществу либо в сословных терминах, либо, в случае осознанного разрыва с ними — в бинарных противопоставлениях «имущих» и «неимущих», «образованных» и «темных». Как понятие-проект, а зачастую и как простое словарное вхождение, «средний класс» почти не представлен в интеллектуальной и политической речи второй половины русского XIX века.

Это означает, что данный период не может быть горизонтом заимствования для российской политической риторики 1990-х годов, социологической литературы и школьных учебников, где прочно обосновывается «средний класс». Новый тип речи об обществе, который заполняет публичную сцену в момент отказа от советского проекта, отсылает к совсем иным понятийным образцам, нежели сословные схемы Старой Европы или культурно-этический конструкт «интеллигенции». Их во многом формируют перевод и популяризация англоязычных текстов 1950–1960-х годов, где «средний класс» определяется через объективную структуру занятости, образования и доходов. Но как тогда в эти по видимости нейтральные описательные модели проникают нормативные и проектные смыслы, подобные «функции стабилизатора»? Прояснить эту двойную конструкцию 1990-х позволяет обращение к длительной международной истории понятия, из которой в различных комбинациях заимствуются элементы, не всегда связанные между собой изначально²⁶. Особая роль принадлежит здесь французскому горизонту заимствований. Но в семантическом, как и в социальном измерении это совсем другая история.

²⁶ Формула Козеллека об аккумуляции «долгосрочно действующего опыта... который воплотился в понятии» (Козеллек Р. Социальная история и история понятий // Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XX века. Вып. 5. СПб.: Алетейя, 2006. С. 52), которую он использует для иллюстрации данности, схваченной в понятии и регулирующей его использование, вполне применима и к самому полю понятия. За все время, пока понятие используется и имеет положительную социальную ценность, в этом поле аккумулируются смыслы и контекстуальные связи, которые могут быть реактивированы при повторных обращениях к понятию в поисках ресурсов описания, инструментов борьбы, источников легитимности и т.д.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ «СРЕДНЕГО КЛАССА»: СОБСТВЕННОСТЬ И УМЕРЕННОСТЬ²⁷

Некоторые элементы понятийного конструктора «среднего класса» вводятся уже более полутора веков назад, иные дополняют и переопределяют их в послевоенные десятилетия XX в. Сделав несколько широких хронологических шагов в обратном направлении, мы без труда локализуем контекст, в котором «средний класс» обретает первоначальный смысл: французский XIX век, озабоченный угрозой очередной революции. Одним из первых, кто обнаруживает существование «среднего класса» и его политических добродетелей, обязанных собственности, становится Алексис де Токвиль в своем знаменитом труде «Демократия в Америке» (1835–1840)²⁸. Как я уже указывал, некоторые исторические исследования возводят, если не сводят, категорию «среднего класса» к революционному «третьему сословию» Франции²⁹. Попытка установить преемственность, безусловно, не беспочвенна в исторической ретроспективе и может иметь своим посредующим звеном понятия, подобные «классу разночинцев»³⁰. Однако она полностью расходится со

²⁷ Я благодарен Дому наук о человеке (Париж), стипендия которого позволила осуществить часть работы по этой теме и уточнить ее концептуальную модель.

²⁸ Во французском оригинальном тексте Токвиль чаще употребляет понятие «класс» во множественном числе, среди прочего говоря о «средних классах» (отличие от русского перевода), что отвечает французской до- и немарксистской традиции использования классовых категорий.

²⁹ Эту традицию продолжает упомянутое исследование Михаила Велижева, который указывает на прямую генетическую связь между двумя понятиями поначалу во французских источниках, а затем и в их ранней российской рецепции (Велижев М. Указ. соч.). Можно утверждать, что такая генеалогия во многом обязана эффекту обратной перспективы: прочтению французских текстов через призму консервативных российских. Как мы увидим далее, уже в середине XIX в. отождествление «среднего класса» с «третьим сословием» архаично и характерно в большей мере для сторонников монархии, к каковым не относились ни Токвиль, ни большинство французских авторов, использующих понятие «средние классы».

³⁰ См.: *Piguet M.-F. Classe. Histoire du mot et genèse du concept*. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 1996. P. 19. Почти за полвека до Революции, в «Энциклопедии» 1756 г. и в ряде других источников понятия «третье сословие» (*Tiers-Etat*) и «класс разночинцев», а также более широких социальных «сословий» (*ordres*) и «классов», могут фигурировать как взаимозаменяемые. Однако это не относится к «среднему» или «среди-

схемой конструирования самой категории в текстах XIX в., в отличие от только что рассмотренного русского XIX века. Труды Токвиля и более поздних авторов часто содержат отчетливое противопоставление между обществом, которое включает растущий «средний класс», и сословным порядком Старого Света. Иначе говоря, понятие «средний класс» в речи целого ряда французских политических мыслителей отмечает не политическую или социальную преемственность, а разрыв, причем разрыв двойной: с монархическим режимом, с одной стороны, и с революционным настроением (третьего сословия) — с другой. Этот разрыв становится первым элементом смысловой конструкции нового *понятия-проекта*.

В момент написания текста Токвилем режим демократии, как и само понятие, все еще предстает политической новинкой во Франции. Не меньшей неожиданностью оказывается общественное устройство, в котором «нет более расы бедняков... и расы богачей; люди ежедневно выбиваются из гущи народных масс и беспрестанно туда же возвращаются»³¹. Токвиль проводит блестящий сеанс показательного сравнения двух социальных порядков, вместе с образом трудолюбивой Аркадии вводя в оборот новые нормативные универсалии. В обществе без жесткого разделения на господ и слуг обширный средний класс отличает «упорное и цепкое чувство собственности» людей, «живущих в приятном достатке, равно далеко как от роскоши, так и от нищеты». Именно потому «в демократических обществах большинству граждан представляется не вполне ясным, что они могли бы приобрести в результате революции, но они ежеминутно так или иначе осознают, чего они могут из-за нее лишиться». Указывая на прямую связь между социальным спокойствием и численностью класса средних собственников, Токвиль прямо противопоставляет широкую гражданскую солидарность в Соединенных Штатах узкой внутрикорпоративной солидарности в европейских обществах, приглашая своего

ному классу» (*classe mitoyenne*), который появляется во французской политической публицистике лишь в начале XIX в. (*Portis L. Les classes sociales en France. Un débat inachevé (1789–1989)*. P.: Les Editions Ouvrières, 1988. P. 23).

³¹ Токвиль де А. Демократия в Америке / пер. с фр. В.Т. Олейника, Е.П. Орловой, И.А. Малаховой, И.Э. Иванян, Б.Н. Ворожцова. М.: Прогресс, 1992. С. 459, 460, 416.

французского читателя распространить «сказанное... об одном классе на весь народ в целом», чтобы оценить преимущества демократии среднего класса³².

В истории европейских дебатов невозможно обойти стороной английский контекст понятия. Из исследования Вармана Дрора следует, что и в британских интеллектуальных и политических дебатах «средний класс» получает новое звучание и возросшую символическую ценность именно при обсуждении итогов Французской революции. Причем происходит это раньше, чем в самой Франции, а именно, в течение двух-трех лет после 1789 г.³³ Английские авторы 1790-х годов занимают позицию в споре о причинах Французской революции в зависимости от своей политической чувствительности. В силу этого пространство высказываний содержит полярные оценки роли «среднего класса»: от указаний на то, что именно он стал виновником разрушения порядка (Эдмунд Берк), до сожалений, с которыми перекликается более поздний тезис Токвиля, о том, что причиной революции было отсутствие во Франции среднего класса, посредующего между «богатыми и бедными»³⁴. В дискуссиях, проходящих в Британии 1790-х, как и позже во Франции, мы находим близкие указания на особую добродетельность среднего класса и средних сословий. Однако в отличие от французской риторики сдерживания революции, в английской прогрессистски настроенные авторы делают упор на стремление к свободе и *противодействие тирании*, которые возможны благодаря «об-

³² Историческая фикция единого «гражданского сословия» вводится в интеллектуальный и политический оборот Франции за несколько десятилетий до Революции и усилиями историков-«романистов», которые указывают на позднее формирование знати у франков, происходящее путем узурпации. В 1734 г. в знаменитом труде «Критическое исследование истории установления французской монархии в Галлии», Жан Батист Дюбо утверждает: «[Изначально] все франки образовывали не что иное, как одно и единственное сословие граждан» (цит. по: *Piguet M.-F. Classe. Histoire du mot et genèse du concept*. P. 25). Однако этот элемент смыслового конструктора, доступного Токвилю, все еще крайне далек от того экономического и политического смысла, которым автор «Демократии в Америке» наделяет «средние классы», обнаруженные им не в утопическом прошлом французской истории, а в не менее утопическом настоящем соседнего континента.

³³ *Dror W. Imagining the Middle Class: The Political Representation of Class in Britain. C. 1780–1840*. N.Y.: Cambridge University Press, 1995.

³⁴ *Токвиль А.* Указ. соч. С. 29, 50–52.

разованности, достоинству, моральным принципам, правдивости» среднего класса, впрочем, без обращения к демократии как альтернативе тирании³⁵. Иными словами, введение «среднего класса» в контекст Французской революции получает различный смысл во Франции и Англии, по крайней мере, для отдельных фракций авторов. Во Франции это понятие наделяется ценностью в надежде на предотвращение крайности революционного катаклизма, в Англии ряд авторов делают то же самое, рассчитывая предотвратить другую крайность — деспотическую монополию.

Сходная с Токвилем логика обнаруживается тремя десятилетиями позже в контексте, который не отсылает напрямую ни к демократии, ни к среднему классу. Однако он так же прочно связывает малую и среднюю собственность с будущим общества, движущегося по пути свободы и процветания. Такую формулу предлагает один из ключевых исторических деятелей, утверждающих республиканское правление во Франции. В 1874 г. Леон

³⁵ При всем содержательном интересе, который представляет работа Дрора, она остается проблематичной в свете интересующей меня лексической генеалогии понятия. Рассматривая как полные синонимы «средний класс», «средние чины» (*middle ranks*), «третье сословие», «буржуазию» и «джентри», где «средние» важнее всего прочего (р. 15), Дрор анализирует как единый корпус тексты, в которых вводится хотя бы одна из этих категорий. Для него это оправдано как удобством сопоставлений между Англией и Францией, так и тем неявным допущением, что при переходе от одного словарного термина к другому не меняется их референт. При этом во введении к книге он сам указывает, что в английских дискуссиях 1790-х годов ясный социальный референт за понятием «средний класс» не закреплён, и речь идет, скорее, о комплексе политических и моральных импликаций. Далее я покажу, что во Франции понятия этого семантического кластера не имеют единого референта. Это так в случае французских «средних классов» и «третьего сословия». Но это справедливо и в отношении французской «буржуазии» и английского «*gentry*», которые к тому же имеют более определенный социальный смысл, нежели проектные «средние классы» в обоих обществах. Если к этому прибавить позднейшие французские попытки обратного социального перевода катализированного Французской революцией английского «среднего класса» (см., напр.: *Nisard D. Les classes moyennes en Angleterre et la bourgeoisie en France*. P.: Michel-Lévy frères, 1850), картина усложняется еще больше. При том значении, которое в оценке Революции и в дебатах о социальном мире могут приобретать смысловые оттенки, история взаимного словарного перевода с французского на английский и обратно представляется заслуживающей отдельного содержательного исследования.

Гамбетта провозглашает: «Любая собственность, что создается — это гражданин, который рождается. Ибо собственность, которую нам представляют как врага, в наших глазах — это высший и подготовительный знак моральной и материальной эмансипации индивида»³⁶. В республиканской традиции Франции эта линия отнюдь не маргинальна. Почти веком ранее Конституционная ассамблея включает право собственности в список прав человека, а Сент-Жюст объявляет: «Собственность патриотов священна»³⁷. И хотя в данном случае не собственность определяет гражданина, а гражданин — собственность, Гамбетта лишь обращает этот революционный республиканизм вспять, придавая ему мирную форму: собственность делает гражданина возможным. Крайне соблазнительно видеть прямое структурное соответствие между двумя словарями, предложенными в двух различных политических контекстах — «демократия — средний класс» и «республика — гражданин-собственник». Вероятно, более основательный анализ неразрывно интеллектуальной и политической истории Франции позволит обнаружить те связи и посредующие звенья, которые делают это соответствие неслучайным. Уже при точечных сопоставлениях можно обнаружить некоторые смысловые параллели поверх политических расхождений.

Так, почти одновременно с публикацией «Демократии в Америке» появляются тексты, посвященные средним классам в самой Франции. К их числу относится книга Эдуарда Аллеца «О новой демократии, или о нравах и могуществе средних классов во Франции»³⁸. Последние признаются современным явлением, «поскольку в Античности эти самые классы не существовали. Сыны науки и труда, они родились вчера и приведут в мир новую форму правления — ту, что я называю новой демократией

³⁶ «A chaque propriété qui se crée, c'est un citoyen qui se forme». Цит. по: Goodliffe G. *The Resurgence of the Radical Right in France: From Boulangisme to the Front National*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 70. Я благодарен Даниель Тартаковски за указание на этот важный тезис Гамбетта.

³⁷ Кастель Р. *Метаморфозы социального вопроса: Хроники наемного труда* / пер. с фр. Н. Шматко, О. Кирчик, Ю. Марковой под ред. Н. Шматко. СПб.; М.: Алетейя; ИЭС, 2009. С. 348–349.

³⁸ Alletz E. *De la démocratie nouvelle, ou des mœurs et de la puissance des classes moyennes en France*. P.: Imprimerie de Pommeret et Moreau, 1837.

или, еще лучше, поликратией [правлением множества]»³⁹. Здесь «средние классы» также маркируют разрыв между двумя историческими эпохами. Однако попытка говорить о современном автору явлении, парадоксальным образом и в отличие от Токвиля, замыкается не на опыт социальных неравенств и императив их смягчения, а на сословные категории Старого порядка, где «средний класс» прямо отождествляется с «третьим сословием»: «Существование и величие у разных наций этого сословия, которое зовется третьим и которое, примыкая к аристократии в просвещенности и богатстве, к демократии — по рождению и численности, достаточно сильны, чтобы заместить первую и удовлетворить вторую»⁴⁰. Объяснение этому — политическая позиция автора. В противоположность Гамбетта, который видит в средней частной собственности инструмент освобождения индивида и утверждение Республики, Аллец усматривает в ней же опору для монархии. Однако политическое расхождение не опровергает логики двойного разрыва, ведущего к стабильности: в обоих случаях средний собственник признается опорой режима, не расположенной к его революционной дезорганизации.

И все же новаторские политические и социальные понятия, которые мы встречаем у Токвиля, наиболее последовательно переносятся на местные реалии не там, где индивидуальная свобода гражданина усматривается в его обеспеченности, как и не там, где таковая призвана благоприятствовать реставрации короны, а там, где она снова сталкивается с соблазнами и угрозами дестабилизации порядка — на сей раз со стороны социализма и анархизма. В одной из брошюр, посвященной вопросу

³⁹ Ibid. P. X. Критикуя традиционную «старую демократию», автор при этом характеризует «новую демократию» как ограниченную «до той степени, в которой она становится совместимой с королевской властью» (Ibid.).

⁴⁰ Ibid. P. IX. 43–44. Схожим образом «средний класс» определяется в другой книге, опубликованной годом позже: *Ledoyen J. De l'Éducation politique des Français, pour la classe moyenne*. P.: Imprimerie de Félix Malteste et Cie, 1838. Или в речах Франсуа Гизо, произнесенных в Палате депутатов в 1837 г., где «средние классы» отождествляются с буржуазией, морально отличной от «прежней буржуазии, этого среднего класса трехсотлетней давности», но также определяемой через ее отношение к аристократии (опубликованы в приложении к книге: *Alletz E. De la démocratie nouvelle...*).

средних классов и демократии во Франции (1868), анонимный автор определяет средние классы как слой рабочих, расположенный между двумя крайностями: высшим слоем рабочих-идеологов социализма и низшим слоем «невежественной и грубой черни... бессознательного врага прогресса и свободы труда, не признающей иного закона, кроме силы. Варварский элемент, который, как хотелось бы верить, растворился в современной цивилизации, если [недавние] события... не являли бы его вечно готовым к повторному участию в промышленных кризисах или уличных беспорядках»⁴¹. Между двумя крайностями, каждая из которых по-своему разрушительна, средний класс наделяется такими восхваляемыми чертами, как «наиболее рассудительный, сильнее прочих привязанный к своим обязанностям, обзаводящийся семьей и намеренный экономить, безразличный к политическим вопросам, которые не затрагивают напрямую его интересов... В конечном счете, порядочное население, которое завоевывается добрым примером» (Ibid.). Такая конструкция имеет осязаемые сходства с доктриной «золотой середины» (*juste milieu*) начала 1830-х годов, только избавленной от монархической апологетики.

В тот момент «демократия» все еще предстает спорным понятием для целого ряда могущественных политических фракций, и автор берет на себя задачу доказать, что этот режим не следует отождествлять с простым «подавлением просвещенных классов грубой силой численности»⁴². Надежду на созидательную роль демократии, с характерным для нее расширением круга участия в общественных приобретениях, он связывает, помимо прочего, с «постепенным исчезновением пролетариата, этой последней разновидности крепостничества» и «браком по расчету между

⁴¹ Les classes moyennes dans la démocratie moderne, des causes qui menacent leur influence, des conditions qui peuvent la maintenir. P.: Guillaumin et Cie, 1868. P. 6–8.

⁴² Та же характеристика 30 годами ранее служит определяющим признаком «старой демократии» у Аллеца, который в своем труде подвергает таковую сомнению и критике. К слову, в данном случае, как и в ряде других, «демократия» означает не только политический режим, но и низшие социальные классы на подъеме, т.е. отдаленный синоним «демоса». Эта мерцающая между политическим и социальным полюсами семантика важна для понимания того, какое сопротивление понятие могло вызывать у наиболее традиционных и консервативных политических фракций.

буржуазией и народом». При этом, напоминает автор, «не позволим себе забыть, что демократия должна иметь иную цель, нежели заместить деспотизм верхов тиранией низов, и что над верховенством народа есть верховенство разума, справедливости и права»⁴³.

Более нам привычную и исторически устойчивую генеалогию «средних классов» предлагает в тот же период прямой политический оппонент анонимного автора: исследователь, анархист и парламентарий Пьер Жозеф Прудон. В одном из последних сочинений, опубликованном сразу после его смерти и посвященном рабочему классу (1865), Прудон связывает средний класс с идеалом единой гражданской нации, который сближается с картиной американского общества у Токвиля: «Что в первую очередь отличало французскую нацию по выходе из горнила Революции и что делало ее на протяжении почти полувека образцовой нацией — это тот дух равенства, то стремление к уравниванию, которые, казалось еще недавно, растворят всю капиталистическую аристократию и всех наемных тружеников в едином классе, который мы со всей справедливостью назвали средним классом»⁴⁴. Как и у Аллеца, рождение «среднего класса» здесь датировано новой эпохой. Так же как анонимный автор, Прудон находит, что для «рабочей демократии и среднего класса их спасение — в их альянсе». Противопоставляя этот идеал усилению «капиталистической и промышленной верхушки [féodalité]» и ряду экономических сдвигов, в результате которых средний класс был «в конечном счете замещен бюрократией, высшей буржуазией и наемными тружениками», Прудон констатирует «упадок среднего класса»⁴⁵, как если бы этот класс уже существовал во французском обществе середины XIX в.

Тут мы без труда обнаруживаем противоречие между Токвилем, который не наблюдает средних классов в Европе своего времени, и Прудоном, который четверть века спустя признает время Токвиля периодом расцвета французского среднего класса. Эмпирическая двусмысленность этой категории, которую Токвиль связывает с лучшим будущим Франции и которая у

⁴³ *Les classes moyennes...* P. 9, 10.

⁴⁴ *Proudhon P.-J. De la Capacité politique des classes ouvrières* / ed. par G. Chaudey. P.: Libraire-Editeur E. Dentu, 1865. P. 224–225.

⁴⁵ *Ibid.* P. 260.

Прудона, «казалось», обрела реальность, но так ее и не обрела, указывает на ее характер понятия-проекта во французском XIX веке. Нормативность высказывания Прудона подкрепляется целым рядом свойств текста, включая парафизическую метафорику «среднего», в данном случае применимую к человеческим возможностям, но часто встречающуюся в позднейшей апологии среднего класса: «Как и в термометре, и для разума, и для силы, у нас имеются крайние значения и среднее»⁴⁶. В целом при всех политических расхождениях французские авторы 1860-х годов сходятся в нормативном определении среднего класса как категории, способной воплотить в себе преимущества общественного прогресса.

Что не менее любопытно, признание инструментального характера демократии среднего класса в утверждении прогресса, верховенства права, «брака по расчету» между антагонистическими социальными силами, который развитие демократических институций ведет к «исцелению от невежества, нищеты и деморализации неимущих классов»⁴⁷, обнаруживает удивительное созвучие с куда более поздними, в частности, российскими образцами социальной риторики. Последняя предписывает образованным классам с растущим благосостоянием «исполнить важнейшую для обеспечения прогрессивного развития функцию социального стабилизатора, смягчающего силовые действия классов-оппонентов, препятствующего лобовым столкновениям их политических представителей»⁴⁸. Более чем веком позже политическая умеренность среднего класса во влиятельной публикации политолога Владимира Пантина (Умова) наделяется автором той же ценностью перед лицом опасных крайностей, которую мы находим у французского анонима 1860-х: «Он не приемлет и никогда не согласится с приоритетом каких-либо целей, направленных на удовлетворение классовых — буржуазных или рабочих — интересов; в этом смысле он скорее ориентируется на интересы нации-государства. Средний класс поддерживает либерализм, он содействует модернизаторской линии, причем, будучи прогрессистом по натуре, отвергает эгалитаризм и разумно относится к трудовому вкладу, ценности и

⁴⁶ Proudhon P.-J. Op. cit. P. 123.

⁴⁷ Les classes moyennes... P. 20.

⁴⁸ Умов В.И. (Пантин В.И.) Указ. соч. С. 29.

компетенции каждого индивида»⁴⁹. Это те элементы понятийного конструктора, которые присутствуют в семантическом поле французского понятия XIX в. и реактивируются при повторном обращении к нему в совсем ином политическом контексте.

Между этими двумя типами высказывания: французским конца 1860-х (и даже токвилевским 1840 г.) и российским начала 1990-х — отсутствует прямая генетическая связь⁵⁰. Более уместно говорить о сходстве способов определять ключевое понятие при структурном сходстве условий, в которых формируется нормативное высказывание. Когда искомая категория еще отсутствует в общепринятой сетке социальных делений, при описании среднего класса доминирует нормативный универсалистский язык *гармонизации* общественного целого — язык, носителем которого поначалу выступает образованный политический истеблишмент в предреспубликанской Франции и академический истеблишмент в послесоветской России. Однако проектная речь о несуществующей (в национальном контексте) универсалии воспроизводится лишь до момента, пока ее референтом служит желательное будущее. В период, когда проект обретает реальность, характер публичного высказывания о нем кардинально меняется.

Это хорошо демонстрирует последующая политическая история Франции, где в 1920–1930-х годах универсалистский словарь гармонической миссии средних классов сменяется партикуляристским словарем их *кризиса*. Мотивы «упадка среднего класса», угрозы его пролетаризации, в ряду прочих озвученные еще Прудоном, и даже его уничтожения становятся здесь центральными. Это происходит, когда умозрительная социальная конструкция, используемая в интеллектуальных проектах, уступает место политически мобилизованной группе, публично и широко выступающей от собственного имени. Ее предста-

⁴⁹ Там же. С. 28.

⁵⁰ Отсылки к Токвилю фигурируют в более поздних российских апологиях демократии собственников, однако автор цитируемой статьи на него не ссылается, хотя, по его воспоминанию, к тому времени он знаком с «Демократией в Америке» (из переписки с автором, 21.11.2013). Для обоснования стабилизирующей функции среднего класса в статье он прибегает к авторитету Арнольда Тойнби, Макса Вебера, Толкотта Парсонса, Сеймура Липсета, Джорджа Оруэлла и даже Пьера Бурдьё. Из российских авторов он впоследствии выделяет как важных для него в тот период Юрия Леваду и Игоря Клямкина (из переписки).

вители, прямо утверждающие свою принадлежность к средним классам, вовсе не пользуются риторикой «процветания» и говорят лишь о необходимой «защите средних классов»⁵¹. Причем сами они уже не принадлежат к высшему политическому и академическому истеблишменту. Это та самая «Франция лавочников, ремесленников, мелких земельных собственников», которая активно сопротивляется введению социальной защиты для наемных работников и реорганизации всей социальной структуры вокруг наемного труда⁵². В их речи, наряду с мотивами «кризиса среднего класса», мобилизация сопровождается открытой критикой той высокой символической ценности, которую государство присваивает «рабочему» под давлением профсоюзов наемных работников.

Оценить, кто на пике мобилизации 1930-х годов говорит о среднем классе и от его лица во Франции, можно несколькими способами⁵³. Один из наиболее простых заключается в том, чтобы обратиться к спискам представителей Всеобщей конфедерации профсоюзов средних классов, учрежденной в конце 1930-х и производящей наиболее заметные публичные высказывания по теме. В исполнительное бюро Конфедерации входят представители от профсоюзов сельскохозяйственников, ремесленников

⁵¹ Почти одновременно с Прудоном, т.е. задолго до 1920–1930-х, к схожему словарию, а также к критике централизации политической власти и финансового капитала, прибегают мелкие предприниматели и торговцы, которые уже в конце 1880-х создают Профсоюзную лигу защиты интересов труда, промышленности и коммерции, поначалу открыто симпатизирующую социализму (*Nord Ph. The Small Shopkeepers' Movement and Politics in France, 1888–1914* // *Shopkeepers and Master Artisans in Nineteenth-Century Europe* / ed. by G. Crossick, H.-G. Haupt. L.; N.Y.: Methuen, 1984). Схожие формы мобилизации и кризисной публичной речи можно также наблюдать в Англии, Германии, Бельгии (*Crossick G. Shopkeepers and the State in Britain, 1870–1914* // *Ibid.*).

⁵² Кастель Р. Указ. соч. С. 359.

⁵³ Обращение к целому ряду исторических исследований, посвященных политической истории средних классов во Франции, представляет собой один из таких способов. См., напр.: *Berstein S. Histoire du Parti radical*. 2 vols. P.: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1980, 1982; *L'Univers politique des classes moyennes* / sous la dir. de G. Lavau, G. Grunberg, N. Mayer. P.: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1983; *Ruhlmann J. Ni bourgeois ni prolétaires: la défense des classes moyennes en France au XXe siècle*. P.: Seuil, 2001; *Histoire des mouvements sociaux en France: de 1814 à nos jours* / sous la dir. de M. Pigenet, D. Tartakowsky. P.: La Découverte, 2012.

(таксисты), управленцев, торговли (мясники), малой и средней промышленности (производители и распространители газа и электричества), либеральных профессий (медики)⁵⁴. Рамочные категории «труд» и «капитал», как и тезис об их глобальном столкновении, сохраняются в публичной речи, производимой этим органом. Однако свое определение средний класс, как и его беды, получают через куда более материальные понятия-посредники, такие как «покупательная способность», «доходы», «сбережения», «профессия», «закупочные цены» или «пролетаризация», «инфляция» (Ibid.).

Новый тип публичной речи содержит важный элемент, который отсутствует в более ранних моделях высказывания. Это прямая адресация средних классов к государству, на которое политические представители из Конфедерации возлагают ответственность за проблемы, такие как губительные налоги, инфляция или цены на зерно, но также надежду на разумную политику поддержания средних классов, в частности, снижение налогового бремени. Исторически «средние классы» становятся предметом интереса отдельных фракций государственных администраторов и целых регионов уже на рубеже веков. Среди прочего, работа по конструированию этой категории происходит в рамках международных конгрессов, первый из которых проходит в бельгийском городе Льеже в 1903 г.⁵⁵ Конгрессы проводятся под эгидой Международного института изучения проблем средних классов, со штаб-квартирой в Брюсселе, который не имеет государственного или межгосударственного статуса. Однако в их работе и связанной с Институтом Ассоциации защиты средних классов (учреждена в 1907 г.) принимают участие

⁵⁴ Déclaration confédérale sur le syndicalisme des classes moyennes. P.: Confédération générale des syndicats des classes moyennes, 1938.

⁵⁵ Следующие три Международных конгресса средних классов проходят в Вене (1908), Мюнхене (1911) и Париже (1924). Эти конгрессы становятся продолжением Международных конгрессов малой буржуазии, первый из которых проводится в бельгийском Антверпене уже в 1899 г. (Le Béguec G. Prélude à un syndicalisme bourgeois. L'association de défense des classes moyennes (1907–1939) // Vingtième Siècle. Revue d'histoire. 1993. No. 37 (janvier-mars). P. 94). В целом превращение «малой буржуазии» в «средние классы» на протяжении первой трети XX в. происходит не только в ограниченной зоне международных контактов, но и на публичной сцене ряда европейских обществ, к числу которых относится Франция.

министры, региональные чиновники и депутаты разных стран, выступая в стратегическом альянсе с предпринимателями и исследователями по вопросам налогообложения, в частности, пропаганды опасности прогрессивного налога⁵⁶, торговли, образования и т.д. О важном значении, которое конгрессам придают принимающие их регионы, позволяют судить обширные списки приветственных выступлений, которые адресуют участникам высшие городские и государственные администраторы. Со своей стороны участники конгрессов могут прямо адресовать государству призывы «создавать и развивать в торговле, промышленности и сельском хозяйстве независимые и здоровые средние классы»⁵⁷.

Но практический диалог с государственными органами начинается, когда «средние классы» превращаются из кабинетной категории, или класса на бумаге, пользуясь термином Пьера Бурдьё, в реальность, заявляющую о себе в боевом листке и на страницах широкой прессы, в парламентском лобби и иных формах политической мобилизации, вплоть до уличных шествий. Пик мобилизации приходится на период, когда в ответ на неблагоприятную экономическую, в частности налоговую, конъюнктуру активизируются ранее созданные ассоциации и учреждается упомянутая Всеобщая конфедерация. Социологический анализ, который следует за этим пиком, с одной стороны, утверждает трансисторическое и транснациональное существование средних классов⁵⁸, с другой — очевидную «всем» проблему их текущего положения, корни которой подвергнуты разбору⁵⁹. Интеллектуальная характеристика роли и функций среднего класса, которая не предшествует его политическому оформлению, а следует за ним, во многом перехватывает кризисную самодиагностику его политических представителей, одновременно с тем заостряя вопрос о строгих критериях и ясных, вплоть до стати-

⁵⁶ *Le Béguet G.* Op. cit. P. 94.

⁵⁷ *Dr. Kerschensteiner.* L'Enseignement dans ces rapports avec le problème des classes moyennes // III^e Congrès international des classes moyennes, Munich 1911. München, 1912. P. 28.

⁵⁸ Так, наряду с историческими иллюстрациями и неизменными отсылками к Аристотелю, в сборник (см. след. сн.) помещена статья о «средних классах в СССР».

⁵⁹ *Aron R., Halbwachs M. et al.* Inventaires III: Classes moyennes. P.: Librairie Félix Alcan, 1939.

стических, границах в определении этой категории. Такой тип академического высказывания о среднем классе дополняет парадигму, намеченную его политическим самоописанием. Отныне речь идет не об общественных «силах» или «крайностях»⁶⁰, между которыми стиснут искомый класс, но о конгломерате профессиональных позиций, его месте в социальной структуре и национальной экономике. Все вместе это призвано очертить социальную группу, чье положение диктуется как отношениями с другими классами, так и *государственной политикой*.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ «СРЕДНЕГО КЛАССА»: ОТ СТАБИЛЬНОСТИ ДО ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

Однако и такой способ конца 1930-х годов определять средний класс не транслируется напрямую в более поздние образцы нормативной и экспертной речи. Следующим ключевым моментом в конструировании этой универсалии становится ее изъятие из национальной истории прогресса и помещение в синхронную перспективу международных сравнений, центром которой служит *стабильность* демократического правления. Это происходит в период холодной войны и в значительной мере определяется политическим противостоянием двух систем. Неудивительно, что решающая роль в создании нового нормативного языка международных сравнений на сей раз принадлежит не французским политическим мыслителям, а американским экспертным центрам. Любой список стран, подлежащих сравнению и оценке, исходно разделяется на две категории — демократии и диктатуры — с различным числом промежуточных форм и вариаций. Именно в контексте политической поляризации режимов категория среднего класса обретает смысл, который, среди прочих, наследует российская «переходная» риторика 1990-х годов. По своим функциям в системе официальной речи эта категория, вероятно, представляет собой зеркальный инвариант «научного планирования» — понятия, которое регулярно используется как *differentia specifica* «социализма» в

⁶⁰ Автор эскиза программы социологического исследования средних классов прямо подвергает сомнению корректность традиционной риторической фигуры о положении средних классов «между крайностями» (Mougin H. Un projet d'enquête sur les classes moyennes en France // Aron R., Halbwachs M. et al. Op. cit. P. 296–298).

позднесоветской официальной риторике⁶¹. Иными словами, с рядом оговорок, научная организация общества так же отличается социализм от капитализма в советской риторике, как состоятельный средний класс — демократию от диктатуры в риторике американской. Во втором случае лишь воспроизведение образцов «устойчивых демократий», включая их социальную структуру, способно гарантировать развитие и процветание обществ. Определение прогресса XIX в., ассоциируемое с ростом участия в общественных приобретениях, не отменяется здесь окончательно. Новая сетка категорий «просто» превращает его в мировой политический процесс, где демократии вкупе с экономическим ростом присваивается собственная и высшая ценность.

Одним из первых развернутых высказываний, с которым вводится новая категориальная сетка, становится статья о социальных условиях демократии американского политолога и внимательного читателя Токвиля, Сеймура Мартина Липсета (1959)⁶². С момента публикации она удерживается в центре плотного кольца ссылок и интерпретаций, которое распространяется далеко за академические границы и определяет характер международного политического комментария в крупных СМИ. Ее ключевой тезис замыкает мировой успех демократии на устойчивый рост благосостояния и образования, который воплощен в образованном и благополучном среднем классе: «Недавние события, включая свержение ряда диктатур, во многом отражают последствия роста среднего класса, роста благосостояния и образования» (р. 102). Специфика текста со-

⁶¹ Этой теме посвящена отдельная глава данной книги: «Рождение государства "научно-технического прогресса"» (гл. V).

⁶² *Lipset S.M. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy // The American Political Science Review. 1959. No. 1.* (С незначительными сокращениями статья переведена на русский язык: *Липсет С.М. Некоторые социальные предпосылки демократии: экономическое развитие и политическая легитимность // Концепция модернизации в зарубежной социально-политической теории. 1950–1960 гг. Сб. переводов / сост. и пер. В.Г. Николаев под ред. Д.В. Ефременко, Е.Ю. Мелешкиной. М.: ИНИОН РАН, 2012.*) К характеристике Липсета следует прибавить, что в политическом отношении он проделал эволюцию от троцкиста в юности до активного деятеля консервативного крыла Демократической партии США, одного из первых интеллектуалов, кто получил наименование «неоконсерватора» (*Martin D. Seymour Martin Lipset, Sociologist, Dies at 84 // New York Times. 2007. 4 January*).

стоит в том, что формулы, известные нам по более поздним образцам нормативной риторики, предложены здесь в сопровождении фактических иллюстраций. Именно у Липсета мы находим тезис о стабилизирующей политической роли среднего класса: «Обширный средний класс играет смягчающую роль в обуздании конфликтов, поскольку он способен поощрять умеренные и демократические партии и наказывать [голосованием] экстремистские группы» (р. 83). В духе Токвиля «ценности среднего класса» отождествляются с универсальной национальной культурой, которой противостоит «замкнутая культура низшего класса» (Ibid.). А связь между благосостоянием и демократией вписывается в столь привычную нам сегодня геометрическую образность: «Увеличивающееся благосостояние... связано с демократией причинно-следственным отношением через... политическую роль среднего класса, поскольку меняет формулу социальной стратификации, которая смещается от вытянутой пирамиды, с низшим классом в виде широкого основания, к ромбу с растущим средним классом» (Ibid.)⁶³.

Статья, которая апеллирует к примеру десятков стран, становится одним из первых эталонов той доктрины, которая на протяжении следующих 20 лет доминирует в секторе международной экспертизы — теории модернизации⁶⁴. Операция *сравнения* в ее интеллектуальном и понятийном поле задает неустрашимую связь между ранее независимыми темообразующими кате-

⁶³ В том, как далеко распространяется влияние этой схемы, можно убедиться, следуя самым свежим российским примерам, например, статью «Социальное неравенство» в русской Википедии. Ее авторы утверждают: «Ромбовидная структура является более предпочтительной по сравнению с пирамидальной, так как в первом случае многочисленный средний класс не позволит кучке бедняков устроить гражданскую войну. А во втором случае громадное большинство, состоящее из бедняков, может легко опрокинуть социальную систему, устроить гражданскую войну и бессмысленную бойню. Задача Российского общества состоит в том, чтобы перейти от треугольной фигуры неравенства, которая существует в России сегодня, к ромбовидной» (ru.wikipedia.org/wiki/Социальное_неравенство), последний доступ 23.05.2013).

⁶⁴ На русском языке обзор и критику теорий модернизации см., напр.: Капустин Б.Г. Современность как предмет политической теории. М.: РОССПЭН, 1998; Ефременко Д.В., Мелешкина Е.Ю. Теория модернизации 1950–1960-х годов: современность классики. Вводная статья // Концепция модернизации в зарубежной социально-политической теории...

гориями: политического *прогресса* (развития), торжествующей *Современности* и парламентской *демократии*. Предлагаемая во множестве версий и вариантов, эта доктрина не ограничивается университетскими журналами и монографиями: она весомо представлена в стенах международных институций, включая финансовые, которые занимаются продвижением демократии в мире. Через серию публичных событий, программ, стипендий они содействуют активному трансферу академических разработок в ведущие СМИ. Вплоть до сегодняшнего дня такие центры влияния могут придерживаться того тезиса, что внешняя политика, направленная на продвижение и поддержание среднего класса в мире, куда более действенна для долговременной безопасности и процветания США, чем масштабное военное присутствие страны на международной сцене⁶⁵.

При этом будет большим преувеличением утверждать, что категория среднего класса служит неизменным центром речи, производимой различными экспертными центрами на протяжении всей этой экспансии. Скорее, можно наблюдать обратное: данная социальная категория относительно легко смещается к периферии «модернизационной» понятийной сетки, никогда не теряя связи с «собственностью» или «рынком», но уступая место нераздельно более абстрактным и символически весомым понятиям экспертного словаря, подобным «легитимности», «устойчивому росту», «политическим элитам» и ряду подобных. Именно они доминируют в схемах демократического транзита, которые впоследствии вводятся международными институциями и местными экспертами в публичный оборот самых разных «переходных» обществ, включая Россию начала 1990-х годов. Так, понятийную структуру своего рода «транзитологической библии» Линца и Степана, которая чуть позже резюмирует успехи и неудачи перехода к демократии в мире, составляют такие категории, как «рынок», «суверенное государство», «государственный аппарат», «бюрократические нормы», «гражданское общество», «свобода мнений», «верховенство закона», «электоральное состязание», даже «территории» и этни-

⁶⁵ López A.R., Weinstein B. Introduction. We Shall Be All: Toward a Transnational History of the Middle Class // The Making of the Middle Class: Toward a Transnational History / ed. by A.R. López, B. Weinstein. Durham; L.: Duke University Press, 2012. P. 2.

чески определяемые «нации»⁶⁶. «Средний класс» в этом списке параметров попросту отсутствует.

Схожий принцип определяет структуру экспертных докладов, выпускаемых Центром ОЭСР по сотрудничеству со странами с переходной экономикой. Они могут значительно различаться от региона к региону по своему понятийному словарю, при этом социальные категории в них отнюдь не доминируют, и в большинстве случаев категория «среднего класса» игнорируется. «Экономический обзор» 1995 г. по России вводит такие социально релевантные темы, как экономическая политика, развитие рынков, мобильность рынка труда, уровень жизни и социальная защита⁶⁷. Но аналитические и статистические операции производятся здесь над категориями «населения» в целом, «секторами» занятости или географическими «регионами», напоминая этим позднесоветские классификаторы социальной структуры. «Средний класс», который в образцовых высказываниях, подобных работам Липсета, Баррингтона Мура⁶⁸ и ряда более поздних авторов, может признаваться мотором модернизационного сдвига, не упоминается вовсе. Немногочисленные доклады ОЭСР, которые полностью посвящены роли «среднего класса» в экономическом развитии, — это куда более позднее исследование «глобального среднего класса» в развивающихся странах (2010) или отчет о Латинской Америке как «регионе средних классов» (2011)⁶⁹. Следует отметить, что именно 2000-е и начало 2010-х становятся периодом активной публичной эксплуатации темы «среднего класса» как глобального феномена международными экспертными центрами: наряду с ОЭСР к их числу относятся Всемирный банк, ООН, Фонд Карнеги и ряд других⁷⁰.

⁶⁶ Linz J., Stepan A. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America and Post-Communist Europe. Baltimore; L.: Johns Hopkins University Press, 1996.

⁶⁷ Экономические обзоры ОЭСР. Российская федерация. П.; М.: Организация экономического сотрудничества и развития, 1995.

⁶⁸ Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. N.Y.: Beacon Press, 1966.

⁶⁹ Kharas H. The Emerging Middle Class in Developing Countries. P.: OECD, 2010; Perspectives économiques de l'Amérique latine 2011. Une région des classes moyennes? Éditions OCDE, 2011.

⁷⁰ См., в частн.: Annual World Bank Conference on Development Economics 2000 / ed. by B. Pleskovic, N. Stern. Washington: The World Bank, 2001;

Впрочем, в международной конъюнктуре 1990-х годов имеются заметные исключения. Понятие «средний класс» не занимает здесь центр проектной активности, однако входит в кодифицированную официальную речь межгосударственных соглашений, где наделяется высокой символической ценностью. Важнейшим гравитационным центром, который выполняет одновременно осязаемую экономическую и символическую функцию в российском «переходе» 1990-х, выступают административные структуры «единой Европы». Европейский союз, который сам предстает материализованным понятием-проектом, к началу этого периода далеким от завершенной формы, по мере своей институциональной реализации действует как крайне активный агент влияния. Уже в 1990 г. евроинституты открывают программу поддержки рыночных преобразований в СССР, а в 1991 г. переучреждают ее как TACIS — программу «технической помощи» России и странам бывшего Советского Союза. В рамках программы финансируются институциональные реформы по «укоренению демократии и рыночной экономики»⁷¹. Формы активности амбициозно разнородны: от корректив модели государственного управления и переподготовки сотрудников Сбербанка до открытия нескольких экспериментальных пекарен вдалеке от столиц. Участие инстанций Европейского союза не ограничивается редизайном государственного аппарата и поддержкой пилотных экономических проектов. Одно из главных направлений — это европейская унификация категориальных систем СНГ: законодательства, национальной статистики, систем измерения. Эффекты влияния распространяются и за

Доклад о росте. Стратегии устойчивого роста и инклюзивного развития. Комиссия по росту и развитию Всемирного банка. М.: Весь Мир, 2009; Senauer B., Goetz L. The Growing Middle Class in Developing Countries and the Market for High-Value Food Products. Minnesota: The Food Industry Center, University of Minnesota, 2003; The Global Middle Class. Views on Democracy, Religion, Values, and Life Satisfaction in Emerging Nations. Washington: Pew Research Center, 2009; Hertova D., Lopez-Calva L.F., Ortiz-Juarez E. Bigger... but Stronger? The Middle Class in Chile and Mexico in the Last Decade. N.Y.: RBLAC-UNDP, 2010; Dadush U., Ali Sh. In Search of the Global Middle Class. A New Index. Carnegie Endowment for International Peace, 2012; Positioned for Growth. Ernst & Young's 2012 Attractiveness Survey. Russia. EYGM Limited, 2012.

⁷¹ Delcour L. La politique de l'Union Européenne en Russie (1990–2000). De l'assistance au partenariat? P.: L'Harmattan, 2001. P. 100.

национальные границы, охватывая международные классификации и рейтинги. Именно структуры Евросоюза выступают источником признания России страной «с переходной экономикой» (1993)⁷², как и ряда смежных квалификаций, которые переопределяют место страны в международных иерархиях.

Показателем прямого вклада проектной «единой Европы» в проектный российский «транзит» служит бюджет TACIS. В первые три года существования, с 1991 по 1993 г., он составляет 1,36 млрд экю⁷³, из них почти 500 млн — российская часть⁷⁴. До 1998 г. на всех территориях бывшего СССР эта цифра вырастает втрое, почти до 3,8 млрд евро, из них на российские проекты в 1991–1998 гг. выделено 1,2 млрд евро⁷⁵. Чтобы оценить масштаб этих европейских вложений, следует сравнить их с показателями российского государственного бюджета. Так, в кризисном 1998 г. эти расходы, если оценивать их по нижней границе, составляют примерный эквивалент государственного финансирования всего общего образования или государственных трат на железные дороги⁷⁶.

Каков проектный словарь европейского участия в российских институциональных и категориальных сдвигах? В учредительных документах и информационных брошюрах, выпускаемых под эгидой TACIS, мы снова не обнаруживаем прямого обращения к «среднему классу». В этот период сама модель «единой Европы» операционализируется в универсалиях «граждане»,

⁷² Ibid. P. 58. Ранее Россия имеет статус страны с государственной экономикой, что налагает ряд ограничений на международное политическое признание и экономические преференции.

⁷³ Экю служил номинальной единицей общеевропейской валюты до смены его евро в 1995 г.

⁷⁴ Что такое Тасис? Партнерство и сотрудничество с Новыми независимыми государствами. Брюссель: Информационное бюро Тасис, 1994. С. 4.

⁷⁵ Delcour L. Op. cit. P. 143.

⁷⁶ В 1998 г. расходы TACIS в России составили 140 млн евро, расходы государственного бюджета РФ — 499,95 млрд руб. (О федеральном бюджете на 1998 год. Принят Государственной Думой 4 марта 1998 года (<www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2007/budjet98.zip>, последний доступ 12.03.2013)), или примерный эквивалент 82 млрд долл. по обменному курсу, действовавшему в первой половине года. Таким образом, в 1998 г. TACIS финансировала в России институциональные проекты в объеме, сопоставимом с 0,1–0,2% государственных расходов.

«жители», а также в отдельных профессиональных и образовательных категориях («работники», «студенты», «преподаватели», «свободные профессии» и т.д.), которые вписаны в риторику экономических свобод и кооперации⁷⁷. Точно так же программа, обращенная к обществам бывшего Советского Союза, оперирует понятиями-проектами, которые редко нарушают тематические границы экономики: «экономический рост», «рыночная экономика», «развитие торговли и инвестиций», «приватизация», «сотрудничество в области экономики», «партнерство», «[транспортная и энергетическая] инфраструктура», «благоприятный климат», «экономическая модернизация», «политическая стабильность»⁷⁸. Однако в 1997 г. российское и европейское правительства ратифицируют Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, подписанное уже в 1994 г., за которым следует очень интересная по своей терминологии европейская резолюция о будущих отношениях с Россией (1998). В ней мы находим красноречивую артикуляцию связи между политической стабильностью, свободами и рынком: «Стабильность на европейском континенте может быть достигнута в силу успеха экономических и демократических реформ в Российской Федерации, вместе с установлением в ней верховенства права и социальной сплоченности» или «Европейский Союз может сыграть позитивную роль в России, открывая ее рынки и поддерживая свободы». Наряду с этим, среди приоритетов деятельности Европейского союза в России, в документе названа «консолидация

⁷⁷ Ее реализация сопровождается валом популяризаторских и пропагандистских материалов, которые в первой половине 1990-х годов издаются на основных европейских языках: «Le marché unique européen», «A Portrait of Our Europe», «L'Unification européenne», «Notre avenir agricole» и т.д. (издания 1993–1995 гг., осуществленные Бюро официальных публикаций Европейских сообществ). В отдельных случаях они переводятся на русский язык: Фонтен П. Десять уроков Европы. М.: Право, 1994 (оригинальное издание: Fontaine P. Dix leçons sur l'Europe. Bruxelles; Luxembourg: Office pour les publications officielles des Communautés Européennes, 1992); Ноэль Э. Работать сообща — принцип деятельности органов сообщества. М.: Право, 1994 (оригинальное издание: Noël E. Working Together — the Institutions of the European Community. Brussels; Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1993). По своему словарю эти тексты отчетливо тематизируют европейское сообщество как экономический проект, в ходе реализации обеспечивающий демократические гарантии и свободы/преимущества для граждан.

⁷⁸ Ключевые понятия цитированной брошюры «Что такое Тасис?».

процесса демократизации в российском обществе посредством стимулирования центральной роли гражданского общества и появления среднего класса с целью предоставления прочной основы для демократии, верховенства права и уважения прав человека»⁷⁹. Проектная роль, на которую здесь претендует европейская администрация, по своей амбиции сравнима с перспективными планами советского правительства, куда еще накануне исчезновения СССР включается «сбалансированное развитие процессов социальной интеграции и социальной дифференциации в обществе»⁸⁰. Европейская резолюция становится, по сути, возвратом к понятийной модели Липсета на законодательном уровне.

Подобный пример — не единственный в официальном европейском корпусе речи. Двумя годами ранее, в записке о сотрудничестве Евросоюза с ЮАР, мы обнаруживаем схожую схему в контексте «открытия рынков» и «преодоления последствий дискриминации»: «Сотрудничество с малыми и средними предприятиями... открывает, при поддержке правительства, новые, простые и быстрые возможности для создания рабочих мест. Такое сотрудничество, помимо прочего, способствует созданию чернокожего среднего класса»⁸¹. Озабоченность последствиями экономического удара конца 1990-х годов по «городскому среднему классу» в контексте «устойчивого развития», «стабильности страны» и «укрепления демократии» выражена в другом европейском документе, на сей раз описывающем ситуацию в Индонезии (2000)⁸². Вопрос о том, получа-

⁷⁹ Résolution sur la communication de la Commission «L'avenir des relations entre l'Union européenne et la Russie» et le plan d'action «L'Union européenne et la Russie: les relations futures» (COM(95)0223 — C4-0217/95 — 6440/96 — C4-0415/96) // Journal officiel de l'Union Européenne. C 138. 04.05.1998. Перевод английской версии документа А.С. Бугаевой, в системе КонсультантПлюс.

⁸⁰ Комплексная программа научно-технического прогресса СССР на 1991–2010 годы (по пятилетиям). Концепция проблемного раздела 3.2. Социальные проблемы, повышение народного благосостояния и развитие культуры. М.: АН СССР, ГКНТ, 1986. С. 3.

⁸¹ Avis sur les relations entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud (96/C 82/10) // Journal officiel de l'Union Européenne. C 82. 19.03.1996.

⁸² Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Développement de relations plus étroites entre l'Indonésie et l'Union européenne» (COM/2000/0050 final).

ет ли эта серия официальных высказываний, и в особенности помощь в «появлении среднего класса» в России, программное и финансовое воплощение, нуждается в отдельном исследовании. Однако уже само присутствие проектной категории в эпицентре институционального транзита указывает нам на ее высокую языковую и социальную *ценность*, характерную для этого периода.

На следующем хронологическом шаге, в конце 2000-х годов, мы снова обнаруживаем понятие «средний класс» в европейском официальном корпусе речи, обращенном к России. Но здесь оно утрачивает прежнюю доктринальную связь с «демократией». В документе, пересматривающем отношения Европейского союза с Россией десятью годами позже (2008), словарь экономической прибыли доминирует над всеми прочими, а понятие «демократии» не употребляется вовсе⁸³. В этом контексте российский «средний класс» означает уже не залог политических преобразований, а разновидность коммерческого ресурса для европейских производителей: «Хотя энергия представляет собой наиболее значимый фактор [в российской экономике], но впечатляющие темпы роста наблюдаются также в секторе услуг. При своем сильном и непрерывном росте и своем новом среднем классе Россия представляет собой важный развивающийся рынок прямо по соседству с нами, который открывает возможности для предприятий Европейского союза» (Ibid.). Превращение «среднего класса» в сугубо экономическую категорию потребителей прослеживается также по документам, относящимся к Индии (2006), Китаю (2006) и даже международной миграции (2007)⁸⁴. Подобный разрыв в понятийной сетке хорошо иллюстрирует изменения, происходящие в структуре самого органа, Европейской комиссии, которая

⁸³ Communication de la Commission au Conseil — Réexamen des relations entre l'Union européenne et la Russie {SEC(2008) 2786} COM(2008) 740 final. Bruxelles. 05.11.2008.

⁸⁴ Соответственно: Résolution du Parlement européen sur les relations entre l'Union Européenne et l'Inde: un partenariat stratégique (2004/2169(INI)) // Journal officiel de l'Union Européenne. C 227E. 21.09.2006; Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — UE — Chine: Rapprochement des partenaires, accroissement des responsabilités {COM(2006) 632 final} COM/2006/0631 final. Bruxelles, 24.10.2006; Avis du Comité économique et social européen sur le thème Migration et développement: opportunités et défis // Journal officiel de l'Union Européenne. C 120. 16.05.2008.

полутора десятилетиями ранее выступала одним из источников радикального сдвига в системе российских политических категорий. Новые отношения между понятиями в официальной речи второй половины 2000-х годов объективируют новую силовую асимметрию, возникающую как между центрами политической и экономической власти в Европейском союзе, так и между европейским и российским государственными аппаратами, все чаще захваченными неолиберальным словарем коммерции, который приносят с собой профессионалы международной экспертизы.

Таким образом, французских политических мыслителей и американские экспертные центры в последние десятилетия дополняет еще один кардинальный источник речи о среднем классе — институты евробюрократии и, более широко, надгосударственные проектные центры. Именно в их стенах понятие «средний класс» парадоксальным образом поначалу усиливает, а затем теряет проектную связь с «демократией». Они редко производят смысловой разрыв сами, чаще заимствуя готовые наработки у коммерчески ориентированных экспертных центров и групп. При этом именно они выступают кардинально значимым местом институционализации нового смысла. Этот момент становится очередным сдвигом в сетке политических категорий по отношению к той конструкции XIX в., которая делала умеренность добродетелью общественного прогресса. Смещение не окончательно, поскольку даже простой рост покупательной способности по-прежнему фигурирует в одних и тех же текстах с экономическим процветанием обществ, европейской культурой и правами человека⁸⁵. При этом контекстуальное сведение с середины 2000-х годов политической свободы к емкости рынков и платежеспособному спросу фиксирует новый смысловой полюс в исторически растянутом и неоднородном континууме понятия. Сегодня любому способу думать и говорить о среднем классе оказывается предпослан ряд альтернатив — предпонятий, которые используются и комбинируются высказывающимися в зависимости от их культурных ресурсов и политической чувствительности. Я не останавливался специально на негативных смыслах «среднего класса», которые также присутствуют в публичной дискуссии по меньшей мере с

⁸⁵ Примеры цитированных ранее документов Европейского союза.

1970-х годов, в частности, в анализе успеха гитлеровского проекта⁸⁶. Но, если нас интересует позитивный проектный смысл, эти альтернативы простираются от полюса в понимании среднего класса как ареволюционной, но прогрессивной силы, сдерживающей опасные крайности и властные асимметрии — т.е. как фактора цивилизации; до полюса, на котором средний класс определяется как политически индифферентный сегмент потребительских рынков, где показателем общественной силы служит не более чем покупательная способность.

⁸⁶ Краткий обзор таких оценок, производимых в первую очередь историками, предлагает в начале своей статьи Дэвид Блэкберн: *Blackbourn D. The Mittelstand in German Society and Politics, 1871–1914 // Social History. 1977. No. 4.* На русском языке один из первых текстов об этой двойственности см.: *Опенгеймер П. Политическая роль среднего класса // Средний класс в России. Проблемы и перспективы. М.: ИЭПП, 1998.* См. также «Введение» в: *Дилигенский Г.Г. Люди среднего класса. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2002.*

II. Российский «средний класс»: энергия разрыва и рассеивания

В корпусе российской публичной речи 1990-х годов, как и в целом ряде политически схожих случаев, хронологическая дистанция, которая отделяет академические спекуляции и исследования от экспертной и журналистской вульгаты, минимальна. Экспансия «модернизационного» типа высказывания охватывает почти мгновенно и одновременно все секторы, и граница, разделяющая типы высказывания, изначально крайне зыбка. Этот эффект можно проследить по массиву публикаций в академической и широкой периодике, где соответствие между характером текста и местом публикации превращается в условность. Исторические исследования и публикации архивов сталинского периода находят место на страницах периодической печати: ежемесячных и еженедельных, вплоть до ежедневных изданий, таких как «Московские новости», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» или даже «Медицинская газета» и «Строительная газета». В библиографических классификаторах и реферативных изданиях Академии наук появляются разделы «Философские проблемы перестройки»¹. В социологических публикациях тематический маркер «проблемы перехода» начинает рутинно выполнять функцию подзаголовка в самых разнообразных отраслях исследований, от традиционно позднесоветской «мотивации труда» до снова едва узаконенного «изучения общественного мнения»². В целом тематика «перехода» быстро вписывается в академическую понятийную разметку, которая все еще отсылает к незыблемости прежнего порядка, например, в заглавии раздела «Общество как система»³.

¹ Общественные науки в СССР. Философия. Реферативный журнал. Серия 3. 1991. № 2.

² К середине 1990-х годов такая терминологическая контекстуализация становится доминирующей. См., напр.: Социальные и гуманитарные науки. Указатель литературы 1993–1994 гг. М.: ИНИОН РАН, 1995. В зависимости от тематической рубрики термин «проблемы перехода» сопровождает заглавия до половины списка.

³ Там же.

Однако во всех стилистических вихрях и смешениях некоторые не вполне очевидные деления сохраняются, маркируя различия между старыми и новыми изданиями, научными и публичными институциями. Траектория понятия «средний класс» в пространстве публичного высказывания красноречиво иллюстрирует действие этой неявной социальной механики проекта, которая (и именно она) постепенно придает понятию форму, наделяя его смыслом и ценностью. Исследовательские тексты способны наиболее обоснованно связать эту категорию с реальностью, т.е. указать на соответствие проекта наблюдаемым общественным тенденциям. Однако до первых академических публикаций о «среднем классе» в 1989–1990 гг. понятие появляется на страницах широкой прессы, озвученное публицистами и политиками⁴. К этим газетным текстам явно или неявно отсылают статьи, публикуемые затем новыми, меж- и внеинституциональными, социальными и гуманитарными журналами, которые учреждаются в 1991–1993 гг.⁵ И лишь затем, с конца 1990-х годов, понятие завоевывает академическую периодику, становится предметом маркетинговой и экспертной работы «деловых» СМИ. Два кризиса, финансовый 1998 г. и политический 2011–2012 гг., сближают проектный «средний класс» с реальностью более осязаемо, чем когда-либо. Но, в отличие от французских 1930-х годов, в каждый из этих моментов на публичной сцене не появляется мобилизованной группы, которая представляла бы «средний класс» политически. Поэтому понятие-проект так и остается медийным ожиданием с неизменно высокой символической ценностью. В этих перипетиях публичной речи имеются своя логика и своя история, которые и определяют структуру российского поля понятия.

⁴ Зайченко А. Имущественное неравенство // Аргументы и факты. 1989. № 27; Стариков Е. «Угрожает» ли нам появление «среднего класса»? // Знамя. 1990. № 10; Наумова Н. Переходный период: мировой опыт и наши проблемы // Коммунист. 1990. № 8. Эти тексты упоминает в своем обзоре Людмила Беллева (Беллева Л.А. Средний слой российского общества: проблемы обретения социального статуса // Социологические исследования. 1993. № 10).

⁵ Речь идет о таких периодических изданиях, нередко учрежденных вне стен академических центров, как «Политические исследования» (учрежден в 1991 г.), «Мир России» (1992), «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены» (1993).

НА ПЕРИФЕРИИ НОВОЙ ПОНЯТИЙНОЙ СЕТКИ (НАЧАЛО 1990-х ГОДОВ)

Слияние жанров в российской публичной речи рубежа 1980-х и 1990-х годов напоминает о французском XIX веке, с характерными для него фигурами историков-трибунов и ученых-министров, и служит идеальной лабораторией для кристаллизации проектного смысла понятий. Оно же рождает исследовательскую проблему, которая следует из крайней подвижности понятийного контекста. Есть риск попросту не обнаружить достаточно плотного корпуса высказываний, где понятия представлены в их собственной словарной форме. Как следствие, генеалогические линии теряют отчетливость. «Средний класс» не становится исключением. В последующих реконструкциях мы встречаем утверждения, подобные такому: «В соответствии с риторикой начального периода реформ в качестве результата адаптации рассматривалось создание в России среднего класса»⁶. Однако в законодательных актах 1980-х и начала 1990-х, как и в сопутствующей литературе, понятие «средний класс» не встречается. Доминирующей здесь выступает иная проектная категория — «слой собственников». Именно она находится в центре приватизационного поворота 1992–1993 гг. Его «главными целями... являются: формирование широкого слоя частных собственников как экономической основы рыночных отношений; вовлечение в процесс приватизации максимально широких слоев населения...»⁷. Вне узких экономических рамок указов «широкий слой собственников» определен рядом контекстуальных связей, которые сближают его со «средним классом». К ним относятся «самостоятельность» и «стабильность». Однако из контекста «среднего класса» неустранимы по меньшей мере два других ключевых элемента: «[высшее] образование» и «демократия». В том же ряду они не значатся. Поэтому между понятиями «средний класс» и «слой собственников» нет прямого наследования, хотя иллюзорное тождество в их восприятии также следует принимать в расчет при генеалогической реконструкции.

⁶ Аврамова Е.М. Появился ли в России средний класс // Средний класс в современном российском обществе / под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой, А.Ю. Чепуренко. М.: РОССПЭН, 2000. С. 21.

⁷ Указ Президента РФ от 24.12.1993 № 2284 «О Государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации».

Другой неочевидный сдвиг в отношении исторического поля понятия «средний класс», которое я анализировал в предшествующей главе, состоит в исключении, казалось бы, наиболее очевидного для него контекста. Речь идет о работе с моделями *социальной структуры*, которые становятся привилегированным объектом работы академической социологии с 1960-х годов. В первой половине 1990-х, описывая социальную стратификацию и неравенства, социологи связывают преобразования «самой социальной природы основных компонентов социальной структуры» не с ожидаемым «средним классом», а с куда более широкой и политизированной категорией — с гражданским обществом. В тот момент именно она, а даже не «слой собственников», выступает функциональным эквивалентом «среднего класса» Липсета — тематическим приоритетом академических «исследований изменения в социальной структуре»⁸.

До середины 1990-х конструкторская работа с категорией «средний класс» остается уделом политических публицистов и академических эксцентриков, т.е. тех, кто далек от позднесоветских правил академического разделения труда. Я хочу кратко остановиться на трех биографических случаях: авторах, которые, в известном смысле, нарушают правила игры и уже в начале 1990-х годов обращаются к стигматизированному понятию в академических публикациях. Каждый из примеров по-своему показателен, позволяя более глубоко проникнуть в социальную механику создания и использования понятия.

Первый — это Владимир Пантин (род. в 1954 г.), который в 1993 г. под псевдонимом Владимир Умов публикует цитированную ранее (см. сн. 5 на с. 45 наст. изд.) статью о среднем классе в новом, издающемся лишь третий год журнале «Политические исследования» («Полис»). В статье категории приписывается основополагающий цивилизационный смысл: «Западное общество стало современным (модерновым) лишь после того, как ему удалось создать многочисленный и компетентный средний

⁸ Ядов В.А. Вместо введения // Резюме научных отчетов по исследовательским проектам, выполненным в рамках общеинститутской программы «Социальная динамика и социальный порядок» (Институционализация социальных отношений и процессы формирования гражданского общества) в 1995 г. М.: Институт социологии РАН, 1996. С. 9. См. также более раннюю публикацию: Проблемы формирования гражданского общества. М.: Институт социологии РАН, 1993.

класс». Сразу за таким утверждением следует констатация, что в России «этого решающего условия “современности” общества... нет». Однако весь последующий текст выстраивается как проект возможного класса-модернизатора и умиротворителя. В некотором смысле это образцовый текст, где автор эксплицирует основные контексты, которые впоследствии используются в воспроизводстве понятия. В 1995 г. В. Пантин защищает кандидатскую диссертацию по политическим наукам на тему «Средние слои в современной России: политическое поведение и ориентации»⁹. В каталоге ИНИОН это самая ранняя публикация в тематическом разделе «Средние классы — Российская Федерация», несмотря на то что в ее заглавии значится более архаичная и академически легитимная на тот момент категория «средние слои».

Кандидатская по политологии — не первая научная степень автора. В 1976 г. он оканчивает химический факультет МГУ и в 1980 г. защищает кандидатскую диссертацию по химии. На полтора года он переходит в новую область, устроившись младшим научным сотрудником Московского института народного хозяйства им. Плеханова (1980–1982). Затем снова меняет профессиональный сектор, работая в Институте иммунологии (1982–1985) и во Всесоюзном гематологическом научном центре (1985–1992). За историческим поворотом в российской политике следует новый поворот его профессиональной биографии: Центр социоестественной истории Российского открытого университета (1992–1993) и Институт экономики Российской Академии наук (1993–1997)¹⁰. Тем самым в политологию Пантин следует более сложной и менее вероятной траекторией, в отличие от выходцев из смежных дисциплин: философии и экономики, отчасти социологии. Именно такие профессиональные перемещения, вне стен большой Академии, освобождают его от самоцензуры, разделяемой советскими специалистами по социальной структуре. Публикация в новом журнале только усиливает этот эффект новизны. Основанный в 1991 г., как и все учрежденные тогда же издания, которые с переменным успехом

⁹ Диссертация защищена в Институте сравнительной политологии и проблем рабочего движения РАН.

¹⁰ Элементы профессиональной траектории Владимира Пантина до 2002 г. представлены на странице: <www.mgimo.ru/users/document2050.phtml> (последний доступ 25.06.2013).

претендуют на ведущую роль в интеллектуальном и политическом обновлении, «Полис» заявляет в качестве своей амбиции «научный поиск, интеллектуальный напор, новые методы» и видит своей задачей «стимулировать становление политического сознания и политической культуры, находящейся сейчас в нашей стране в зачаточном состоянии»¹¹.

В том же 1993 г. «Полис» публикует статью еще одного обладателя не вполне типичной академической траектории, Владимира Пастухова (род. в 1963 г.). Окончив кафедру теории государства и права Киевского университета, в 1985 г. он поступает в аспирантуру юридического факультета, где пишет диссертацию о закономерности развития теории политической власти в СССР. В статье он вводит понятие «средний класс» в контексте понятия «идеология»¹². Здесь социальная категория определяется как общеевропейская, а ее референт — как «главный носитель базовых либеральных ценностей и национальной идеи в ее наиболее развитом виде как публичных истин»¹³. Развивая в политологическом издании дискуссию, начатую на страницах ежедневной прессы, автор указывает, что в России «прототипом этого среднего класса выступила, разумеется, советская интеллигенция» (с. 23). При этом он характеризует радикальное различие между российской и европейской социальными категориями и релевантными им идеологиями, которое следует из отношений советской интеллигенции с государством-работодателем. Язык статьи не содержит компромиссов с академической риторикой предшествующего периода: это попытка освоения и комбинирования понятий, заимствованных из переводной литературы без посредства канонических «критик буржуазной мысли». Сам автор объясняет стилистику своего высказывания следующим образом: «Я поступил в аспирантуру в октябре 1985 г. и при-

¹¹ «Полис»: год первый // Политические исследования. 1991. № 1.

¹² Пастухов В.Б. «Новые русские»: появление идеологии // Политические исследования. 1993. № 3. С. 15–26.

¹³ Это несколько неожиданно (в сравнении с историческим европейским пониманием среднего класса как в первую очередь мелких независимых собственников) и объясняется тем, что «буржуазия — главный работодатель для среднего класса, поэтому последний заинтересован в том, чтобы между ним и буржуазией стоял арбитр в лице государства. Отсюда вполне естественное стремление среднего класса выделить государство из гражданского общества, сделать его равноудаленным от всех социальных групп» (там же. С. 24).

надлежу к тому счастливому поколению в нашей науке, для которого первые самостоятельные шаги на академическом поприще совпали со вторым потеплением советского политического климата»¹⁴. Тем самым не столько эксцентрическая профессиональная траектория, сколько большой политический сдвиг, который совпадает с поколенческим, приводит к схожему с Владимиром Пантиним результату — обращению к понятию среднего класса, избавленному от профессиональной самооценки.

Наконец, институционально более гладкая, но далекая от линейности академическая траектория — у третьего автора, которая уже в 1991 г. публикует первую академическую статью о среднем классе. Это Людмила Беляева (род. в 1946 г.). В 1968 г. она оканчивает экономический факультет Воронежского университета, в 1976 г. поступает в аспирантуру академического Института философии в Москве и становится его сотрудником. К описанию социальной структуры меняющегося общества она приступает не в Институте социологии, а в том же Институте философии, т.е. снова на некоторой институциональной дистанции от главного центра исследований социальных различий в предшествующий период. В 1991 и 1993 гг. она публикует отдельные обзорные тексты, посвященные «средним слоям»¹⁵. В 1992 г. отводит этому понятию раздел в обширной и проблематичной фреске «разбуженного» российского общества, вводя его наряду с традиционными классовыми категориями советского периода: рабочим классом, крестьянами и интеллигенцией.

Здесь понятие предстает в полной мере компромиссной конструкцией на пересечении легитимного позднесоветского и переносимого в новый контекст «западного» словаря: «Формирование средних слоев, рождаемых НТР [научно-технической революцией]¹⁶ и связанных с новыми, рыночными формами хозяйствования, — это начало в преобразовании наемных ра-

¹⁴ В кроне коммунистического ствола. Владимир Борисович Пастухов (Иные. Об авторах) // Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. Т. 4. М.: Аргус, 1995.

¹⁵ Беляева Л.А. Средний слой в советском обществе: перспективы формирования // Социально-политические науки. 1991. № 10; Она же. Средний слой российского общества...

¹⁶ Парной категории «научно-техническая революция» — «научно-технический прогресс», наделенной особой ценностью в позднесоветской понятийной сетке, посвящена отдельная глава настоящей книги.

ботников с низким уровнем жизни, полностью зависимых в своей производственной и внепроизводственной деятельности от государства, в активных, относительно самостоятельных и относительно материально не зависимых от государства членов общества»¹⁷. За такой характеристикой следует неизбежное уточнение: «Понятие “средние слои” разработано в западной литературе». Однако в отличие от статьи 1993 г., которая предлагает выборочный обзор этой литературы, текст 1992 г. выстроен в форме примечательной попытки нормализовать понятийные синонимы «средние слои» — «средний класс» в позднесоветской академической речи, где символическая ценность «требований НТР» иерархически уравнивается с еще недавно стигматизированными «рыночными отношениями».

Текст также наделяет высокой проектной ценностью реформенную категорию «собственники», которые «служат социальной базой гражданского общества, заинтересованы в его стабильности и поступательном развитии»¹⁸. Следует обратить внимание на появление в том же контексте категории «гражданское общество», которую мы находим у академических социологов. Насыщение текста понятиями, принадлежащими различным хронологическим и дисциплинарным словарям, составляет отличительную особенность компромиссной стратегии высказывания. В свою очередь, в статье 1993 г. проектный смысл «средних классов» артикулируется как в первую очередь политический, в контексте апелляции к государству: «Сейчас средний слой в нашей стране имеется только в потенци, его реальное существование и рост во многом зависят от социальной политики... Формирование среднего слоя общества — это реальный путь преодоления люмпенизации населения и ослабления социальной напряженности. Этот социально-политический аспект сейчас не менее актуален, чем экономический»¹⁹. По контрасту с текстами двух других авторов эта понятийная комбинация объясняется, очевидно, более длительной, «нормальной» карьерой Л. Беляевой в стенах советской академической институции.

¹⁷ Беляева Л.А. Российское общество в преддверии рынка // Мир России. 1992. № 1. С. 57.

¹⁸ Там же. С. 40.

¹⁹ Она же. Средний слой российского общества... С. 22.

Все три случая, а также упомянутые публицистические образцы демонстрируют высокую дисперсию контекстов, в которых получает первоначальное определение «средний класс». В начале 1990-х годов, на периферии новой категориальной сетки, «средний класс» еще не обладает той относительной консистентностью признаков, которую ему сообщают серийные социологические публикации 2000-х. Вместе с тем ключевые элементы контекста, которые с конца 1990-х воспроизводятся как общие места, изначально сформированы именно на этой периферии: высокое образование, благосостояние или, по крайней мере, стремление к таковому, политическая умеренность, структурная или даже осознанная стабилизация правления, относительная независимость от государственной службы, активность в поисках работы и устройства собственной жизни. Эти признаки проясняют российскую генеалогию понятия. В двух названных случаях, у Беляевой и Пантина, неустрашимыми элементами в определении «средних слоев» служат «образование» и «демократия», которых мы не находим в контексте понятия «слой собственников». Именно эти недостающие элементы располагают «средний слой» на прямой генеалогической линии со «средним классом». Контекстуальная связь укрепляется также отсылкой к «либеральным ценностям», упоминаемым Пастуховым: для этого периода характерно их прямое отождествление с «демократией».

Не менее показательными становятся лапидарные, если не ритуальные отсылки к «среднему классу» и «среднему слою» в контексте «кризисной» диагностики, предпринятой академическими авторами старшего поколения, которые к тому моменту обладают значительно более высокими и устойчивыми административными позициями²⁰. Высказывания о «среднем классе» Николая Лапина (род. в 1931 г.), Овсея Шкаратана (род. в 1931 г.) и Юрия Фигатнера (род. в 1921 г.)²¹ роднят отсылки к очевидной социальной ценности, закрепленной за понятием, при минимальной авторской работе с ним. Авторы включают «средний

²⁰ Речь идет о статьях, помещенных в том же инаугурационном номере журнала «Мир России» (1992), что и один из упомянутых текстов Беляевой.

²¹ Лапин Н.И. Тяжкие годы России (перелом истории, кризис, ценности, перспективы) // Мир России. 1992. № 1; Шкаратан О.И., Фигатнер Ю.Ю. Старые и новые хозяева России // Мир России. 1992. № 1.

класс» в свои статьи, не соотнося его явным образом ни с одной из их опорных социальных и политических категорий основного текста: «люди труда», «номенклатура», «интеллигенция», «специалисты», «фермеры», «торговцы», «предприниматели», «великий народ», «демократы», «бизнес-элиты», «крупная буржуазия» (Шкаратан и Фигатнер), «эгалитаристы», «прогрессисты», «консумисты» и т.д. (Лапин). Завершая повествование о становлении и распаде советской номенклатуры, Шкаратан и Фигатнер указывают: «...Отсутствие устойчивой институциональной структуры — вот что характерно для сторонников демократического предпринимательства. Социальной опорой здесь являются образованные люди, квалифицированные рабочие, массовая интеллигенция. Все эти группы вполне могут стать ядром грядущего среднего класса»²². Схожим образом, представляя результаты исследования ценностей, Лапин отмечает: «Особого внимания заслуживает проблема восстановления среднего слоя как самой массовой группы экономически активных граждан, без которых невозможно саморазвивающееся гражданское общество. Существует социальная база для формирования такого слоя, прежде всего специалисты с высшим и средним специальным образованием, ориентированные на работу в условиях рыночной экономики. Но возможности этого слоя мало востребованы»²³. Безусловно, эти высказывания не являются версиями одного и того же суждения, и контекст понятия сохраняет тематическую дисперсию, включая «демократическое предпринимательство» в одном случае и «саморазвивающееся гражданское общество» — в другом. Вместе с тем, демонстрируя схожие политические предпочтения, авторы воспроизводят заимствованное понятие-проект в устойчивой связи с «образованием», «демократией» и «рынком». Такого рода консенсус, который связывает авторов разных поколений и профессиональных траекторий, включая трех более молодых, о ком я упоминал ранее, указывает на структурный эффект появления понятия в политически нагруженном публичном высказывании.

Чем объяснить это ценное и почти принудительное вхождение «среднего класса» в социальную «диагностику» и публицистику, которые в начале 1990-х годов конденсируются на

²² Шкаратан О.И., Фигатнер Ю.Ю. Указ. соч. С. 85.

²³ Лапин Н.И. Указ. соч. С. 23–24.

реформистском полюсе публичной речи? Очевидно, дело не в последовательной и планомерной институциональной реализации проекта, подобно тому, как это происходит с «Европейским союзом» в тот же период в соседних обществах. Настоятельное использование понятия объясняется *практическим* смыслом впоследствии тиражируемых фигур проектного контекста: «стабилизирующей функции» и роли новой категории в «снятии напряженности» и «придании устойчивости» российскому обществу. Для непосредственных участников политических дебатов о российском «переходе» в начале 1990-х «стабилизация» и ее ценностная связь с «демократией» и «либерализмом» неотделимы от ожидания большого катаклизма, в пределе революции, как насильственного снятия социальных и политических напряжений. По воспоминаниям Владимира Пантина о контексте написания им статьи:

После событий 1991–1992 гг. мне казалось очень важным нащупать новый субъект развития российского общества, и таким субъектом, способным обеспечить относительно стабильное политическое и экономическое развитие, мне представлялся средний класс. ...Дискуссия, в которой я принял участие... состояла в том, какие группы населения могут поддержать демократические реформы и какие у них перспективы развития. Как Вы помните, 1993 год чуть было не привел к гражданской войне в России, и в то время эта дискуссия носила отнюдь не только академический характер. Сейчас все видится несколько по-иному, но тогда накал страстей вокруг выбора путей развития российского общества был исключительно велик²⁴.

Наиболее наблюдательные авторы, которые предлагают рефлексию российской прагматики понятия постфактум, приходят к близким выводам, так квалифицируя интерес к этой социальной категории: «Наша мыслящая общественность живет в обстановке ожидания и страха социального взрыва, бессмысленного и беспощадного бунта. ...Поэтому идет поиск того среднего класса, который как бы этому помешает»²⁵. Частичное

²⁴ Из переписки с автором, 21.11.2013. (Курсив мой. — А. Б.)

²⁵ Дилигенский Г. Методологические аспекты изучения среднего класса // Средний класс в России. Проблемы и перспективы. М.: ИЭПП, 1998. В развитие этого наблюдения автор призывает: «Наверное, здесь и надо самим себе откровенно сказать, что нас интересует не проблема среднего класса как какая-то объективная социально-экономическая

историческое сходство, которое я отмечал ранее, при введении «средних классов» во французских 1860-х и российских 1990-х годах, состоит в первую очередь в разделяемом опасении государственного переворота и высвобожденного насилия. В этом горизонте сейсмически неустойчивого будущего, который неявно задает контекст понятия, проект мирного, благополучного «среднего слоя» воплощает в себе надежду на согласие и процветание, сообщая понятию исключительную символическую ценность. Когда к концу 1990-х «средний класс» занимает более устойчивое, в пределе господствующее, положение в понятийной сетке академических и журналистских высказываний о структуре российского общества, понятие во многом сохраняет смысл ответа на *политическую опасность* «реваншистской» революции в 1993–1996 гг.

При многочисленных сдвигах и смешениях, которые устраняют различия между жанрами публичного высказывания, начало-середина 1990-х годов отмечены институциональной и одновременно познавательной дистанцией, которая отделяет дисциплинарную (социологическую) модель речи о среднем классе от внедисциплинарной и публицистической. Неординарность ранней проекции В. Пантиним, Л. Беляевой или В. Пастуховым понятия «средний класс» на российское общество становится заметной при сопоставлении их текстов с публикациями социологов, длительно занимающихся темой социальной структуры на профессиональных основаниях. Одна из ключевых фигур в этой области — Зинаида Голенкова (род. в 1939 г.). В 1965 г. она оканчивает философский факультет МГУ и работает в академическом Институте социологии с года его основания (1968), в 1980–1990-е годы возглавляя сектор исследований социальной структуры. Ее первые публикации, посвященные вопросам классовой структуры, датируются 1970-ми годами. Но, когда в 1991–1993 гг. институционально более эксцентричные авторы делают основной темой своих статей «средний класс», ее публикации центрированы на уже упомянутой категории «гражданского общества».

Введение «гражданского общества» в контекст социальной стратификации может включать указания на решающую роль

категория, хотя такая проблема тоже существует, а проблема социально-политического поведения масс» (с. 42).

«свободных, экономически независимых, осознающих себя самостоятельными гражданами» или вопрос, «почему оказалось «заблокированным» (вытесненным) гражданское общество в России на современном этапе»²⁶. То есть стратификационные и политические смыслы соединяются между собой без участия «среднего класса» и отчасти замещают его. Другие академические социологи, работающие в том же тематическом секторе, помещают в центр меняющейся социальной структуры категории «новые бедные», «социально-имущественная дифференциация», «инженерно-техническая интеллигенция», «образованный класс», «предприниматели», «жизненные ориентации», «социальная адаптация», «поколенческие стратегии», «поселенческая структура»²⁷. Столь же показательна ранняя (1991) послесоветская социологическая монография об «интеллигенции» — категории, которая в тот же период фигурирует у ряда публицистов в роли «основы будущего среднего класса». В монографии категория «среднего класса» не используется ни в основном тексте, ни в редакторском послесловии З. Голенковой. Авторы озабочены вопросом о том, ближе интеллигенция буржуазии или рабочему классу, и при характеристике социальной структуры оперируют позднесоветскими категориями: «рабочие», «ИТР», «специалисты», «служащие», «пенсионеры»²⁸.

Что до «среднего класса» в том же сегменте академической речи, понятие встречается прежде всего в контексте «плодотворных наблюдений и теоретических изысканий ведущих западных социологов»²⁹ и как *условное* обозначение продолжающегося анкетного обследования «путей и ресурсов формирования новых социальных слоев»³⁰. Тематические публикации социологов

²⁶ Голенкова З.Т. НИП «Гражданское общество и социальная стратификация» // Резюме научных отчетов... С. 28.

²⁷ Тексты научно-исследовательских проектов секции «Социальное расслоение и социальная мобильность», приведенных в: Резюме научных отчетов...

²⁸ Барбакова К.Г., Мансуров В.А. Интеллигенция и власть / отв. ред. З.Т. Голенкова. М.: Институт социологии АН СССР, 1991.

²⁹ Черныш М.Ф. НИП «Социальная мобильность и особенности становления гражданского общества в переходный период» // Резюме научных отчетов... С. 38.

³⁰ Травин И.И. НИП «Население крупного города: образ жизни, новые социальные слои» // Резюме научных отчетов... С. 37.

о среднем классе можно найти в стороне от центральных академических изданий, на периферии дисциплины — например, в бюллетене опросного центра ВЦИОМ, созданного в 1987 г. Здесь «средний класс» предстает утопическим плавильным котлом: он «формируется из всех слоев общества — от рабочих и колхозников до крупных бизнесменов»³¹.

Иными словами, социальный проект нового порядка и релевантное ему понятие обходит стороной крупные центры академической социологии. В обращенном к широкой публике тексте один из главных инженеров государственных реформ, Егор Гайдар, утверждает: «Настоящий экономический подъем означает изменение социальной структуры нашего общества, долгожданное развитие среднего класса»³². На страницах ежедневной прессы публицисты с историческим образованием продолжают дискуссию о социальных предпосылках демократии: «Сегодня утверждают, что нужен средний класс, являющийся носителем демократии. Я утверждаю, что средний класс у нас был, он уже начал формироваться, хотя процесс шел особым образом»³³. Социологи же странным образом «опаздывают» внести свой вклад в эту понятийную контроверзу. Незначительное присутствие здесь «среднего класса» проясняется с обращением к истории понятия в советский период, которое я еще предприму. Но показателен уже сам факт: начало Нового порядка датируется концом 1980-х годов или первыми годами 1990-х, предстает академическим социологам в проектной очевидности «рыночных реформ», «гражданского общества» и «частной собственности», не требуя доказательств существования «среднего класса».

³¹ Рывкина Р.В. Эксперты о среднем классе // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. Информационный бюллетень. 1993. № 10.

³² Гайдар Е. Государство и эволюция. М.: Евразия, 1995. С. 147. Во введении автор указывает, что текст был написан в 1994 г. Показательно, что Гайдар вводит «средний класс» не в контекст «демократии», а в контекст экономического процветания, возлагая проектные ожидания на «те миллионы владельцев маленьких частных фирм, которые только и смогут создать настоящий рынок, динамичное производство, растущую экономику России» (с. 147).

³³ К. Мяло, статья в газете «Мегаполис-экспресс» от 21 ноября 1993 г., цит. по: Пастухов В.Б. «Новые русские»: появление идеологии // Политические исследования. 1993. № 3.

Сходство контекста проектных понятий «ответственные граждане», «собственники» и «средний класс», которые в отдельных случаях могут использоваться синонимически (как в статьях Л. Беляевой), позволяют говорить о возможности диффузного общего проекта у авторов по разные стороны институциональных границ. Однако более позднее вхождение «среднего класса» в социологическую речь снабжает его специфическим смыслом. В публикациях З. Голенковой с соавторами «средний класс» и «средние слои» как понятия, релевантные российскому обществу, появляются в конце 1990-х годов, в контексте переноса западных моделей *ab ovo*: «Известно, что средний класс в структуре развитых капиталистических стран представляет собой совокупность социальных слоев, занимающих промежуточное положение...»³⁴. В ходе такого переноса собственные полномочия на использование понятия оговариваются с предельной осторожностью: «Попытаемся на основе наших данных, которые пока ограничены, приблизиться к рассмотрению данной ситуации»³⁵. Ключевые для этой модели вопросы: из каких слоев формируется средний класс, какое положение на рынке труда и в имущественном распределении они занимают, какова их удовлетворенность своим материальным положением, их самоидентификация, какова численность этого слоя в сравнении с неимущими? — исключают важное измерение, которое определяет появление понятия «средний класс» в российской публицистике. Собственно *политическое* измерение. В отличие от этого, здесь социальная категория конструируется как экономическое *следствие* государственных реформ, а не как их основное *условие*. Даже в резюмирующей проектной формуле Зинаиды Голенковой и Елены Игитханян, которая звучит эхом более раннего текста Беляевой, «социально-политические» отношения замещаются «социально-экономическими»: «Экономическое состояние страны и налоговая политика приведут к еще большему обнищанию тех массовых групп, которые призваны историей стать средним классом. Формирование средних классов может произойти только с учетом новых реалий, глав-

³⁴ Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Средние слои в современной России (опыт анализа проблемы) // Социологические исследования. 1998. № 7. С. 44.

³⁵ Там же. С. 46.

ным образом, в сфере социально-экономических отношений, структурной перестройки экономики, трансформации социальной политики»³⁶.

В целом, если введение «среднего класса» в основание политического проекта обнаруживает структурные сходства с контекстом французских 1860-х годов, его социологическое использование отчасти сближается с «кризисным представительством» французских 1930-х. В российском случае оно, однако, избавлено от самоотождествления со «средним классом» самих авторов. Ставка на политическую миссию «средних» в дискуссии о «выборе пути» сообщает категории иллюзорную консистентность: даже когда авторы сомневаются в ее актуальном российском статусе, проект, спроецированный в недалекое будущее, или воображаемый горизонт западных обществ, наделяется высокой нормативной однородностью. В свою очередь, критика экономической политики государства, одним из неудачных следствий которой предстает «средний класс», заставляет сомневаться не только в реальности категории, но и в критериях ее выделения. Десятилетием позже, в коллективной статье с участием З. Голенковой, общая квалификация «среднего класса» звучит столь же скептически: «При всем повышенном интересе к этому феномену со стороны научного сообщества, политических и государственных структур характеристика средних слоев представляется достаточно неопределенной... Средний класс в постсоветской России — это одновременно и реальность, и фантом»³⁷. Отвлеченный язык и самые общие характеристики, к которым их по воле прибегают академические социологи, высказываясь о «среднем классе», свидетельствуют о том, что их предельная задача также мало отличается от политически предопределенного нормативного обоснования. Однако логический и хронологический сдвиг, который мы обнаруживаем по отношению к политическому использованию понятия, заставляет допустить наличие посредствующего звена. Возможно, модель высказывания, в которой «среднему классу» или «слою» отводится роль мерцающего ре-

³⁶ Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Средние слои в современной России... С. 53.

³⁷ Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. и др. Социально-профессиональный портрет российского среднего класса // Мониторинг общественного мнения. 2007. № 3 (83). С. 14.

зультата реформ, вторична и заимствует тезисы, озвученные и утвердившиеся в российских дебатах ранее?

Действительно, такое высказывание опирается на предпосланные образцы. Роль деятельного и признанного посредника между двумя пространствами речи, академической социологии и политической публицистики, выполняет экономист-социолог Татьяна Заславская. Я подробно рассматриваю ее академическую траекторию в одной из глав третьего раздела книги. Здесь будет уместно отметить лишь то, что она принимает активное участие в политических дебатах и консультировании высшего советского руководства в конце 1980-х и самом начале 1990-х. Имея двойную дисциплинарную принадлежность, она порой прямо дистанцируется от социологии, и эта дистанция отчасти объясняет ее более решительное обращение к понятию-проекту. Заславская вводит «средний класс», «средний слой» и «срединную часть» в свои тексты в середине 1990-х, во многом заимствуя политическую схематику ранних версий теории модернизации. Однако этот перенос никогда не бывает «чистым». На протяжении десятилетия она предлагает в своих статьях несколько моделей социальной стратификации, где, наряду с простым иерархическим, хотя логически непрозрачным разделением общества на правящую элиту, средний слой, рядовых граждан — базовый слой, нижний слой и десоциализированное дно³⁸, вводит типологическую смесь из политических предпочтений, способности адаптироваться к реформам, отношения к собственности и т.д.³⁹

Понятие «среднего класса» и его функциональных эквивалентов не обладает транзитивностью во всех контекстах. Например, в известной статье Т. Заславской, целью которой автор объявляет «теоретическую и эмпирическую идентификацию слоя предпринимателей», это понятие не используется⁴⁰. В тех текстах,

³⁸ См., напр.: Заславская Т.И. Социальная структура современного российского общества // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 1995. № 6.

³⁹ Подробнее о текстах и академической траектории Татьяны Заславской см. гл. VII наст. изд.

⁴⁰ Заславская Т.И. Бизнес-слой российского общества: сущность, структура, статус // Социологические исследования. 1995. № 3. Здесь автор следует за господствующей (официальной) схемой, в частности, правительственными совещаниями и конгрессами по предпринимательству,

где понятие фигурирует, его контекст оснащен уже привычными для политической дискуссии элементами «независимости», «благоприятного материального положения», «стабильности» и «образования» — «квалификации». Во многом это компиляция характеристик, ранее озвученных в академической и широкой публицистике. Кроме этого, в текст вводится характеристика «потенциалов», которая становится очередной компромиссной конструкцией: между позднесоветским «производственным потенциалом»⁴¹ и переводом категории «ресурсы» из американских источников⁴². В контексте «перехода от посттоталитаризма к политическому плюрализму и демократии и от огосударственной административно-распределительной к частновладельческой рыночной экономике» понятие «потенциалов» наделяется дополнительным проектным смыслом. Согласно тексту 1995 г., российского «среднего класса» традиционно еще не существует: имеется «протослой», который «является зародышем «среднего слоя» в западном понимании этого термина»⁴³.

где понятие «среднего класса» не ассоциировано с экономической тематикой «предпринимательства» (см., напр., названия докладов в: Третий международный конгресс «Малое и среднее предпринимательство России». Материалы конгресса. Москва, 23–25 ноября 1994 г.). Та же логика определяет другие тексты начала-середины 1990-х о «предпринимательском классе», при определении которого «средний класс» не используется. См., напр.: Чепуренко А.Ю. Предпринимательский класс в возрождающейся России // Мир России. 1993. № 1. Контекстуальная связь утверждается несколько лет спустя. В своей более поздней статье, в контексте высказывания о «малом предпринимательстве», тот же автор использует «средний класс» (Чепуренко А.Ю. Малое предпринимательство в России // Мир России. 2001. № 4. С. 131).

⁴¹ Например: «В России сейчас существуют две относительно обособленные системы общественной оценки социокультурного потенциала работников» (Заславская Т.И. Бизнес-слой российского общества... С. 8).

⁴² «Основными критериями статуса общественных групп, а соответственно, и социальной стратификации общества принято считать: политический потенциал... экономический потенциал... социокультурный потенциал... и, наконец, социальный престиж...» (Там же. С. 5; курсив мой. — А. Б.)

⁴³ Здесь же автор определяет состав этого «протослоя»: «Это мелкие предприниматели, полупредприниматели, менеджмент средних и небольших предприятий, среднее звено бюрократии, старшие офицеры, наиболее квалифицированные и дееспособные специалисты и рабочие» (Там же. С. 9).

Показательно, что, занимая в конце 1980-х место президентского советника, Заславская, в отличие от Беляевой и Пантина, а также некоторых ранних публицистов, адаптирует тезис о ключевой роли элит, который вписан в ряд версий теории модернизации: «Если верхний слой воплощает целеполагание и волю общества, то средний слой служит носителем энергетического начала и массовой повседневной социально-преобразовательной деятельности»⁴⁴. Иначе говоря, элитистская версия проекта, частью которой становится «средний класс», предполагает отчетливое разделение политического труда: между разработчиками и исполнителями модернизационного прорыва. Именно эта диспозиция служит опорой в построениях академических социологов, которые описывают средний класс в первую очередь как экономический продукт и мобилизационную базу реформ⁴⁵. Они уважительно ссылаются на тексты Заславской, на сей раз следуя правилам интеллектуального разделения труда и не претендуя на пересмотр исходных политических допущений.

В результате подобной цеховой рационализации «переходное» понятие утверждается в новой, более скромной функции, на первый взгляд, никак не меняя контекста, заданного «стабильностью», «образованием», «благополучием» (на фоне проблемного падения уровня жизни) и т.д. Именно здесь проектное понятие-посредник, ранее получающее смысл в контексте «демократии», без упредительных деклараций и теоретических обоснований переводится в термин, производный от контекста «[государственных] реформ». Более точно, смещение от ранних газетных контекстов «среднего класса» к социологическим на протяжении 1990-х годов корректирует историческое поле понятия, закрепляя в нем новый смысл — (дез)адаптации к рыночным реформам.

⁴⁴ Заславская Т.И. Социальная структура современного российского общества... С. 10.

⁴⁵ Речь идет о целой серии высказываний, включая упомянутые публикации З. Голенковой и социологов, работающих в секторе исследований социальной стратификации, а также более широкий круг авторов, пишущих о «среднем классе», в частности, ряд участников дискуссии 1999 г.: Средний класс в современном российском обществе...

СРЕДНИЕ-БУРЖУАЗНЫЕ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ И СОВЕТСКИЙ СТИГМАТ (1950–1960-е ГОДЫ)

Чем объясняется «запаздывание» академической социологии в изобретении новых социальных понятий? Сопроотивление «среднему классу» в академической речи и мышлении 1990-х годов, как возможному обобщающему и проектному понятию для послесоветского опыта, восходит к поворотной точке конца 1950-х — начала 1960-х. Именно в этот момент понятия «средние слои» и «средний класс» вводятся в академическую и пропагандистскую речь: одновременно с «гармонически развитой личностью», «научно-техническим прогрессом», «мирным сосуществованием», смысловым и социальным перипетиям которых посвящен следующий раздел книги. В позднесоветской социогонии такие конструкты отчетливо маркируют полюс «социалистического образа жизни», тогда как «средние» располагаются от него на столь же явственной дистанции. Однако относительную, пускай и амбивалентную ценность понятию сообщает уже само его официально лицензированное появление в публичном обороте⁴⁶. Оно же составляет основу для межпозиционной контрверзы в академическом и политическом мирах, одно из проявлений которой я проиллюстрирую подробнее. Административный и культурный поворот, сопровождающийся обновлением словаря публичной речи, контекстуально изменяет определение «социализма», заставляя самых разных авторов корректировать ритуальные приемы и темы, посредством которых генерируется контекст этой политической универсалии.

Функция таких приемов и тем состоит в освещении политического режима через утверждение отличий социализма от буржуазного (капиталистического) общества. Ключевое место в этом ряду принадлежит тематической формуле «классов и классовой борьбы», которая постоянно и на первый взгляд в неизменном виде воспроизводится в советской идеологической работе на всем ее протяжении. Публичные лекции и брошюры, посвященные «природе классов», «классовой борь-

⁴⁶ Например, в заглавии переводной книги английского социолога, вышедшей тиражом 10 тыс. экземпляров в центральном идеологическом издательстве: Грант Э. Социализм и средние классы / пер. с англ. Г.Ф. Хрустова, Г.С. Батищева. М.: Госполитиздат, 1960.

бе», «теории классов и классовой борьбы», которые адресованы партийному активу и широкой публике, регулярно публикуются с 1920-х годов, в ряде случаев достигая тиражей в 100 тыс. экземпляров⁴⁷. Проектное высказывание основано здесь на оппозиции классов при капитализме, в контексте непрерывно обостряющейся борьбы, и классов при социализме, в контексте мобилизованного единства или социальной однородности — последний характерен для послевоенного периода. Тексты, представляющие собой развернутое изложение этих контекстов, упорядочены в двух тематических измерениях: внешнеполитическом, при сопоставлении СССР с буржуазным обществом, и внутривнутриполитическом, которое сфокусировано на уничтожении/преодолении буржуазных элементов и пережитков в СССР. Смысловое напряжение и усиление, необходимые для перформативного эффекта, обеспечиваются серией устойчивых понятийных операторов, таких как «ликвидация» — «кооперация», которые выстраиваются вокруг понятия «класса» и комбинируются между собой. Для радикально ортодоксальных версий этого типа речи характерна милитаризованная конструкция «ликвидация эксплуататорских классов», которая понимается в первую очередь экономически⁴⁸. В реформистских, кристаллизующихся в поворотной точке конца 1950-х — начала 1960-х годов, акцент с «ликвидации» смещается на «вовлечение» и «союзничество».

⁴⁷ См., напр.: *Граев Б.* Теория классовой борьбы Маркса. М.: Красная Новь, 1923; *Медведев А.* Учение марксизма-ленинизма о классовой борьбе. Л.: Областное издательство, 1931; *Черемных П.С.* Классы и классовая борьба. Стенограмма лекций, прочитанных в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) в 1940–41 учебном году. М.: ВПШ при ЦК ВКП(б), 1941; *Глезерман Г.Е.* Марксизм-ленинизм о классах и классовой борьбе. В помощь преподавателям общественных наук. М.: Советская наука, 1952; *Фролов К.М.* Классовая борьба в СССР в переходный период от капитализма к социализму. М.: Знание, 1957; *Амвросов А.А.* Марксистско-ленинская теория классов и классовой борьбы. М.: Издательство ВПШ и АОН, 1959; *Арефьева Г.С., Лысманкин Е.Н.* Классы и классовая борьба. М.: Госполитиздат, 1963; и т.д., вплоть до конца 1980-х.

⁴⁸ *Корнеев М.* Вторая пятилетка и уничтожение классов. М.: Партиздат, 1932; *Погорельский В.* О некоторых общих чертах в ликвидации городской буржуазии при переходе от капитализма к социализму (На примере стран соцлагеря): дис. ... канд. филос. наук. М.: Издательство МГУ, 1963; *Дробижев В.Ж.* Ликвидация эксплуататорских классов в СССР. М.: Знание, 1966; и т.д.

Именно в последнем случае в рамках «классовой борьбы» появляются «средние слои»⁴⁹.

Я далек от того, чтобы предложить здесь сколько-нибудь исчерпывающий анализ литературы о классовой структуре и о борьбе классов. То, что интересует меня в первую очередь, — это контексты и границы, в которых в публичный оборот вводятся «средние слои» и «средний класс». Какие контексты становятся привилегированным местом появления «средних», каким смыслом и ценностью они снабжают эти понятия, и как при появлении в публичной речи этих терминов за ними закрепляется статус опасных?

Чтобы понять, почему в официальной советской риторике 1920–1940-х годов нет места примиряющим «средним классам», следует обратить внимание на крайне *поляризованное* и *неустойчивое* будущее советского режима, которое разительно отличает классовую риторику этого периода от позднесоветской. Не только в 1920-е, но и на протяжении 1930-х годов классовый антагонизм проецируется и на внешнюю политику, описываемую в терминах «враждебного окружения»⁵⁰, и на социальную структуру самого нового общества, которая остается ареной непрерывного столкновения полярных сил, где новому неизменно угрожают как презренные «пережитки», так и активные, агрессивные агенты старого порядка⁵¹. «Эксплуататорские

⁴⁹ Например, текст диссертации, выстроенный вокруг темы «самых широких антимонополистических классовых союзов, соглашений рабочего класса с различными промежуточными слоями», где «городские средние слои» падаются позитивной ценностью, с их растущей ролью «потенциального союзника пролетариата в капиталистических странах» (Юркин Г.Н. Социализм и городские средние слои: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М.: ИМЭМО, 1964. С. 1). См. также: Степин А.П. Вовлечение мелкой городской буржуазии в социалистическое строительство: дис. ... канд. филос. наук. М.: Мысль, 1967; Ли В.Ф. Некоторые проблемы изучения средних (городских) слоев в многоукладных странах Востока // Средние (городские) слои в развивающихся странах Азии и Африки (Материалы к симпозиуму в Институте востоковедения АН СССР 27–28 июня 1972 г.). Ч. 1. М.: Наука, 1972.

⁵⁰ «Надо иметь в виду, указывал товарищ Сталин, что классовая борьба имеет два конца. Если один находится в СССР, то другой уходит за пределы нашей страны» (Черемных П.С. Указ. соч. С. 45). См. также подробное исследование образов врага в этот период: Голубев А.В. «Если мир обрушится на нашу республику...» М.: Кучково поле, 2008.

⁵¹ Один из ярких, хотя, возможно, и не самых представительных примеров: Шкловский Г. Вредительство как метод классовой борьбы (К во-

классы ликвидированы, но сопротивление оказывают осколки этих классов», — утверждает одна из брошюр, изданная в 1941 г.⁵² Затянувшееся «сопротивление старого», очевидно, превосходит оптимистические оценки начала 1930-х, пускай и не вполне им противоречит: «...Классы будут уничтожены, но следы классовых различий еще сохранятся на некоторое время и за пределами второй пятилетки»⁵³. Вопрос «кто кого?», озвученный в контексте борьбы старого и нового, капитализма и коммунизма, буржуазии и пролетариата, в равной мере относится и к политическим доктринам, и к формам собственности⁵⁴. «Пока остается мелкотоварный способ производства, остается еще основа возрождения эксплуататорских классов»⁵⁵, — подобные высказывания сопровождаются неизменными отсылками к тематическим выступлениям Иосифа Сталина, которые сообщают им бесспорную легитимность.

Следует отметить, что еще в 1923 г. Сталин публикует небольшой текст о «средних слоях» и Октябрьской революции⁵⁶, который актуализируется не только в официальных текстах исторического материализма, но и после его смерти, в борьбе против «ревизионистов». В этой публикации, почти заметке, понятие сохраняет ценностную амбивалентность, что делает его потенциально опасным в контексте непримиримой борьбы классов. С одной стороны, средние слои служат «теми серьезными резервами, среди которых класс капиталистов набирает свою армию против пролетариата»; с другой — «пролетариат не может удержать власть без сочувствия, поддержки средних слоев, и прежде всего крестьянства, особенно в такой стране, как наш Союз Республик»⁵⁷. В противоположность исторически господствующему смыслу родственного понятия («средний класс»), «средние слои» определяются здесь не как

просу изучения вредительства в условиях переходной экономики). М.: Советское законодательство, 1931.

⁵² Черемных П.С. Указ. соч. С. 43.

⁵³ Корнеев М. Указ. соч. С. 63.

⁵⁴ Там же. С. 7–9.

⁵⁵ Медведев А. Указ. соч. С. 18.

⁵⁶ Сталин И.В. Октябрьская революция и вопрос о средних слоях // Сталин И.В. Соч.: в 18 т. Т. 5. М.: Государственное издательство политической литературы, 1947.

⁵⁷ Там же. С. 342.

антитеза революции, а как условие ее успеха. Но принципиально не только это. В развернутом определении понятия, которым становится этот текст, активным действующим началом признается лишь пролетариат, который «сумеет оторвать средние слои... от класса капиталистов», должен «превратить эти слои из резервов капитала в резервы пролетариата», тогда как революция призвана сомкнуть «вокруг пролетариата угнетенные национальности». «Средние слои» не наделяются субъектностью, по крайней мере, сколько-нибудь значимой для революционной логики. История «средних» на деле оказывается историей «борьбы за средние слои», а не их собственным действием на исторической сцене.

Антагонистическая конструкция двух активных «классов», проецируемая в 1920–1940-е годы на все сферы общества, служит схемой социальных взаимодействий, которая переводится в социальную структуру без политических компромиссов, но также, казалось бы, и в контекст далеких от классовых баталий категорий личности, гуманизма или науки, отчего те приобретают неожиданный сегодня смысл⁵⁸. Подобную тотализацию класса как действующей причины самых разных, в пределе любых и всех общественных отношений, обосновывает не только фундаментальное и «чистое» понятие социалистической революции. В ней объективируется куда более актуальный опыт самих авторов: неокончателность, в пределе обратимость смены политического режима и неустойчивость победы партийных фракций, добившихся стратегического превосходства на данный момент. XV съезд ВКП(б) (1927) открывается вопросом о внутрипартийной оппозиции, который вписан в риторику «гигантского напряжения» при строительстве нового общества, «новых революционно-классовых столкновений в международном масштабе» и «организации враждебного блока и провокации против нашего Союза»⁵⁹. Открытие XVII съезда (1934) со-

⁵⁸ В частности, «гуманизм», получающий квалификацию «пролетарский» или «социалистический», определяется через «классовую ненависть»; «личность» напрямую дедуцируется из буржуазного порядка; «бесклассовая наука» стигматизируется как «идеализм» и, следовательно, «буржуазное воззрение». Следующий раздел книги предлагает детальный анализ эволюции этих понятий в советский период.

⁵⁹ XV съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). 2 декабря — 19 декабря 1927 г. Стенографический отчет. Т. 1. М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. С. 3 (выступление Алексея Рыкова).

проводится не менее эпическим определением последних лет, «наполненных напряженной борьбой рабочего класса с врагами социализма... и отчаянного сопротивления новому строю со стороны последнего капиталистического класса — кулачества»⁶⁰. Межфракционная борьба и показательные политические процессы против партийных противников продолжаются вплоть до 1938 г.⁶¹ Риторика партийных «ошибок» здесь тесно связана с опасностью поражения социализма, на которое рассчитывают внешние и внутренние враги.

В этих обстоятельствах хрупкий альянс победителей воспринимает победу как состояние, открытое множеству угроз и рисков, а его агоническая речь обращена куда более широкой публике, нежели одним только соратникам и конкурентам в политическом руководстве. Помимо стенограмм съездов и пропагандистских брошюр, выпускаемых многотысячными тиражами, об этом свидетельствует корпус более «мирных» дидактических текстов. Так, статья «Советское государство» в Малой советской энциклопедии (1941) предлагает следующее определение режима: «Советское государство рабочих и крестьян есть диктатура подавляющего и ранее угнетенного большинства над незначительным меньшинством эксплуататоров, остающихся еще в первое время после пролетарской революции»⁶².

Дисциплинарный горизонт исторического материализма прямо наследует поляризованной логике «борьбы классов», когда переписывает понятия «средних слоев» и «среднего класса», заимствуя последнее из зарубежных публикаций *в целях критики*. Ключевой догматический текст, лицензированный компендиум принципов исторического материализма (1951), неумолим в отношении стратификационных схем американской социологии и наличия в них «среднего класса»: «Деление капи-

⁶⁰ XVII съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). 26 января — 10 февраля 1934 г. Стенографический отчет. М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1934. С. 5 (выступление Вячеслава Молотова).

⁶¹ Впечатляющую фреску аппаратных интриг, показательных противоборств, непрерывной череды осуждений, покаяний и репрессий предлагает Олег Хлевнюк в своей книге «Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры» (М.: РОССПЭН, 2010).

⁶² Малая советская энциклопедия. 2-е изд. Т. 9. М.: ОГИЗ РСФСР, 1941. С. 833. Издания Малой энциклопедии обновлялись быстрее Большой (БСЭ) и в некоторых случаях могли точнее отражать текущие изменения в официальной риторике и моделях политического порядка.

талистического общества на два враждебных друг другу класса подменяется неопределенным делением людей на «ранги», чтобы скрыть, замазать коренной классовый антагонизм между буржуазией и пролетариатом»⁶³. Показательно, что, в отличие от начала 1990-х годов, в тот момент «средний класс» и «средние слои» принадлежат относительно *не связанным* между собой контекстам. Наряду с американским «средним классом» здесь же вводится «средний слой», существование которого не может быть чем-либо иным, как пережитком феодализма, пускай «в большинстве капиталистических стран этот слой довольно многочисленен и составляет от 30 до 45% населения»⁶⁴. Нужно отметить, что если такое определение и пересекается со сталинским, то лишь отчасти. В позднейшей догматической критике эти два понятия сближаются, теряя «феодальный» контекст и окончательно утверждаясь в «капиталистическом». Неизменной остается негативная ценность, которая господствует в определении этих двух понятий в официальной ортодоксии, хотя она неравным образом распределена между «средними слоями» и «средним классом». В последний направлено куда больше доктринальных критических стрел. В 1960–1970-е годы на пересечении дисциплинарных штудий исторического материализма и широкой пропаганды публикуется ряд монографий и диссертаций, где понятие деполитизированного «среднего класса» буржуазной науки, вытесняющее агоническую модель классов, осуждается как «ревизионистское», «несостоятельное» и «лживое»⁶⁵.

Таким образом, на рубеже 1950–1960-х годов понятия «средние слои» и «средний класс» снова политизированы вслед за их

⁶³ Исторический материализм / под общ. ред. Ф.В. Константинова. М.: Государственное издательство политической литературы, 1951. С. 209. Этот фрагмент дословно воспроизводится в брошюре 1952 г. Григория Глезермана «Марксизм-ленинизм о классах и классовой борьбе» (с. 9).

⁶⁴ Там же. С. 223. Объединяя крестьянство и буржуазию в один слой, «сохранившийся от феодализма», текст уточняет, что «по своему экономическому положению эти средние слои, связанные с мелкотоварным производством, занимают промежуточное положение между пролетариатом и буржуазией».

⁶⁵ Семенов В.С. Марксистская и буржуазная социология о классах и классовых отношениях в современную эпоху: автореф. дис. ... докт. филос. наук. М.: ИФ АН СССР, 1963; Чаплыгин Ю. Миф о «едином среднем классе». М.: Политиздат, 1970; Левковский А.И. Мелкая буржуазия: облик и судьбы класса. М.: Наука, 1978.

повторным введением в академическую и публичную дискуссию. Характеризуя переводную монографию Эндрю Гранта о «среднем классе» (1960) как образцовое выражение марксистской линии, автор русского предисловия уточняет: это «не только полемическая и не только научная, но и глубоко политическая работа. Именно такой должна быть книга о средних слоях, ибо *сама эта проблема* — в первую очередь политическая»⁶⁶. Подтверждая эволюцию состава «средних слоев», от мелких собственников — к «техническим специалистам, людям свободных профессий», куда входят «инженеры и техники, художественная интеллигенция, врачи и учителя и т.д.», виртуоз официальной доктрины Юрий Арбатов⁶⁷, по сути, утверждает разрыв с лицензированным Сталиным определением, которое ограничивает средние слои «крестьянством», «мелким трудовым людом» и «угнетенными национальностями»⁶⁸. В рамках такого сдвига «привлечение средних слоев на свою сторону» определяется уже не милитаристским «превращением в резерв пролетариата»⁶⁹, но реформистским проектом: «сблизить борьбу средних слоев с рабочим движением»⁷⁰. При этом «средние классы», в отличие от «средних слоев», по-прежнему квалифицируются Арбатовым как «фальсификация врагов марксизма».

В целом десятилетие 1957–1967 создает ощутимую цезуру в отправлении ритуала «классовой борьбы», которая описывается в терминологии двух полярных сил. Различные дисциплины в разной степени эмансипируются от господствующих, бинарных и сталинских схем исторического материализма, и в некоторых случаях мы можем наблюдать осторожное введение «третьей силы». Как и в российском XIX веке, взятом в измерении «среднего класса», история и историки предлагают, вероятно, наиболее отчетливые альтернативы. Главным образом они лока-

⁶⁶ Арбатов Ю. Предисловие // Грант Э. Социализм и средние классы... С. 5–6, 7–9 (Курсив мой. — А. Б.). Квалификация понятия как «проблемы», почти в форме оговорки, очень красноречива.

⁶⁷ Автор книг, вышедших в издательстве «Знание»: «О роли народных масс в международных отношениях» (1956), «Об идеологической стратегии американского империализма» (1957).

⁶⁸ Сталин И.В. Октябрьская революция и вопрос о средних слоях... С. 342.

⁶⁹ Там же. С. 345.

⁷⁰ Арбатов Ю. Указ. соч. С. 8.

лизованы в контексте революции: не социалистической 1917 г., но буржуазной 1848 г., на примере которой, среди прочих, Сталин объясняет роль «средних слоев». Специализированная дисциплинарная работа с материалом буржуазных революций требует владения исследовательским корпусом «буржуазной науки», который обеспечивает понятийные и мыслительные альтернативы по отношению к официальной советской догматике. Вместе с этим та же работа требует плотного согласования с доктринальными формулами, более скрупулезного, нежели античные исследования или большинство разделов истории Нового времени, поскольку публичное высказывание о революции в конечном счете замыкается на принципы советского строя. Две публикации могут проиллюстрировать происходящий сдвиг в академическом описании революционной «борьбы классов», который совпадает с большим политическим поворотом. Обе объединяет лишь тема, тогда как они существенно разнятся по содержанию и научному жанру. Тем более показательным на фоне этих различий предстает обращение двух авторов к разным социальным категориям для обозначения «одних и тех же» социальных сил.

В книге, посвященной французской революции 1848 г. и опубликованной к ее столетию, известный университетский историк Наум Застенкер описывает классовую структуру Франции в категориях «крупной» и «мелкой» буржуазии, «рабочего класса», «аристократии», «банкиров», «заводчиков», «ростовщиков» и т.д. Приближая французские реалии XIX в. к восприятию своих читателей, автор даже прибегает к презентистской категории «фермер-кулак»⁷¹. Однако в его словаре не находится места «среднему классу». Коллизия прогресса как социального компромисса, эскизно очерченная в предыдущей главе, предстает на языке его сторонников Гизо и Прудона как альянс «рабочей демократии и среднего класса». В своем тексте Застенкер переводит эти формулы на язык русских изданий Маркса как преданный либералами «союз мелкой буржуазии с рабочим классом». Наряду с тем, уже в описании революционных событий, он вводит не менее характерные для риторики сталинского периода «народные массы» и «толпы», противопоставленные

⁷¹ Застенкер Н. Революция 1848 года во Франции. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1948. С. 13.

«правлящей буржуазной клике». В конечном счете «революцию совершили пролетариат, мелкая буржуазия и, отчасти, средняя буржуазия, объединенные борьбой против верхушки буржуазии... — финансовой аристократии»⁷². Подобная поляризация социальных сил во Франции в точности отвечает официально одобренной в СССР модели высказывания о социальной структуре буржуазного общества, которой приписывается непрерывный рост напряжений.

Второй текст, посвященный тому же периоду, представляет собой не изложение революционных событий, а разбор их исторических интерпретаций. При всех жанровых отличиях от книги Н. Застенкера, определяющим для его словаря служит тот факт, что книга опубликована двумя десятилетиями позже (1969). В тексте Любови Бендриковой, в ряду отсылок к отцам-основателям мы находим такие суждения: «К. Маркс на опыте революций 1848–1849 гг. подчеркивал важность союза пролетариата с крестьянством и другими средними слоями общества». В доктрине Прудона Бендрикова восстанавливает «средний класс» и «союз среднего класса и пролетариата»⁷³. И хотя упоминание «среднего класса» тем или иным французским автором сопровождается переводческой ремаркой в скобках: «повидимому буржуазия», «очевидно, буржуазия», — при сходстве базовой модели интерпретации с книгой Застенкера возврат во французскую историю имманентного ей понятия-проекта фактически перекомпонует социальную структуру революционных сил в узком сегменте академической науки.

На равной хронологической дистанции между этими двумя публикациями, незадолго до перевода книги Гранта, локализуется событие, которое тесно связывает между собой академический и политический смыслы понятия: дискуссия 1957–1958 гг. о «средних слоях» на историческом факультете МГУ⁷⁴. В 1957 г. арестована группа аспирантов и молодых преподавателей факультета, так называемая группа Краснопевцева, которые соз-

⁷² Там же. С. 23–24, 31–33, 51.

⁷³ Бендрикова Л.А. Французская историография Революции 1848–1849 гг. во Франции (1848–1968). М.: Издательство Московского университета, 1969. С. 41, 105, 223.

⁷⁴ Я искренне благодарен Виктору Мизиано, который обратил мое внимание на эту дискуссию, и Ирине Григорьевой, за ее консультации о ходе событий.

дают «ревизионистский» кружок, проводя политические дискуссии, распространяя официально не одобренные работы по советской истории и листовку с требованиями широкой народной и партийной дискуссии, суда над сообщниками Сталина, права на забастовку, усиления роли советов⁷⁵. За арестом группы следуют проверки на факультете, которые актуализируют давние напряжения, в первую очередь между догматически и исследовательски ориентированными фракциями сотрудников. Среди арестованных — двое членов КПСС: Лев Краснопевцев, аспирант кафедры истории КПСС, и Николай Обушенков, молодой преподаватель кафедры новой и новейшей истории. Есть также выпускники других кафедр. На первый взгляд, это дает основания для догматической атаки на весь факультет. Однако пружиной публичного конфликта становится противостояние кафедры истории КПСС, во многом остающейся бастионом сталинской партийной ортодоксии, и кафедры новой и новейшей истории, которая объединяет специалистов по истории зарубежных стран, владеющих иностранными языками.

О том, что иностранный язык — отнюдь не нейтральный культурный навык, свидетельствует убеждение заведующего кафедры истории КПСС Наума Савинченко: «Те, кто знает иностранные языки, — потенциальные шпионы»⁷⁶. И это не простая девиация по отношению к научному здравому смыслу, а выражение основополагающего конфликта между догматической и технической компетентностями в академическом репертуаре. Конфликт находит точное соответствие в политическом напряжении между «детьми XX съезда» и «сталинистами», при том, что последние в тот момент получают преимущество в партбюро факультета⁷⁷. Они инициируют поиск единомышленников Обушенкова и проверку «идейной направленности»

⁷⁵ «Дело» молодых историков (1957–1958 гг.) // Вопросы истории. 1994. № 4. С. 112–113.

⁷⁶ Смирнов В.П. От Сталина до Ельцина: автопортрет на фоне эпохи. М.: Новый хронограф, 2011. С. 250.

⁷⁷ «Дело» молодых историков... С. 110–111. К ортодоксам с кафедры истории КПСС присоединяются «сталинисты» с других кафедр, включая кафедру новой и новейшей истории. В своих воспоминаниях Владислав Смирнов указывает на активизацию «многочисленных и влиятельных “сталинистов”», очевидно, пользуясь устойчивым обозначением того периода (Смирнов В.П. Указ. соч. С. 248).

работ преподавателей и студентов кафедры, работающей с иностранным материалом. Кроме того, прямой атаке подвергается профессиональный журнал «Вопросы истории», который партийные ортодоксы обвиняют в распространении «ревизионистских идей».

При всех возможных формах, в которых могла получить выражение эта коллизия, ее смысловым стержнем становится именно понятие «средних слоев». Это может выглядеть случайным в событийной канве конфликта, но не в логике «теории классовой борьбы» сталинского периода. В контексте бинарной классовой оппозиции обращение к опасному третьему элементу социальной структуры становится едва ли не квинтэссенцией «ревизионизма» для доктринеров, обязанных этой теории своими местами на кафедрах. Комиссия парткома факультета критически отзывається об одном из дипломов под научным руководством Наума Застенкера, посвященном участию средних слоев в движении Сопротивления во Франции. По мнению критиков, студент и его научный руководитель неверно решают вопрос о составе средних слоев, а значит, о том, кого можно признать союзником рабочего класса. В ответ научный руководитель предлагает организовать дискуссию. В ходе обсуждения наиболее скандальным моментом становится предложение Застенкера включить «кулаков» в состав «средних слоев»⁷⁸. Он и его защитники с кафедры истории нового и новейшего времени, Каролина Мизиано, Ирина Григорьева, Григорий Куранов, остаются в очевидном меньшинстве. По итогам обсуждения сталинское определение признается «лучшим в марксистской литературе», противники обвинены в «ревизии учения о классовой борьбе». За резолюцией следуют санкции: Мизиано и Куранов покидают факультет, отсрочено утверждение на должность Григорьевой, Застенкеру предписано трактовать «средние слои» согласно постановлению партбюро.

Политические напряжения, актуализированные в контексте «средних слоев», не ограничиваются университетскими стенами. Те же конфликтные линии расчерчивает административный аппарат. По свидетельству Владислава Смирнова, отдел науки ЦК КПСС принимает сторону Застенкера, тогда как московский партком подтверждает верность факультетского

⁷⁸ Там же. С. 250.

постановления. Коллизия получает публичное развитие несколько лет спустя, в 1962 г. На Всесоюзном совещании историков академик и заведующий Международным отделом ЦК КПСС Борис Пономарев делает доклад, который ложится в основу партийной резолюции. В докладе Пономарев, по сути, пересматривает итоги дискуссии 1957–1958 гг. Согласно его изложению, «ряд преподавателей пытался осмыслить понятие “средние слои” применительно к условиям развития социалистической революции на ее современном этапе, но они встретили сокрушительный отпор со стороны некоторых кафедр»⁷⁹. Содержательный разрыв со сталинским определением в докладе не артикулирован, акцент сделан скорее на автономии экспертной трактовки «средних» как самостоятельной социальной силы. В начале 1920-х годов Сталин квалифицирует «средние, непролетарские, крестьянские слои всех национальностей и племен» как пассивный реципиент революционных идей⁸⁰. Согласно Пономареву, «жизнь показала необходимость нового подхода к определению “средних слоев”, и компартии, которые работают там, где эти “средние слои” существуют в действительности, отвергли ограничительное толкование, данное Сталиным»⁸¹.

Это официальное высказывание санкционирует последующее обращение к «средним слоям» не только в исторических исследованиях, но и в работах, посвященных современности развивающихся стран⁸². Основным политическим контекстом, который закрепляет за понятием позитивную ценность на рубеже 1950-х и 1960-х годов, становится «союз [с пролетариатом] против монополистического капитала». В содержательном отношении понятие частично синхронизируется с моделью «новых средних классов», заимствуемой как из работ англоязычных левых авторов (Миллс, Грант), так и из более широкого круга источников, препарированных в жанре «критики современной буржуазной

⁷⁹ Пономарев Б.Н. Задачи исторической науки и подготовка научно-педагогических кадров в области истории // Вестник Академии наук СССР. 1963. № 2. С. 26.

⁸⁰ Сталин И.В. Указ. соч. С. 348.

⁸¹ Пономарев Б.Н. Указ. соч. С. 27 (Курсив мой. — А. Б.).

⁸² См., напр., упомянутый сборник 1972 г.: Средние (городские) слои в развивающихся странах Азии и Африки. А также ряд диссертаций, посвященных странам социалистического блока.

теории»⁸³. Однако параллель между двумя понятиями, не говоря о прямом терминологическом отождествлении, не должна быть явной, пока «средние классы», будь то «новые» или «старые», стигматизированы политически и доктринально⁸⁴. Эталонный пример такой расщепленной рецепции дает Философская энциклопедия (1967–1970), где «средним слоям» и «теории нового среднего класса» посвящены две самостоятельные и очевидно неравноценные статьи, выстроенные по той же схеме⁸⁵.

В куда меньшей степени эффект, произведенный исторической дискуссией о «средних слоях» в зарубежных странах и последующим перекодированием ее итогов, распространяется на социологию. В десятилетие институционализации новой дисциплины (1960-е) и до конца советского периода ее методологические допущения значительно больше обязаны «идейной работе» профессионалов от исторического материализма, особенно в разделе социологической теории⁸⁶. «Средние слои», чье *действительное*

⁸³ Помимо детальных разборов в пособиях с заглавиями класса «Критика буржуазной теории», краткий перечень источников см.: Семенов В.С. Указ. соч.; Вебер А. Нового среднего класса [теория] // Философская энциклопедия: в 5 т. / под ред. Ф.В. Константинова. Т. 4. М.: Советская энциклопедия, 1967. Некоторые советские заимствования и дискуссии о «среднем классе» начала 1960-х также рассмотрены в: Шкаратан О.И., Иняевский С.А. Новый средний класс на Западе // *Общественные науки и современность*. 2007. № 4. Имена современников, таких как «экономист Г. Фон Лилиенштерн», «американский профессор М. Салвадори», «профессор Гарвардского университета Томас Карвер», упомянуты в: Чаплыгин Ю. Миф о «едином среднем классе». Слегка обновленный краткий список также см.: «Среднего» и «нового среднего класса» теории // *Философский энциклопедический словарь*. М.: Советская энциклопедия, 1983.

⁸⁴ Примечательные иллюстрации перевода по умолчанию дают тексты, посвященные представлениям о социальной структуре в «буржуазных теориях». Здесь речь может идти, например, об увеличении численности «новых средних слоев» — интеллигенции, служащих и научно-технического персонала, которые по условиям жизни все более сближаются с рабочим классом» (Грзал Л., Попов С. Критика современных буржуазных социологических теорий / под общ. ред. Ю.Н. Солодухина. М.: Прогресс, 1976. С. 71). По сути, это никак не проблематизируемый перевод «нового среднего класса» в более легитимную терминологическую форму, подобно тому, как это происходит и в предисловии Ю. Арбатова к книге Гранта.

⁸⁵ Философская энциклопедия: в 5 т. Т. 4–5. М.: Советская энциклопедия, 1967, 1970.

⁸⁶ Подробнее об этом см. в гл. VII и VIII наст. изд.

существование в начале 1960-х годов признано официально допустимым в других обществах, остаются фигурой умолчания в обществе победившего социализма. Даже при историческом описании роли «средних слоев» в России и СССР авторы предпочитают благоразумно ограничиваться 1920-ми годами⁸⁷. Но амбивалентность понятия в категориальной сетке, которая образована универсалиями «социализма», «борьбы классов» и «революции», несоизмерима с негативной ценностью «среднего класса», чей контекст составляют «вымыслы буржуазных социологов». Как следствие, понятие содержит куда более очевидную опасность для любых проекций на советское общество.

Все это хорошо объясняет существенно более поздние колебания академических авторов при обращении к «среднему классу» в описании послесоветского общества. По свидетельству Владимира Пантина, автора статьи 1993 г. о «среднем классе»: «“Средние слои” в [заглавии] моей диссертации появились потому, что термин “средний класс” в Институте сравнительной политологии, где я обсуждал диссертацию, встретил сильное сопротивление среди бывших советских марксистов»⁸⁸. Следует помнить, что защита диссертации проходит в 1995 г., через несколько лет после официального исчезновения СССР. На фоне советских перипетий понятийной пары «средних слоев» — «средних классов» ее повторное введение в начале 1990-х годов, которое исходит с периферии академической системы, представляет собой результат очередного политического разрыва. По сути, это третья история понятия, которая начинается заново.

Вместе с этим во всех догматических хитросплетениях, которые с 1950-х годов позволяют отграничивать «средние слои» как союзников рабочего класса от «среднего класса» как вымысла буржуазных социологов, можно видеть, что использование «средних» в позитивном контексте «союза» и «альянса» с про-

⁸⁷ См., напр.: Москвин Л.Б. Рабочий класс и его союзники (К вопросу о классовых союзах пролетариата в борьбе против капитала). М.: Мысль, 1977. Гл. III; Левковский А.И. Мелкая буржуазия: облик и судьбы класса. Разд. II. Отчасти тема затрагивается в более ранних работах (рубеж 1950–1960-х), возвращающихся к теме «ликвидации эксплуататорских классов», хотя здесь используется социальная терминология предшествующего периода: «мелкие товаропроизводители», «крестьяне и ремесленники» и т.п. Напр.: Фролов К.М. Указ. соч.; Дробинев В.Ж. Указ. соч.

⁸⁸ Из переписки с автором, 21.11.2013.

летариатом отмечает полюс новых исследований в истории, этнографии, экономике, чаще получая место на страницах кандидатских диссертаций и специализированных научных изданий. Второй тип контекстуального определения «среднего класса», отсылающий к искажению истинной картины борьбы между пролетариатом и буржуазией, привязан к полюсу исторического материализма — того типа публичной речи, которому лучше соответствуют докторские диссертации по философии и монографии, издаваемые десятками тысяч экземпляров. В этом отношении два способа тематизации «средних» изоморфны двум другим, казалось бы, отчетливо синонимическим конструкциям: «гармонически развитой личности» и «коммунистического воспитания личности», — которым я посвящаю главу IV. При всем созвучии, эта понятийная пара в 1950–1960-х годах точно так же, как и в случае «средних», объективирует оппозицию между реформистски настроенными исследователями и сталинистски ориентированными виртуозами исторического материализма. В случае обеих практических оппозиций, которые образованы конкурирующими контекстами общего базового понятия, речь идет о противостоянии между полюсами нового профессионализма и старой партийной ортодоксии.

ТРЕТЬЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА «БЕСКЛАССОВОГО ОБЩЕСТВА» (1970–1980-е ГОДЫ)

В отличие от 1930-х и даже 1950-х годов, 1970-е — период оформления проекта *социальной однородности* советского общества, который сменяет риторики, плотно пронизанные семантикой классового противостояния. По мере институционализации таких дисциплинарных разделов, как количественная социология и системные исследования, тексты, проблематизирующие капиталистический строй, выделяются в самостоятельный жанровый корпус. Утверждение новых дисциплин в разделении интеллектуального труда ведет ко все более отчетливой кристаллизации советского общества как реальности *per se*. Такому академически заданному обособлению социальной реальности предшествует политический разрыв с ранними моделями публичной речи. На рубеже 1950-х и 1960-х годов коррекции подвергается международное определение советского проекта, сформулированное в 1920–1930-х годах: социализм признан утвердившим-

ся «в рамках всего мирового социалистического содружества». Это означает его международную демилитаризацию — перевод в рамки «мирного сосуществования» и экономического состязания с прежним непримиримым врагом, капиталистическим миром⁸⁹. Синхронные сдвиги во внутривполитической риторике определяются прежде всего кардинальным исключением из нее *внутренних врагов*, что позволяет провозгласить «развернутое строительство коммунизма по всему широкому фронту великих работ»⁹⁰. На деле эти сдвиги целиком меняют формулу режима. Ключевое место в оформлении проекта социализма занимают риторические и понятийные конструкции, которые не просто указывают на доктринальные расхождения с 1930-ми годами. Они объективируют иное *переживание времени* режима. Для позднесоветской официальной и академической речи характерны — если пользоваться грамматической аналогией — конструкции совершенного времени. Построение нового режима, создание нового общества и человека объявлены завершенными, внутренний классовый антагонизм преодоленным, советский строй получает новое официальное (само)обозначение «развитого» или «зрелого социализма», а «советский народ» провозглашен «новой исторической общностью»⁹¹.

⁸⁹ Отчет Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза XXII съезду КПСС. Доклад Первого секретаря ЦК товарища Н.С. Хрущева // XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17–31 октября 1961 года. Стенографический отчет. Т. 1. М.: Государственное издательство политической литературы, 1962. С. 15. Внешние враги также представлены в этой речи: это империалисты, которые «не раз пытались поставить мир на опасную грань войны» (Там же). Однако подобные высказывания звучат как *остаточные формы* ранних образцов более милитаризованной риторики. Лишь двумя годами ранее в пленарном докладе Хрущев воспроизводит куда более детальное и агоническое описание врагов партии, которая преодолевает «все трудности на своем пути, ломая сопротивление классовых врагов и их агентуры — троцкистов, правых оппортунистов, буржуазных националистов и других» (О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959–1965 годы. Доклад товарища Н.С. Хрущева // Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза. 27 января — 5 февраля 1959 года. Стенографический отчет. Т. 1. М.: Государственное издательство политической литературы, 1959. С. 13).

⁹⁰ Отчет Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза XXII съезду КПСС...

⁹¹ Материалы XXIV съезда КПСС. М.: Политиздат, 1971. С. 76.

Эти тезисы, многократно воспроизведенные корпусом доктринальных комментаторов на протяжении десятилетия, окончательно закрепляются в Конституции 1977 г. Ее текст утверждает существование новой интернациональной советской (т.е. гражданской) нации, которая гарантирована развитием социализма уже не в перманентной борьбе с опасными врагами и «пережитками» прежнего порядка, а «на своей собственной основе»⁹². В развернутом виде эта формула существенно дополняет, если не отрицает более раннюю классовую декларацию СССР как «социалистического государства рабочих и крестьян»⁹³. В отличие от Конституции 1936 г., в Конституцию 1977 г. вместе с двумя номинальными классами вводится «народная интеллигенция», и все вместе они образуют «нерушимый союз»⁹⁴. Конституционное признание *третьего* равноправного и производящего паракласса предлагает радикальную замену бинарной социальной структуры воинствующего социализма.

Помимо прочего, такое признание сопровождается присвоением Коммунистической партии новой функции: теперь она не просто «руководит и направляет», но «придает планомерный научно обоснованный характер его [советского народа] борьбе за победу коммунизма» (ст. 6). В следующих главах книги я показываю, что появление подобных формул в Конституции не случайно и совпадает по времени с превращением научных институций в экспертный аппарат государственного управления⁹⁵. Рост символической ценности категории «интеллигенция», одновременно с ростом позиции Академии наук в государственных иерархиях, дает ключ к более ясному прочтению понятийной сетки позднесоветского социализма. Вместе с це-

⁹² Конституция СССР (1977), преамбула. Тематическая статья в третьем издании «Большой советской энциклопедии» («Советский народ». Т. 24. 1976) по большей части представляет собой комментарий именно к этой функции «общности», которая поясняется в игре «национального» и «интернационального». Среди прочего, ее обоснование не обходится без платоновского переноса типа правления на духовный склад человека (Платон. Государство. Кн. 8), указывая на «рождение нового духовного и психологического облика советских людей, которые, сохраняя свои национальные особенности, в главном имеют интернационалистские черты».

⁹³ Конституция СССР (1936). Ст. 1.

⁹⁴ Конституция СССР (1977). Ст. 19.

⁹⁵ См. гл. IV наст. изд.

лым рядом сопутствующих изменений эти сдвиги не отменяют риторику классовой борьбы окончательно, но растворяют их в понятийном строе «научного управления» — управления обществом и «научно-техническим прогрессом», — которому посвящена отдельная VI глава настоящей книги.

Если «интеллигенция, или служащие» выступают структурной основой «однородности», то в более высоком регистре внутривнутриполитического высказывания формула «новой исторической общности» резюмирует переход от общества антагонистических классов к почти бесклассовому «народу»⁹⁶. Чтобы оценить масштаб произошедшего семантического поворота, будет полезно отвлечься от корпуса официальной речи и обратиться к примеру, лежащему по ту сторону утверждаемой в этой речи доктрины. Текст Андрея Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (1968)⁹⁷ принадлежит к числу первых неподцензурных политических манифестов позднесоветского периода, опубликованных за рубежом⁹⁸. Фрагменты, легшие в основу брошюры, исходно предназначены для печати в официальных СМИ, но отвергнуты цензурой. Переработанный и дополненный текст распространяется уже как самиздат. В силу такого двойного статуса документа особенно интересно представление в нем вопроса о социальной структуре советского общества. На деле единственной новацией по отношению к трехчастной схеме, которую мы можем обнаружить в тексте, выступает лапидарное упоминание (в сноске) «особого класса — бюрократической “номенклатурной” элиты» из зарубежных публикаций, в существова-

⁹⁶ «[Развитое социалистическое общество] — это общество зрелых социалистических общественных отношений, в котором на основе сближения всех классов и социальных слоев, юридического и фактического равенства всех наций и народностей, их братского сотрудничества сложилась новая историческая общность людей — советский народ» (Конституция СССР (1977), Преамбула).

⁹⁷ Электронная версия текста: <www.sakharov-archive.ru/Raboty/Razmysleniya_1.htm> (последний доступ 23.11.2013).

⁹⁸ Со всеми возможными оговорками, подобные тексты можно квалифицировать как оппозиционные, имея в виду не намерение авторов немедленно участвовать в парламентском состязании, но их желание влиять на политический курс страны с альтернативной программой, посредством не санкционированного политическим руководством экспертного и публичного высказывания.

нии которого автор признает «непонятную... долю истины». В остальном текст отсылает к ортодоксальным категориям «рабочих», «крестьянства» и «интеллигенции», противопоставляет свободную мысль «мещанству» и вводит тезис о схождении социальных противоположностей: «Можно сказать, что наиболее прогрессивная, интернациональная и самоотверженная часть интеллигенции по существу является частью рабочего класса, а передовая, образованная и интернациональная, наиболее далекая от мещанства часть рабочего класса является одновременно частью интеллигенции»⁹⁹.

Оценить сходство социальной структуры из текста Сахарова с официально санкционированной типологией позволяет множество текстов, посвященных теме «социальной однородности». Я воспользуюсь только одним примером, более поздней социологической статьей (1979), которая иллюстрирует социальное сближение рабочих и интеллигенции. Сравнение позволяет убедиться, что оба высказывания выстраиваются на сходных допущениях стирания классовых границ: «В центральной части [схематичной] шкалы займут место пограничные слои рабочего класса (рабочие-интеллигенты) и интеллигенции (интеллигенты-рабочие), в труде которых сочетаются непосредственное воздействие на предмет труда и сложная умственная деятельность. Эти слои в социалистическом обществе характеризуют частное слияние рабочего класса с интеллигенцией»¹⁰⁰. Специфика второго текста состоит в том, что он служит целям публичной демонстрации на международной сцене преимуществ социалистического образа жизни, т.е. расположен на жанровом полюсе, противоположном сахаровской брошюре.

⁹⁹ Обращение к социальным категориям «зрелого социализма», понятие «научно-технического прогресса» в его цивилизующем значении, а также ряд иных понятий и смысловых операций делают текст достаточно созвучным официальной доктрине, чтобы автор адресовал его очередную версию высшему политическому руководству (Сахаров А.Д. Воспоминания: в 2 т. Т. 2. М.: Права человека, 1996. Гл. 2).

¹⁰⁰ Филиппов Ф.Р., Колбановский В.В. Социальное развитие рабочего класса и интеллигенции в СССР // Информационный бюллетень 1979. XVI проблемная комиссия. Эволюция социальной структуры социалистического общества. Социальное планирование и прогнозирование. Варшава: Институт философии и социологии ПАН, 1981. С. 123.

Ограничивается ли сдвиг в понятийной сетке официальной риторики и социальных наук прибавлением третьего элемента к прежде бинарной классовой структуре и их номинальным слиянием? Если нет, к каким структурным следствиям ведет появление в центре этой сетки понятия «однородность», усиленного «научным управлением»? Вероятно, одним из наиболее заметных и важных эффектов становится тенденция, прямо противоположная слиянию классов до неразличимости: насыщение словаря публичного высказывания дифференцированными техническими категориями, отражающими разнообразие социальных позиций. В ходе экспертной и исследовательской работы, выполняемой преимущественно в рамках недавно учрежденных дисциплин, математической экономики и «конкретных социологических исследований», два с половиной официально признанных класса советского общества: доктринальные рабочие, колхозное крестьянство и прослойка советской интеллигенции, или служащих, — переводятся в технические (в первую очередь, отраслевые) группы на основе показателей распределения доходов, обеспеченности жильем, уровня образования и т.д. В результате в публичный оборот вводятся весьма тонкие социальные деления, вплоть до разбиения отдельными авторами социoproфессиональных категорий на дробные учетные подгруппы: «инженеры-исследователи», «инженеры-технологи», «инженеры-эксплуатационники», «инженеры-руководители» и т.д.¹⁰¹

Детализация и возможность *научного учета*, как следствие введения *неполитических* параметров в социальную структуру, отвечает требованиям научного обеспечения режима социализма. Но этим мотивы и последствия введения технических типологий не ограничиваются. Новые модели советского общества принципиально совместимы с параметрами описания социальной структуры «буржуазного общества» и призваны *политически* обосновывать преимущества социализма на универсальном языке международных сравнений¹⁰². Конечно, у частичной замены политических *классовых* типологий техническими со-

¹⁰¹ Куценко В.А. Социальная эффективность советской высшей школы в условиях НТР // Образование и социальная структура: сб. науч. тр. М.: ИСИ АН СССР/ССА, 1976. С. 56.

¹⁰² Генезис социологии в контексте международного состязания двух политических систем подробно см. в гл. VII наст. изд.

циопрофессиональными¹⁰³ имеются существенные ограничения. Прежде всего использование технических признаков социальной структуры сопровождается жесткой доктринальной критикой как «теорий среднего класса», о которой я упоминал ранее, так и понятий из того же смыслового кластера: «социальной стратификации» и «социальной мобильности». Один из ранних авторов переводит «социальную стратификацию» с явно негативной коннотацией — как «социальное расчленение»¹⁰⁴. Тем самым даже терминологически здесь заявлена дистанция, отделяющая «буржуазные измышления» от «подлинных» различий и возможностей, свойственных социалистическому обществу. Однако для целей исследования эти понятия вскоре адаптируются в более нейтральном терминологическом переводе. «Мобильность» приобретает у советских социологов терминологическую форму «перемещений» и «подвижности». Терминологическими эквивалентами «стратификации» становятся «социальный состав» и «социальная структура». Низкая символическая ценность закреплена за понятиями в их исходной терминологической форме вплоть до конца 1980-х годов. Термин «социальная стратификация», который сегодня совершенно естественно вписан в академическую и экспертную речь, нормализован лишь в начале 1990-х¹⁰⁵, по всем признакам, встречая меньшее сопротивление, нежели «средний класс».

¹⁰³ Эту частичную замену вынуждены признавать также виртуозы партийной ортодоксии, которые работают над оформлением социалистической доктрины классов без классового антагонизма. Так, Григорий Глезерман поясняет: «Понятие социальных различий не совпадает полностью с понятием классовых различий. ...Социальные... различия в более широком смысле имеют место и в рамках одинакового отношения к средствам производства» (Глезерман Г.Е. Исторический материализм и развитие социалистического общества. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 146).

¹⁰⁴ Семенов В.С. Критика буржуазных теорий социального расчленения общества («социальной стратификации»): дис. ... канд. филос. наук. М.: Институт философии АН СССР, 1959. См. также более поздние тексты: Кащеев Ю. «Надклассовые» теории в классовых целях. М.: Московский рабочий, 1970; и ряд упомянутых ранее публикаций с критикой «среднего класса», которые одновременно отрицают применимость моделей «социальной стратификации».

¹⁰⁵ Одна из первых публикаций, которая в систематической форме возвращает понятие позитивную академическую ценность, — это сборник: Социальная стратификация / отв. ред. С.А. Белановский. Вып. I.

Следует отметить, что социопрофессиональные типологии, которые в рамках риторики «однородности» размывают отчетливые классовые деления, наиболее последовательно вводятся на узконаучном полюсе исследовательской литературы. Для экспертной (и далеко не всегда публичной) и, тем более, для доктринальной презентации разработок перед лицом государственной администрации социологи и экономисты прибегают к официальным понятиям-посредникам, при помощи которых совершают обратный перевод социопрофессиональных делений в классовые. Такую роль выполняют две кардинальных оппозиции: во-первых, «ручного и умственного труда», во-вторых, «города и деревни»¹⁰⁶. Именно они функционируют как маркеры классовых различий при социализме. Опираясь на статистическими показателями «частичного слияния рабочего класса с интеллигенцией»¹⁰⁷ или «индустриализации сельскохозяйственного труда» как доказательствами проектного движения к бесклассовому обществу¹⁰⁸, экспертная и публичная речь

М.: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 1992. Крайне любопытную попытку примирения двух терминологий и понятийных схем представляет собой работа Фридриха Филиппова, которая не обходится без воспроизведения тезисов о «бесклассовом обществе» и гневной отповеди «стратификационным моделям, предлагаемым буржуазными авторами» (Филиппов Ф.Р. От поколения к поколению. Социальная подвижность. М.: Мысль, 1989. С. 7). При этом даже в названии разделов, наряду с «подвижностью», появляется «мобильность».

¹⁰⁶ См., напр.: Костянян С.Л. Сближение различных социальных групп населения СССР по уровню образования // Образование и социальная структура... Та же самая схематика используется всем корпусом социологов социалистического лагеря. См., напр.: Вейдиг Р. Марксистско-ленинская и буржуазная социология о развитии рабочего класса и социальных различиях на современном этапе // Информационный бюллетень 1979... С. 13; и другие статьи того же сборника. В целом эти две оппозиции обширно представлены и в экспертной, и в исследовательской литературе, равно как в доктринальной речи и в официальной политической риторике. Примеры двух последних: Косыгин А.Н. Основные направления развития народного хозяйства в СССР на 1976–1980 годы. М.: Политиздат, 1976. С. 19; Глезерман Г.Е. Исторический материализм... Гл. 3.

¹⁰⁷ Филиппов Ф.Р., Колбановский В.В. Социальное развитие... С. 123. Это лишь одна из множества подобных публикаций.

¹⁰⁸ Панченко И.С. Преобразование сельскохозяйственного труда как фактор становления бесклассового общества // Классы и классовые отношения при социализме: межвуз. сб. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1986. С. 103 и далее.

«социальной однородности» выстраивается в форме апологии снижающегося разрыва между этими полюсами. Итогом операций двойного перевода становятся, на первый взгляд, бессодержательные формулы, подобные этой: «С установлением политической власти рабочего класса социальная функция образования... направляется на преодоление классовых различий и достижение социальной однородности обществ»¹⁰⁹.

В целом представление социальной структуры периода «социальной однородности» содержит по меньшей мере три взаимосвязанные и отчасти взаимопереводимые понятийные типологии. Во-первых, это наделенная высшей доктринальной легитимностью трехчленная модель «рабочие — крестьянство — служащие (интеллигенция)», которую мы обнаруживаем на переднем плане официальных выступлений, в корневых рубризаторах и теоретическом оформлении академической и экспертной речи. Во-вторых, это социoproфессиональные типологии на полюсе описательной статистики и административной экспертизы, которые, в зависимости от прагматики, могут ограничиваться обширными отраслевыми распределениями в статистических справочниках, например числом работников в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве, торговле и т.д.¹¹⁰, или дифференцировать каждую отрасль по характеру труда, к примеру, выделяя «рабочих», «инженерно-технических работников» и «служащих» в промышленности¹¹¹. В-третьих, это исследовательские типологии, основанные на комбинации показателей: профессиональной принадлежности, полученного образования, наличия руководящих функций, — которые позволяют различать, например, «учителей», «инженеров», «работников сферы обслуживания», «квалифицированных рабочих-машиностроителей» и т.д.¹¹² Типологии третьего типа выстраиваются с учетом их возможного перевода на язык

¹⁰⁹ Турченко В.Н. О взаимосвязи социальной и народнохозяйственной функций образования // Образование и социальная структура... С. 9.

¹¹⁰ Народное хозяйство СССР в 1977 году (Статистический ежегодник). М.: Статистика, 1977. С. 378 и далее.

¹¹¹ Там же. С. 385.

¹¹² Протасенко Т.З. Специфика жилищной ситуации различных групп городского населения в свете реализации принципов социальной справедливости // Проблемы совершенствования социально-классовых отношений в советском обществе. Тезисы всесоюзной научной конферен-

классовых различий (в первую очередь в бинарных терминах «город и деревня», «ручной и умственный труд»), однако очевидно, не в меньшей степени они обязаны языку международных, в частности американских, социологических классификаций. Третий тип полнее прочих согласуется с введением третьей социальной силы в официальное представление социальной структуры СССР. Чаше и детальнее он кодирует внутренние деления паракласса «интеллигенции, или специалистов», нежели двух других классов. Ту же характеристику словаря социальных различий позднесоветского периода можно передать иначе. Следуя за методологическим сдвигом от классовых типологий к социопрофессиональным, который в 1960–1980-е годы характерен для международных социальных наук в целом и совпадает с ростом числа исследований, советские авторы оперируют параклассовыми подкатегориями «бесклассового общества»: «интеллигенции» и «служащих» — там, где в ряде международных публикаций в подобных случаях вводится деполитизированная терминология «среднего класса».

НОРМАЛИЗАЦИЯ «СРЕДНЕГО КЛАССА» (1990–2000-е ГОДЫ)

Именно это усложнившееся и остаточное политизированное представление о позднесоветской социальной структуре служит отправной плоскостью для экспериментов с социальными понятиями, к которым с самого конца 1980-х годов прибегают публицисты, а позже и академические авторы. «Упрощенная» схема даже подвергается партийной критике, вместе с «застывшим образом социалистических производственных отношений... лишенным противоречий и динамизма многообразных интересов... различных слоев и групп»¹¹³. Однако «изобретение» новых социальных категорий, хотя бы частично обеспеченное исследованиями, происходит медленно не только в случае «среднего класса». В целой серии контекстов, имеющих

ции (Харьков, 22–24 сентября 1987 г.). Вып. 2. Разд. VII. М.: Институт социологических исследований АН СССР, 1987. С. 28.

¹¹³ Материалы Пленума Центрального комитета КПСС. 27–28 января 1987 г. М.: Издательство политической литературы, 1987. С. 8 (цит. по: Филиппов Ф.Р. От поколения к поколению... С. 5).

прямую связь с представлением социальной структуры, академические авторы более десятилетия пользуются позднесоветской терминологией, комбинируя официально санкционированный арсенал с неофициальным словарем «курилок». Так, в первые годы реформ социологи активно обсуждают вопросы общественного распределения при переходе к рыночной экономике, когда государство перестает регулировать зарплаты¹¹⁴. Понятие «социальной справедливости» смещается на периферию академической речи уже к середине 1990-х годов и нейтрализуется в количественных технических показателях. Но в начале 1990-х оно определяется через целую серию контекстов, которые сообщают ему острую актуальность: либерализация цен, размер пенсий, плохое снабжение продовольствием, дерегуляция оплаты труда, жилищная проблема, денежная реформа и т.д.¹¹⁵ Опорные социальные понятия, звучащие в этой дискуссии, — слабо структурированные по социологическим меркам категории «работников», «собственников», «партийных управленцев», «пожилых». А ключевые аргументы, такие как указание на согласие или несогласие с реформами, лишения и преимущества перехода, последствия новой социальной политики, в большинстве случаев отсылают к еще более общим понятиям: «народ», «люди» и даже «человек»¹¹⁶. Таковую модель высказывания о социальных изменениях укрепляет бурно развивающаяся индустрия опросов общественного мнения, в основу которой положено понятие «населения» как такового. Социальные деления здесь заменяются процентными долями

¹¹⁴ См., напр.: Диалектика социального равенства и неравенства на современном этапе развития советского общества: в 2 кн. М.: Институт социологии АН СССР, 1991; Социальная справедливость и проблемы перехода к рыночной экономике / отв. ред. В.З. Роговин, И.П. Киселева. М.: Институт социологии АН СССР, 1992.

¹¹⁵ См. тексты и дискуссии в указанных в предыдущей сноске сборниках.

¹¹⁶ Углубляясь в источники этого проблемного высказывания, нужно иметь в виду, что авторский состав указанных сборников начала 1990-х частично пересекается с группой авторов «Комплексной программы научно-технического прогресса в СССР на 1991–2010 годы» (М.: АН СССР, ГКНТ, 1986). Уже в этом тексте 1986 г. мы находим требование «утвердить принципы социальной справедливости» (с. 3), а также смысловые операции «обеспечения» и «распределения», объектом которых выступают не отдельные социальные группы, но «личность», «население», «работники», «люди».

числа опрошенных или, в лучшем случае, сводятся к возрастным и географическим¹¹⁷.

Можно предположить, что подобный отказ от детализации социальных различий обязан растущей эмпирической неопределенности социальной структуры реформируемого общества. Более обоснованный взгляд, однако, будет заключаться в том, что к концу советского периода *понятийное видение* социальной структуры уже в высшей степени неопределенно под действием официальной доктрины однородности¹¹⁸. Верно, что «переход» размывает границы социoproфессиональных групп, введенные социологами и экономистами ранее. Но какое основание это размытие обнажает? Глобальная трехчастная шкала «рабочие — крестьянство — служащие (интеллигенция)» используется преимущественно доктринально, а не административно уже в позднесоветский период¹¹⁹. Классовые деления, в 1920-х годах

¹¹⁷ См., напр.: Состояние и основные тенденции развития образа жизни советского общества / отв. ред. И.Т. Левыкин. М.: Институт социологии АН СССР, 1988; Общественное мнение в условиях перестройки: проблемы формирования и функционирования / отв. ред. В.Г. Бритвин. М.: Институт социологии АН СССР, 1990.

¹¹⁸ На том же настаивает ряд интерпретаторов 1990-х годов. См., напр.: «Говорить о социальной структуре советского общества вообще неправомерно. Советское общество имело не столько структуру, сколько некое социальное состояние» (Лепехин В.А. Стратификация в современной России и новый средний класс // *Общественные науки и современность*. 1998. № 4. С. 32).

¹¹⁹ Наиболее заметное исключение составляет, вероятно, образовательный отбор, с сохраняющимися квотами на поступление в университеты для выходцев из рабочих и крестьянских семей. Этот опыт становится предметом тематических публикаций. См., напр.: Титма М.Х., Саар Э.А. Молодое поколение. М.: Мысль, 1986. В разделе «Пополнение молодежью социальных слоев» авторы анализируют связь образования и социального положения, причем «социальные слои» включают следующие категории: «колхозники», «неквалифицированные рабочие», «квалифицированные рабочие», «высококвалифицированные рабочие», «служащие-неспециалисты», «служащие-практики», «специалисты со средним специальным образованием», «специалисты с высшим образованием», «студенты, ученики» (с. 84). Однако эта связь не используется для дальнейшей проблематизации социальной структуры. Вместо этого авторы предлагают, в частности, «ликвидировать неквалифицированный труд... [который] пока еще применяется в народном хозяйстве» (с. 88). А социальные перемещения соотносятся только с образовательным сектором, но не с социальным происхождением. Еще более общую, по преимуществу отраслевую логику анализа вводят авторы сборника:

уложенные в простую бинарную схему антагонистических сил, к 1970 г. переведены в общее разделение на город и деревню, ручной и умственный труд. По сути, в поворотной для политического режима точке доктрина социальной однородности раскрывается как социальная неопределенность. Она оформляет контекст ранних послесоветских дебатов о распределительной справедливости, где отсутствуют сколько-нибудь ясные деления на социальные группы. Это делает невозможной коррекцию сверхоптимистичных проектов ближайшего будущего для всего «народа»: они не вписаны в какой-либо реалистичный горизонт предвидения, который уже в момент «перехода» позволял бы проблематизировать отношения между потенциальными выигравшими и проигравшими.

В этом контексте проект социально неоформленного «среднего класса» звучит как одно из обещаний всеобщего благополучия на фоне резкого снижения общих доходов и политической поляризации. Из сказанного ранее можно понять, в какой мере попытки переизобретения новой социальной категории в послесоветской публичной речи поначалу подчиняются политической самоцензуре, а в какой отвечают *libido sciendi* — влечению к власти, реализованной в форме понятий и типологий. Центры академической экспертизы, основанные в советский период, в целом редко генерируют новые социальные категории. В первой половине 1990-х годов неопротестованному этосу позднесоветских академических институций, который сдерживает это влечение, противопоставлен политический императив стабилизации нового режима, побуждающий публицистов и обладателей нетривиальных академических биографий первыми предлагать спасительный монолит «средний класс». Введение понятия-проекта «среднего класса» поначалу обязано близости его носителей к центрам политической дискуссии.

Другим источником экспертного и академического вдохновения становится запрос со стороны международных фондов и представительств, которые с переменным успехом утверждают новые социальные и политические категории на зыбкой почве «молодой российской демократии». В первой главе я упоминал о масштабной программе Европейского союза, американских

и наднациональных центров, которым принадлежит активная роль в реформе институтов и понятий послесоветского периода. Интерес к «среднему классу» как гаранту международной политической и экономической безопасности обозначен этими центрами влияния еще в середине 1990-х. Но поначалу их воздействие на академическую речь о «социальном стабилизаторе» носит опосредованный характер, пока приоритет в программах поддержки остается за собственно политическими понятиями-проектами, такими как «демократия», «гражданское общество» или «рынок». Уже конце 1990-х ряд крупных эмпирических исследований и дискуссий становится результатом их прямого включения в академические обмены, куда они привносят интерес к перспективным социальным категориям пореформенного российского общества. Тем самым результат, которого не достигает партийная критика конца 1980-х, десятилетием позже восполняет международная грантовая система. Понятие «среднего класса», пережившее публицистический проектный пик в первой половине 1990-х, заново вводится в публичную дискуссию как предмет эмпирической диагностики. Здесь можно упомянуть коллективное исследование «Есть ли средний класс в России?» (1998–1999), которое проводится Российским независимым институтом социальных и национальных проблем по заказу московского представительства немецкого Фонда Эберта¹²⁰, исследование Германа Дилигенского «Люди среднего класса» (1997–2000), которое обеспечено грантом Фонда Маккартуров¹²¹, коллективное исследование о «стратегиях среднего класса» по гранту Фонда Форда (2000)¹²², а также тематические исследования и дискуссии, поддержанные Центром Карнеги, Тайбейско-Московской Комиссией по экономическому и культурному сотрудничеству в РФ (Тайвань)¹²³ и некоторыми другими инстанциями.

¹²⁰ От редакции // Средний класс в современном российском обществе. С. 3.

¹²¹ Раздел «От автора» в: Дилигенский Г.Г. Люди среднего класса. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2002.

¹²² Средние классы в России: экономические и социальные стратегии / под ред. Т. Малевой. М.: Гендальф, 2003.

¹²³ В данном случае речь идет о конференции, материалы которой опубликованы в сборнике: Средний класс в России. Проблемы и перспективы / Научные труды № 9Р. М.: ИЭППП, 1998.

Продолжительность иных программ не ограничивается традиционными для таких случаев одним-тремя годами. Например, Фонд Эберта финансирует серию исследований, где теме «среднего класса» отводится одно из ключевых мест, на протяжении десятилетия¹²⁴.

Как участие международных центров влияния в российской академической повестке сказывается на смысле и ценности понятия «средний класс»? То, что обращает на себя внимание: это участие ведет к росту общей ценности понятия, но не к гармонизации смыслов у различных исследователей и в отдельных дисциплинарных сегментах. Серия исследований по-прежнему оставляет под вопросом эмпирический статус новой категории, не в последнюю очередь из-за существенного разброса в оценках ее численности, которые решающим образом зависят от избранных критериев. Ранее я уже цитировал академические тексты, изобилующие оговорками о приложимости понятия к российскому обществу. На академическом подъеме эта неопределенность сохраняется. Хотя количественное описание придает категории «больше» существования, растущий позитивизм в ее определении отнюдь не усиливает проектного *libido*. Со второй половины 1990-х и далее мы с трудом обнаружим примеры увлеченного пророческого обращения к «среднему классу», в духе Токвиля и Прудона, которые давали бы образцы последующей социоинженерной работе. Более того, в значительной мере социальный проект, который отвечал бы этой категории, остается неочевидным для российских авторов, берущихся за ее исследование. Нередко высказывание о ее значениях содержит эллипсис, например, указание на «определенные социаль-

¹²⁴ Помимо упомянутого исследования 1999 г.: Россия — новая социальная реальность. Богатые. Бедные. Средний класс. М.: Наука, 2004; Средний класс в современной России. М.: ИС РАН, 2008; Тихонова Н.Е., Мареева С.В. Средний класс: теория и реальность. М.: Альфа-М, 2009. Следует также упомянуть исследования, которые проводятся в то же время без явного участия международных фондов. Так, Людмила Беляева указывает на опрос 1100 человек, проведенный сотрудниками Института философии по теме среднего класса и поддержанный Российским гуманитарным научным фондом в 1998 г. (Беляева Л. Критерии выделения российского среднего класса // Средний класс в современном российском обществе. М.: РНИСиНП-РОССПЭН, 2000. С. 12). Его связь или отсутствие связи с международным запросом мне проследить не удалось.

ные функции», которые при этом не определяются¹²⁵. Тем самым многие академические авторы продолжают использовать понятие как *заемное*, что вполне соответствует логике опережающего интереса к нему со стороны политических игроков и международных инстанций. Единственной общей темой, вокруг которой продолжается оживленная дискуссия, остается вопрос о численности и границах «среднего класса»¹²⁶. Разные и даже те же авторы называют цифры от 3,4 до 54% населения, в зависимости от используемых критериев.

В целом международные центры влияния — отчасти те же, что обеспечивают финансовой и экспертной поддержкой экономический и политический «транзит», — стимулируя интерес к «среднему классу» в академической среде, генерируют не столько когерентный смысл понятия, сколько сам тематический сектор исследований и интеллектуальных событий, тем самым способствуя нормализации термина в публичной речи. Оценить смысловую дисперсию в определениях понятия к концу 1990-х годов позволяют материалы упомянутых дискуссий о существовании в России «среднего класса». Участники одной из них (1999)¹²⁷ — не только те, кто на рубеже 1990–2000-х годов проводят свои первые эмпирические исследования по теме (Людмила Беляева, Елена Авраимова, авторский коллектив основного аналитического доклада), но и авторы, использующие вторичные источники: публикации опросов общественного мнения и интервью, — и эксперты-доктринеры, подобные Иосифу Дискину. В ряде случаев они определяют «средний класс» через объективные показатели образования, квалификации и доходов одновременно с субъективной идентификацией (Авраимова). В некоторых случаях результаты не избавлены от проектного содержания, отраженного хотя бы в наименовании подгрупп: например, «идеальный средний класс» у Беляевой. В иных случаях категория определяется через «либеральные

¹²⁵ Чепуренко А.Ю. Средний класс в российском обществе: критерии выделения, социальные особенности (вступительное слово) // Средний класс в современном российском обществе. С. 10.

¹²⁶ Даже лучше, чем отдельные статьи, в этом позволяют убедиться материалы дискуссий: Средний класс в России. Проблемы и перспективы... Ч. I; Средний класс в современном российском обществе. Ч. I. Этой теме принадлежит центральное место и в более поздних публикациях.

¹²⁷ Средний класс в современном российском обществе.

настроения», «высокие западные стандарты» потребления (отсутствие которых отмечают несколько докладчиков), нехватку «своих политических партий... осмысленного интереса к центризму» (Евгений Виттенберг), «цивилизованное общество», «ясные перспективы социального роста» и «ориентацию... на собственные силы и возможности» (Авраамова), советскую «политику уравнивания» (Андрей Здравомыслов), проблемное «право на существование нынешнего общества» и редкий для России «рационально-индивидуальный выбор» (Дискин), «культурно-генетические коды российской цивилизации», «доходы», с одной стороны, и «достоинство», не исключающее «социальных выплат и дотаций», — с другой (Андрей Андреев), «трудовую, паразитарную и промежуточную формы экономической деятельности» (Владимир Глаголев), «дух государственности», «гипотетическое “социальное государство”», экономическую, политическую и социальную «целостность» (Николай Сидоров и Александр Авилов), «пополнение за счет криминализованных групп населения» и «готовность к нарушению норм морали» (Анатолий Королев), историческое «насаждение сверху», «неструктурированную и аморфную массу», «манипулирование со стороны различных политических и партийных сил» и даже возможность превращения в «мощный дестабилизирующий фактор» (Валентин Шелохаев). Ожидаемые расхождения также производит тема существования среднего класса в СССР. За каждым из таких расхождений более детальный анализ позволил бы обнаружить институциональные и биографические различия. Однако в данном случае меня больше интересует вопрос о минимальном смысловом ядре понятия.

Поверх указанных различий общими в контексте большинства выступлений и основного текста доклада остаются проектные признаки, введенные в семантическое поле понятия ранее: стабилизация политического режима, роль опоры в модернизации «на основе рыночных и демократических принципов», отказ от «экстремистских тенденций» в политике, самостоятельность и ответственность в организации собственной жизни. Эти признаки вместе с успехом «адаптации к реформам», закрепленные в образцах публичной речи еще первой половины 1990-х годов, удерживаются в политически заданном поле понятия, выражая господствующий консенсус между российскими и международными инстанциями.

Третьим источником введения понятия в публичную речь с конца 1990-х выступают СМИ. Если фигура публициста-трибуна, освященная харизмой авторского суждения, воплощает перестроечную журналистику, по мере профессионализации ремесла его место на публичной сцене занимают штатные журналисты, анонимные составители пресс-релизов, интервьюируемые эксперты и авторы колонок. Именно их работе по содержательному насыщению понятия наглядными признаками обязана третья генетическая линия в истории термина. Проведенный ранее анализ показывает, что до 1998 г. терминологические упоминания в СМИ малочисленны и в основном контекстуализированы в сфере потребления¹²⁸. Это не делает менее интересным детальное описание контекста, в котором вводится понятие, и его сопоставление с медийными публикациями 2000-х. Однако еще более интересен тот факт, что корпус публикаций о финансовом дефолте 1998 г. становится местом *конденсации смысла*, где уже в форме наглядных обыденных образов повторно актуализируются элементы ранее очерченного политического проекта, результаты первых академических исследований и «экспертные оценки». Как и во Франции 1920–1930-х годов, на сей раз свойства «среднего класса» перепроизводятся преимущественно не через набор позитивных проектных утверждений, а в контексте «кризиса» и признания «жертвой». Исчезнувшему в одночасье «классу» не отказывают в добродетелях, но таковые полностью диссоциированы со «стабильностью», «поддержкой реформ» и прочими высокими предписаниями. Медийные публикации изобилуют сообщениями о таких добродетелях погибшей социальной группы, как «самая активная и трудоспособная часть населения», «преуспевающие молодые люди», умение «модно одеваться, качественно питаться и не отказывать себе в маленьких радостях жизни», потеря «не таких уж больших сбережений» и т.д. Здесь же актуализируется контекст западности и сто-

¹²⁸ Александрова О.А. Российский средний класс: идейный контекст становления // *Общественные науки и современность*. 2002. № 1. С. 26. Тезису о малочисленности отчасти противоречит выборочный обзор публикаций в СМИ 1996–1997 гг., посвященных в первую очередь показателям благосостояния в: Балзер Х. Российские средние классы // *Средний класс в России. Проблемы и перспективы*. Однако не вызывает сомнений, что в 1998 г. число и тематический репертуар публикаций ощутимо растут.

личности, например, через указание на «сферу сервиса вокруг огромной колонии иностранцев в Москве»¹²⁹.

Парадоксальным образом кризисный контекст играет на повышение ценности понятия, перенося его из отдаленного и неопределенного будущего в ускользающее, ностальгически окрашенное настоящее. При этом мобилизованная группа, которая говорила бы от лица «среднего класса», на публичную сцену не выходит. В результате монополия на высказывание остается за журналистами. Если социологи сомневаются в реальности этой категории до 1998 г., то журналисты тогда же мгновенно признают ее трагическую смерть после краткого, но бурного расцвета. Эта символическая смерть имеет впечатляющие последствия. Осязаемо наблюдаемого «среднего класса» в российском обществе снова нет. Но массив медийных высказываний о «судьбах среднего класса» в контексте «кризиса» побуждает к речи академических авторов, подобно тому как это происходит во Франции 1930-х годов. Так, каждый второй текст участников социологической дискуссии 1999 г. содержит указание на исключительную важность кризиса предшествующего года¹³⁰. Этот эффект распространяется далеко за пределы первой волны публикаций. Упомянутые исследования «среднего класса» приобретают серийный характер в 2000-х годах, а медийный сектор публичной речи отныне становится главным источником в определении смысла и ценности понятия, в том числе используя высказывания социологов и экономистов в статусе экспертов.

Отдельная интрига состоит в том, что финансовый кризис 1998 г. как следующая поворотная точка в истории понятия объективирует уже не только политический запрос на «средний класс». Один из секторов медийного рынка — источник собственного прагматического интереса к этой социальной категории. Речь идет о «деловых» СМИ: еженедельниках и ежедневной прессе, адресованных в первую очередь руководителям и работникам частного сектора, а также более широкой аудитории, следящей за экономической аналитикой и новостями. Численность «среднего класса», который отождествляется с этой аудиторией, потребляющей сами издания и адресно размещаемую в них ре-

¹²⁹ Александрова О.А. Указ. соч. С. 27 и далее.

¹³⁰ Средний класс в современном российском обществе. Ч. I.

кламу, прямо связана с вопросами рентабельности и даже существования этого сектора. Как следствие, вопрос о «выживании среднего класса» в контексте «кризиса» не просто дает материал для множества разрозненных публикаций. В этом секторе СМИ он оформляется в самостоятельный коммерческий и исследовательский запрос. Флагманом в дальнейшем публичном продвижении понятия становится один из центров «деловой» прессы, издательский концерн «Эксперт». В отличие от ежедневных изданий, которые генерируют кратковременный тематический бум, концерн производит систематический эффект. За 13 лет, с 2000 по 2013 г., термин «средний класс» появляется в более чем 600 статьях на страницах главного издания концерна, журнала «Эксперт»¹³¹. В единичных случаях речь в текстах может идти об «автомобилях среднего класса» или «гостиницах среднего класса», однако в подавляющем большинстве вхождений термин используется в интересующем меня значении — как название социальной категории. Контексты вхождения здесь более вариативны, нежели в академических публикациях, отчасти с ними пересекаясь. На протяжении 13 лет «средний класс» участвует в «капиталистическом развитии», обеспечивает «массовую ипотеку», создает «спрос на обувь и одежду», становится клиентом «обслуживания», переживает «рождение», вызвав шок наблюдателей, «борется за выживание», «занимает нишу», «преодолеывает отметку в 30%», доказывает «рост благосостояния», симпатизирует Союзу правых сил и «Единой России», «заботится о своем здоровье», уверен в том, «что будущее... детей обеспечено», служит «опорой демократии», умеривает «спрос на недвижимость», участвует в террористических организациях (в Пакистане и США), существует за счет «банковского кредита», переживает «снижение доходов», «сидит в своих офисах», не может дождаться «решения своих проблем» в городе, «поток» покидает моногорода, «стабилизирует практически на всех рынках» свой спрос, отсутствует в стране, которую «получил прези-

¹³¹ Результат поиска по сайту главного издания, журнала «Эксперт» <expert.ru/expert>, в указанный период при помощи поисковой системы «Яндекс» (последний доступ 23.12.2013). В зависимости от грамматических форм и отдельных параметров поиска значение может варьироваться. В отдельных случаях публикация может дважды повторяться в результатах поиска: в форме статьи и в аннотированном оглавлении. По этой причине число публикаций приводится по нижней границе.

дент Путин», участвует в «национальном движении» (Украина), становится предметом исследования «Эксперта» и т.д.

Этот последний, исследовательский контекст произведен механизмом, который вносит новый смысл в конструкцию понятия. В 2000 г. журнал «Эксперт» учреждает собственное маркетинговое агентство. Его функция полностью отвечает двойному, коммерческому и познавательному запросу «деловых» СМИ¹³². Исследовательский проект с ежегодным бюджетом 600 тыс. долл. в год, получивший название «Стиль жизни среднего класса», ведется на протяжении более пяти лет, основываясь на ежеквартальных анкетных опросах¹³³. В этом отношении он призван составить конкуренцию как другим маркетинговым агентствам, так и экспертным центрам академической социологии. Результаты опросов конвертируются в отдельный продукт, который концерн предлагает на маркетинговом рынке. В ходе создания спроса на информацию о «среднем классе» понятие оснащается новыми характеристиками, например, отождествляется с активными национальными «потребительскими слоями». Конструируя «средний класс» в качестве объекта маркетингового исследования и описывая «не самый крупный, но концентрированный сегмент общества», который «потребляет 70–80% общего объема товаров и услуг на большинстве потребительских рынков», концерн вводит или усиливает ряд социальных оппозиций, которые образуют проектный контекст «среднего класса» как сегмента потребительского рынка. К числу таких оппозиций относится противопоставление среднего класса «пассивным потребителям», когда концерн предлагает потенциальным заказчикам избегать «лишних издержек... не рассеивая внимание на пассивные потребительские слои населения страны» (с. 7). Маркетинговая прагматика предлагаемого информационного продукта сама выступает неявным горизонтом дополнения и частичного переопределения смысла категории. Подразделение «Эксперта» предлагает ис-

¹³² «Первоначальной целью... служили информационные потребности журнала: на основе данных о материальном положении и стиле потребления российского общества планировалась публикация серии статей» (Стиль жизни среднего класса. Аналитический дайджест. «Эксперт-ДАТА» и ЗАО «группа Эксперт», без даты (по указаниям в тексте издания, вероятно, конец 2005 — начало 2006 г.). С. 6).

¹³³ Там же. С. 5.

пользовать полученные данные для «определения настоящего и потенциального объема рынков», «прогнозирования спроса», «многомерного сегментирования потребителей», «планирования рекламных кампаний», «анализа поведения потребителей», «планирования территориального развития» и близких коммерческих задач (с. 8–11). Это сближает смысл понятия с поздними «потребительскими» образцами риторики евробюрократии, на которых я кратко останавливался в первой главе книги.

Но даже приобретая рыночное значение — не в смысле политического императива свободного рынка, а в смысле одного из сегментов платежеспособного спроса, — проектная категория не полностью редуцируется к экономическому измерению. В определение, которое вводит концерн «деловой» прессы, интегрированы смыслы, произведенные ранее в публицистическом и академическом секторах. К ним также прибавляется характеристика, которая вносит новый элемент во всю историческую конструкцию российского поля понятия. Резюмирующая формула звучит следующим образом: «Российский средний класс — это люди, которые благодаря своему образованию и профессиональным качествам смогли адаптироваться к условиям современной рыночной экономики и обеспечить своим семьям адекватный уровень потребления и образ жизни» (с. 5). Здесь в свойства «средних» включены и квалификация с образованием, и даже адаптация к рыночным реформам. Принципиально новой становится диспозиция заботы — *обеспечение «своих семей»*, — которая не встречается ни в одной из ранее описанных речевых позиций. По сути, введение такого признака — это попытка переопределить весь проект, переведя его из режима политического будущего в осязаемый этический регулятив.

Было бы так же интересно рассмотреть критерии и внутреннюю структуру «среднего класса», как они представлены, с одной стороны, в исследовании «Эксперта», с другой — в упомянутых академических публикациях, например, в докладе РНИСиНП «Средний класс в постсоветской России» (1999)¹³⁴. Это могло

¹³⁴ Средний класс в современном российском обществе. Ч. II. РНИСиНП — Российский независимый институт социальных и национальных проблем, негосударственная организация, объединяющая сотрудников академических учреждений. Об институциональных трансформациях научной экспертизы после 1991 г. см. в гл. VI наст. изд.

бы продемонстрировать конкурирующие логики экспертного оформления понятия-проекта, различным образом использующие средства науки. Не менее красноречивым дополнением к этому может стать анализ риторических стратегий, в частности, использование в тексте «Эксперта» синонимического термина «средние русские», который выполняет в высказывании нормализующую функцию, сходную со ссылками на зарубежные публикации в академических текстах. Наконец, отдельный предмет изучения составляет топика «среднего класса» — набор общих мест, которые не только спонтанно используются в изготовлении понятия в конкурирующих позициях, но и циркулируют в не связанных напрямую хронологических и международных контекстах. К их числу относятся, например, геометрические фигуры ромба и пирамиды, риторическая оппозиция «промежуточного положения» и «крайностей» или отсылка к добродетелям «средних» у Аристотеля, буквально цементирующая воображение о «средних слоях» и «классах» у производителей всех жанров, от авторов университетских учебников до маркетинговых аналитиков¹³⁵. Внимание к этим элементам позволяет уточнить вклад отдельных институциональных позиций в семантику «средних», как и механизмы создания результирующего смыслового ядра. Однако сейчас я хочу уделить внимание не им, а одному свойству понятия, которое плотнее прочих связывает его с актуальностью и объективирует интерес разных авторов к конкретным формам социального воплощения этого проекта.

Императив стабильности режима как основополагающего политического *raison d'être* российского «среднего класса» в перспективе исследования неизбежно влечет за собой вопрос о собственных политических свойствах этой категории. Какие политические предпочтения и действия предписывают «среднему

¹³⁵ Мы найдем каноническую отсылку к Аристотелю и в материалах «Эксперта», и в академических статьях, и в интеллектуальной публицистике, и в учебниках, адресованных самым разным аудиториям, напр.: Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация: учеб. пособие для высших учебных заведений. М.: Наука, 1995. С. 57; Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию (учебник). 3-е изд., перераб. и доп. М.: Аспект-Пресс, 2000. Гл. 11, § 2; Бахитановский В.И., Согомонов Ю.В. Этнос среднего класса: Нормативная модель и отечественные реалии. Тюмень: Центр прикладной этики — НИИ прикладной этики ТюмГНГУ, 2000. С. 88.

классу» авторы, занимающие разные позиции в производстве понятия? Какое место среди них отводится такому аргументу существования новой социальной категории, как *политическое участие* ее представителей? Прежде чем обратиться к предлагаемому в 1990–2000-е годы вариантам, следует снова вспомнить, что в доктринальном советском определении, введенном в сталинском тексте 1923 г., «средним слоям» отводится роль «резерва» и пассивного предмета «завоевания» конкурирующими политическими доктринами. Предельно амбивалентные в политическом отношении «средние» здесь обречены следовать за сильными воздействиями и убеждениями¹³⁶. Дискуссии рубежа 1950–1960-х годов корректируют эту формулу, признавая собственную «борьбу средних слоев». Однако и в скорректированном значении понятия эта борьба имеет ценность и смысл только в контексте союза с «борьбой пролетариата против капиталистических монополий». Публичная речь рубежа 1980–1990-х годов наделяет «средних» новой степенью автономии: ряд авторов настаивает на их независимости от патерналистского государства и личной ответственности за свою жизнь. Но такая автономия не распространяется на свободу выбора доктрины и любую политическую чувствительность, пока одной из главных добродетелей признается «подлинный центризм, столь необходимый для цивилизованного развития России»¹³⁷, включая отказ голосовать за «коммунистов и националистов»¹³⁸, а в некоторых случаях — воздержание от любого политического участия, помимо выборов.

Каким бы странным это ни казалось в контексте критики де-вальвированного советского режима, «средний класс» рубежа

¹³⁶ На деле в наиболее общем виде сталинское определение не столь сильно отличается от политической критики слева мелкой буржуазии, образцы которой мы находим у самых разных авторов XX в., в том числе европейских.

¹³⁷ Умов В.И. (Пантин В.И.) Российский средний класс: социальная реальность и политический фантом // Политические исследования. 1993. № 4. На исходе 1990-х годов отсутствие «осмысленного тяготения к центризму» российскому среднему классу ставит в упрек другой автор: Виттенберг Е.Я. Российский средний класс (некоторые вопросы методологии) // Средний класс в современном российском обществе. С. 18.

¹³⁸ Гордон Л. К вопросу о методах исследования социальной стратификации // Средний класс в России. Проблемы и перспективы. С. 38.

1980–1990-х годов — это квинтэссенция государственного духа будущего в той мере, в какой политическая автономия опорного «класса» нового государства строго ограничена императивами поддержки государственных реформ и господствующей государственной доктрины. Укрепление ценности политической свободы, либеральной экономики и демократии как проектных ожиданий, вписанных в новую социальную категорию, в действительности объективирует крайне узкую политическую чувствительность. Ее нередко разделяют сами авторы высказываний о «среднем классе», спонтанно проецируя ее и на проектную социальную группу. Это делает более понятными политические добродетели, которые приписывают «среднему классу» некоторые авторы рубежа 1990–2000-х годов. Так, Людмила Беляева описывает свойства «идеального среднего класса», который в реальности уже обладает необходимыми проектными чертами, как «наиболее либерально настроенную группу, которая не только получила от реформ наибольшие выгоды... но и настаивает на продолжении реформ, так как ее многое устраивает из того, что произошло»¹³⁹. По мнению Леонида Гордона, единство проектной группы обеспечено ее «склонностью отрицания экстремизма, склонностью принимать и продолжать реформы»¹⁴⁰. «Ориентация на собственные силы и возможности» также далеко не всегда служит выражением политической автономии. Среди признаков субъектности среднего класса, которые называет Елена Авраамова, нет ни выраженных политических предпочтений, ни политического участия¹⁴¹. Ранее я приводил элементы классификационной схемы Татьяны Заславской, которая прямо связывает отдельные позиции в социальной иерархии с готовностью принять государственные реформы. Учредительные действия в элитистской модели модернизации, которую

¹³⁹ Беляева Л.А. Критерии выделения российского среднего класса // Средний класс в современном российском обществе. С. 15.

¹⁴⁰ Гордон Л. Указ. соч. С. 38.

¹⁴¹ Вот перечень внутренних признаков: «развитие автономной активности, выкристаллизовывание социальных интересов, групповой идентичности, культурно-детерминированной системы ценностей, норм и санкций» — и внешних: «стабилизация социально-экономических и политических институтов и способность общества к воспроизводству этой стабильности... [как] предсказуемость и открытость действий власти» (Авраамова Е.М. Появился ли в России средний класс? // Средний класс в современном российском обществе. С. 30).

она предлагает, принадлежат «верхнему слою»; политическое участие «среднего слоя» ограничивается исполнением высшей воли.

Споры о существовании среднего класса зачастую описывают его не как самостоятельную социальную силу, но как объект режима экономического благоприятствования и даже как объект отдельной «политики стимулирования развития среднего класса»¹⁴². В этом контексте использование «степени влияния на принятие властных решений различного уровня» как показателя принадлежности к среднему классу звучит более чем отвлеченно, вернее, достаточно полно укладывается в патерналистскую модель социального управления, которая господствует в позднесоветский период и которой исследователи и публицисты 1990-х годов адресуют жесткую критику. Авторы, признающие примат культуры в описании социальных различий, могут приписывать «среднему классу» высокую степень автономии, но также оснащают его миссией «публичного представительства общества перед ним самим»¹⁴³, которая исключает политическое участие. Они квалифицируют эту миссию как «известное бремя социальной и моральной ответственности», которая предполагает, например, способность «вернуть обществу уважение к норме, к нормальности как таковой»¹⁴⁴.

Даже Герман Дилигенский, который противопоставляет сугубо формальным критериям и авторитарным соблазнам в конструировании проектной категории необходимость рассматривать собственную активность групп, отождествляемых со средним классом, в заявленном духе методологического индивидуализма ограничивает сферу этой активности профессио-

¹⁴² Урнов М. Стимулирование развития среднего класса в России как управленческая и политическая задача // Средний класс в России. Проблемы и перспективы. Этот тезис выступает пунктом относительно высокого согласия авторов с начала 1990-х. См. ранее цитированные высказывания социологов об особой социальной политике, необходимой для производства среднего класса.

¹⁴³ Бахитановский В.И., Согомонов Ю.В. Указ. соч. С. 63. Указанное «бремя» авторы поясняют аналогией с «ответственностью всего корпуса избирателей на массовых выборах» и сопровождают текст многочисленными оговорками о недостаточности политико-легальных возможностей для точной характеристики среднего класса.

¹⁴⁴ Там же. С. 69.

нальной самореализацией¹⁴⁵. Политические свойства, реконструируемые на основании массовых опросов, сводятся здесь к электоральным предпочтениям или согласию с тем или иным доктринальным тезисом: об индивидуальной свободе, социальном равенстве и т.п. Вероятно, это наиболее радикальное выражение того декларативного противостояния патернализму, которое часто звучит в теоретических определениях среднего класса. На полюсе «деловой» экспертизы политические свойства «среднего класса» также остаются неопределенными. В цитированном докладе концерна «Эксперт» политические практики не фигурируют среди потребительских черт¹⁴⁶. Во всем обширном корпусе экспертной и академической речи о «среднем классе» 1990–2000-х годов, насыщенной рефлексией о его критериях, численности и границах, мы с трудом найдем такой показатель реализации проекта, как производство *собственных* форм мобилизации и политических институтов. Вероятно, единственным заметным исключением становится книга Бориса Кагарлицкого «Восстание среднего класса»¹⁴⁷. Но ее политическое высказывание о «бунтующей массе» в наименьшей степени относится к российскому «среднему классу». Автор предлагает критическую диагностику мировых процессов в том экстерриториальном режиме, который сближает ее с моделями контекстуального определения «среднего класса» в некоторых образцах общественной мысли русского XIX века.

Отказ российскому «среднему классу» в политическом участии включает понятие в невидимое смысловое напряжение с, казалось бы, семантически и социально близкой категорией «гражданского общества», которая занимает одно из центральных мест в понятийной сетке нового порядка в начале 1990-х годов. Ранее я указывал на общие элементы контекста, которые позволяют осторожно предполагать наличие диффузного об-

¹⁴⁵ Дилигенский Г.Г. Люди среднего класса. В том числе: «Индивид, обладающий способностями и волей к инновационной деятельности, становится решающим фактором модернизации».

¹⁴⁶ Исключение составляют ответы на три вопроса анкеты, включенные в общий блок «ценностей»: примат интересов граждан или государства, отношение к монетизации льгот и предпочтительная модель подоходного налога (Стиль жизни среднего класса... С. 70–77).

¹⁴⁷ Кагарлицкий Б. Восстание среднего класса. М.: Ультра-Культура, 2003.

щего проекта, объединяющего эти понятия. На деле признак автономной гражданской и политической активности разводит их на *противоположные* полюса социального лексикона нового порядка. «Средний класс» как привилегированный «субъект перемен», «субъект модернизации» описывается в качестве обширного социального слоя, расположенного приветствовать отказ государства от всеобщих социальных гарантий, одобрять новый экономический режим, нести основные потребительские расходы из собственного бюджета и голосовать за правоцентристские партии. Строго говоря, по контрасту с «гражданским обществом» такая модель «субъектности» не предполагает иных форм политической мобилизации, помимо молчаливого согласия, и безразлична к компетентности участников социальных обменов в утверждении своих социальных прав и свобод. Этот «класс» обладает всеми необходимыми свойствами для политической мобилизации: образование, квалификация, благосостояние, гражданское сознание — и никогда не рассматривается в качестве ее участника. В этом наборе свойств он без противоречий вписывается в модель политической «стабильности» второй половины 2000-х годов, которая неожиданно оказывается вполне успешным воплощением будущего из проектных ожиданий 1990-х: государством с достатком и без катаклизмов.

Молчаливый отказ «среднему классу» в реализации его потенциала политического участия, который мы наблюдаем в академическом и экспертном секторе, также хорошо согласуется с результатами анализа СМИ, проведенного Ольгой Александровой. По ее наблюдению, в конце 1990-х годов большинство публикаций, посвященных среднему классу и смежным темам, не приглашают к политическому участию, а «отворачивают» от него¹⁴⁸. В этой не вполне явной политической повестке и тех свойствах, в каких авторы отказывают проектной категории, «средний класс» во многом сохраняет деполитизированный и конформистский смысл, несмотря на номинальные предписания эмпирическому референту этого понятия «активной позиции» и стремления к свободе.

Подобный сбой, заложенный в архитектуру понятия, составляет очевидный контраст с оценками ряда международных академических исследователей, для кого наличие «форм кол-

¹⁴⁸ Александрова О.А. Указ. соч. С. 30 и далее.

лективного действия, позволяющих... выражать и защищать свои интересы» служит показателем реализации российского проекта «среднего класса»¹⁴⁹. Именно политическая автономия возвращает понятие в контекст «демократии», из которого *de facto* оно все отчетливее выпадает в речи российских авторов. Надежды на политическое участие «среднего класса» могут связываться даже не столько с вопросом о его существовании, сколько с наличием сил, деятельно защищающих демократию от внутренних рисков «перехода»: «Представители средних классов могли бы создать гражданские организации и механизмы коллективного действия, которые позволили бы им служить противовесом олигархии и оплотом демократии»¹⁵⁰. При всех частных расхождениях между российскими авторами, на которые я указывал ранее, их в первую очередь сближают политические критерии, в которых переопределяется социальная структура нового общества. Предписывая «среднему классу» безупречную доктринальную и ценностную дисциплину, а также роль счастливого реципиента государственных реформ, корпус публичных высказываний во многом продолжает линию принудительной социальной гармонии, характерную для позднесоветской доктрины «бесклассового общества».

Таким образом, *libido sciendi*, лежащее в основании этого понятия-проекта, оказывается не столь выраженным, как этого можно было ожидать ввиду угроз социальной дезинтеграции, массово рассеянных в корпусе публичной речи 1990-х годов, и возможностей, которые открываются для изобретения социальных категорий при «транзитном» размытии социопрофессиональных иерархий. Проектная категория, которая, казалось, разрывает со всеми очевидностями начала 1990-х, всего десятилетием позже вписана в куда менее амбициозное и более проблематичное настоящее, чем это представлялось авторам первой публицистической волны. Период «стабильности», торжественно объявленный в 2000-х годах, санкционирует политический смысл проекта. Признаки «благополучия» и «умеренности», среди прочих, не просто удерживаются в его семантическом поле, но, благодаря «деловым» и ежедневным СМИ, все более

¹⁴⁹ Balzer H. Routinization of the New Russians? // Russian Review. 2003. No. 1. P. 25.

¹⁵⁰ Балзер Х. Российские средние классы. С. 215.

детально переводятся на язык потребительских свойств. И все же, неопределенность, которая по-прежнему отмечает дебаты о существовании «среднего класса» в 1990-х, поддерживает интригу. С ростом числа публичных высказываний (после 1998 г.), которые сообщают широкой аудитории о неведомом классе, тот превращается в тайную, еще не проявившую себя социальную силу, которая, вероятно, зреет где-то в глубинах социального тела. Место в категориальной сетке нового порядка зарезервировано и наделено ценностью, но пока не заполнено осязаемой и наглядной реальностью. Может быть, средний класс лишь ждет шанса явить себя миру?

«СРЕДНИЙ КЛАСС» В МЕДИЙНОМ И В УЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ (2011–2012 гг.)¹⁵¹

Как следует из перипетий работы по политической легитимации и стилистической нормализации понятия «средний класс» в 1990–2000-е годы, ее результаты регулярно подвергаются сомнению — в первую очередь самими адептами. «Класс», который должен возникнуть, но встречает на пути к своему существованию самые разнообразные препятствия, от подавления государством малого бизнеса до особых «матриц российской цивилизации», остается для академических авторов и журналистов явлением, вероятно, даже более ожидаемым, чем осуществление хрупкой «демократии». Если в рутинных порядках российского общества критические доказательства долгожданного события обнаруживаются с трудом, то кризис предлагает

¹⁵¹ Этот и следующий подразделы главы написаны с использованием материалов, которые отчасти уже были представлены в двух моих статьях: Методология исследования «внезапного» уличного активизма (российские митинги и уличные лагеря, декабрь 2011 — июнь 2012) // *Laboratorium. Журнал социальных исследований*. 2012. № 2; Представительство и самоуполномочение (по материалам исследования НИИ митингов, декабрь 2011 — июнь 2012) // *Логос*. 2012. № 4. Цитируемые здесь интервью были собраны на уличных акциях участниками НИИ митингов. В разное время в сборе и систематизации материалов принимали участие: Алан Амерханов, Александр Бикбов, Александрина Ваньке, Ксения Винькова, Анна Григорьева, Светлана Ерпылева, Анастасия Калък, Карин Клеман, Георгий Коновалов, Эльвира Кульчицкая, Павел Митенко, Ольга Николаева, Мария Петрухина, Егор Соколов, Ирина Суркичанова, Арсений Сысоев, Денис Тайлаков, Екатерина Тарновская, Александр Тропин, Александр Фудин, Дарья Шафрина.

удачные условия для проверки гипотезы о существовании. Первой такой проверкой становится 1998 г., когда отсутствующий прежде «средний класс» объявлен безвременно погибшим. Во вторую тестовую площадку в декабре 2011 г. превращаются улицы больших российских городов, когда внезапная гражданская мобилизация наглядно демонстрирует появление ранее неизвестной силы. При полярно различающейся структуре событий обе поворотные точки в истории понятия иллюстрируют исключительный вклад СМИ в доопределение социальной структуры пореформенного российского общества. В контексте «митингов» и «протеста» журналисты и эксперты, предлагающие быструю аналитику событий, вводят в российское поле понятия «средний класс» смыслы, ранее в нем отсутствовавшие: «бунт», «восстание», «революция».

Массовые акции протеста мгновенно увлекают наблюдателей и комментаторов соблазном обнаружить на улицах новый, социально или классово оформленный субъект. В наиболее острой и агонической форме такой интерес выражается в вопросе о численности митингов — в той же мере статистическом, сколь и политическом. Выходили, например, в один из морозных февральских дней 2012 г. на улицы Москвы 36 тыс. (данные МВД) или 120 тыс. человек (данные организаторов)¹⁵² — это не только традиционно состязательная диагностика «силы» протеста, но и коллизия его социальной представительности. Она тесно связана с вопросом о том, митингуют ли исключительно «сытые», лишь «офисный планктон», «весь народ» и т.д. Иным выражением этой же коллизии становится пресловутый тезис о «двух Россиях»: «креативной» и «народной», — которые в 2012 г. материализуются в протестных и провластных митингах соответственно¹⁵³. Оппозиция агрегирует в себе целую серию со-

¹⁵² Организаторам шествия 4 февраля предъявили обвинение // Lenta.ru. 2012. 10 февраля (<lenta.ru/news/2012/02/10/charges/>, последний доступ 12.10.2013).

¹⁵³ Следует отметить, что «две России» становятся ключевой фигурой российского медийного пространства в феврале 2012 г., когда на улицах Москвы проводятся первые провластные митинги, как форма медийного (и численного) состязания с протестными. Однако в международной и российской прессе эта фигура появляется раньше. Например, в одной из англоязычных статей, освещающих первые послевыборные акции 2011 г., противопоставляются не только политические категории «протестующей оппозиции» и «прокремлевской молодежи», но также

циальных признаков, привязанных к ее полюсам. На «креативном» полюсе закрепляются образованность, благосостояние и самостоятельность, интеллектуальный труд, вестернизированность, частный сектор, столичность, — которые в критическом медийном высказывании могут доводиться до крайностей чрезмерного богатства, безответственности, чужаковости, утраты чувства реальности. На полюсе «народного» — бедность, простота и сердечность, политический и социальный конформизм, бюджетный сектор, провинция. В суждениях критиков они превращаются в отсталость, необразованность, иждивенчество¹⁵⁴. Сколь удивительным это ни покажется, журналисты и эксперты, представляющие население страны расколотым на два сущностно несовместимых, конфликтных мира, не принадлежат только одному или другому политическому лагерю. Тезис о «двух Россиях» объединяет авторов и издания из условно

социальные полюса «недовольного среднего класса» и «старой России», «зависимой от правительства в занятости и доступе [к благам]», причем второй полюс представлен приезжими из Самары и Смоленска (*Englund W., Lally K. In Protests, Two Russias Face off // The Washington Post. 2011. December 6*). Схожая логика представлена в статье: *Bryanski G. Jeered in Moscow, Putin Seen as Hero in Province // Reuters. 2011. December 19*. Обе они оперативно переведены на русский язык и размещены на тематических порталах («На акциях протеста столкнулись лицом к лицу две России» (www.inopressa.ru/article/07dec2011/wp/rus1.html), последний доступ 12.10.2013); «Путин, освященный в Москве, в провинции остается героем» (inosmi.ru/politic/20111220/180787057.html), последний доступ 12.10.2013)). В заголовке портала «ИноПресса» от 3 февраля 2012 г., обобщающем статьи из нескольких зарубежных изданий, звучит та же формула: «Путинская стратегия: нет — “избалованным клоунам”, да — рабочей глубинке» (www.inopressa.ru/article/03feb2012/inotheme/putin_rus.html), последний доступ 12.10.2013). Если углубить перспективу хронологически, в российских СМИ и социальных сетях без труда обнаруживается аллюзивное воспроизведение тех же «двух России» вне контекста массовой мобилизации, где «народный» полюс кодируется уничижительным термином «быдло». Однако и в собственной форме эта оппозиция, как культурная и социальная, встречается в российских публикациях до начала митингов. Например, когда авторы указывают на фатальность превращения «культуры социальных низов» в доминирующую (*Берг М. Две России // Ежедневный журнал. 2011. 4 мая* (ej.ru/?a=note&id=11004), последний доступ 23.10.2013)).

¹⁵⁴ См. статью Анастасии Кальк, которая удачно иллюстрирует некоторые элементы этой медийной конструкции: Кальк А. «Креативная» Болотная и «народная» Поклонная: визуальный ряд митингов в российских СМИ // *Laboratorium. Журнал социальных исследований*. 2012. № 2.

«оппозиционного» и «официального» секторов СМИ. И какой бы высокой ни была бы поначалу увлеченность журналистов протестом, как бы искренне они ни выражали скепсис в адрес низких официальных цифр участия, квалификации социального состава митингов в СМИ остаются крайне узкими¹⁵⁵.

По сути, уже в первые дни уличного движения, а именно с 6 по 10 декабря 2011 г.¹⁵⁶, медийные персоны и журналисты закрепляют протест за двумя социальными категориями: «средним классом» и «креативным классом», которые так же ясно маркируют протест в социальных координатах, как определение «митинги оппозиции» — в политических, когда многообразие участников и смыслов участия перекодируется в узком контексте борьбы за парламентское представительство. Данные, с конца декабря поставляемые крупными опросными агентствами, не вносят сколько-нибудь серьезных коррективов в эти проектные определения, проецируемые уже не на национальную экономику или структуру потребления, а на пространство улицы, пришедшей в движение. Так, первые опросы Левада-Центра вводят не существующую на российском рынке труда категорию «специалист», которую 24 декабря 2011 г. по закрытому опроснику при самоопределении выбирают 46% опрошенных на митинге, а 4 февраля 2012 г. — 36%¹⁵⁷. Обилие

¹⁵⁵ В противоположность расхожему клише, наделившему социальные сети ролью единственного источника информации о митингах протеста, уже в первые дни уличного движения, с вечера 4 декабря, события представлены не только в СМИ, традиционно освещающих «оппозиционные» сюжеты, таких как популярная радиостанция «Эхо Москвы», известная критическими публикациями «Новая газета» или сетевые ресурсы «Слон» (slon.ru), «Грани» (grani.ru) и ряд других. Из обзора СМИ можно заключить, что в число телеканалов, сделавших репортажи о первых уличных акциях в эти дни, наряду с либеральным «Ren TV», попадают муниципальный телеканал «ТВЦ» и официальный «Россия», а среди газет, чаще прочих упоминающих события, наряду с «Независимой газетой» оказываются «желтые» «Комсомольская правда», «Московский комсомолец» и даже официальная «Российская газета» (Российские СМИ о митингах. 2011 (<www.public.ru/meeting>, последний доступ 24.08.2013)).

¹⁵⁶ Напомню, что первая спонтанная демонстрация проходит уже вечером 4 декабря, т.е. сразу по окончании парламентских выборов, а первый согласованный митинг, к которому приковано пиковое внимание СМИ и социальных сетей, — 10 декабря 2011 г.

¹⁵⁷ Опрос на митинге 4 февраля (<<http://www.levada.ru/13-02-2012/opros-na-mitinge-4-fevralya>>, последний доступ 13.02.2013).

на митингах фантомных «специалистов» словно подтверждает идею о «среднем классе», хотя сотрудник центра Алексей Левинсон и выступает с опровержением этого клише¹⁵⁸. СМИ, традиционно ориентированные на «быстрые» данные опросных агентств, не находят противоречия первоначальной идее и продолжают писать о «среднем» и «креативном» классах как главной движущей силе спонтанного уличного движения. Критическая работа, позже проделанная в медийном пространстве исследователями, включая НИИ митингов, оказывается недостаточной для переопределения этой медийной проекции. Вслед за рядом критических статей и интервью, которые пользуются вниманием журналистов, «средний» и «креативный» классы сохраняют ключевую роль в социальном истолковании событий крупными СМИ¹⁵⁹.

Если на протяжении полутора лет мобилизации оценки событий полярно разнятся в зависимости от политической ориентации телеканалов или изданий, атрибуция митингов «среднему классу» с самого начала перекрывает эти различия, снова демонстрируя спонтанное согласие среди журналистов и экспертов. Уже 7 декабря новостной агрегатор «Заголовки.ру» драматически обобщает ряд таких публикаций: «Средний класс вышел на улицы. Власти в шоке и в панике вводят в Москву войска»¹⁶⁰. Новостное агентство РИА резюмирует в своей ленте: «...С площадей возвышает голос средний класс, с трудом отыскивающий в тесноте политической системы хоть какую-нибудь партию,

¹⁵⁸ Левинсон А. Это не средний класс — это все // Ведомости. 2012. 21 февраля.

¹⁵⁹ Вероятно, ничто так ярко не иллюстрирует силу коллективного убеждения журналистского корпуса, как допущения, к которым апеллируют отдельные его представители, искренне заинтересованные в критическом анализе клише. Так, в одном из интервью через несколько месяцев после начала мобилизации журналист задает вопрос о социальном составе митингующих: «Определение “креативный класс” к этим людям применимо?» (Новикова И. «Дубинки ОМОНа превратили людей в последователей Ганди»: социолог Александр Бикбов о том, почему обитатели «ОкупайАбай» начали желать смерти Путину // Московские новости. 2012. 17 мая).

¹⁶⁰ Средний класс вышел на улицы. Власти в шоке и в панике вводят в Москву войска (<zagolovki.ru/daytheme/selinaizmeny/07Dec2011>, последний доступ 24.06.2013). Любопытно, что в заголовках исходных статей, из которых собран этот материал, «средний класс» отсутствует.

способную выражать его интересы в парламенте»¹⁶¹. В тот же день портал «Свободная пресса» интригует голосом власти: «Сурков — среднему классу: хватит вопить!»¹⁶². Днем позже сетевая «Газета.ру» приводит суждение крупного бизнесмена: «Сурков не понял, что как-то внезапно (спасибо \$/баррель) родился средний класс. И нас уже не устраивает пакт “Колбаса в обмен на демократию”»¹⁶³.

Среди массовых изданий, которые вводят маркер «средний класс» еще до первого крупного согласованного митинга 10 декабря, оказывается и газета «Комсомольская правда»¹⁶⁴, неоднократно служившая мишенью критики не только из-за ее «желтизны», но и из-за чрезмерной лояльности правительству. Примечательно, что вынесенное в страничный лид определение¹⁶⁵ предложено «экспертом» (журналистом Сергеем Доренко в роли эксперта), чьи выступления традиционно носят антиоппозиционный и «антиоранжевый» характер. И даже сетевой портал «Православие и мир», собрав мнения нескольких «экспертов», вводит это определение, цитируя одного из них — настоятеля церкви Московского университета: «Я бы не спешил называть вышедших на оппозиционные митинги людей “народом”. Один из известных журналистов назвал собравшихся представителями среднего класса. Соглашусь с ним, оставляя за скобками детей (в том числе и студентов), которые мало понимают, что делают»¹⁶⁶.

¹⁶¹ Тактика партийная и беспартийная // РИА Новости. 2011. 7 декабря (<ria.ru/analytics/20111207/509592785.html>, последний доступ 24.06.2013).

¹⁶² Полунин А. Сурков — среднему классу: хватит вопить! // Свободная пресса. 2011. 7 декабря (<svpressa.ru/society/article/50726>, последний доступ 24.06.2013).

¹⁶³ Олег Тиньков зовет на митинг 10 декабря: через три года не дам и гроша ломаного за этот режим // Газета.ру. 2011. 8 декабря (<www.gazeta.ru/news/blogs/2011/12/08/n_2127466.shtml>, последний доступ 24.06.2013).

¹⁶⁴ Сертифицированный тираж в IV квартале 2011 г. — 2,6 млн экземпляров, по данным Бюро тиражного аудита (<press-abc.ru/reestr_current_2012.xls>, последний доступ 24.06.2013).

¹⁶⁵ «Это рождение среднего городского класса, с которым надо разговаривать» (Ворсобин В., Доренко С. Сегодня самое время понять: не стоит митинги превращать в баррикады (интервью) // Комсомольская правда. 2011. 9 декабря).

¹⁶⁶ Редакция портала «Православие и мир». Митинг: за или против? // Православие и мир. 2011. 8 декабря (<www.pravmir.ru/miting-za-ili-protiv>, последний доступ 24.06.2013).

Свою роль в утверждении социального состава митингов играют и международные СМИ, в том числе крупные англоязычные издания, часто уже в заголовках приписывающие протест «среднему классу». Переводы нескольких таких статей и транскрипты телерепортажей появляются на посещаемых порталах «ИноСМИ» и «ИноПресса» в тот же или на следующий после оригинальной публикации день: «Московский средний класс часто игнорирует выборы, так как не верит в их честность, но некоторые демонстранты говорили, что впервые за десять с лишним лет сходили и проголосовали»¹⁶⁷, «На митинг на Болотной вышел средний класс»¹⁶⁸, «Интерес к политике молодых россиян из среднего класса стал для Кремля проблемой»¹⁶⁹, «Поддержанный Путиным российский средний класс выступает против него»¹⁷⁰.

В целом, согласно метрике новостей поисковой системы «Яндекс»¹⁷¹, за трехмесячный период (с 5 декабря 2011 г. по 5 мар-

¹⁶⁷ Kolyandr A. Moscow Election Protest Draws Thousands // The Wall Street Journal Blogs. 2011. December 5 (<blogs.wsj.com/emergingurope/2011/12/05/moscow-election-protest-draws-thousands>, последний доступ 24.06.2013). Рус. пер.: Тысячи людей вышли протестовать против выборов в Москве // ИноПресса. 2011. 6 декабря (<www.inopressa.ru/article/06dec2011/wsj/russia6.html>, последний доступ 24.06.2013).

¹⁶⁸ Gorsk S. Thousands of Democracy Campaigners Protest in Russia // NBC News — Moscow. 2011. December 10 (TV-передача, последний доступ 24.06.2013). Рус. пер.: На митинг на Болотной вышел средний класс // ИноТВ. 2011. 12 декабря (<inotv.rt.com/2011-12-11/Na-miting-na-Bolotnoj-vishel>, последний доступ 24.06.2013). В русском переводе показателем своего рода смысловой «гравитационный» эффект, производимый понятием «средний класс», которое отсутствует в оригинальном заголовке.

¹⁶⁹ Walker Sh. The Kremlin Has a Big Problem as Young, Middle-Class Russians Engage in Politics // The Independent. 2011. December 12. Рус. пер.: Интерес к политике молодых россиян из среднего класса стал для Кремля проблемой // ИноСМИ. 2011. 12 декабря (<inosmi.ru/politic/20111212/180084745.html>, последний доступ 24.06.2013).

¹⁷⁰ Kramer A., Herszenhorn D. Boosted by Putin, Russia's Middle Class Turns on Him // The New York Times. 2011. December 11. Рус. пер.: Поддержанный Путиным российский средний класс выступает против него // ИноСМИ. 2011. 12 декабря (<www.inosmi.ru/social/20111212/180073748.html>, последний доступ 24.06.2013).

¹⁷¹ <news.yandex.ru/smi> с 27.09.2011 по 27.03.2012 (по состоянию на 25.06.2012).

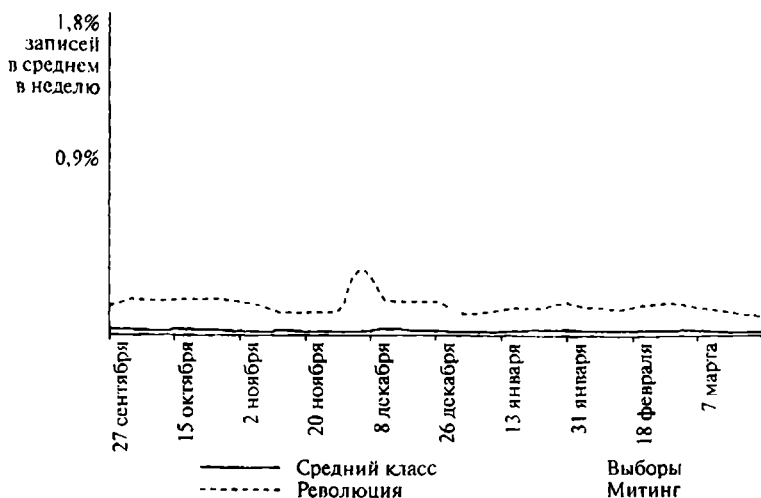


рис. 1. Оценочные частоты использования в блогах четырех ключевых понятий в период 27.09.2011–27.03.2012, по данным метрики «Яндекс»

та 2012 г.) в русскоязычных СМИ можно наблюдать почти двукратный рост: появляются 6284 статьи, где упомянут «средний класс», тогда как в предшествующие три месяца (с 3 сентября по 3 декабря 2011 г.) таких публикаций только 3271¹⁷². Одновременно с этим частота упоминаний «среднего класса» в блогах, по данным той же поисковой системы, остается неизменной и неизменно низкой на протяжении всего шестимесячного интервала на фоне повышенного интереса к «митингу», «выборам» и «революции», пики которого приходятся на крупные уличные акции¹⁷³.

Уже тот факт, что «средний класс» не становится ведущей темой мобилизации в блогах на фоне ее сверхпредставленности в СМИ, косвенно указывает на разрыв между медийными и

¹⁷² Данная метрика не является точным инструментом, в том числе по собственной информации «Яндекс». Однако замер частоты упоминания одного и того же терминологического конструкта в одних и тех же СМИ позволяет по меньшей мере оценить порядок различия.

¹⁷³ В среднем около 0,025% записей в неделю с вхождением «средний класс» против примерно 1,5% записей с «выборами», 0,7% с «митингом» и 0,4% с «революцией» в пиковую неделю с 5 по 12 декабря (<blogs.yandex.ru/pulse>, данные на 25.06.2012).

«внутренними» схемами мобилизации. В связи с этим наибольший интерес приобретает социальное самоопределение митингующих и возможное переживание своего выхода на улицу как политически мобилизованного класса. С целью прояснить этот, а также более общий факт социального самоотнесения участников в феврале 2012 г. в гид-интервью НИИ митингов вводится вопрос: «Относите ли Вы себя к какой-либо социальной группе, слою, классу?».

Как следует из ответов, «средний класс» становится далеко не преобладающим спонтанным самоопределением: к нему прибегают два-три десятка из нескольких сотен респондентов¹⁷⁴, тогда как с «креативным классом» отождествляют себя единицы. Большинство тех, кто пользуется понятием «средний класс» как самоопределением, прибегают к принципиальным с социологической точки зрения поправкам и оговоркам, которые свидетельствуют о его производной, в силу нечеткости, прагматике: «Я *надеюсь* себя относить к среднему классу, но у меня, честно говоря, *достаточно размытые* представления, что это» (мужчина, около 25 лет, высшее образование, PR-менеджер); «Не знаю, средний класс, *но это так...*» (мужчина, около 30 лет, неоконченное высшее образование, журналист); «Средний класс, *наверное*» (мужчина, около 30 лет, высшее образование, врач-рентгенолог)¹⁷⁵; «Ну, *наверное, чисто теоретически мы, скорее всего, средний класс*» (женщина, около 55 лет, высшее образование, переводчик)¹⁷⁶. Не слишком редкими становятся ответы, подобные этому: «Мы не любим это социальное разделение. Это, на самом деле, выдуманно маркетологами, как и все в нашем мире» (женщина, около 40 лет, менеджер в сфере обслуживания).

В случае более развернутого определения своей принадлежности к «среднему классу» наиболее интересна вариативность критериев. В ряде случаев участники отсылают скорее к мате-

¹⁷⁴ Всего на девяти протестных и четырех провластных, или «анти-оранжевых», митингах (с 24 декабря 2011 г. по 12 июня 2012 г.), а также в уличных лагерях «оккупай» (с 7 мая по начало июля 2012 г.) НИИ митингов провела около 500 индивидуальных и групповых (чаще парных) интервью, продолжительностью от 90 секунд до 90 минут.

¹⁷⁵ Цитаты из интервью, взятых на митинге в Москве 4 февраля 2012 г. (Курсив мой. — А. Б.).

¹⁷⁶ Это и следующее интервью взято на митинге в Москве 24 февраля 2012 г.

риальным ресурсам или тому, как они запечатлеваются в стиле жизни. В иных случаях — к образовательным и культурным запросам. Вот первый пример, когда скромное материальное положение и происхождение переопределяется в кодах культурной принадлежности:

Знаете, *наверно*, я все-таки принадлежу к среднему классу. Но к его, как бы сказать, низшей по материальному уровню, по достатку... *Не очень обеспеченный* средний класс. Я человек с *хорошим образованием*. У меня есть *взгляды*, *политические взгляды*; и есть *культурные запросы*. Но я живу очень скромной жизнью, у меня нет самостоятельного бизнеса. Я всю жизнь работаю *по найму*. И я из *очень скромной семьи* (женщина, около 60 лет, высшее образование, менеджер оптовых региональных продаж)¹⁷⁷.

Именно при определении «своего» среднего класса как культурности мы обнаруживаем более тесную связь понятия со смыслами актуальной мобилизации: «хорошее образование» и «политические взгляды» вступают в конфликт с «неумной властью» (тот же респондент), т.е. с системой, которая не просто воплощает коррупцию, но также отрицает образовательную меритократию и уважение к культуре.

Второй пример иллюстрирует конкурирующее определение «среднего класса», ключевым элементом которого выступает «стиль потребления». Мужчина, около 50 лет, временно безработный менеджер из Петербурга с прерывистой профессиональной траекторией, участник националистического движения и организатор националистических пробежек, без колебаний относит себя к «среднему классу». На приглашение объяснить, что это для него означает, он отправляет к публикациям «сообщества аналитиков вокруг журнала “Эксперт”», которые в своих статьях указали ему социальную принадлежность:

Как только он [средний класс] стал у них вырисовываться, формализовываться, я *сразу понял*, что я там; *вне зависимости* от моего сегодняшнего социального положения... Потому что это стиль определенный поведения, стиль заработка денег... Что бы ни случилось, я не пойду рельсы класть, так?.. Вот я сейчас год был безработным, у меня вторая волна обнищания. Но я же не

¹⁷⁷ Москва, митинг 4 февраля 2012 г. (Курсив мой. — А. Б.).

перестал от этого быть средним классом, правильно? *Стиль потребления* — это аксиома. Не как человек зарабатывает, а как потребляет. ...Я от жизненной коллизии не перестаю там... не перемещаюсь из класса в класс, я остаюсь с тем же стилем потребления. Он *сформировался уже у меня*, он не зависит от моего материального положения¹⁷⁸.

Указание на постоянство стиля при временной смене уровня благосостояния, как кажется, подразумевает третье звено — специфическую потребительскую «культуру» и то, что первая собеседница назвала «запросами». Однако на дальнейшие расспросы о выборе культурных продуктов для поддержания соответствующего стиля респондент отвечает: «Я его не поддерживаю, он складывается сам по себе». Прямая отсылка к СМИ как источнику социального самоопределения исключительна. Но и при всей ее специфичности понятие «среднего класса», квалифицируемого в первую очередь через потребление, никак не вписывается в контекст мобилизации. Категорией, мотивированной к протесту, для респондента оказываются «люди, которые отвечают за свое будущее».

Эти два случая более наглядно вскрывают измерение уличной мобилизации, которое редко озвучивается в медийных и экспертных интерпретациях событий. На деле массовое движение, не связанное с предшествующим активизмом, сообщает высокую ценность и разнообразие форм стилистическому противопоставлению «культурного» протеста и «глупости», «хамства» властвующих. Помимо тонких социологических различий, оно выражено в осязаемом и наглядном коллективном восхищении «одухотворенными лицами», в публично оркестрованном тезисе о роли митингов в «восстановлении человеческого достоинства», озвученном в первые месяцы мобилизации, в интеллектуальной сверхнагруженности значительной части самодельных лозунгов, которые объективируют скепсис в отношении мира институциональной политики при помощи умеренно субверсивного языка гневной иронии и оптимистического законопослушания. Вместе с подготовительными актами коллективной самоцензуры протеста: «Кровопролитие никому не нужно, так? ...Мы всем покажем, что мы — культурные люди, мы уважаем

¹⁷⁸ Москва, протестный уличный лагерь «Оккупай Баррикады», 17 мая 2012 г. (Курсив мой. — А. Б.).

друг друга»¹⁷⁹, — эти характеристики речи и жеста объективируют общую диспозицию: утверждение роли образования и интеллекта в «честном» общественном устройстве¹⁸⁰. При этом, как следует из интервью, «средний класс» в качестве мобилизованной и мобилизующей категории, релевантной опыту митингов, представлен в проекциях нового честного общества крайне спорадически. Случаи, когда медийный конструкт присваивается в позитивном смысле, указывает на его потенциальный мобилизационный характер: «[Отношу себя] Ну, к этому самому... это который средний, образованный, креативный» (женщина, около 50 лет, высшее образование, частный предприниматель). Следует, однако, помнить, что такие случаи единичны.

Еще несколько митингующих причисляют себя к «среднему классу» без колебаний¹⁸¹, но также не связывают этого со смыслом выхода на улицу. Причем к данной категории относят себя такие разнящиеся по эмпирическому социальному положению участники митингов, как член правления частного банка, аспирант-гуманитарий, IT-специалист, студент-международник, менеджер по продажам, школьный преподаватель. Иными словами, не только тезис о классовом характере мобилизации остается чистым медийным изобретением, но и эмпирическая однородность социального состава участников, к которой нередко отсылает «экспертная» речь, эксплуатирует тот же разрыв между медийным и уличным смыслом понятий.

Панораму дисперсных социальных самоопределений, которые респонденты могут связывать или нет со своим участием в движении, дополняют образовательные и профессиональные понятия: «интеллигенция», «предприниматель», «студенты», «менеджеры», «учителя», «казаки», «интеллектуальный класс»

¹⁷⁹ Королева П. Всем митингующим (<lady-spring.livejournal.com/75168.html>, последний доступ 24.06.2013). Эта запись малоизвестного на тот момент блогера, сделанная за два дня до массового митинга 10 декабря 2011 г., многократно тиражируется, в том числе наиболее известными лидерами мнений. Запись собирает 2945 комментариев; согласно данным поисковой системы Google, ее отдельные фразы воспроизведены не менее 14 тыс. раз.

¹⁸⁰ Более подробно об этом см.: Бикбов А. Методология исследования «внезапного» уличного активизма...

¹⁸¹ В двух случаях воспользовавшись англоязычными терминологическими обозначениями: «мидлмидл-класс» (студентка-гуманитарий) и «аппер мидл-класс» (член правления частного банка).

и т.п. Другим типом самоотнесения становятся акциональные, релевантные митингам или более широкому политическому контексту конструкции: «политически активный класс», «гражданин», даже «гражданин Российской Федерации», «просто люди, которым надоел Путин», «люди, которым не все равно» и т.д. Наконец, отдельный тип составляют, на первый взгляд, нейтральные обозначения, отсылающие к норме и нормальности, которые в контексте мобилизации получают новый, в пределе политический смысл: «сам по себе», «просто человек» и т.д.¹⁸²

Негромкий диалог митингующих со СМИ возникает по мере повтора митингов и рутинизации их медийного освещения. От участников можно слышать суждения о «среднем классе» из метапозиции, как о приписанной извне характеристике: «Говорят, что здесь собирается средний класс...» Причем таким образом используют понятие и те, кто относит себя к этой категории, и те, кто отрицает ее, как и любое классовое деление: «Какой может быть социальный класс в стране! Вы что, смеетесь что ли? [— А какой?] А никакого нет. Они там говорят о каком-то среднем классе. Вообще это выдумки все. Да нету! Есть богатые люди. Кто сумел вовремя [наворовать]» (мужчина, около 70 лет, среднее медицинское образование, до пенсии работал психиатром)¹⁸³. Как можно заключить из предпринятого ранее анализа, «они», которые «говорят», что протест принадлежит «среднему классу», — это, конечно, не сами митингующие и даже не профессиональные спикеры на сцене. В первую очередь это СМИ, которые наделяют движение социальным представительством. О том же, медийно индуцированном характере понятия свидетельствуют некоторые самодельные лозунги, обращенные к «ним», т.е. к журналистам: «Здесь не только средний класс — всем противна эта власть!» Или растяжка, которую в феврале 2012 г. приносит на митинги группа левых активистов: «Работники культуры и образования — средний класс? Рабочий день ~ круглосуточно, средний доход ≈ аренда квартиры. Учреждения культуры — под контроль творческих работников».

¹⁸² Подробно нормализацию, сопровождающую отказ от активистской или революционной аскезы, и ее роль тестового инструмента аномальности «власти» см.: Бикбов А. Представительство и самоуполномочение...

¹⁸³ Москва, митинг 10 марта 2012 г.

Демонстрацией власти медийного использования понятия становится символическая «миграция» самохарактеристики «средний класс» с протестных митингов на провластные. Наиболее красноречивы здесь два примера. Первый — это самоопределение рабочих ручного труда, со средним образованием, которые выражают в этой категории типичность своего социального положения: «[Группа наша] средняя, *средняя статистическая* [— Можете как-то расшифровать?] Нуу... средний человек, среднего класса»¹⁸⁴. Или еще более выразительное переопределение своей социальной принадлежности рабочим в ходе интервью:

Ну как сказать... Я себя отношу к *низшему классу*... но... *стремлюсь быть выше*, и препятствий для этого нет! ... [— А почему вы так считаете?] Ну потому что я вот от простого рабочего *поднялся до мастера*. Я могу подняться еще выше! ...Просто средний класс... как говорят про нас, средний класс [— Можете расшифровать?] Ну как сказать... это все те, кто *просто работает*. ... Я — средний класс, да. Считаю себя средним классом, хотя *зарплата у меня ниже* среднего класса... Потому что... *как написали в газете «Комсомольская правда»*, вот, средний класс — это те, кто получает [говорит с нажимом] от 38 тысяч рублей. Я этих денег [с нажимом] не получаю. Как говорится, у нас военные приближаются к среднему классу. Мы [с нажимом] не приближаемся к среднему классу. У нас зарплата от 20 тысяч рублей, хотя многие и этого не получают (мужчина, около 25 лет, высшее образование, мастер на заводе).

Подобное смысловое «истечение» провозглашенного революционным «среднего класса» из протестных пространств не случайно. Как я уже указывал, медийный перенос происходит поверх политических различий между СМИ, его источником выступает профессиональный корпус журналистов. Кроме того, понятие получает символическую ценность не только в речи журналистов, но и в нормативных суждениях, распространяемых через СМИ, при том что их источником становятся официальные фигуранты протестной критики:

Средний класс — это люди, которые могут выбирать политику. У них, как правило, *уровень образования* такой, что позволяет

¹⁸⁴ Это и следующее интервью проведены в Москве, на митинге в поддержку В. Путина 23 февраля 2012 г. (Курсив мой. — А. Б.).

осознанно относиться к кандидатам, а не «голосовать сердцем». <...> Средний класс должен расти и дальше. Стать *социальным большинством* в нашем обществе. Пополняться за счет тех, кто *тащит на себе страну*, — врачей, учителей, инженеров, квалифицированных рабочих¹⁸⁵.

В этом высказывании мы обнаруживаем два «средних класса»: первый — актуальный и неявно отождествляемый с протестом, второй — проектный, призванный вобрать в себя «социальное большинство». Обращаясь к актуальному, Владимир Путин фактически воспроизводит оппозицию «двух России», «креативной» и «народной», используя противопоставление между, с одной стороны, «образованием» и «осознанным выбором», и с другой — «теми, кто тащит на себе страну» и «голосует сердцем». В противоположность ей «большинство», отождествляемое со «средним классом» не в расколотом настоящем, а в неопределенном будущем, формируется благодаря смысловому сдвигу от придиричливых избирателей к «становому хребту» нации. В этом контексте понятие «средний класс» утрачивает любую социальную и политическую избирательность, за исключением единственного признака. Разрывая связь с конфликтной актуальностью, оно воспроизводит те элементы универалистского проектного контекста, которые хорошо знакомы нам по 1990-м годам, когда эта несуществующая, но желанная социальная категория была призвана обеспечить «социальную стабильность» и выступить «гарантом общественной безопасности». Неожиданный возврат к 1990-м в публичной речи автора, чьи привычные высказывания об этом периоде окрашены негативно, диктуется содержательным соответствием. «Стабилизация», которую в 1990-е был призван обеспечить проектный «средний класс» — во многом *та же самая* «стабильность», которой официальная доктрина 2000-х присваивает высшую политическую ценность. В конце 1990-х годов, сами того не сознавая, социологи готовят проектную форму для нового, «вертикально ориентированного» политического режима. В начале 2010-х годов, не

¹⁸⁵ Владимир Путин. Россия сосредотачивается — вызовы, на которые мы должны ответить // Известия. 2012. 16 января (Курсив мой. — А. Б.). Примечательно, что именно формула «я пришел сюда по зову сердца» нередко звучала в речи участников митингов «за Путина» февраля-марта 2012 г., словно подтверждая нехватку у них «осознанного отношения» к кандидатам, которое Путин приписывает «среднему классу».

отдавая себе в этом отчет, официальное лицо режима возводит в новую степень робкий авторитаризм социологов. Проектное понятие окончательно сформировано, когда в рамках официального высказывания невозможно отличить «стабильность» общества от «стабильности» политического режима.

Другой пример может звучать неожиданно уже не из-за логики высказывания, а из-за места произнесения. Молодая пара, обоим около 30 лет, он — юрист в фирме оптовых продаж, она — экономист в частном банке, оба часто путешествуют, считают свое материальное положение благополучным и относят себя к «зарождающемуся среднему классу». В интервью они выражают солидарность с антикоррупционными лозунгами протестных митингов. Парадокс заключается в том, что интервью было проведено не на протестной акции, а на митинге в честь победы В. Путина на президентских выборах, собранном уже в вечером 4 марта, т.е. в день голосования. Эти участники провластного митинга объясняют: «Мы пришли, как бы, посмотреть, как все это проходит, насколько цивилизованно и в рамках ли закона... На Болотную не пошли: на самом деле, побоялись. Потому что первый такой митинг оппозиции был, и поэтому... Если это будет в дальнейшем продолжаться, обязательно пойдем»¹⁸⁶. Пример тем более выразителен, что принадлежность к среднему классу респонденты прямо связывают с участием в мобилизации, т.е. используют «средний класс» как мобилизационную категорию.

[— В чем для вас это выражается, принадлежность к среднему классу?] Ну, прежде всего — как бы, ну вот, по Европе любим тоже очень путешествовать, смотрим, насколько у них это ярко выражено — т.е. выражение гражданской позиции: свободно можно выйти, т.е. высказать что-то, чтобы... и абсолютно быть уверенным, что тебя не посадит ОМОН в свой «пазик» и не увезет куда-то. То есть абсолютно свободные вот в этом плане люди.

То, что для их собственного участия в уличной акции определяющим становится в конечном счете не ее политическая принадлежность, а сам акт выхода на улицу, еще отчетливее проблематизирует роль категории «средний класс» как обнаруженного

¹⁸⁶ Москва, митинг в поддержку В. Путина 4 марта 2012 г.

и множество раз поименованного журналистами протестного принципа в России с декабря 2011 г.

Период массовой мобилизации, митингов и уличных лагерей становится крайне продуктивной тестовой ситуацией для проектного понятия «средний класс». Критический тест, направленный и заостренный социальным напряжением, позволяет зафиксировать, представлены ли в текстах и на улице одни и те же социальные понятия. Как показывает исследование НИИ митингов, между господствующими, в данном случае медийными, способами введения и использования категории «средний класс» и социальными самоопределениями участников уличных событий сохраняется иначе конфигурированный (чем полтора десятилетиями ранее), но от этого не менее радикальный разрыв. «Средний класс» остается понятием-проектом, при том что состав тех, кто спонтанно уполномочивает себя к использованию понятия, расширяется и утрачивает социальную или политическую определенность. Если обладатели социальных признаков, привычно ассоциируемые со «средним классом», крайне осторожны в указании своей принадлежности к проектной категории, в осуществимости проекта куда более уверены журналистский корпус, официальные руководители госаппарата, профессиональные политические оппозиционеры и медиа-персоны, читатели «желтой прессы» без высшего образования, протагонисты «экономического подъема», способные ошибиться митингом или политическим лагерьм¹⁸⁷.

Протестные и провластные митинги не производят двух различных типов социальной повестки, которая меняла бы политическую чувствительность участников и вела бы к их публичной или насильственной конфронтации. На одних и тех же митингах, сами того не сознавая, бок о бок соседствуют обладатели полярных взглядов на проблему бедности, ситуацию на рынке труда, вопросы миграции или российскую международную политику. Если одни уверены, что «мужик от 18 до 40 должен работать» и низкие зарплаты — вопрос «индивидуальный» (женщина, около 30 лет, высшее образование, бывшая владелица кафе), то другие с той же убежденностью призывают: «Всегда нужно поддержи-

¹⁸⁷ В политической публицистике, журналистике и академических дисциплинах его монопольными распорядителями перестают быть «прореформистские» или «демократические» фракции.

вать неимущих!» (женщина, около 60 лет, высшее образование, заведующая научной лабораторией). Одни горячо отстаивают приоритет общедоступного и бесплатного образования, тогда как другие, размышляя о том, что можно улучшить в стране, сомневаются: «А что, у нас с образованием какие-то проблемы?» и предлагают коммерциализировать его окончательно (женщина, около 35 лет, работник представительства химической фирмы). Одни приветствуют вступление России в ВТО как лекарство против государственной коррупции, иные полагают, что этот несвоевременный шаг лишь закрепляет вторичное место России на международном рынке. Вероятно, единственной и показательной точкой спонтанного схождения социальной чувствительности по мере повтора митингов и опыта участия в уличных лагерях в течение 2011–2013 гг. становится согласие участников с необходимостью сохранить бесплатное образование и медицину, по крайней мере для наименее обеспеченных. Летом-осенью 2012 г. к этому взгляду все чаще склонны в том числе «убежденные либералы» (по самоопределению). В пространстве протеста этой чувствительности отвечает появление «научно-образовательной колонны», впервые сформированной в июне 2012 г. Однако практически содействовать закреплению образовательных гарантий готовы немногие: тематические акции против коммерциализации образования ограничиваются 300–500 участниками в Москве.

Собственные повестка и лозунги протестного движения не просто избегают мобилизующего понятия «средний класс». Они структурно отличают российские уличные выступления от мобилизации классового типа, один образец которой дают недавние украинские выступления предпринимателей (2010) против налоговой реформы, другой — движение Оссиру в американском Окленде (2011–2012) с отчетливой антикапиталистической направленностью и прямой адресацией к городским слоям, лишенным социальной защиты. Куда больше общего российские митинги обнаруживают с «no-logo»-инициативами, т.е. движениями без партийной принадлежности, атрибутики и общей политической платформы, подобными польской мобилизации против АСТА¹⁸⁸, которая разворачивается в одно время с российскими митингами «за честные выборы» в январе-

¹⁸⁸ Международное торговое соглашение противодействия контрафакту.

феврале 2012 г. и становится наиболее массовым движением из всех европейских, посвященных этому вопросу, при этом полностью исключая гражданское использование насилия¹⁸⁹.

Тот факт, что в России *проектный класс* не становится *мобилизованным классом*, как это происходит во Франции 1930-х годов, свидетельствует о завышенной ценности, которая была политически приписана признакам «стабильности» и «умеренности» в предчувствии социального катаклизма середины 1990-х годов. Точно так же проектной фикцией оказываются более поздние предсказания о его революционности. Сверхпредставленность «среднего класса» в СМИ при его отсутствии на улице в 2012 г. демонстрирует, что сегодня эмпирические деления пролегают в российском обществе не там, где инженеры реформ и вторящие им эксперты желали видеть эти деления в конце прошлого века. Но и не там, где вслед за ними такие деления увлеченно очерчивают журналисты, перехватив проектное понятие на пике массового протеста. Проект остается неосуществленным, пока «средний класс» не становится политической реальностью. Но эмпирический сбой не снижает символической ценности понятия. Это означает, что еще не раз «средний класс» появится в качестве понятия-посредника при перенастройке категориальной сетки политического режима, административных реформ, социальной мобильности — той сетки универсалий, при помощи которой непослушная реальность снова делается постижимой и приемлемой.

¹⁸⁹ Подробности международного сравнения и логики мобилизации см.: Бикбов А. Представительство и самоуполномочение... По ряду признаков, не последними среди которых являются гражданское использование насилия и ориентация на смену режима, российское протестное движение отличается как от более ранних («арабская весна»), так и от более поздних движений 2013 г.: в Турции, Бразилии, Египте, Украине. Подробнее об этих отличиях см.: Бикбов А. Гражданское общество: анатомия протеста // Россия 2013. Ежегодный доклад Франко-российского аналитического центра Обсерво. М.; П.: Обсерво, 2013.

Заключение: «третий элемент» и внимание к различиям

Последовательность профессиональных позиций, которые вносят свой вклад в публичное определение понятия, становится определяющей в его проектном смысле. Появляясь на периферии новой понятийной сетки на рубеже 1980–1990-х годов, в обстоятельствах высшей неопределенности социопрофессиональной структуры и всего будущего порядка нового общества, «средний класс» вместе со «средними слоями» отвечает главным образом императиву сдерживания насильственного катаклизма. Первыми на этот императив откликаются обладатели нетривиальных, двойственных или зыбких, институциональных позиций в академическом мире. В отличие от них, «сильные» академические игроки не торопятся с понятийными новшествами: в третьем разделе настоящей книги я еще вернусь к причинам этого. Уже в конце 1990-х годов, когда понятие «средний класс» вводится в серийный академический оборот, в его проектном поле закрепляется новый смысл: (дез)адаптация к реформам и, неявным образом, политическое неучастие. На протяжении 2000-х годов уже усилиями «деловых» СМИ некоторые политические смыслы «стабильности» переводятся в потребительские характеристики и стилистические или этические нормы. Эти способы насыщения содержательными свойствами понятия-проекта неизменно сопровождаются дискуссией о существовании самой реальности, которая ему соответствует. Но если интеллектуальное высказывание производит опорный контекст понятия, то критическое доказательство стоящей за ним реальности обнаруживается не в строгих цифрах и не в декларативных предписаниях.

Как показывают недавний российский опыт и французские 1930-е годы, только кризис становится условием быстрой конденсации этой реальности. При этом чтобы доказать существование, пускай и плачевное, «среднего класса», его представители вовсе не обязаны появляться на публичной сцене. Если «средний класс» не материализован в виде мобилизованной группы, его рождение, расцвет и преждевременную смерть собственными силами организуют журналисты и медийные эксперты. Так

происходит в российском 1998 г. Нечто похожее повторяется в 2011–2012 гг. при запросе хоть на какую-то идентификацию действующих сил мирного гражданского протеста. Еще до начала массовых митингов СМИ без колебаний помещают их участников в пустующую клетку понятийной разметки нового порядка. Это клетка «среднего класса» — манящая, насыщенная длительными символическими инвестициями и высокими ожиданиями. В результате контекст понятия пополняется еще одним ключевым смыслом, который ранее ему не решались сообщить социологи: способностью к мирному «протесту» и «восстанию». К слову, этим расхождением в контекстах социологического *versus* журналистского определения понятия отчасти объясняется поразительно низкий интерес академических социологов к уличной гражданской мобилизации. Ранее не признав за «средним классом» способность к политическому участию, они, в отличие от журналистов, лишаются исключительного шанса наблюдать эту фикцию во плоти и корректировать свои представления о проектной категории, тиражируемые в академических публикациях с начала 2000-х годов. Как следствие, почти монопольными распорядителями смысла и ценности понятия остаются СМИ. В некотором отношении они приближают проект к реализации, но в одностороннем порядке. В медийных публикациях «средний класс» становится осязаемым и наблюдаемым непосредственно: это и есть участники протеста. Но на публичной сцене митингов по-прежнему отсутствует мобилизованная группа, которая присвоила бы протест в акте законного представительства. По этой причине проекту снова недостает реальности, и можно не сомневаться, что поиски и повторные открытия «среднего класса» еще последуют.

Может казаться, что эти перипетии понятия-проекта обязаны в первую очередь послесоветской исключительности. Такое понимание будет неверным. Сходная логика прослеживается и в более ранних поворотных точках истории понятия, взятой в ином хронологическом и географическом масштабе. Собственно, логика здесь весьма условна, поскольку в образовании исторического поля понятия кардинальную роль выполняет не последовательная реализация того или иного семантического априори, а постепенный и, строго говоря, случайный захват новых контекстов, которые могут становиться (или нет) проектными признаками. Чтобы убедиться в этом, удобно взять наиболее широкий

хронологический шаг. В английском поле понятия (рубеж XVIII и XIX вв.), в отличие от более позднего французского (середина XIX в.) и куда более позднего русского (конец XIX в.), мы обнаруживаем неожиданный сегодня смысл, который связан, например, с признаками «образованности» и «моральных принципов». Как и во Франции, и в России, эти признаки так или иначе укладываются в добродетель политического благоразумия, приписываемую средним классам. Однако в отличие от Франции и России, в ряде английских контекстов спасительное благоразумие обращено не против революции, а против тирании. Угроза узурпации власти — очевидно, не тот смысловой горизонт, в котором проектная категория определяется в этатизированных французском и российском обществах. Силловые порядки этих обществ, скорее, купируют возможные отклонения в пользу данного смысла. Если английский вариант, по большому счету, не исключает права на восстание, подтвержденное юридическими и политическими доктринами, — и восстание в данном случае совсем не символическое, — то французский и российский исторические варианты обращают проект к прямо противоположному полюсу: к классовому компромиссу во имя стабильности. В свою очередь, французский контекст первоначально определяется «сильным» понятием социального и морального прогресса, структурным воплощением которого и становится компромиссный «средний класс». По мере усложнения контекста «прогресса», его отделения от «класса» в ходе политической работы с обоими понятиями этот смысл замещается связью «среднего класса» с «государством». «Средний класс» как прямую производную государственной политики реформ мы во всей полноте наблюдаем в российской версии понятия 1990-х годов.

Подобным образом, хотя, вероятно, с меньшими смысловыми контрастами, мы можем пересмотреть все ключевые признаки, которые закрепляются или отсеиваются в поле понятия, актуальные для разных обществ и языков. Будь это «стабильность», «независимость», «ответственность», «умеренность» и т.д. — смысл «тех же самых» свойств в конструкции российского «среднего класса» будет тем больше отличаться от французского и любого иного, чем больше внимания мы уделим контекстам, т.е. связи этих признаков между собой. Метод анализа контекстов как результата социальных взаимодействий и условий, определяющих смысл знака-понятия через его отношение

к другим знакам, неизменно служит здесь ключом к верному прочтению всей понятийной сетки.

Другой важный вывод, к которому подводит проделанный анализ, заключается в том, что пресловутый «третий элемент» в социальной структуре обществ Нового времени на деле обладает не только хронологической, но и трансконтекстуальной вариативностью. Эта вариативность настолько высока, что ставит под сомнение наличие какого-то одного или единого «третьего элемента». Уточню, что я имею в виду. Если мы без оговорок принимаем введение «третьего элемента» в социальную структуру за модернизационный признак и склонны рассматривать «третье сословие», «средний класс», «промежуточные слои», «третье состояние» и т.д. как разные терминологические выражения единого проекта-категории Современности, мы совершаем серьезную методологическую ошибку. Действительно, введение «третьего» или «среднего» — диспозиции, которая создает продуктивное напряжение в исходно бинарных социальных делениях французского, английского, российского и других обществ, нередко отмечает одновременные кардинальные сдвиги в их понятийной сетке и в силовых порядках. Однако различные «третьи» не находятся в гармонии и не сменяют друг друга в хронологической последовательности, а сосуществуют в одном синхронном срезе, нередко составляя друг другу конкуренцию. Это прекрасно иллюстрируют позднесоветские варианты «третьего элемента»: «интеллигенция, или служащие» с высокой символической ценностью, амбивалентные и часто анахронические «средние слои» и табуированный буржуазный «средний класс». Кардинальные различия можно наблюдать и ранее, в случае французских «средних слоев», «среднего класса» и «третьего сословия», где мы имеем дело с понятиями, отчетливо противопоставленными в некоторых смысловых измерениях, а вовсе не с различными терминологическими формами одного и того же понятия.

Советская история, сгенерировавшая обширный доктринальный архив, позволяет внести важные уточнения в общую картину. Сверхлегитимная «интеллигенция», которая вводится в официальное представление советской социальной структуры с 1960-х годов, на первый взгляд, лишь гармонически дополняет позднесоветскую «социальную однородность» своеобразным «полуклассом». В действительности, этот полу- или паракласс представляет собой куда более сложную в понятийном отноше-

нии конструкцию. Мы имеем дело с тщательно замаскированной — и политически крайне успешной — операцией внедрения в классовую структуру по-настоящему конкурентного ей принципа: классово нейтрального социопрофессионального различия. Эта операция влияет и на два «настоящих класса», которые также неявно до- и переопределяются в логике социопрофессиональных, а не политических делений. Активная доктринальная эксплуатация и своеобразная «заморозка» контекстов трехчленной схемы во многом ограничивает неполитическое использование третьего элемента в описании эмпирического общественного устройства социализма. И все же именно позднесоветский период отмечен взрывообразным ростом числа технических социальных типологий, которыми в целях «научного обеспечения» режима распоряжаются вновь созданные дисциплины: математическая экономика, эмпирическая социология, психология личности. В исследовательской практике этих дисциплин советская «интеллигенция» имеет немало общего с политически стигматизированным «средним классом». Показатели образования, профессии, дохода, властных функций, которые переносятся в советскую практику описания подгрупп «интеллигенции» и «служащих», прямо заимствуются из стратификационного схематизма, определяющего «средней класс». Однако политическая граница, разделяющая эти отчетливо неравноценные понятия, генерирует две параллельные истории, которые продолжают старательно не пересекаться на протяжении нескольких десятилетий. «Интеллигенция» лишь ненадолго соединяется с «буржуазным» «средним классом» в некоторых публицистических текстах рубежа 1980-х и 1990-х; и лишь для того, чтобы к исходу 1990-х годов быть похороненной руками академических социологов под руинами старого порядка.

Наконец, проделанный анализ позволяет уточнить функцию «среднего класса» в качестве понятия-посредника «демократии». Я предпринял исследование в генеалогической перспективе, т.е. отправляясь от наиболее актуального российского горизонта, в котором «средний класс» приобретает свой смысл и ценность. Смыслы, которые в этом горизонте не закрепились, например, то же противодействие тирании или моральный прогресс, упомянуты, но не становятся предметом специального рассмотрения. Что же российский «средний класс» сообщает «демократии» как элемент ближайшего контекста этой универсалии? Точнее,

какое контекстуальное (а не номинальное) определение получает «демократия» из смыслового поля «среднего класса»? Судя по тем ценностным предписаниям, которые социологи вменяют «среднему классу» в 1990–2000-е годы, мы имеем дело с неявной повесткой, которая расходится с определениями из учебников и торжественными декларациями. В первую очередь это относится к тому факту, что за «средним классом» закрепляется роль объекта государственных реформ, а не автономной политической силы. «Активность» и «ответственность» представителей этой категории не предполагает их собственного политического участия и представительства. То есть за декларативным разрывом с патерналистским режимом прошлого мы обнаруживаем унаследованное из этого режима пастырское *libido*. В данном отношении российский «средний класс», как и некоторые другие понятия-посредники политического и экономического лексикона, достаточно точно объективирует специфику «демократии» в ее послесоветском прочтении. В универсуме нового порядка контекстуальное определение понятия «средний класс» располагает его совсем недалеко от понятия «суверенная демократия».

Чем объяснить такое смещение, далеко не очевидное даже сегодня, не говоря о первых тактах увлеченного конструирования понятия-проекта? И символические революции, и периоды институционализации произведенных разрывов заимствуют ресурсы легитимного ранее схематизма. Это происходит из-за того, что понятийные ресурсы всегда ограничены и распределены социально. Главная методологическая задача исследования в этих условиях состоит в том, чтобы верно определить силовые источники и векторы смещений в социальной семантике понятий. Нередко этому препятствуют декларативная незыблемость различий или маскировка устойчивых смыслов риторикой мгновенных изменений. Учитывая это, моменты стремительного вращения и деиерархизации понятийной сетки следует чередовать в исследовании с моментами возврата к порядку, которые дают возможность наблюдать за сдвигами в понятийной сетке и появлением новых понятий-проектов на границах между относительно спокойными периодами, а также в границах каждого из них. Символический универсум советского периода, который нередко предстает странным миром, изобилующим ложными знаками незыблемости и скрытыми свидетельствами перемен, предоставляет для этого впечатляюще обширные возможности.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СОЦИОЛОГИЯ
СОВЕТСКИХ ПОНЯТИЙ

Если «средний класс» вместе с «демократией» и «собственностью» становятся узловыми категориями новой сетки политических понятий и социальной структуры после 1991 г., в предшествующий период реальность общества и его проекты создаются при помощи иных слов. С 1960-х годов «социализм» официально определяется через «мир» и «науку», с 1970-х — через «социальную однородность» и «управление прогрессом». Иллюзия абсолютного разрыва в реальности «до» и «после» оказывается тем более убедительной, чем более осязаемо понятийный ряд, который *делает эпоху*, не совпадает по разные стороны хронологического рубежа. Одна иллюзия влечет за собой другую. Если выборочно прочитывать корпус текстов официальной советской риторики, пренебрегая датами, весь период с 1920-х по 1980-е годы может показаться непрерывающимся повтором одних и тех же слов, в которых закреплена одна и та же реальность. Слов, которые были страстно и почти мгновенно вычеркнуты в результате деидеологизации или, точнее, реидеологизации публичного высказывания конца 1980-х. В результате сегодня по-прежнему остается большой соблазн видеть в корпусе официально уполномоченной советской речи идеологический монолит, лишенный внутренних членений и непредвиденных сдвигов. Даже ностальгический поворот в восприятии «развитого социализма», имеющий мало общего с научной логикой, лишь сублимирует эту тотальность, не позволяя в ней усомниться. В свою очередь, в публикациях, характеризующих СССР как тоталитарный режим *per se*, этот соблазн зачастую определяет направление всей работы. Помимо увлечения хронологическими экстраполяциями, такой взгляд обязан *почти* полному замещению социальной материи материализованной догматикой. Кардинальный факт, которого всеми средствами избегает подобное восприятие, заключается в том, что официальная риторика советского периода была очень *подвижной*, и все ее трансформации (смещение смысла центральных понятий, появление новых тем, выпадение целых понятийных пластов и т.д.) невозможно сколько-нибудь удовлетворительно объяснить, предварительно не вернув Советский Союз в большую историю.

Сегодня у социального исследователя имеется решающая привилегия: познавательная дистанция, которая позволяет восстановить главный недостающий ресурс советской истории —

время. Время, понятое как незавершенность любых усилий по конструированию реальности. Как инерция и неопределенность порядка, под действием которых застывшая директивная «система» вновь превращается в политический процесс, т.е. в чередование борьбы и компромиссов. Пересмотр истории советского в его структурном и понятийном измерениях предполагает, по меньшей мере, допущение внутренней неоднородности порядка как в хронологическом отношении, так и в срезе актуального на каждый момент баланса сил, конкурирующих за придание советскому обществу актуального и перспективного смысла. В этом случае даже официальную риторику, с ее «затертостью» и принципиально анонимным характером, следует рассматривать как продукт множества социальных проекций, в том числе следов присутствия и борьбы различных политических (внутри- и межпоколенческих) фракций — носителей различающихся взглядов на политический режим и его составляющие. Это относится к понятиям, сохраняющим центральное место в символической системе советского режима на протяжении всех его трансформаций 1920–1980-х годов, — понятиям из ряда «коммунизм», «Советский Союз» и т.д.; но также (если не прежде всего) к тем понятиям, которые появляются (и исчезают) в ходе структурных сдвигов и в контексте которых получает обновленный, собственно политический смысл весь осязаемо и незаметно меняющийся социальный порядок.

III. Функция «гуманизма» в официальной советской риторике¹

«Гуманизм» оказывается понятием второго ряда, т.е. понятием-посредником. Его появление можно фиксировать в различных точках советской хронологии вместе с такими понятиями, как «личность» или «благосостояние», где оно попадает в предельно поляризованную и ритмически прерывистую игру с элементарными составляющими политического режима, связки которой определяют сдвиги в советской административной и экономической структуре. При этом «гуманизм» не фигурирует в базовых официальных документах и выступлениях (тексте Конституций, отчетных докладах съездам, резолюциях и т.п.), а получает свое определение скорее в комментаторской литературе: в газетных разъяснениях политического курса, в юридической и литературоведческой экзегезе. При своем периферийном положении в корпусе официальных текстов это понятие, тем не менее, несет важную нагрузку в эволюционирующем определении «социализма» как наиболее широкого и всеохватного смыслового горизонта политического мышления советского периода. Следуя за изменениями контекста, в котором получают смысл подобные «второстепенные» понятия, можно обнаружить, что их история оказывается едва ли не наиболее продуктивным материалом для выявления разрывов в кажущейся непрерывности советской политической конструкции.

Отправляясь от идеи непрерывности в определении «гуманизма» в разнообразных текстах советской официальной риторики разных периодов, можно было бы выделить тематическую основу и произвести дидактический анализ официального вы-

¹ Первоначальная версия этой главы опубликована в виде статьи «Функции понятия "гуманизм" в официальной советской риторике» в сборнике: Понятие гуманизма. Французский и русский опыт. La notion d'humanisme. Expérience russe et française / под ред. С. Зенкина. М.: РГГУ, 2006.

сказывания в терминах вариаций: «постоянного» смысла понятия и его «оттенков». Подобный анализ наилучшим образом соответствовал бы определению советского режима как тоталитарного, т.е. помимо прочего — режима, стабильно оснащенного на всем своем протяжении единой моделью осмысления и выражения коллективного опыта и проекта. Такой подход был бы тем более вероятным, что этот «постоянный» смысл можно с легкостью возвести к философской схематике, производной от марксизма, и, таким образом, разместить весь механизм официального высказывания на не слишком протяженной дистанции, отделяющей Институт философии Академии наук СССР от Президиума ЦК КПСС.

Этот подход, однако, допускающий наличие вневременного (пускай и в рамках исторически конечного политического образования) смысла, разорвал бы любую связь между содержанием данного понятия и социальными условиями его использования. Надеюсь, уже в предыдущем разделе книги мне удалось показать, что советский период изобилует разрывами и поворотными точками, в которых происходила рекомпозиция не только отдельных ячеек понятийной сетки, но и ключевых проектных универсалий. Не менее серьезные последствия имела бы модифицированная версия «тотального» подхода, в рамках которой официальная риторика рассматривалась бы как результат работы идеально отлаженного административного аппарата: хотя бы потому, что сама его отлаженность была продуктом узаконенного воображаемого администраторов и либеральной оппозиции 1970–1980-х годов, генетически связанной с этим воображаемым. В терминах продуктивности анализа сведение множества политических и социальных факторов, определяющих смысл высказывания, к согласованной коммуникации между двумя (или тремя, пятью) официальными инстанциями по его производству означало бы простое перепрыгивание сложного порождающего механизма внутри сильно упрощенной институциональной схемы. Среди прочего, подобная операция исключала бы анализ высказывания с учетом эволюции этих инстанций или институционализации тех языковых моделей, которые ранее представляли в виде гораздо менее кодифицированных, если не авантюрных, инициатив по приданию смысла — что особенно характерно для символических битв 1920–1930-х или конца 1950-х — начала 1960-х годов.

Наиболее действенной исследовательской перспективой, которая обеспечивает как можно более адекватное прочтение смысла понятий в подвижной системе официальной риторики, равно как знание порождающего этот смысл механизма, может стать не семиотическая критика официального советского высказывания и не анализ межинституциональной коммуникации, но критическая и крайне детализированная история политической борьбы в собственно политическом, но также в журналистском, научном, артистическом (в целом, культурном) пространстве Советского Союза, включающая микроисторию отдельных текстов. Такую (микро)историческую работу, дающую ответ на вопросы: «кто сказал?», «из какой позиции?», «в какой ситуации?», «кто оспорил?», «какую институциональную поддержку получил?», — еще только предстоит проделать по отношению к обширному корпусу источников. Но даже если непроявленным остается эмпирический баланс сил вокруг конкретных текстов, одним из первых шагов в том же направлении может стать попытка критической морфологии официального высказывания в сопровождении гипотез о происхождении тех или иных изменений в его структуре. Учитывая крайне фрагментарный характер данных и локальный характер обобщений, предлагаемый мною анализ следует рассматривать как предварительный.

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ГУМАНИЗМ»: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КОНСТАНТА И ЕЕ КОНТЕКСТ

Первая особенность функции понятия «гуманизм» в официальном советском высказывании — это его расположение на демаркационной линии «социализм — капитализм». Уже в 1930-е годы это политическое место выражено крайне отчетливо и закреплено в двух словах, образующих элементарное понятие — «социалистический гуманизм». В этот период отношение, выраженное через понятие «гуманизм», воспроизводит схематику исторического превосходства: «Социалистический гуманизм является высшим, качественно новым типом гуманизма, венчая собой все историческое развитие гуманистических идей прошлого»². Еще более яркой отличительной чертой этого

² Егоров М. Великий гуманист // Известия. 1938. 21 января. С. 3.

определения «гуманизма» служит «священная ненависть» и узаконенное истребление «всех темных сил прошлого ...подлых изменников, предателей социалистического отечества»³. В противовес этому, в середине-конце 1970-х годов понятие «гуманизм» напрямую соединяется с ранее в целом негативно коннотированным понятием «права человека» (негативно из-за его принадлежности к буржуазному праву)⁴ с акцентом на преимущества советского, в отличие от буржуазного, понимания прав и свобод. В целом в существенно меняющемся на протяжении 1930–1980-х годов контексте понятие «гуманизм» сохраняет не содержательную, а *функциональную* устойчивость, прежде всего маркируя оппозицию между полюсами «социализма» и «капитализма».

Функция понятия как чистого маркера границы между полюсами одновременно географической и политической оппозиции поддерживается тем не менее при помощи регулярно воспроизводимого тематического набора. Прежде всего это тема «*труда*», точнее «свободного труда», которая обнаруживается во множестве точек официального советского высказывания: «Труд из силы, угнетающей и калечащей производителя, впервые становится действительным условием развития каждой человеческой личности, источником радостной, бодрой, счастливой и гармонической жизни. В этом основа и глубочайшее содержание социалистического гуманизма...» (1938)⁵; «Творчество Шолохова глубоко гуманно, проникнуто сердечной любовью к человеку-труженику» (1959)⁶; «Наши цели и практические действия, проникнутые заботой... о благе человека труда... как ничто другое говорят о высоком гуманизме политики Коммуни-

³ Егоров М. Указ. соч. С. 3. Подобные формулы представляют собой вариации горьковского определения «революционного гуманизма»: «Этот революционный гуманизм дает пролетариату исторически обоснованное право на беспощадную борьбу против капитализма, право на разрушение и уничтожение всех гнуснейших основ буржуазного мира» (Горький М. Пролетарский гуманизм // Горький М. Собр. соч.: в 30 т. М.: ГИХЛ, 1953. Т. 27).

⁴ См., напр.: Чхиквадзе В.М. Социалистический гуманизм и права человека. Ленинские идеи и современность. М.: Наука, 1978.

⁵ Егоров М. Указ. соч. С. 3.

⁶ Хрущев Н.С. Выступление на митинге трудящихся станицы Вешенской // Правда. 1959. 1 сентября.

стической партии и Советского правительства» (1971)⁷; «Мы за мир, утверждающий гуманизм на деле, возвышающий человека труда» (1988)⁸.

Вторая ключевая тема — это тема народа и «простого человека», которая прямо замыкается на тему труда через отождествление «простого человека» с «тружеником». Эта тема присутствует в приведенных выше цитатах разных периодов, где обе темы порой почти неразличимо сливаются в результате отождествления «простого» и «трудового». Наиболее детальной разработке она подвергается, вероятно, в 1930-е годы, тогда как в образцах последующей риторики используются устойчивые формулы и гораздо менее различительные краткие отсылки к общим местам. В частности, образцовой свернутой отсылкой к очевидной политической истине является формула из горбачевского обращения 1988 г.: «Мы за мир, утверждающий гуманизм на деле, возвышающий человека труда». Она представляет собой своего рода краткое резюме целого пласта текстов, порожденных в пейзаже еще не стихнувших символических битв 1930-х годов, где профилирующая понятие «гуманизм» тематика представлена в эксплицитной форме: «Мощный разлив политической активности широчайших масс трудящихся... производственный подъем, расцвет социалистической культуры, сталинская забота о человеке, как и вся социалистическая действительность Страны Советов, являются осуществлением заветов великого Ленина, реальным воплощением принципов социалистического гуманизма»⁹. Примечателен собственно ученый комментарий 1970-х, расположенный на границе официальной истины, который примиряет целый набор определений, незаметно стирая противоречия в исходных высказываниях, принадлежащих различным пророческим текстам:

При коммунизме труд из средства к жизни превращается в первую жизненную потребность, а высшей целью общества становится развитие самого человека. Поэтому Маркс называл коммунизм реальным, практическим гуманизмом (см. Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. 1956. С. 637)... Противники

⁷ Претворим в жизнь исторические решения XXIV съезда КПСС // Комсомольская правда. 1971. 10 июня. С. 2.

⁸ Новогоднее обращение к советскому народу Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева // Труд. 1988. 1 января. С. 1.

⁹ Егоров М. Указ. соч. С. 3.

коммунизма отрицают гуманистический характер марксизма на том основании, что он опирается на материализм и включает в себя теорию классовой борьбы. Эта критика несостоятельна, ибо [эта теория]... вовсе не является апологией насилия. Она оправдывает вынужденное применение революционного насилия для подавления сопротивления меньшинства в интересах большинства в тех условиях, когда без него становится невозможным решение назревших социальных проблем¹⁰.

Соединяя отсылки к раннему Марксу с ответом на актуальную внешнеполитическую критику государственного насилия в начале 1970-х годов, ученый комментарий, получающий окончательную легитимность в рамках официальной универсальной энциклопедии (БСЭ), сплавляет разнообразие контекстов в тематический монолит, где «классовая борьба», «забота о человеке», «свободный труд» и «решение социальных проблем» оказываются равновесными, взаимодополняющими и взаимозаменяемыми определениями искомого понятия.

В ходе подобного конструирования и практической реконструкции смысла понятия в 1930–1980-е годы, включающих более ранние официально одобренные находки и разработки, сочетание тем задает базовую формулу, которая определяет смысл понятия «гуманизм» на границе между «социализмом» и «капитализмом»: в отличие от капитализма, социализм избавляет «трудящиеся массы», «простых трудящихся» от эксплуатации, заботится об освобождении труда — и именно в этом состоит его гуманистическая сущность.

Особого внимания заслуживает тип высказывания, в котором понятие «гуманизм» извлекается из терминологической связи с «социалистическим» и, сохраняя при этом однозначную связь с полюсом «социализма» и не утрачивая всего веса позитивных коннотаций, получает более широкую, в пределе универсальную смысловую перспективу. Речь идет об употреблении в официальном высказывании производного понятия — «гуманист». Оно зарезервировано для характеристики фигур, возведенных в пантеон советского строя: вожди (Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Леонид Брежнев)¹¹ и «народные» писатели (Николай Некрасов,

¹⁰ Келле В.Ж. Гуманизм // Большая советская энциклопедия. 2-е изд.

¹¹ Явным выпадением из данного ряда является фигура Н. Хрущева: мне не удалось найти случаев его характеристики как «гуманиста». Возможно, это объясняется крайней фрагментарностью доступного мне

Иван Тургенев, Максим Горький, Михаил Шолохов)¹², — и также регулярно воспроизводится на протяжении 1930–1980-х годов. Более того, «великий гуманист» Сталин, «гуманист» Брежнев или Шолохов, чье творчество «проникнуто гуманизмом» — ряд фигур, обладающих высшими государственными наградами и премиями. Парадигмальным определением этой бюрократикоромантической способности к гуманистическому видению мира выступает «человечная близость всем простым людям»¹³. Такое использование «гуманизма» как знака отличия, релевантного одновременно высшему месту «народного» в символической иерархии и обладанию высшей правительственной наградой, существенно дополняет схему учреждения границы между «социализмом» и «капитализмом» как границы между режимом социальных привилегий и режимом депривации.

Таким образом, в понятии «гуманизм», терминологически или контекстуально определяемом через принадлежность к «социализму», соединяются коннотации привилегированности, отеческой близости и заботы: всеобщей привилегии «простого» советского народа — свободного труда, недоступного в капиталистическом обществе, — и отеческой озабоченности сохранением этой привилегии, которую отправляет высшее государственное руководство и официально признанные писатели. Иными словами, в официальной советской риторике понятие «гуманизм» определяется по крайней мере двумя неизменно соседствующими и незаметно подменяющими друг друга контекстами: прогрессистским представлением об освобожденном труде и патриархальным мифом о заботливом старшем родственнике.

материала. Вполне вероятно, однако, что в использовании или неиспользовании данной атрибуции применительно к высшим советским руководителям задействована та же основополагающая механика по производству политического смысла, которая определяет базовую демаркационную функцию понятия «гуманизм».

¹² В целом одним из специализированных языковых пространств, в котором понятие «гуманизм» получает детализированную и поэтому не всегда ортодоксальную тематизацию, является литературная критика. Официально признанный гуманизм советских писателей и советской литературы выступает тематическим приоритетом вплоть до 1980-х. См., напр.: Советская литература и мировой литературный процесс. Гуманистический пафос советской литературы. М.: Наука, 1982.

¹³ Корабельников Г. Образ Сталина в народной поэзии // Пропагандист и агитатор РККА. 1939. № 23. Декабрь.

Именно в этой ситуации крайне силен соблазн выделить «постоянный смысл» понятия, напрямую обязанный «тоталитарному» способу поддержания символической системы Советского государства, т.е. наличием некоего неподвижного центра, который обеспечивал контроль за смыслом на протяжении всего советского периода, и рассматривать разнообразие контекстов, задающих смысловые вариации и сдвиги, как малозначимое или случайное. Такой соблазнительной интерпретации способствует и вполне прозрачная догматическая оснастка тематического ядра: прямое или аллюзивное цитирование текстов Карла Маркса и Владимира Ленина. Единственным неразрешимым вопросом в рамках любого сколько-нибудь серьезного исследования остается лишь эмпирическая локализация такого центра языкового контроля. Принимая во внимание регулярные трансформации государственного аппарата, борьбу и уход с административной сцены целых фракций государственной бюрократии, систематическое смещение приоритетов внутренней и внешней политики и, соответственно, центров административной власти, практически реализующих эти приоритеты, нужно будет признать, что некий неподвижный «тоталитарный» центр всего советского режима существовал прежде всего в крайне специфическом коллективном воображаемом самого позднесоветского периода.

Описанию данной языковой ситуации — наличию постоянного тематического ядра, философского по своему происхождению, в подвижной политической конъюнктуре — гораздо лучше соответствует иная модель, набросок которой можно обнаружить в работе Жака Ле Гоффа «Интеллектуалы в средние века»¹⁴. Описывая способ построения христианской догматики в XII–XIII вв., Ле Гофф указывает, что система религиозных представлений в среде их непосредственных производителей (духовенства) конструировалась не через постоянный возврат к священным текстам и отсылки к первоисточникам, а через тексты сумм-комментариев, которые обеспечивали необходимое опосредование между сложными и противоречивыми пророчествами и текущими нуждами религиозной практики. Эта подвижная область догматического комментария выступала

¹⁴ Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в средние века / пер. с фр. А.М. Руткевича. Долгопрудный: Аллегро-Пресс, 1997.

не только основным источником религиозного схематизма, но и пространством дополнений и уточнений, которое плавно и непрестанно эволюционировало вместе с институциональной конъюнктурой. Собственно, это пространство комментариев к комментариям и образовывало центр дискурсивной системы в отсутствие прямого «тоталитарного» контроля религиозного смысла со стороны церковных инстанций. Последние контролировали скорее не основное содержание религиозного высказывания, а наиболее явные отклонения от легитимной догматики.

Еще раз оговорюсь, что для выявления действительного порождающего механизма официального советского высказывания необходима предварительная микроисторическая работа, обращенная к генезису конкретных текстов. Решусь, однако, предположить, что устойчивое воспроизводство тематического контекста, который гарантировал смысл понятия «социалистический гуманизм», равно как целого ряда ключевых понятий официального словаря советского периода, был результатом именно такого способа порождения риторической истины. Узкий круг профессиональных экспертов по текстам-первоисточникам, которые составляли ограниченную фракцию даже в рамках специализированного Института марксизма-ленинизма или Института философии, могли лишь отчасти гарантировать «подлинное» воспроизведение исходных схем в рамках официальной риторики. Основные производители таковой: журналисты, советники, высшие государственные администраторы, основной корпус гуманитарных академических институтов — были пользователями рассеянной, неизбежно частной и самореферентной вторичной литературы. Условием поддержания узкого тематического репертуара в этом случае выступало отнюдь не прямое цензурное принуждение в их адрес, но пригодность той или иной тематической связки для удачного (и безопасного) выражения политической конъюнктуры. Тематическое ядро, неизменно определяющее «социалистический гуманизм» как границу между «социализмом» и «капитализмом» в ходе изменения самих этих режимов, полагалось, таким образом, в рамках специфической экономики означения, которая оставляла за понятием одновременно высшую легитимность научно доказанной истины и практическую многозначность, допускаящую его использование в решении не связанных между собой напрямую политических вопросов.

СМЫСЛОВЫЕ И СИЛОВЫЕ СДВИГИ: МОДЕЛЬ АНАЛИЗА

При ближайшем рассмотрении ряд этих разрозненных вопросов представляется весьма обширным и варьирующим вслед за изменениями институциональной конъюнктуры. Наиболее шокирующим элементом в определении «гуманизма» 1930-х годов является «ненависть», через которую «социалистический гуманизм» определяется позитивно. Это определение захватывает весьма обширный класс объектов: «Возникая на основе борьбы пролетариата и всех трудящихся за уничтожение классов и эксплуатации, он содержит великую священную ненависть ко всем угнетателям, всем слугам реакции, всем врагам трудящегося народа... Только в непримиримой борьбе пролетариата, вплоть до уничтожения всей капиталистической мерзости, в победе социалистической революции, в диктатуре пролетариата и в развитии социалистических отношений видел Ленин подлинно общечеловеческую точку зрения и подлинный гуманизм»¹⁵. В военный период производится дальнейшая риторическая экспансия этой схемы, с легкостью переносящая «священную ненависть» с классового врага на врага Отечества: «Как рождается в сердце бойца Красной Армии неугасимая ненависть к врагу, недавно рассказал в замечательной художественной повести "Наука ненависти" писатель Михаил Шолохов»¹⁶. В конечном счете в более позднем риторическом образце, в хрущевской речи, посвященной Шолохову, переозвучивается та же самая схема: «Во время войны Шолохов написал рассказ "Наука ненависти", в котором очень ярко раскрыл эту идею социалистического гуманизма, показав, что нельзя победить врага, не научившись ненавидеть его всеми силами души»¹⁷. Последний пример показывает, что способ определения понятия в данном случае характеризует не языковую «эпоху» конца 1930-х или конца 1950-х годов, а мыслительные и речевые схемы его носителей, сформированные в политической ситуации конца 1930-х, и объясняет, помимо прочего, сближение целого ряда элементов риторики Никиты Хрущева с более ранними образцами, например, использование им понятия «массы», которое, будучи впо-

¹⁵ Езоров М. Указ. соч. С. 3.

¹⁶ Лицо врага // Правда. 1942. 28 июня. С. 1.

¹⁷ Хрущев Н.С. Указ. соч.

следствии окончательно замещено понятием «личность», у него встречается с тем же постоянством.

Характерное для 1930-х годов соединение базовой темы «свободного труда» с темой «классовой борьбы» через «ненависть» образует устойчивую смысловую схему понятия «гуманизма» этой политической ситуации. В случае если на протяжении всего последующего периода данная схема неизменно воспроизводилась бы в официальной риторике, предположение о неизменном и неизменно тоталитарном характере советского режима имело бы под собой гораздо больше оснований. Однако при сколько-нибудь более внимательном рассмотрении — в особенности если мы не пытаемся выстроить непротиворечивую модель последовательной эволюции официальной риторики, а берем ряд «контрастных» точек с относительно большим хронологическим шагом, — можно видеть, как контекст, определяющий понятие, претерпевает драматические изменения, которые воспроизводят смещения и символические разрывы в структуре политического режима.

Уже в риторике конца 1950-х — начала 1960-х годов, в том числе в текстах того же Хрущева, в контексте понятия «гуманизм» тема «ненависти» оказывается маргинализованной или (в официальных текстах высокого уровня) полностью устраняется. Новой ключевой темой, через которую получает определение «социалистический гуманизм», становится «мир» и «дружба»: «Социализм утверждает иную мораль — сотрудничества и коллективизма, дружбы и взаимопомощи. Здесь на первое место выдвигается забота об общем благе народа, о всестороннем развитии человеческой личности в условиях коллектива, где человек человеку не враг, а друг и брат... Многие из коммунистов за свои гуманистические убеждения, за свою преданность народу и самоотверженную борьбу за его счастье и сейчас томятся в тюрьмах и застенках стран капитала»¹⁸; «Разумеется, является бесспорным, что, если империалистические безумцы все же развяжут войну, народы сметут и похоронят капитализм. Но коммунисты, представляющие народы, истинные поборники социалистического гуманизма, призваны сделать все, чтобы не

¹⁸ Внеочередной XXI съезд Коммунистической партии Советского союза. Доклад товарища Н.С. Хрущева // Комсомольская правда. 1959. 28 января. С. 5.

допустить новой мировой войны, в которой погибли бы сотни миллионов людей»¹⁹. Тем самым определение «гуманизма» через «борьбу» и «ненависть» (к классовым и внешним врагам), характеризующее период изоляционизма конца 1930-х — начала 1950-х годов, сменяется «миром» и «дружбой» (между социальными слоями и народами), идеально вписывающейся в символический поворот конца 1950-х, который порождает целый ряд смысловых инверсий по отношению к риторическим истинам сталинского периода.

Если в конце 1930-х годов «гуманизм» определяется через «ненависть» позитивно, то ключевым для конца 1950-х является негативное определение через «войну» и даже, как можно видеть в приведенных примерах, через связку «войны» и «безумия». Объявленный в 1956–1957 гг. конец агонического противостояния классов внутри СССР и анонсирование начала внешнеполитического мирного сосуществования и экономического соревнования двух систем (в отличие от их непримиримой борьбы) не отменяет демаркационной линии между «социализмом» и «капитализмом», на воспроизводство которой работает понятие «социалистического гуманизма», но придает последнему новый, принципиально антивоенный смысл. Возможно, наиболее детальную разработку, подобную тщательному профилированию темы «ненависти» в 1930-х годов, тема «мира» также получает в кино- и литературной критике, где она парадоксальным образом соединяется с образцами риторики 1930-х, в частности, с метафорами художественного производства как «битвы» и «фронта»:

Облик нынешнего международного кинофестиваля... показывает концентрацию художественных сил на гуманистических позициях антимилитаризма, антифашизма... Не будем идеализировать и приукрашивать положение дел на кинофронте... В наше время сама память человечества становится объектом столкновения двух противоборствующих сил: сил прогресса и гуманизма, помнящих о том, что было, и сил реакции, человеконенавистничества, стремящихся вытравить в людях память о тех бедствиях, которые пережиты народами по вине империализма, по вине фашизма²⁰.

¹⁹ Открытое письмо Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза // Правда. 1963. 14 июля. С. 2.

²⁰ Абалкин Н. Память на страже // Там же. С. 5.

Перестройка оппозиции, разделительной линией которой служит понятие «гуманизм», приводит к смещению негативно-го полюса: место «капитализма», определяемого через труд и классовую борьбу как режим классовой эксплуатации «трудового народа», занимает «капитализм» как «милитаризм» (и даже «фашизм»), уничтожающий человечество в целом. Интернационализуется и объект «гуманизма», который покидает государственные границы СССР: «дружба между народами» оказывается родовым обозначением как для «дружбы народов СССР», так и для «единства всех прогрессивных сил человечества». Таким образом, смысловой схемой конца 1950-х — начала 1960-х годов становится соединение тем «труда» и «мира», тогда как тема «борьбы» (в 1930-х результируемая в «священной ненависти») все более смещается в метафорический план официальной риторики, отвердевая в тропях «фронта», «столкновения», «концентрации сил» и т.д., которые приобретают все более отвлеченный характер, будучи спроецированы на все более удаленные от поля классовых битв объекты метафорического переноса («кинофронт», «самоотверженная борьба за счастье» и т.п.). Одновременно с этой прямой демилитаризацией понятия «гуманизма» его контекст с конца 1950-х задают также темы «счастья» и «творчества», сопряженные с замещением ключевой категории «массы» из риторики 1920–1930-х годов категорией «личность». Именно в этой неразрывно понятийной и политической ситуации, которая порождает отчетливые противопоставления ряду базовых истин, принадлежащих предшествующему периоду и ранее господствовавшей фракции государственной бюрократии, получает развитие тема «всестороннего развития человеческой личности в условиях коллектива», обширно представленная впоследствии в корпусе советской психологии и социологии 1960-х.

Побочным продуктом такого смещения контекста становится смысл, который приобретает понятие «социалистического гуманизма» в языке уголовного наказания. Здесь тематика 1930-х, борьбы с «проявлениями темного прошлого» (в качестве которых квалифицируется преступность при социализме), также соединяется со специфической для конца 1950-х темой, примата личности и универсального (в отличие от классового) понимания «человека»: «Социалистический гуманизм, как один из принципов деятельности органов, исполняющих наказания,

проявляется в уважении к личности осужденных, в запрещении унижать их человеческое достоинство, в средствах и методах исправления и перевоспитания. Вся система организации труда осужденных... ставит перед собой цель привить им благородные нравственные качества советского человека, и эта цель может быть достигнута только тогда, когда средства исправительно-трудового воздействия по своему характеру глубоко гуманны и человечны»²¹. Встраивание понятия «гуманизм» в это одновременно официальное и техническое высказывание, которое, по ряду внутренних критериев функционирования и в сложившейся к 1960-м годам системе разделения административного труда, не нуждается в подобном политическом обосновании, позволяет увидеть (хотя в данном случае не вполне объяснить), какое обширное смысловое пространство в новой политической конъюнктуре пересекает заново установленная граница между «социализмом» и «капитализмом». Вместе с тем введение именно в этот, технический и предопределенный институциональной инерцией, контекст «родового» (в отличие от классового) понятия «человек»²² характеризует масштаб произведенной в рамках политического поворота смысловой инверсии.

Очередной смысловой сдвиг обнаруживается в официальной риторике с начала 1970-х годов, в рамках нового поворота политического курса, который закрепляет победу фракций умеренной политической реставрации в государственном аппарате после пражской весны 1968 г., и одновременно артикулирует проблемы, вызванные дальнейшей интеграцией СССР в международное (политическое и экономическое) состязание. В рамках этого сдвига темы предшествующего периода подвергаются

²¹ Исправительно-трудовое право: учебник для юридических факультетов. М.: Издательство юридической литературы, 1966. С. 73.

²² «Идеалистическое» представление о «родовой сущности» человека составляет предмет марксистской критики, которая с 1920-х годов предлагает в качестве альтернативы материалистическое и классовое определение человека. Понятие «социалистического гуманизма», в рамках уже знакомой нам стратегии смягчения противоречий между разнородными политическими пророчествами, сохраняет, среди прочих, и это значение в более поздней версии ученого комментария, в статье «Гуманизм» 2-го издания Большой советской энциклопедии: «Социалистический гуманизм противопоставит абстрактному гуманизму, который проповедует "человечность вообще", вне связи с борьбой за действительное освобождение человека от всех видов эксплуатации».

лишь частичному вытеснению и переопределению. В официальной риторике 1970-х годов все более значительный вес получают тропы, сформулированные, наряду с целым рядом иных, в начале 1960-х: полного исчезновения социальной неоднородности в СССР, подлинной демократии при социализме и обеспечения растущих материальных и духовных потребностей средствами научно-технического прогресса (см. гл. II и IV наст. изд.). В этой продолжающейся трансформации категориальной системы официальной риторики новый смысл получает и понятие «гуманизм». Наряду с окончательным исчезновением тем «классовой борьбы» и «ненависти» и сохранением темы «мира и братства между народами» можно наблюдать закрепление в контексте понятия новых тем: «совершенствование производственных отношений» и «права личности». Последнее представляет собой наиболее специфическую характеристику при сравнении с предшествующими периодами. Сохраняемые в этой теме коннотации «мира» и «дружбы», закрепленные на полюсе «социализма», соединяются с попыткой придания почти строгой юридической формы политической границе между «социализмом» и «капитализмом», которые, в свою очередь, приобретают все менее четкую локализацию в международной (универсальной) перспективе: «Все, кому дороги принципы гуманизма, должны потребовать создания условий для возвращения беженцев в родные места, предоставления гарантий их личной безопасности и возможности спокойно жить и трудиться в Восточном Пакистане»²³. Однако наиболее полную разработку тема «прав личности» в контексте понятия «социалистический гуманизм» получает в юридической литературе.

Привилегированным местом определения «гуманизма» как закрепления «демократических основ положения личности и прав советских граждан» становится юридический комментарий, поясняющий политический смысл принятия в 1977 г. Конституции²⁴. Здесь, вслед за более высокими образцами официальной риторики, «социалистический гуманизм» не только позитивно определяется через «права человека», ранее относимые к сфере буржуазной юриспруденции и «идеалистических»

²³ Претворим в жизнь исторические решения XXIV съезда КПСС.

²⁴ См.: Мальцев Г.В. Социалистический гуманизм и права человека // Правоведение. 1977. № 5.

концепций естественного права, а потому подвергавшихся критике с позиций исторического материализма. Шокирующий результат нового поворота в официальной риторике состоит в том, что на сей раз понятие «социализма», утрачивающее однозначную связь с «трудом» и «борьбой», фактически переопределяется через универсальные «права человека и личности» и, таким образом, утрачивает абсолютную привилегию противоположности «капитализму». Это разрушение четкой оппозиции вызывает упрощение выразительных средств, при помощи которых понятие получает определение. Удостоверить политическую истину новой языковой ситуации в тексте юридического комментария призвано множество прежних тем официальной риторики: освобожденного от эксплуатации труда, власти пролетариата, нового типа социалистической личности и т.д. Однако основополагающее различие между «социализмом» и «капитализмом», будучи перенесено из перспективы ясных классовых различий на почву «прав человека и личности» в целом, превращается в противопоставление, не обладающее никакими окончательными риторическими критериями: «Извращенному и опошленному буржуазной и ревизионистской пропагандой толкованию понятий демократии и прав человека мы противопоставляем самый полный и реальный комплекс прав и обязанностей гражданина социалистического общества»²⁵. Юридический комментарий, следующий за этой титульной формулой, во множестве повторов воспроизводит смысл «социалистического гуманизма» как всего лишь серии частных отличий между «подлинным» и «извращенным» определением прав человека.

Продукт той же мыслительной и языковой ситуации — признанный официальным ученый комментарий, призванный блюсти чистоту использования первоисточников, — на деле таким же привычным образом объединяет и ретуширует самые разрозненные тематические контексты из различных периодов функционирования официального высказывания:

Развязанные империализмом две мировые войны, человеконенавистническая теория и практика фашизма, открыто поправшего принципы гуманизма, продолжающийся разгул расизма,

²⁵ Брежнев Л.И. О проекте Конституции Союза Советских Социалистических республик. Доклад на Пленуме ЦК КПСС 24 мая 1977 г. М.: Политиздат, 1977. С. 15.

милитаризм, гонка вооружений, нависшая над миром ядерная угроза весьма остро ставят перед человечеством проблемы гуманизма... С победой социализма сначала в СССР, а затем и в других странах социалистического содружества идеи марксистского гуманизма получили реальное практическое подкрепление в гуманистических завоеваниях нового социального строя, избравшего девизом своего дальнейшего развития гуманистический принцип: «Всё во имя человека, для блага человека»²⁶.

Контекст определения «гуманизма» задается сочетанием всего спектра тем: базовой темы «труда, свободного от эксплуатации» и «антимилитаризма» конца 1950–1960-х, «конкретно-исторического» определения человека в противовес «абстрактному» (с отсылками к текстам Маркса и Ленина) и одновременно «всестороннего развития свободной человеческой личности» (1960-е), «классовой борьбы» (1930-е) и сопутствующим «признанием ценности человека как личности» (1960-е), наконец, «права на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей», постоянно воспроизводимую и детализированную на протяжении 1970-х.

Примечательно, что в начале-середине 1970-х этот обширный набор разнородных тем объединяется под наименованием гуманизма, тогда как в конце 1950-х или в 1960-х годах весьма близкий круг тем, в том числе в сопровождении аналогичных отсылок к текстам Маркса и Ленина, словно не нуждается в обобщающем понятии. Иными словами, в 1970-е годы можно наблюдать своего рода повторную символическую сборку, объединяющую спектр разрозненных тем под эгидой единого понятия, при одновременной утрате абсолютного различия между «социализмом» и «капитализмом» в рамках универсализованной перспективы «прав человека». В связи с этим возникает вопрос: каков был политический смысл появления, вернее, очередного введения понятия «гуманизм» в его новом значении именно в середине-конце 1970-х годов?

На мой взгляд, здесь соединяются два ключевых фактора. Во-первых, понятие «гуманизма», как часть политической истории понятий советского периода, оказывается прямым ответом советского официального руководства на деятельность правозащитных объединений, вернее, на критику западными пра-

²⁶ Келле В.Ж. Указ. соч.

вительствами и международными организациями репрессий инакомыслия в СССР. Ответ на эту критику никогда не является прямым. Но в политических и юридических текстах с неизменным постоянством обосновываются «социалистический гуманизм», «социалистическая демократия», «социалистические права личности» как подлинные — в сравнении с неполными или извращенными гуманизмом, демократией, правами в капиталистических странах. Иными словами, советская официальная риторика, по крайней мере в контексте понятия «гуманизм», формируется как ответ международным политическим организациям, претендующим на обладание истинного определения демократии и прав человека. Действительно важным в этой ситуации оказывается не только появление самой внутренней оппозиции советскому режиму, но и проявление специфической чувствительности официальных государственных инстанций к внешней критике ее ответов на оппозиционную активность. Следует полагать, что эта обретенная чувствительность является результатом рутинизированной деятельности делегаций СССР в рамках ООН и, с большой вероятностью, иных межгосударственных организаций, включая международные ассоциации социальных наук, в рамках которых происходит неявная конвергенция мыслительных схем и которые делают в какой-то момент необходимым и неизбежным официальный ответ СССР на обвинения в недемократичности²⁷. Свою высшую форму этот ответ получает в тексте Конституции 1977 г., расширенный список прав советских граждан в которой становится предметом особенно гордых и восторженных комментариев.

Во-вторых, в тех же текстах и текстах более высокого иерархического уровня (Конституций, докладов съездам) можно наблю-

²⁷ Косвенно на этот источник необходимости политического ответа указывает, например, и цитированный политико-юридический комментарий к Конституции 1977 г.: «Как известно, на протяжении ряда лет Советский Союз и другие социалистические страны активно выступали за создание международно-правовой системы защиты прав человека. Советское государство принимало участие в подготовке и принятии ООН Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, а также Международного пакта о гражданских правах, воплотивших принципы Всеобщей декларации прав человека. Расценивая эти документы как конструктивную основу международного сотрудничества в области охраны прав человека, Советский Союз в 1973 г. ратифицировал их, взяв на себя все вытекающие из этого факта обязательства» (Мальцев Г.В. Указ. соч.).

дать уже отмеченный ряд сдвигов в использовании базовых категорий предшествующих периодов. В частности, из официальной риторики 1970-х годов исчезает понятие «массы» («народные массы», «трудящиеся массы»), которое характерно для официальных текстов еще конца 1950-х, и происходит переход к понятию «личность», которое помещается в центре социалистической заботы — заботы, отправляемой социалистическим государством и коммунистической партией²⁸. А доктринальная категория «народ», которая одновременно дублирует «массы» и отсылает к «новой исторической общности», нередко профилируется или замещается категориями «население» или «трудящиеся» (эллипсис «трудящихся масс»), — т.е. элементами словаря, претерпевающего необъявленную технократическую реформу. Следуя той же тенденции, понятие «благополучие» все более явно связывается с категорией «научно-технический прогресс»²⁹. Таким образом, «гуманизм» получает новый смысл в ходе целой серии сопутствующих категориальных сдвигов. В движении находится вся система официальной риторики: происходит замена ряда ключевых понятий, смещаются базовые контексты понятий, оставшихся в обороте. Эти два усиливающих друг друга эффекта: необходимость ответа на внешнеполитическую критику и формирование новой сети официальных понятий, — задают новый смысл понятия «социалистический гуманизм» прежде всего как «обеспечение прав человека в СССР».

ОТ ТЕОРИЙ ТОТАЛИТАРИЗМА — К АНАЛИЗУ РИТОРИЧЕСКИХ СХЕМ И БАЛАНСА СИЛ

В целом при взятом мною хронологическом масштабе и круге источников изменения советской официальной риторики можно описать как серию последовательных сдвигов, вызванных в том числе сменой господствующих фракций государственной бюрократии, в ходе которых сохраняется тематическое ядро и элементы устойчивой смысловой схемы предшествующего пе-

²⁸ Подробный анализ эволюции понятия «личность» предложен в гл. IV наст. изд.

²⁹ Все эти изменения отчетливо прослеживаются, например, в тексте выступления: *Брежнев Л.И.* Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду КПСС. М.: Госполитиздат, 1971.

риода и одновременно замещается по крайней мере один из этих ключевых элементов, тем самым перестраивая схему в целом. За последнее десятилетие международные исследования, в первую очередь исторические, всерьез продвинулись в понимании советского периода как сложного и неоднородно структурированного. Фокус исследований постепенно смещается от сталинской эпохи, характеристики которой нередко экстраполировались на всю советскую историю, к «оттепельному» и «послеоттепельному» обществу. Однако тоталитарная тень по-прежнему падает на позднесоветский период, порой мешая различать ключевые разрывы и поворотные точки в приключениях проекта советского социализма.

Советская официальная речь лишена однородности и постоянства — вероятно, как любой корпус политической риторики, непрерывно адаптируемый к меняющимся обстоятельствам политического состязания. При этом длительное сохранение за понятием «гуманизм» функций границы между «социализмом» и «капитализмом», относительная плавность и произвольность изменений его тематического контекста на протяжении 1930–1980-х годов указывает на их прямую зависимость от баланса между силами государственной бюрократии, противостоящими друг другу на общих символических основаниях и отчасти наследующими друг другу, а также от изменения позиции СССР в международных политических иерархиях. Если для конца 1930-х годов схема понятия «гуманизм» задается темами «свободного труда» и «ненависти» к классовым врагам, то в конце 1950-х «ненависть» уступает место «миру» (не-«войне»), сохраняя связь с «творческим (созидательным) трудом», в 1970-х «мир» соединяется уже с «правами человека», а в конце 1980-х годов устойчивая смысловая схема образована «трудом», «свободой» и «демократией»³⁰. Сколь странным это ни покажется, при всей своей жреческой расплывчатости и намеренно производимых

³⁰ В дополнение к образцу риторики Михаила Горбачева конца 1980-х годов, цитированному в начале этой главы, можно привести следующий фрагмент из текста книги «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира» (М.: Политиздат, 1988): «Чувствую, что после прочтения этих строк обозреватели напишут, что, к сожалению, Горбачев плохо знает западную демократию. Увы, кое-что знаю, по крайней мере достаточно для того, чтобы непоколебимо верить в демократию социалистическую, в социалистический гуманизм» (с. 136).

смысловых замещениях советская официальная риторика относительно «честна» — если не в каждый отдельный момент ее функционирования, то на протяжении всей своей истории. Именно исчезновение из исходно внутренне противоречивого смыслового поля понятия «гуманизм» ряда тем одновременно с введением новых указывает на реальные изменения в балансе сил и структуре политических приоритетов разных периодов.

Символические революции, областью раскрытия которых и может послужить официальная риторика, в рамках советского режима оказываются более многочисленными, но оттого менее отрефлексированными и, значит, менее заметными, чем это принято полагать. Вероятно, взяв более крупный хронологический и языковой масштаб, в результате анализа официальных текстов мы обнаружим гораздо более сложную картину инверсий, возвратов к прежним риторическим «находкам» и соединения различных тем, перемещающихся из одной фазы советского режима в другую гораздо более свободным и, по видимости, произвольным образом.

Однако подобный тематический анализ контекста понятия представляет собой лишь первую попытку его политической истории. Общая модель функционирования советской официальной риторики как непрерывно корректируемого комментария к текстам официальных политических пророчеств, которые, в свою очередь, представляют собой сумму комментариев, в каждом из случаев требует уточнения конкретного баланса сил, где создается тот или иной языковой консенсус или конкретный текст, впоследствии используемый как набор удачных риторических образцов. Детальное описание силовой ситуации, в которой каждый раз практически (ре)конструируется и получает общепризнанный смысл система официальных категорий, способно стать источником гораздо более адекватного знания о советском политическом режиме и его трансформациях, чем те представления, которые мы разделяем и с которыми пытаемся расстаться сегодня.

В противоположность убеждениям тех наблюдателей и аналитиков, которые наследуют господствовавшим в 1970–1980-е годы взглядам, советская риторика не является ни полностью вымышленной, ни полностью бессмысленной. Однако ее смысл выявляет не тонкий анализ семантики сам по себе, а реконструкция силовых обстоятельств — внеязыковых условий

поддержания и смещения границ понятийных классификаций. Такой параллельный анализ смысловой и социальной конструкции в их изменении способен вернуть политической риторике ее характер символического акта — акта вербального учреждения мира, как его описывает Эмиль Бенвенист, постепенно приобретающего осязаемую реальность. Только это позволяет объяснить некоторые прежде неясные особенности функционирования советского политического режима. Вместе с тем такой анализ способен вести нас дальше — к пониманию условий политических изменений в прежнем СССР и современной России. Возможно, именно этот результат в итоге будет наиболее важным.

IV. Буржуазная «личность» в государстве «зрелого социализма»¹

Представлению о «советской личности» в исследовательской литературе нередко предпосланы образцы художественной риторики и те примеры высказывания, которые, не являясь в полном смысле художественными (в частности, обширная литература по «коммунистическому воспитанию личности»), основаны на тех же метафорических фигурах и перформативах. В свою очередь, понимание советского режима весьма медленно освобождается от схем, предложенных профессиональными советологами и советскими критиками еще в 1970-е годы. Это образ режима вне времени, который парадоксально соединяет в себе черты непрерывной чрезвычайной мобилизации и патерналистского «застоя», делая «неподвижное» синонимом «советского»². Взгляды на «советскую личность» и «советский режим» хорошо согласуются между собой, пока метафора тотальности, вплоть до уже упоминавшегося «тоталитаризма», используется в качестве направляющего принципа при описании всей истории Советского Союза 1920–1980-х годов. Этический посыл, который оправдывает ее использование, обеспечивает вместе с тем и сильный эстетический эффект, поскольку поддерживает по-своему экзотический и убедительный образ сурового порядка, расцвеченного исключительно в серые и стальные тона.

¹ В сокращенном виде первоначальную версию этой главы см.: Бикбов А. Тематизация «личности» как индикатор скрытой буржуазности в государстве «зрелого социализма» // Персональность: Язык философии в русско-немецком диалоге / под ред. Н.С. Плотникова, А. Хаардта при участии В.И. Молчанова. М.: Модест Колеров, 2007.

² Уже в одном из первых и наиболее известных текстов-моделей, дающих определение советского тоталитаризма, можно наблюдать это замещение, когда авторы указывают на возможности внутренних изменений режима при сохранении его природы: Friedrich C., Brzezinski Z. *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*. Cambridge: Harvard University Press, 1965.

Между тем все исследовательские данные опровергают эту иллюзию. Как свидетельствует материал предшествующих глав, понятийная структура советского режима, которая доступна наблюдению при отказе от увлеченно-обличительного взгляда, очень подвижна. Эволюция официальной риторики и словаря гуманитарных наук, напрямую встроенных в воспроизводство «социализма», дает представление о глубоких сдвигах в его основаниях — не всегда объявленных административных и символических революциях. Триумфальный возврат в 1960-х годах понятия «личность» в словарь гуманитарных наук и официальной риторики является индикатором одного из таких сдвигов. «Личность» приобретает привилегированное место в интеллектуальных и политических иерархиях СССР вслед за официальным разоблачением культа личности — заставляя несколько поспешно предполагать, что единственным индивидом, чье право на личность прежде признавалось официально, был Иосиф Сталин. Объявленной административной революцией конца 1950-х годов становится десталинизация политического режима.

Однако поворотным моментом в серии проектов советской цивилизации оказывается не столько внутривластьная критика сталинизма Никитой Хрущевым, сколько предложенные им пути «возврата» к ленинской модели. Менее заметная и при этом более масштабная символическая революция разворачивается не в той области политического языка и мышления, где поставлен под вопрос «культ одной личности», а там, где «личность трудящихся» соединяется с их «благополучием». С этой точки зрения крайне показательна критика, в свою очередь, адресованная государственной администрацией КНР новому советскому руководству, в частности, упреки в ревизионизме, которые звучали с позиций ортодоксального, аскетически-милитаристского представления о пролетарской революции, вполне согласующегося с официальной риторикой сталинского периода. В конечном счете не оказывается ли, что в столкновении двух воображаемых, отдающих приоритет или самоотверженному подъему (масс), или росту (индивидуального) благополучия, была заключена гораздо более серьезная коллизия, чем узнаваемый конфликт между двумя коммунистическими ортодоксиями, с одинаковым пылом обвиняющими друг друга в ереси?

ПОНЯТИЕ В СИМВОЛИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

Выстраивая генеалогию отдельного политического или научного понятия, мы так или иначе вычленим его из обширных и подвижных массивов высказываний, которые, в свою очередь, отсылают к различным способам видеть социальный мир и соответствующим образом им распоряжаться. В противоположность логической абстракции языка³, при обращении к его социальной реальности, невозможно установить однозначное соответствие между понятием и классом объектов. Единичное политическое понятие не имеет «собственного» объектного значения и приобретает таковое только в подвижной и насыщенной вариантами сети, которую оно образует с другими понятиями, даже (если не прежде всего) когда речь идет о таких ригидных на первый взгляд символических системах, как официальная государственная риторика или политически цензурируемый язык социальных и гуманитарных наук. Понятие «личность», смысл которого меняется в начале 1960-х годов в контексте всей категориальной системы советского режима, пришедшей в движение, является ярким тому подтверждением.

Социальный смысл понятия задается прежде всего его *ценностью* (пользуясь соссюрдовским термином), в частности, положительной или отрицательной коннотацией, которой нагружают его понятия того же семантического гнезда или тематические связи в ближайшем контексте. В той мере, в какой в 1920–1930-е годы официально лицензированная критика обращена на капиталистические отношения, но также на индивидуалистические, мелкособственнические и мелкобуржуазные тенденции в быту и производстве, «коллективное» превращается в господствующее определение нового стиля жизни, а понятие «личность» не столько дублирует негативный полюс, закрепленный за «индивидуальным» и «индивидуализмом», сколько растворяется в языке коллективных черт советской общности. В универсальной перспективе личное переопределяется в терминах коллективного и классового: «С точки зрения отдельной личности

³ С которой работали, например, Готлоб Фреге или члены Венского кружка, пользуясь в качестве образцовых элементарными суждениями обыденной речи или редуцированными естественно-научными обобщениями.

план предполагает известное принуждение. С точки зрения класса в проведении плана есть неизбежный элемент борьбы... Этому плану и дисциплине должно подчиниться и право отдельной личности на труд»⁴. Однако и обыденное употребление понятия в политической риторике 1930-х также показательное: «личность» (в отличие от «личного»: «личный контакт», «личное участие») чаще фигурирует в негативно нагруженном контексте: «Я имею в виду хорошо известные нашей общественности антисоветские судебные процессы по искам всяких темных личностей, стекавшихся в Париж из разных стран и неизменно получавших от французского суда удовлетворение по своим дутым претензиям к нашим хозорганам»⁵ или «Это — махровый контрреволюционер, несомненно большой интриган, несомненно утонченный палач и совершенно бездарная личность»⁶.

В научной реальности война понятий получает вполне отчетливое институциональное выражение, например, в виде отметивших конец 1920-х годов чисток в университетской среде и Академии наук, направленных против буржуазных элементов, которые противодействуют коллективному духу и насаждают индивидуализм⁷. На протяжении 1930–1950-х годов административное преимущество почти неизменно сохраняют сторонники «классового подхода» к знанию и «науки на службе практики». Их доминирование в органах научной администрации гарантирует постоянство этой семантической асимметрии между «коллективным» и «общественным», с одной стороны, «индивидуальным» и «личным» — с другой.

В свою очередь, нарушение асимметрии и возвращение в легитимный научный словарь понятия «личность», наделенного самостоятельной позитивной ценностью⁸, характеризует из-

⁴ Педдин Е. В Стране Советов нет безработицы // Известия. 1930. 7 ноября. С. 6.

⁵ Доклад предсовнаркома тов. Молотова VI Съезду Советов // Известия. 1931. 11 марта. С. 3.

⁶ Речь тов. С.С. Каменева // Там же.

⁷ Graham L. The Soviet Academy of Sciences and the Communist Party, 1927–1932. Princeton: Princeton University Press, 1967. Ch. 1.

⁸ Об использовании понятия «личность» в социальных науках 1960-х годов см., напр.: Ольшанский В. Личность в российской социологии и психологии // Социология в России / под ред. В.А. Ядова. М.: Институт социологии РАН, 1998.

менение не только семантического баланса в советском официальном и научном высказывании, но и баланса политических сил внутри государственной и научной администрации⁹. Категориальные сдвиги, в ходе которых «личность» занимает ключевое место в языке социальных и гуманитарных наук, происходит вслед за институционализацией или укреплением позиций самих дисциплин, в частности, психологии и социологии¹⁰. Именно потому позднесоветскую историю этого понятия было бы совершенно неверно рассматривать как момент «внутренней» истории науки или «чистой» динамики ее языка — если о таковых вообще можно вести речь. Перипетии тематизации «личности» составляют часть *политической истории понятий*, которая в 1950–1960-е характеризуется серьезным сдвигом в определении реальности: одновременным формированием новых мыслительных схем и их институциональной инфраструктуры, закрепленных за этим понятием.

Следовательно, чтобы установить смысл отдельного понятия, необходимо уйти от «точной», дисциплинарно ограниченной, реконструкции языка социологии или психологии позднесоветского периода и обратить внимание прежде всего на то *общее*, что есть в категориальной структуре официальной политической риторики и социальных/гуманитарных наук. Такие общие категории обнаруживаются как в области четко кодифицированного воображаемого (включая идеальные модели в политике и науке, нормативные предписания и декларации о намерениях — все то, что образует официальное высказывание и его коллективные производные), так и в области практических операций над социальным миром на основе вновь формирующейся

⁹ Об общем изменении баланса сил, в частности, в Академии наук и вызванных им институциональных сдвигах см.: Иванов К.В. Наука после Сталина: реформа Академии 1954–1961 гг. // Науковедение. 2000. № 1.

¹⁰ В 1955 г. создается центральный и единственный до 1977 г. дисциплинарный журнал «Вопросы психологии», в 1959 г. проходит I съезд Общества психологов, в 1966 г. создается факультет психологии МГУ, с 1968 г. присуждаются ученые степени по психологии. Менее устойчивую институциональную позицию получает социология: в 1957 г. учреждается Советская социологическая ассоциация, в 1968 г. — Институт конкретных социальных исследований АН СССР. Первый дисциплинарный журнал «Социологические исследования» учрежден в 1974 г., а первые университетские факультеты создаются только в 1989-м.

категориальной сетки (включая государственную статистику, юридические кодексы, научные методики, техники экономического и политического управления и т.д.).

Вместе с тем наличие общих оснований в политических и научных классификациях одного периода заставляет обратиться к вопросу об условиях их поддержания в длительной перспективе. Любой поворот политического курса — это прежде всего изменение базовых политических классификаций, которое в рамках советского символического порядка включает научные, о чем неизменно свидетельствуют понятийный строй и административные последствия научных и философских дискуссий 1920–1950-х годов. При этом сформулированные в локальных (вплоть до внутридисциплинарных) символических битвах оппозиции не только получают статус универсальных политических различий, но и воспроизводятся как опорный контекст в более поздних образцах риторики и полемики. Именно такое воспроизведение контекста, неизменно насыщенного ссылками на труды «основателей», наряду с политической монополией единственной партии, нередко служит для характеристики всей советской истории как эпохи «тоталитаризма». Между тем условием поддержания этого общего смыслового пространства является не постоянство, но, напротив, эволюция институциональной инфраструктуры советского режима.

Прежде всего генезис самих политических классификаций исходного периода 1920–1930-х годов далек от внутрибюрократических или собственно политических. Понятия и типологии, разработанные в отдельных версиях философии, литературоведения, биологии и даже математики, *становятся* политическими по мере устранения специализации в разделении символического труда между учеными и политиками. Не только Иосиф Сталин признается авторитетным лингвистом и экономистом или Андрей Жданов — литературоведом, но равно Трофим Лысенко и Петр Капица или Игорь Курчатов озабочены «государственным значением» научных исследований. В практическом измерении доминирующий принцип «классового характера науки» означает, помимо прочего, формирование единого административного пространства и пространства взаимных ссылок между выразителями научных и политических интересов.

Уже в 1930-х годах Академия наук из почетного клуба превращается в централизованное научное предприятие¹¹, точно так же как профессиональная литературная и художественная деятельность утрачивает черты свободного предпринимательства и регламентируется государственными бюрократическими органами — союзами писателей и художников. В результате это общее пространство получает свою первичную институциональную форму. Обратным эффектом государственной научной и культурной политики в этой системе отмененного разделения труда становится такой режим использования науки, когда академические центры обеспечивают государственную политику прямой идеологической поддержкой, а позже — обязательным экспертным сопровождением. Если в 1930–1950-е годы эта система реализуется в форме внутриакадемической, внутрилитературной и т.д. политики правительства, то реформы конца 1950-х приводят к окончательному объединению пространств государственной администрации и науки, превращая научную карьеру в разновидность бюрократической. Этот эффект в конце 1950-х — середине 1960-х годов так же явствен в социальных/гуманитарных дисциплинах, по сути, заново учреждаемых с целью решения задач государственного управления, как и в естественных науках, истеблишмент которых рекрутируется в новые органы государственного управления, такие как Государственный комитет Совета министров СССР по науке и технике (подробнее см. гл. V наст. изд.).

Порождением столь специфического, неразрывно научного и политического, институционального пространства становится серия оппозиций, общих для разных дисциплин и связанных в единый пучок политическим смыслом, приписываемым их полюсам. Таковы, в частности, «практика — теория», «материализм — идеализм», «детерминизм — индетерминизм», «коллектив — индивид», первый полюс которых обладает политическим смыслом «классового» и «советского», тогда как второй — «буржуазного» и «враждебного». В эту систему вовлечено и понятие «личность», где с конца 1920-х до конца 1950-х годов оно занимает периферийное положение, во многом заданное отрицательной ценностью «индивидуально-

¹¹ Подробнее этот процесс, вместе с введением релевантных ему понятий, описан в гл. V наст. изд.

го» и «индивидуализма». Как элементы неразрывно политического и научного языка, данные оппозиции реактивируются в разное время (хотя большинство из них озвучено уже в дискуссиях 1920–1930-х) и в различных дисциплинах, в борьбе научных и политических фракций за монопольное определение зон своей компетенции. Но в позднесоветский период, когда политическая связь между всеми этими оппозициями утрачивает былую прозрачность, с удивительной настойчивостью они воспроизводятся именно потому, что носители различных моделей научной и политической организации в этом едином пространстве государственной бюрократии пользуются ими для пересмотра существующих институциональных структур. Иными словами, использование этих «вечных» понятий в политической борьбе разных периодов парадоксальным образом направлено в большей мере не на консервацию, а на *изменение* баланса сил.

«ЛИЧНОСТЬ» КАК ФУНКЦИЯ «ПОТРЕБЛЕНИЯ»

Понятие «личность» получает новое место в этом поверхностно «неподвижном» контексте с конца 1950-х годов в результате разрешившегося напряжения, полюса которого обозначены максимально негативной ценностью контекста «культы личности» (из специального доклада на XX съезде КПСС 1956 г.) и позитивной ценностью контекста «всестороннего развития человеческой личности» при социализме (из пленарного доклада на XXI съезде 1959 г.). И хотя для советской официальной риторики совершенно нехарактерны прямое отрицание или радикальный пересмотр самих принципов режима, новое прочтение «личности» формируется в ходе инверсии целого ряда базовых очевидностей официальной риторики 1930–1950-х годов.

Прежде всего инверсия заключена в *демилитаризации* базового смыслового горизонта политического режима — определения «социализма»: «В современных условиях переход к социализму не обязательно связан с гражданской войной»¹²; признается

¹² Положение из решений XX съезда КПСС 1956 г. приводится по: История коммунистической партии Советского Союза. М.: Политиздат, 1971. С. 574.

«возможность мирного пути перехода к социализму»¹³, а государство «диктатуры пролетариата» официально переопределяется как «общенародное государство»¹⁴. Каноническую форму эта демилитаризация приобретает в программе КПСС 1961 г.: «Социализм и мир неразделимы»¹⁵ — темы «дружбы» и «сотрудничества» окончательно занимают место тем «классовой борьбы» и «войны». Это тематическое смещение можно наблюдать в целом ряде смежных контекстов, в частности, понятия «социалистический гуманизм», анализируемого в предыдущей главе, которое в 1930-е годы также определяется в контексте «войны» и «ненависти». Напомню, что в риторических образцах конца 1950-х — начала 1960-х годов «гуманизм» определяется уже как принципиальное недопущение войны, которого всеми силами должны добиваться «истинные поборники социалистического гуманизма»¹⁶. Отказ от классовой борьбы внутри СССР в конце 1950-х становится частью той же символической инверсии, что и положение о «мирном сосуществовании стран с различным общественным строем», провозглашенное основой внешнеполитического курса.

Другая инверсия, происходящая параллельно с демилитаризацией официальной риторики, состоит в изменении места «науки» в системе политических категорий одновременно с превращением «экономики» в основную область соотнесения и противостояния между двумя политическими системами. Это изменение будет подробно проанализировано в следующей главе, здесь же уместно обозначить его ключевые моменты. Взаимные смещения в советской категориальной сетке понятий

¹³ Там же. С. 575.

¹⁴ Положение из Программы КПСС 1961 г. приводится по: История коммунистической партии Советского Союза. С. 618.

¹⁵ Хрестоматия по истории КПСС: в 2 т. Т. 2. М.: Политиздат, 1965. С. 510. Это определение через «мир» актуального «социализма» продлевается в определении утопической перспективы «коммунизма»: «Уничтожить войны, утвердить вечный мир на земле — историческая миссия коммунизма» (Там же. С. 542).

¹⁶ Открытое письмо Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза... С. 2. Поздние образцы сталинской риторики, тематизирующие «войну» и «мир», в этом отношении прямо полярны: «Чтобы устранить неизбежность войн, нужно уничтожить империализм» (Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. М.: Госполитиздат, 1952).

«личность» и «наука» можно было бы рассматривать как побочный эффект (а не один из источников) административных реформ, если не учитывать место, постепенно занимаемое понятиями «экономика» и «наука» в определении «социализма», которое формируется, с одной стороны, в рамках дальнейшей проблематизации экономического роста, основанном на прогрессе науки и техники, а с другой — в рамках прямого переноса СССР в международную систему координат через задачу экономического (а не военного) состязания — «догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны *по производству продукции на душу населения*» (Курсив мой. — А. Б.).

После 1953 г. рост ценности понятия «наука» в официальных классификациях можно отметить уже в 1955 г., когда на пленуме ЦК КПСС, посвященном «улучшению работы промышленности», подчеркивалась роль науки в «непрерывном техническом прогрессе» и «подъеме на этой основе производительности труда». Однако иерархические отношения между «наукой», с одной стороны, «техникой» и «производством» — с другой, где первая подчинена последним, сохраняются до конца 1950-х и даже начала 1960-х годов, пока приоритетным остается развитие «в первую очередь тяжелой индустрии» и «значение непрерывного технического прогресса для роста всего промышленного производства»¹⁷. В этом отношении показателен сборник, опубликованный в 1960 г. под редакцией председателя Гостехники, в 1950–1953 гг. министра транспортного машиностроения, где «технический прогресс» выступает общим названием для усовершенствования машин, введения новой техники, ускорения темпов производства и т.п.¹⁸ Иными словами, в исходной точке этого сдвига государственное благосостояние по-прежнему определяется через развитие тяжелой промышленности.

Но уже в середине 1960-х определяющее отношение между «техникой» и «наукой», с одной стороны, и «благосостоянием» и даже «культурой» — с другой, преломляется в новой категории «научно-технический прогресс». Вслед за подъемом Академии наук в государственной иерархии «наука» начинает претендовать на роль цивилизационного фактора: «Воздействие науки на производство и влияние ее на все стороны жизни народа неизмери-

¹⁷ Понятийные конструкции из решений XX съезда (1956).

¹⁸ Подробнее об этом см. в гл. V наст. изд.

мо возрастают»¹⁹. Эталонный вид, выраженный в том числе через грамматический сдвиг от несовершенного к совершенному времени, эта формула приобретает в обширной литературе о социальных последствиях научно-технического прогресса, публикуемой с конца 1960-х: «Научно-техническая революция превращает науку в активно действующий элемент современной материальной и духовной культуры. Она не только изменила характер производственных процессов, но и оказывает все возрастающее влияние на совершенствование общественных отношений людей»²⁰. Ранее нейтральная и технически определяемая «наука» уже не просто способствует росту производительности труда, но *напрямую* воздействует на социальный и моральный порядок.

Как эти тематические сдвиги сказываются на контексте, в котором получает смысл понятие «личность»? Новые категории, такие как «мирное сосуществование», «непрерывный экономический рост» или «научно-технический прогресс», которые размещаются в центре официальных классификаций, перестраивают содержательные и иерархические отношения между элементами прежней символической структуры, а некоторые прежде ключевые понятия попросту выпадают из категориальной системы советской официальной политики и научных дисциплин.

Наиболее осязаемых результатов эта серия сдвигов достигает в 1970-е годы, в тематическом горизонте «всестороннего раз-

¹⁹ О государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1965 год. Доклад А.Н. Косыгина на пятой сессии Верховного Совета СССР // Хрестоматия по истории КПСС: в 2 т. Т. 2. С. 702. Примечательно, что это выступление принадлежит Косыгину, который для разработки программы экономических реформ фактически вводит при правительстве институт академических экспертов. В Программе КПСС 1961 г. науке отводится более скромное место в социальном порядке: «возрастание ее [науки] роли в условиях социализма» (Хрестоматия по истории КПСС... Т. 2. С. 508).

²⁰ Трапезников С. Ленинизм и современная научно-техническая революция // Научно-техническая революция и социальный прогресс. М.: Политиздат, 1972. С. 11. В программе КПСС 1961 г. понятие «наука» уже имеет большую ценность, будучи включено в базовое определение коммунизма, но она все еще подчиняется росту производительности: «Вырастут и производительные силы на основе постоянно развивающейся науки и техники, все источники общественного богатства будут пользоваться полным потоком» (цит. по: История Коммунистической партии Советского Союза. С. 615). Отличие между этими формулами состоит не только в иерархическом ранге, приписываемом «науке», но в самих схемах воображаемого, в которые включено понятие.

вития личности»²¹, который напрямую связывается со «строительством коммунизма»²². Однако уже в конце 1950-х годов можно наблюдать принципиальное переключение, связанное с переводом базового различия между «социализмом» и «капитализмом» в экономический регистр²³: основным предметом состязания режимов, наряду с производством и обществом в целом, становится *индивид*. Это переключение заметнее всего представлено сменой элемента «X» в контекстах-реле вида «всестороннее развитие X» и «удовлетворение потребностей X», которые почти канонически воспроизводятся по меньшей мере с начала 1950-х годов. Так, если в образцовой сталинской работе, посвященной экономическим вопросам, в контексте «удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей» фигурируют понятия «общества» и гораздо реже — «человека»²⁴, то в хрущевских речах в тех же контекстах место «общества» наряду с «человеком» занимают категории «личного» и «индивидуального»: «удовлетворение личных материальных и культурных потребностей», «удовлетворение индивидуальных запросов каждого человека», «работа на человека для удовлетворения его потребностей»²⁵. В рамках еще более общей темы «развития», столь же канонически воспроизводимой в официальной риторике на протяжении 1950–1980-х годов, происходит аналогичное переключение: в начале 1950-х речь идет о «всестороннем развитии физических и умственных

²¹ Который задан уже в программе КПСС 1961 г., где цель партии прямо формулируется в терминах калокагии: «Обеспечить всестороннее гармоничное развитие личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту, физическое совершенство» (История Коммунистической партии Советского Союза. С. 619).

²² Уже в начале 1960-х в названиях пропагандистских лекций «личность» закрепляется в смысловом горизонте «коммунизма»: Ефимова З.М. Строительство коммунизма и всестороннее развитие личности. Ижевск: Знание, 1961; Кряжев П.Е. Общество и личность. М.: Мысль, 1961; Даутов Т. Коммунизм и всестороннее развитие личности. Алма-Ата: Казгосиздат, 1963; Коммунизм и личность. М.: Наука, 1964; и т.д.

²³ «В условиях мирного сосуществования социалистические страны быстрыми темпами развивают свою экономику, все полнее раскрывают свои преимущества перед капитализмом» (Правда. 1960. 12 августа. С. 3).

²⁴ Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР.

²⁵ Доклад товарища Н.С. Хрущева на Внеочередном XXI съезде КПСС // Правда. 1959. 28 января. С. 5.

способностей всех членов общества»²⁶, в конце 1950-х — начале 1960-х — о «всесторонне развитой экономике», «всестороннем развитии людей»²⁷, но также о «всестороннем развитии человеческой личности в условиях коллектива»²⁸.

Особо показательно, что для сталинской экономической риторики приписываемые индивиду потребности, качество предназначенной для индивидуального потребления продукции и т.д. не проблематичны и не являются самостоятельной темой. Целый список экономических объектов, вне различия между индивидуальным и коллективным, образует китайскую классификацию, общим основанием которой является очевидность их существования: «Вопрос о *ширпотребе* и развитии местной промышленности, так же и как вопросы об *улучшении качества продукции*, подъеме производительности труда, снижении себестоимости и внедрении хозрасчета — также не нуждаются в разъяснении»²⁹. Так же показательно, что «личность» в этом тексте не упоминается ни разу, а «личные потребности» в итоге отождествляются с коллективными «потребностями людей»: «Марксистский социализм означает не сокращение личных потребностей, а всемерное их расширение и расцвет, не ограничение или отказ от удовлетворения этих потребностей, а всестороннее и полное удовлетворение всех потребностей культурно-развитых трудящихся людей»³⁰.

Начиная с выступлений Никиты Хрущева конца 1950-х годов и раздела «Задачи Партии в области подъема материального благосостояния народа» в программе КПСС 1961 г. официальная экономическая риторика представляет обратную перспективу — непрерывно расширяющуюся и рационализируемую классификацию именно этой сферы «личных потребностей». Основные черты этой классификации представлены уже в программных пунктах, которые отдают приоритет «быту» и поня-

²⁶ Директивы XIX съезда КПСС (цит. по: Правда. 1953. 5 марта. С. 3).

²⁷ Программа КПСС [1961] // Хрестоматия по истории КПСС... Т. 2. С. 566.

²⁸ Доклад товарища Н.С. Хрущева на Внеочередном XXI съезде КПСС. С. 5.

²⁹ Сталин И.В. Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) // Сталин И.В. Соч. М.: Госполитиздат, 1951. Т. 13. С. 316 (Курсив мой. — А. Б.).

³⁰ Там же. С. 360.

тиям, ранее находившимся под подозрением в «мелкобуржуазности»: «Обеспечение высокого уровня доходов и потребления для всего населения. Развитие торговли», «Разрешение жилищной проблемы и благоустройство быта», «Забота о здоровье и увеличение продолжительности жизни», «Улучшение бытовых условий семьи и положение женщины»³¹. Если сталинская риторика ограничена указанием на необходимость «улучшения в материальном положении и во всем быту трудящихся»³², а «потребитель» прямо замкнут на «производство», выступая почти напрямую эпифеноменом такового³³, то в позднейших текстах за «потребностями» контекстуально закрепляется *автономный статус*.

Имплицитно утвержденная в программе КПСС 1961 г., такая автономия потребностей представляет собой радикальный по последствиям, хотя и мягкий по форме разрыв с аскетической риторикой потребления сталинского периода. Достаточно сопоставить цель «поднять бедноту до зажиточной жизни»³⁴ с обширными периодами из Программы КПСС:

Все население получит возможность удовлетворять в достатке свои потребности в высококачественном и разнообразном питании... В достатке будут удовлетворяться потребности всех слоев населения в высококачественных товарах широкого потребления: добротной и красивой одежде, обуви, вещах, улучшающих и украшающих быт советских людей, — удобной современной мебели, усовершенствованных предметах домашнего обихода... Своевременный выпуск товаров в соответствии с многообразными запросами населения... обязательное требование ко всем отраслям, производящим предметы потребления³⁵.

Десятилетием позже признание автономии индивидуальных потребностей приобретет и вовсе шокирующую с точки зрения истин 1930–1950-х годов форму, будучи доведено до «вкусов и настроений»: «Надо серьезно улучшить работу всех отраслей сферы услуг — общественного питания, пошива одежды, всевозможного ремонта, организации отдыха трудящихся. Это не просто отрасли, призванные выполнять план, а службы, непо-

³¹ Программа КПСС [1961]. С. 566–574.

³² Сталин И.В. Отчетный доклад XVII съезду партии... С. 333.

³³ Там же. Разд. 4.

³⁴ Там же. С. 359.

³⁵ Программа КПСС [1961]. С. 568–569.

средственно имеющие дело с людьми, со всем разнообразием их вкусов, с человеческим настроением»³⁶. Посредующим звеном при введении подобных формул в официальную публичную речь становится категория «*потребительского спроса*». Уже в 1964 г. проводится Всесоюзная конференция по вопросам изучения покупательского спроса, где о намерении изучать «таинственные закономерности этой стороны нашего быта» заявляют 27 исследовательских институтов и вузовских центров³⁷. В отличие от «потребностей», «спрос» утверждается как «*возможность* покупателя купить нужные ему товары за деньги»³⁸.

К концу 1960-х годов советским государственным аппаратом повторно овладевают консервативные фракции администраторов. Однако консервативная реакция не становится революцией: новые элементы смыслового контекста сохранены в контексте работы с политическими универсалиями. К концу 1970-х годов связь между гармонично развитой личностью и потребительскими возможностями уже не просто неоспорима. Она включается в число основных (отличительных) характеристик социализма:

Цели, на которые направлено использование достижений научно-технического прогресса в названных системах [социализма и капитализма], принципиально различаются. ...В социалистическом обществе планы научно-технической революции являются одним из главных факторов реализации высшей цели социалистического общественного производства — все более полного удовлетворения материальных и духовных потребностей членов общества. ...Об этом, в частности, свидетельствует систематическое увеличение индекса объема произведенного национально-го дохода в расчете на душу населения...³⁹

Здесь «всесторонне и гармонично развитая личность, обладающая всем богатством потребностей», соотнесена со списком

³⁶ Брежнев Л.И. Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду КПСС. М.: Госполитиздат, 1971. С. 95.

³⁷ Маслов П.П. Социология и статистика. М.: Статистика, 1967. С. 139.

³⁸ Там же.

³⁹ Бабин Б.А. О законе возвышения потребностей в эпоху научно-технической революции // Научно-техническая революция и проблемы развития общества и коллективов: сб. докл. к советско-финскому симпозиуму / отв. ред. Т.В. Рябушкин. М.: Институт социологических исследований АН СССР, 1979. С. 5.

«основных направлений возвышения потребностей», который первым среди прочих содержит «ускоренный рост потребностей в жизненных благах, отличающихся повышенным качеством»⁴⁰, а в числе растущих показателей фигурируют «мебель, предметы культуры и быта» и «культурно-бытовые услуги». Именно такая автономизация потребителя, косвенно или прямо вписанная в ближайший контекст «личности», представляет собой необъявленную символическую революцию, которая через новый режим потребления фактически формирует в горизонте «социализма» зону персональности, наделенную буржуазными чертами.

Другим не вполне очевидным, но оттого не менее значимым в этой перспективе переключением становится определение «личности» в контексте «свободного времени». Эта тематизация имеет локальный характер в хронологическом и институциональном отношении: она ограничена периодом 1960-х годов и размещается преимущественно на полюсе социологических подразделений при Академии общественных наук и Институте философии АН, а с 1968 г. в самостоятельном академическом центре — Институте конкретных социальных исследований. Примечательно уже то, что сама по себе тема «свободного времени» легитимно отделяется от темы «производства»⁴¹ и по умолчанию получает статус независимого фактора «социалистического образа жизни» и «строительства коммунизма». Однако еще более показательным, что в едином пространстве эмпирических показателей и официальной догматики «свободное время» фигурирует как непосредственное условие «развития личности», тем самым представляя собой параллельную или конкурирующую детерминанту даже в процессе воспитания

⁴⁰ Бабин Б.А. Указ. соч. С. 9–10, 12 со ссылкой на: Левин А.И. Научно-технический прогресс и личное потребление. М.: Мысль, 1979.

⁴¹ В результате темы «труда» и «производства» оформляются в независимую ячейку официальной классификации, которая, в отличие от более техничной и исследовательски осваиваемой темы «свободного времени», тяготеет к полюсу пропагандистских лекций и диссертаций по историческому материализму: Иссинская Н.П., Горбачев Д.М. Всестороннее и гармоничное развитие личности в труде. Смоленск: Смоленское книжное изд-во, 1962; Лутидзе Б.И. Творческий труд — основа всестороннего развития личности. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1964; Логанов И.И. Коммунистический труд и всестороннее развитие личности. М.: Знание, 1965; Калинин А.И. Разделение труда и всестороннее развитие личности в условиях строительства коммунизма. Чебоксары: Знание, 1967; и т.д.

«нового человека» — досуг в противовес труду⁴². Понятие «досуг» становится центром новой сферы интереса, где описательная академическая практика, в частности статистика досуговых форм и возможностей, неотделима от управленческой. Так, в упомянутом пособии Павла Маслова «Социология и статистика» (1967) именно разделы «Доход семьи» и «Досуг семьи» составляют большую часть основного текста (200 страниц из 280) и включают такую дифференцированную систему делений, как «проблема досуга», «статистика досуга», «организация досуга», «государственные услуги и свободное время»⁴³.

Автономизация досуга «личности» вместе с автономизацией сферы ее «потребления» представляет собой решающий сдвиг от аскетической модели советского человека как члена мобилизованного общества к смягченной и нюансированной модели индивида, распоряжающегося ассортиментом материальных благ, непроизводственным временем, качеством товаров и услуг и возможностью их выбора. Тем самым в поворотной точке,

⁴² Мялкин А.В. Свободное время и всесторонне развитая личность. М.: Изд-во ВПШ и АОН, 1962; Бойков В.Г. Свободное время и всесторонне развитая личность. М.: Мысль, 1965; Земцов А.А. Свободное время и его рациональное использование для всестороннего развития личности рабочего. М.: Мысль, 1965; Зайниев Н. Свободное время как фактор развития личности. Душанбе: Ирфон, 1966; и т.д. А также целый ряд диссертаций, в которых иные, ранее подозрительные темы, такие как «быт», выступают определяющим контекстом «личности»: Литвинов Л.Н. Диалектика труда и быта как факторы формирования новой личности (М., 1973); и т.д. (Здесь и далее для диссертаций в скобках указаны место и год защиты.)

⁴³ В 1971 г. Маслов публикует книгу «Статистика в социологии», которая представляет собой своеобразное переиздание книги 1967 г. По свидетельству автора, «текст переработан с учетом критических замечаний в нашей и зарубежной печати» (с. 7). В результате переработки разделы о доходе и досуге семьи исчезают из оглавления, а их место (основной объем книги) занимают теоретические вопросы границ вероятностных критериев, моделирования социальных процессов, применимости статистики в экономике и социологии мнений. Интересна заслуживает сама фигура автора (род. в 1902): детство в Швейцарии, обучение в университетах Иркутска и Москвы, руководящая должность в Центральном статистическом управлении и организация переписи в Туве (1930–1931) и на Крайнем Севере (1935), уход на преподавательскую должность (в Московском кредитно-экономическом институте) в период репрессий в статистическом ведомстве, активная, особенно по позднесоветским меркам, публикация недоктринальных монографий в «оттепельный» период 1955–1971 гг.

где меняется не только сетка политических категорий, но также практика учета и управления населением, неосвященным субъектом новой публичной речи выступает уже не общество, преобразующее материю в коллективный ресурс первичных благ, но «личности», погружающиеся в область все более различного непринудительного («бытового») потребления. Именно здесь, в ближайшем контексте понятия «личность», мы можем наблюдать доктринально не провозглашенный, но контекстуальный допущенный процесс обуржуазивания, который разворачивается за риторическим фасадом неизменно убежденного и строгого «коммунистического воспитания».

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ: ОТ «МАСС» — К «ЛИЧНОСТИ»

Молчаливое признание автономии потребителя, обладающего досугом, который заново учрежден двойным, декларативным и контекстуальным определением «личности», обнаруживает множество следствий во всей символической системе «социализма». Ряд политических конструкций с коллективным означаемым, используемых в функции экономических понятий, как, например, «народный доход»⁴⁴, «среднегодовая заработная плата рабочих»⁴⁵, выходят из употребления, оставаясь единицами иного масштаба при переходе к словарю одновременно более техническому и (или) индивидуализированному: «национальный доход», «реальный доход в среднем на душу населения», «индивидуальная оплата по количеству и качеству труда»⁴⁶. Ряд формально индивидуализирующих понятий, представленных в экономической риторике 1920–1950-х годов, переносится из официального языка высшего уровня в язык профессиональной экономики и управления.

Наиболее ярким примером этого ряда, вероятно, является понятие «личное потребление», которое парадигматический сталинский текст определяет в контексте «товарного производства», «затраченного труда», «обмена товаров» — корпуса хрестоматизированных политэкономических категорий, избав-

⁴⁴ Сталин И.В. Отчетный доклад XVII съезду партии... С. 308, 336.

⁴⁵ Там же. С. 337.

⁴⁶ Программа КПСС [1961]. С. 567–568.

ленных от каких-либо качественных характеристик⁴⁷. Превратившись в техническую категорию, оно исчезает из более поздних официальных текстов высшего уровня, где «Х»-элементом в формуле «рост благосостояния Х» по-прежнему выступает «народ» или «население»⁴⁸. Однако представленная в разделах воспитания, образования и культуры «личность» заново включается в экономический контекст опосредованно, через перечисленные ранее новые категории, в частности «научно-технический прогресс», который присутствует одновременно в экономическом и «воспитательном» регистре, выступая и основным условием «экономического роста», и определяющим условием «развития личности»⁴⁹. Тем самым новые категории не только реструктурируют контекст, в котором получает смысл понятие «личность», но и сами выполняют функцию такого контекста, перераспределяя ценностный вес «общества» и «коллектива» в пользу «экономики» и «науки».

⁴⁷ Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР.

⁴⁸ Это верно в отношении ряда ранее цитировавшихся текстов: Доклад товарища Н.С. Хрущева на Внеочередном XXI съезде КПСС; Программа КПСС [1961]; Брежнев Л.И. Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду КПСС.

⁴⁹ «Научно-технический прогресс», наряду с парной категорией «научно-техническая революция» (характерной, скорее, для языка официозных разделов гуманитарных дисциплин, нежели риторики съездов), служит непосредственным контекстом для понятия «личности» в целом ряде пропагандистских лекций и «идеологических» диссертаций: Дьячкова Н.Н. Научно-технический прогресс и проблема всестороннего развития личности (Киев, 1964); Ладыжинский Я. Технический прогресс и его влияние на всестороннее развитие личности (на материалах социологических исследований в нефтяной промышленности) (М., 1968); Попова Н.В. Влияние научно-технической революции на духовное развитие личности (М., 1971); Киселев Н.Н. Всестороннее развитие личности в социалистическом обществе в условиях научно-технической революции (М., 1973); Актуальные проблемы социализации личности в условиях научно-технического прогресса. Киев: Знание, 1975; Домбек З. Научно-технический прогресс и проблемы формирования всесторонне и гармонически развитой личности (Минск, 1978); Гакун Т. Научно-техническая революция и формирование объективных и субъективных предпосылок всестороннего развития личности в условиях развитого социализма (М., 1983); и т.д. И даже: Колобков В.В. Формирование личности в развитом социалистическом обществе как научно управляемый процесс (М., 1978). Исторической социологии понятия «научно-технический прогресс» посвящена следующая глава настоящей книги.

Другим понятием, оказывающим непосредственное влияние на контекст «личности», служит лексема «массы». В одном из ранних текстов Сталин ясно определяет политический смысл и ценность этого понятия, которая, в целом, остается высокой во всех перипетиях 1920–1980-х годов: «Краеугольным... камнем марксизма является масса, освобождение которой... является главным условием освобождения личности... Ввиду чего его лозунг: “Все для массы”»⁵⁰. Господствующая в риторике 1920–1950-х годов категория используется в удивительном разнообразии вариаций: «рабочие и крестьянские массы», «широкие массы», «бедняцко-средняцкие массы», «мелкобуржуазная масса», «огромные массы», «массы советских людей», «угнетенные массы», «революционные массы», «рабочие массы», «партийные массы», «беспартийные массы», «пролетарская масса», «новые массы», «простые и обыкновенные массы», «миллионные массы», «порабощенные массы», «неимущие массы», «кооперативные массы», «наши массы» и т.д. В конце 1930-х — начале 1950-х она надстраивается до связки «гениального вождя» и «широких масс», которая становится парадигматическим определением всего периода «культы личности».

Воспроизведение этой категории в сталинской риторике, в сопровождении формул мобилизации против многочисленных внешних и внутренних противников, становится средством непрерывного ритуального возврата к первым годам Советской власти и ресурсом поддержания энергичной патетики «борьбы» против всех возможных «пережитков», «врагов» и т.д.⁵¹ В схеме «вождь — массы — враги» за «массами» закрепляется не только доминирующий смысл «народного» и «трудового», но также обладающий крайне высокой политической ценностью смысл «подвижного», «готового на подъем», «преобразуемого и преобразующего». Таким образом, через обращение к «массам»

⁵⁰ Сталин И.В. Анархизм или социализм? // Соч. М.: Госполитиздат, 1946. Т. 1. С. 296.

⁵¹ Согласно остроумному наблюдению Карла Мангейма, политические деятели, которые оперируют оппозицией «великий вождь — массы», еще не нашли своего социального места и рассчитывают занять господствующие позиции путем смены прежних элит (*Мангейм К. Идеология и утопия* / пер. с нем. М.И. Левиной // Мангейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 122). Это оппозиция, маркирующая попытку или начало нового политического правления.

регулярно восстанавливается смысл дальнейшего движения к новому и — что принципиально — еще хрупкому, ничем не гарантированному социальному порядку. Иными словами, нехватка места для «личности» в раннесоветских политических классификациях объясняется не только ее официальным «подчинением коллективу», но и настоящей нуждой в возобновлении ресурса мобилизации, заключенного в понятии «массы».

Критика вождизма конца 1950-х годов, которая предстает исключительным политическим событием, и вытекающий из нее разрыв связи между понятием «массы», сохраняющим положительную ценность, и отчетливо негативным понятием «вождь» на деле хорошо вписываются в формулу «полной и окончательной победы социализма», т.е. уже окончательно найденного места нового правящего слоя в обеспеченном им социальном порядке. Оставаясь в официальном обороте на протяжении 1960–1980-х годов и даже сохраняя количественный и ценностный перевес в сравнении с «личностью»⁵², понятие «массы» утрачивает активное свойство, будучи сведено в конце 1950-х почти исключительно к трем полустертым по своему мобилизующему эффекту, взаимозаменяемым и взаимосочетаемым связкам: «народные массы», «массы трудящихся» и «широкие массы». Сокращение вариативности понятия «массы», которое вписано в реформу всей категориальной системы, словно освобождает место для «личности», сразу занимающей место «масс» в том числе в контексте «воспитание Х». Если риторика хрущевских выступлений и докладов с этой точки зрения предстает переходной — понятие «массы» остается одной из ключевых категорий, означающих население Советского Союза, — то в брежневских докладах «массы» почти полностью устраняются или существенно маргинализируются в ряду, составленном понятиями «трудящиеся», «народ», «граждане», «население», «люди»⁵³.

⁵² Не только в экономическом контексте. Например, при разъяснении нового политического курса в связи с обострением советско-китайских отношений в 1963 г. понятие «личность» употребляется только в негативном контексте «культ личности», тогда как понятие «массы» активно используется как позитивно нагруженный синоним «советского народа» (см., напр.: Открытое письмо ЦК КПСС партийным организациям, всем коммунистам Советского Союза // Правда. 1963. 14 июля).

⁵³ Напр.: Брежнев Л.И. Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду КПСС.

Наконец, несмотря на то что именно «народ», а не «личность» признается «решающей силой строительства коммунизма»⁵⁴, ряд основополагающих тематических сдвигов, а также прямая конкуренция «Х»-элемента «личности» с «обществом» и «массами» в разделах, посвященных образованию и культуре, представляет собой осязаемый, хотя и не объявленный явно пересмотр понятийного схематизма предшествующего периода. Помимо прочего, серия сдвигов реализуется в таких еретических конструкциях, как «сочетание личных интересов с государственными»⁵⁵, которая не задает явной иерархии и тем самым снова утверждает автономию «личных интересов» в значении, вписанном в контекст «потребления». Политический смысл «личности» в новом экономически определяемом горизонте социализма состоит, таким образом, не только в частичном замещении «Х»-элемента «общество», но и в разрыве контекстуальных отношений с «государством», заданных в конце 1920-х — 1930-е годы риторикой «подчинения личности». В результате придание ценности «индивиду» и «личности» и их опосредованная связь с «народным благосостоянием» в официальных классификациях сопровождается целым рядом ближайших и отдаленных эффектов, которые на протяжении 1970-х годов складываются в новую смысловую структуру, связывающую уже не «общество», «народ» и «людей», а «общество», «личность» и «человека»: «Достаточная материальная обеспеченность, личная и общественная перспектива способствуют у нас творческому развитию личности, удовлетворению постоянно растущих материальных и духовных потребностей человека»⁵⁶.

В исходном виде эти сдвиги, происходящие в понятийной сетке «социализма», которая подвергается стремительной демилитаризации и индивидуализирующему переопределению в терминах «благоустройства быта» и «удовлетворения запросов», намечены уже в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Не столько в рамках темы «воспитания», сколько в горизонте «потребностей» и «потребления» рождается «новая личность», стремительно и наперекор политическим императивам при-

⁵⁴ Программа КПСС [1961]. С. 605.

⁵⁵ История Коммунистической партии Советского Союза. С. 617.

⁵⁶ Материалы XXV съезда КПСС. М: Политиздат, 1976. С. 78.

обретающая (мелко)буржуазные черты в условиях «мирного сосуществования». Что в конечном счете становится одной из основ для приговора этому политическому курсу с позиций революционной ортодоксии: «Американский империализм и его пособник — советский современный ревизионизм»⁵⁷.

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: МЕЖДУ «КОЛЛЕКТИВОМ» И «ЛИЧНОСТЬЮ»

Превращаясь в 1960-е годы из вспомогательного и периферийного термина в одну из категорий государственного воображаемого, понятие «личность» становится структурирующим основанием для целого ряда типологических высказываний, не исключая гражданское и уголовное право. «Всестороннее развитие человеческой личности в условиях коллектива» как определяющая характеристика социализма из речи Никиты Хрущева⁵⁸ профилируется в разнообразии контекстов, от «типологических особенностей личности рабочего» из первых обширных исследований по социологии⁵⁹ до «уважения к личности осужденных» в учебнике по уголовному праву⁶⁰. При этом в отличие от понятия «технический прогресс», которое на рубеже 1950–1960-х годов также претерпевает осязаемый смысловой сдвиг, будучи переведено в совершенно новую категорию «научно-технический прогресс» (также превращенную в строку государственного бюджета), понятие «личность» не попадает в основание категориальной сетки государственной статистики. В складывающейся системе разделения символического труда это понятие очерчивает сферу компетенции новых наук — социологии и психологии, во многом оставаясь знаком их повторного рождения и особого положения в пространстве академических дисциплин.

⁵⁷ Мао Цзэдун. Народная армия непобедима (Передовая статья газеты «Жэньминь жибао» от 1 августа 1969 г.). Пекин: Издательство литературы на иностранных языках, 1969.

⁵⁸ Доклад товарища Н.С. Хрущева на Внеочередном XXI съезде Коммунистической партии Советского Союза // Правда. 1959. 28 января. С. 5.

⁵⁹ Человек и его работа / под ред. А.Г. Здравомыслова, В.П. Рожина, В.А. Ядова. М.: Мысль, 1967.

⁶⁰ Исправительно-трудовое право: учебник для юридических факультетов. М.: Издательство юридической литературы, 1966.

Этот знак так же ясно маркирует новизну ряда научных направлений, как их генетическую связь с обширным разрывом в политических классификациях по отношению к предшествующему периоду. В ходе философских и научных столкновений конца 1920-х годов статусом субъекта — в противовес «идеалистическому» (и буржуазному) индивидуалистическому пониманию — наделяется коллектив. Исход этих символических битв на территории социальных/гуманитарных наук особенно явствен в психологии, где условием сохранения «личности» как дисциплинообразующего понятия становится уход от подозрений в «идеализме» через ее переподчинение коллективу и социальному окружению⁶¹.

В Психологическом институте, созданном при Московском университете в 1912 г. под знаком «субъективной психологии», первый год работы прямо определяется темой «личности»⁶². Уже в 1921–1924 гг. итогом реорганизаций становится институционализация направлений, среди которых «личность» остается скрытым тематическим основанием лишь в последнем: общая психология, психопатология, социальная психология, психотехника, зоопсихология, детская психология (где изучается «личность ребенка»), — а приоритетным проектом выступает подготовка сборника работ «Психология и марксизм»⁶³. Подобная реорганизация становится залогом сохранения дисциплины в условиях возобладавшего «классового подхода», который рас-

⁶¹ Реконструкцию отдельных моментов психологической полемики см.: *Graham L. Science, Philosophy, and Human Behavior in the Soviet Union*. N.Y.: Columbia University Press, 1987.

⁶² Вот список 15 теоретических семинаров первого года: «Учение Вундта о личности», «Единство сознания по Гартману», «Учение Липпса о личности», «Липпс о личности», «О личности по Липпсу», «Учение Шуппе о личности и единстве сознания», «Личность по Риккерт», «Изменение личности по Бине», «Личность по Жане», «О подсознательности», «"Я" по Остеррайху», «О подсознательном по Фрейд», два семинара «Учение Бергсона о личности», «О Бергсоне». Данный список приводился в ранней версии страницы истории сайта Психологического института РАН (<www.pirao.ru/strukt/istoria/histor_b.html>, последний доступ 20.04.2006). В актуальной версии страницы эти сведения отсутствуют (<www.pirao.ru/ru/ob-institute/istoriya-instituta>, последний доступ 19.03.2013).

⁶³ *Вахромов Е.Е.* Разработка теории личности в отечественной науке первой трети XX века (к 90-летию Психологического института) (<vakhromov.narod.ru/publ/docs/043.doc>, последний доступ 19.03.2013).

ширяет зону негативной ценности «индивидуализма»: «Эмпирическая психология есть идеологический сколок с породившей ее эпохи индивидуализма»⁶⁴. У Льва Выготского, Сергея Рубинштейна, Алексея Леонтьева, Бориса Ананьева и ряда других авторов, активных уже в 1930–1950-е годы и впоследствии зачисленных в основатели одновременно «деятельностного подхода» и «психологии личности», определения «деятельности» и «личности» формулируются в политически прозрачных терминах «общественных отношений», «влияния среды» и т.д. В первом номере «Вопросов психологии» (1955), который призван дать панораму основных направлений в СССР, в оглавлении статей еще ни разу не упоминается термин «личность», а основным тематическим горизонтом по-прежнему выступает «высшая нервная деятельность»⁶⁵.

Хронологическим рубежом превращения «личности» в учреждающее понятие новых дисциплин становится именно конец 1950-х — начало 1960-х годов, поначалу при посредстве переводных работ и рефератов по «западной» социологии и психологии⁶⁶, затем — в текстах советских авторов, популяр-

⁶⁴ Цит. по ранней версии страницы истории сайта Психологического института РАН. Озвученная в ходе борьбы между сторонниками «эмпирической» и «марксистской» психологии, сходная позиция была представлена в целом ряде иных внутри- и междисциплинарных столкновений 1920–1930-х годов, выступая структурным инвариантом кардинальной оппозиции, противопоставляющей «классовую» и «партийную», т.е. революционную и пролетарскую науку негативно маркированной «чистой», т.е. буржуазной. Анализ этой кардинальной коллизии в советской науке продолжен в следующей главе настоящей книги.

⁶⁵ Вот список статей этого номера: С.Л. Рубинштейн «Вопросы психологической теории»; Г.С. Костюк «К вопросу о психологических закономерностях»; А.Н. Леонтьев «Природа и формирование психических свойств и процессов человека»; Б.М. Теплов «Учение о типах высшей нервной деятельности и психология»; А.В. Запорожец «Развитие произвольных движений»; Э.А. Асратян «Переключение в условно-рефлекторной деятельности как особая форма ее изменчивости»; Е.Н. Соколов «Высшая нервная деятельность и проблема восприятия»; Б.Г. Ананьев «Труд как важнейшее условие развития чувствительности»; А.Р. Лурия «Роль слова в формировании временных связей у человека»; Н.А. Менчинская «Некоторые вопросы психологии применения учащимися знаний на практике»; Л.И. Божович «Особенности самосознания у подростков».

⁶⁶ Свидетели и непосредственные участники этого понятийного трансфера упоминают, в частности, переводные работы рубежа 1950–1960-х годов: *Морено Дж.* Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе (переведена на рус. яз. в 1958 г.); *Беккер Г., Босков А.*

зирующих «западные» методы и во внутрисоветских дискуссиях⁶⁷. В свою очередь, конструкция «всестороннее развитие личности» напрямую переносится в научные программы и планы. Такова, например, программа 15-летнего развития Психологического института, поданная в Президиум Академии педагогических наук в 1960 г., где «Психологические проблемы всестороннего развития личности» фигурируют в качестве первого направления, вслед за которым корректируются и тематические рамки ранее господствовавшей «объективной психологии» — «Физиологические основы психических процессов и психических свойств личности»⁶⁸. С конца 1950-х, прежде всего у недавно вошедших в профессиональную науку исследователей, понятие «личности» прямо появляется в заглавиях текстов⁶⁹, а в самих текстах имплицитная модель «личности» — индивид, определяющийся в поведении из собственных потребностей.

Иными словами, во вновь формирующемся дисциплинарном пространстве психологии и социологии за «личностью» признается та же частичная *автономия*, которая неявно закрепляется за «потребителем» в политических классификациях. Эти работы, в частности «Социология личности» Игоря Кона, получают наиболее обширный публичный резонанс, поскольку именно их воспринимают как продолжение символической революции «оттепели»: «С подачи... Игоря Семеновича Кона мы узнали о существовании науки социологии и о том, что личность важ-

Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении (переведена в 1961 г.).

⁶⁷ Включая знаменитую «Социологию личности» Игоря Кона (1967).

⁶⁸ Список направлений приводился в ранней версии страницы истории Института, более не доступной (<www.pirao.ru/strukt/istoria/histor_b.html>, последний доступ 20.04.2006).

⁶⁹ См., напр.: *Фортунатов Г.А., Петровский А.В.* Проблема потребностей в психологии личности // *Вопросы философии*. 1956. № 4; *Чхартишвили Ш.Н.* Место потребности и воли в психологии личности // *Вопросы психологии*. 1958. № 2; *Вопросы психологии личности* / под ред. Е.И. Игнатьева. М.: Изд-во МГУ, 1960; *Социология в СССР* / под ред. Г.В. Осипова. М.: Мысль, 1965. Т. 1 (статьи раздела «Группа и личность»); *Кряжев П.Е.* О диалектике общения и обособлении личности в обществе // *Диалектика материальной и духовной жизни общества*. М.: Наука, 1966; *Кон И.С.* Социология личности. М.: Политиздат, 1967; *Божович Л.И.* Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: Просвещение, 1968; *Замошкин Ю.А., Жилина Л.Н., Фролова И.Т.* Сдвиги в массовом потреблении и личность // *Вопросы философии*. 1969. № 6.

нее государства. Это было началом нашего интеллектуального повзреления»⁷⁰. Та же инверсия производится в программных работах по психологии, где «личность» и «личностное» определяется как автономный источник социальной динамики: «Не только ролевой комплекс оказывает воздействие на личностные качества индивида, но есть и обратный процесс: психологические особенности человека существенно влияют на его статус, на выбор его социальных ролей и на их реализацию»⁷¹.

В 1960-х — начале 1970-х годов производится более общая и обширная институционализация нового тематического направления: проводятся специализированные психологические симпозиумы («Вопросы психологии личности и деятельности», 1966; «Проблемы личности», 1968, 1970), в форме университетских кафедр институционализируется парадоксальное направление «психология личности», а не менее парадоксальное «социология личности» превращается в категорию библиографического классификатора и подразделение академического Института конкретных социальных исследований⁷². Институционализация этих направлений происходит параллельно с «социальной психологией», которая также тематизирует «личность» — на сей раз «личность в группе»⁷³. В целом «личность» становится доминирующим понятием целого ряда научных отраслей. А оппозиция «личность — коллектив», организующая профессиональные психологические классификации в СССР, в конечном счете обнаруживает удачный компромисс в понятии «малая группа», равно как в определении предмета новой дисциплины 1960-х — социальной психологии как «науки, изучающей и массовые психические процессы, и положение личности в группе»⁷⁴.

При благоприятной политической конъюнктуре, с ослаблением междисциплинарных позиций консервативного крыла

⁷⁰ Игорь Кон: «...Так я оказался заложником собственной темы» (беседа с Николаем Крыщуком) // 1 сентября. Газета для учителей, публикация не датирована (<ps.1september.ru/article.php?ID=200303618>, последний доступ 19.03.2013). Подобные свидетельства достаточно многочисленны.

⁷¹ Кузьмин Е.С. Основы социальной психологии. Л.: Издательство ЛГУ, 1967. С. 144.

⁷² В форме сектора социологических проблем личности.

⁷³ Андреева Г. Социальная психология // Социология в России. С. 381.

⁷⁴ Там же. С. 380.

исторического материализма, эти конструкты не только реактивируют и обеспечивают «верное» политическое прочтение понятия «личность». На содержательном уровне за ними тянется целая сеть новых понятий, таких как продвигаемые реформист-социологами «общественное мнение», «индивидуальные потребности» или «склонности» и «мотивация» социальных психологов. Здесь мы имеем дело уже не только с изменением иерархического ранга отдельного понятия и группы вспомогательных терминов, но с изменением всей картины социальной реальности, создаваемой конкурирующими направлениями в социальных и гуманитарных науках.

В рамках новых дисциплин понятие «личность» получает официально подтвержденное существование как полюс, «чисто» методологически, но одновременно латентно политически противостоящий «коллективу». Сама эта оппозиция «личность — коллектив», снова приняв форму открытого вопроса, на протяжении 1960–1970-х годов остается местом непрерывного столкновения между реформистскими и консервативными позициями в пространстве социальных дисциплин, где ее политический смысл подкрепляется борьбой прореформистских и консервативных сил в государственной администрации (отделах идеологии и науки ЦК), напрямую воздействующей на положение дел в науке. Чтобы понять, что в социологии и психологии, получающих бурное развитие в 1960-х годах, сохраняется политический смысл «личности», прямо производный от инверсии ряда истин конца 1930-х — 1940-х годов, следует учитывать, что та же оппозиция «личность — коллектив» упорядочивает высказывания широкого спектра культур-либеральных позиций, вплоть до диссидентских, в которых реактивируется содержание еще более ранних дискуссий конца 1920-х — 1930-х о коллективизме и индивидуализме в условиях советского общества⁷⁵.

Это возобновившееся с новой силой противостояние сторонников «классового подхода» и мягкой либеральной оппозиции выражается в междисциплинарных дискуссиях, например, в борьбе 1960–1970-х годов между представителями институциона-

⁷⁵ В ходе последующих сдвигов, вероятно, в 1970-е годы, устойчивый политический смысл приобретает оппозиция «личность — система», которая используется уже в критике советского режима и лозунгах периода середины-конца 1980-х годов.

лизированной социологии (нередко с философским образованием) и исторического материализма (кадровых философов) за право на разработку общей социологической теории. Те же отношения упорядочивают пространство публикаций, которое формируется вокруг понятия «личность». Раздел литературы по «социологии личности», закрепленный с конца 1960-х годов в том числе в библиографических классификаторах, по числу работ оказывается далеко не так обширен в сравнении с разделом «воспитание коммунистической личности». Однако авторы, разрабатывающие темы «структуры личности» или «личностных свойств» в рамках эмпирических исследований или при популяризации «западных» разработок, в научном пространстве нередко прямо противостоят авторам работ по «воспитанию коммунистической личности». Открытая трансляция «западного опыта», попытки интегрироваться в международную научную коммуникацию, претензии на профессиональное ведение исследований — признаки научной позиции, легитимность которой восстанавливается символической революцией конца 1950-х годов, в противовес фракции сторонников «классового подхода», одержавших очередную крупную победу в конце 1940-х.

В число новых авторов, занявших «международную» позицию и публикующих на протяжении 1960–1970-х работы по теме «личность», попадают ключевые фигуры, вошедшие в социологию в конце 1950-х — 1960-х годов и во многом определившие не только ее канон, но и ее умеренно либеральную политическую позицию: Владимир Ядов, Андрей Здравомыслов, Игорь Кон. К тому же кругу авторов принадлежат психологи, в свою очередь, внесшие вклад в новый облик своей дисциплины и порой активно сотрудничавшие с социологами, такие как Борис Ананьев, Алексей Бодалев, Галина Андреева, Артур Петровский. Рассматривая эту ситуацию постфактум, т.е. принимая в расчет сохранение всеми этими учеными ведущих (в том числе административных) позиций на протяжении длительного времени, можно констатировать, что направления в социологии и психологии, в 1960–1970-е годы открыто тематизирующие «личность», как и авторы, предлагающие наиболее разработанные способы тематизации, попадают в своих дисциплинах в число доминирующих. Это означает также и то, что понятие «личность» маркирует в позднесоветский период не только новые, но и в собственном смысле дисциплинообразующие направления.

ФИЛОСОФСКИЕ ИМПЛИКАЦИИ: АВТОНОМНАЯ «ЛИЧНОСТЬ»

Политический разрыв по линии «личности», который противопоставляет консервативные и реформистские фракции в государственной администрации и социальных науках, не менее ясно обозначен в философии. Если в 1920–1950-е годы «классовый подход» в форме диалектического и исторического материализма составляет прямую и доминирующую оппозицию «идеализму», в свою очередь, доминировавшему в русской философии конца XIX — начала XX в., то с начала 1960-х внутри официальных философских институций (Институт философии АН, философский факультет МГУ) возникает новая позиция, постепенно изменяющая структуру всей дисциплины — «история философии». На протяжении 1960–1980-х годов в сосуществовании и конкуренции на определение предмета философии между историческим материализмом и историей философии (как прежде всего «западной философии») последняя превращается в привилегированную инстанцию собственно философского *профессионализма*, тем самым негласно, но оттого не менее явно оттесняя исторический материализм с его устаревающими моральными и политическими принципами в область *дилетантизма*, который при этом оснащен неоспоримыми административными гарантиями и привилегиями.

Легитимность данного направления поначалу обосновывается нуждой в реферативной работе и компетентной «критике буржуазных теорий» — подготовительной фазы к участию советских философских инстанций в международных конгрессах и конференциях⁷⁶. В результате в легитимном спектре философских позиций растущее направление «история философии» оказывается наиболее явным результатом политических реформ. Именно оно является отправной плоскостью для построения «новой» философии в стенах советских институций. Неудивительно, что от лица того же исторического материализма, который блокирует разработку общей теории общества в социологии, в адрес подобных инициатив, балансирующих на тонкой грани между техническим комментарием к текстам «западной философии» и «дальнейшим развитием» основ марксистской ортодоксии, систематически звучат обвинения в «идеализме».

⁷⁶ Подробнее см. в гл. VII наст. изд.

В свою очередь, реформистские позиции, представленные, с одной стороны, новыми авторами в новых дисциплинах — социологии и психологии, с другой — новыми авторами на новой позиции в дисциплинарной структуре философии, находятся если не всегда в отношениях взаимного признания и открытого союзничества⁷⁷, то в ситуации политически определенной структурной близости.

Одним из наиболее заметных проявлений этой близости становится перевод ряда психологических и отчасти социологических смыслов «личности» в возвышенный теоретический регистр, т.е. работа по приданию понятию окончательной интеллектуальной, но также социальной ценности. Пик этой работы приходится на вторую половину 1970-х годов, когда за пределами официально лицензированного и полуанонимного оборота исторического материализма «личность» превращается в предмет публикаций и выступлений «молодых» философов, к тому времени приобретших не только реноме «настоящих» теоретиков в среде коллег, но и вполне официальное признание — в том числе в виде должностей на кафедрах и в секторах диалектического и исторического материализма. Впоследствии часто цитируемый сборник «С чего начинается личность»⁷⁸ представляет собой попытку окончательного закрепления в дисциплинарном горизонте понятия, соединяющего — на новом уровне и в форме, облагороженной обращением к «классике западной философии», — элементы официального политического словаря (в рамках очередного возврата к теме «всесторонне и гармонически развитой личности») и тематики новых социальных дис-

⁷⁷ Так, в стенах философского факультета еще в конце 1950-х годов один из неформальных студенческих «клубов» объединял Александра Зиновьева, Георгия Щедровицкого, Мераба Мамардашвили, Владимира Швырева и впоследствии социолога Бориса Грушина (Грушин Б.А. Горький вкус не востребованости // Российская социология 60-х годов в воспоминаниях и документах / под ред. Г.С. Батыгина. СПб.: Издательство РХГИ, 1999. С. 207). Официальный семинар сектора теории в Институте конкретных социальных исследований в конце 1960-х, который был продолжен как неофициальный с начала 1970-х, наряду с социологами посещали философы Мамардашвили, Александр Пятигорский и Щедровицкий, историки и филологи Сергей Аверинцев, Арон Гуревич, Леонид Баткин, Вячеслав Иванов (Левада Ю.А. «Научная жизнь — была семинарская жизнь» // Российская социология 60-х годов. С. 85, 93).

⁷⁸ С чего начинается личность / под ред. Р.И. Косолапова. М.: Политиздат, 1979 (2-е изд. — 1984).

циplin. Так, статья одного из самых известных, одновременно марксистских и реформистских философов, Эвальда Ильенкова, помещенная в этом сборнике, прямо отсылает к риторике постановлений съезда КПСС:

Ответ на этот вопрос непосредственно связан с проблемой формирования в массовом масштабе личности нового, коммунистического типа, личности целостной, всесторонне, гармонически развитой, которое стало ныне практической задачей и прямой целью общественных преобразований в странах социализма⁷⁹.

Однако основное определение «личность» получает в связи с вопросом о возможности материалистически ориентированной *психологии*. Как и в более ранней работе, где «личность» определяется как «гармоническое сочетание» способностей — в ряду психологических понятий, соединенных с возвышенными эпитетами: «остроаналитический интеллект, ясное сознание, упорнейшая воля, завидное воображение и критическое самосознание»⁸⁰.

Не менее известный «молодой» философ Мераб Мамардашвили столь же решительно размещает понятие «личности» в высших разделах системы философских категорий, хотя и не возводя его напрямую к психологической систематике, но при этом прямо реагируя на вызов со стороны психологии. В своем докладе (прочитанном в Институте психологии) он производит целую серию облагораживающих сближений: «философия... и личность... [вытекают из особенностей этого] режима, в каком сложилась наша сознательная жизнь, и в каком она только и может воспроизводиться»; «понятие свободы имеет прямое отношение к личности»; «личностное действие» — это действие, для которого «нет никаких условных оснований»; «личностное — это всегда трансцендирующее» и т.д.⁸¹ В данном случае традицион-

⁷⁹ Ильенков Э.В. Что же такое личность? // С чего начинается личность.

⁸⁰ Он же. Становление личности: к итогам научного эксперимента // Коммунист. 1977. № 2. С. 71. На психологический генезис исходных понятий указывает сам автор, когда воспроизводит их в составе «всей совокупности высших психических функций (сознания, воли, интеллекта), увязанной в единство личности» (Там же. С. 78).

⁸¹ Мамардашвили М.К. Философия и личность (Выступление на Методологическом семинаре сектора философских проблем психологии Института психологии РАН 3 марта 1977 г.) // Человек. 1994. № 5.

ная философская игра на повышение ценности «чисто» теоретического прочтения понятия также сопровождается прямыми отсылками к психологическим и социологическим исследованиям, в которых «личность» и «я» получает эмпирическое определение. Таким образом, вслед за использованием «личности» в официальной политической риторике конца 1950-х — 1960-х годов как маркера реформистской ориентации, в психологии и социологии 1960–1970-х как дисциплинообразующего понятия, во второй половине 1970-х годов «личность» попадает в словарь новой философии — этой попытки интеллектуально респектабельного преодоления политической догматики предшествующего периода и вместе с тем попытки утверждения новых правил философского профессионализма, который соединяет владение «историей западной философии» с ответом на политический и интеллектуальный успех психологии и (в меньшей степени) социологии.

О том, что понятие «личность» попадает в зону максимального напряжения между философским консерватизмом и реформизмом, реактивируя «вечные» политические оппозиции, свидетельствует один из авторов и инициаторов сборника «С чего начинается личность», впоследствии отмечающий, что «проблема личности» размещается «между двумя культурами, настоящими на “коллективизме” и “индивидуализме”»⁸². Однако не менее явно к внутри- и междисциплинарным напряжениям отсылает базовое противопоставление, которое присутствует в самих текстах Эвальда Ильенкова или Мераба Мамардашвили. В одном из своих вариантов оно формулируется как прямой вызов историческому материализму, исходящему из ранее официальной павловской психологии: «Сведение... проблемы личности к проблеме исследования морфологии мозга и его функций — это не материализм... а только его неуклюжий эрзац, псевдоматериализм, под маской которого скрывается физиологический идеализм»⁸³. В противовес физиологизму сталинского периода

Часть этих сближений вполне совпадает с выдвинутыми Ильенковым утверждениями, например, «личность и есть лишь там, где есть свобода» (Ильенков Э.В. Что же такое личность? С. 357).

⁸² Толстых В.И. Ильенков — формула личности // Драма советской философии. Эвальд Васильевич Ильенков (книга-диалог). М.: ИФРАН, 1997. С. 114.

⁸³ Ильенков Э.В. Что же такое личность? С. 326. В тексте присутствует и прямая критика павловского подхода (с. 350).

Ильенков определяет «личность» как продукт социальных связей, реальности *sui generis*: «Личность... рождается, возникает (а не проявляется!) в пространстве реального взаимодействия по меньшей мере, двух индивидов, связанных между собой через вещи и вещественно-телесные действия с ними»⁸⁴.

Характеристика «личности» как «общечеловеческого» в отличие от узкосоциального также составляет пункт согласия обоих авторов: «Мы употребляем понятие личности только для того, что составляет в человеке нечто субстанциальное, принадлежащее к человеческому роду, а не к возможностям воспитания, культур и нравов»⁸⁵; «Личность есть единичное выражение той по необходимости ограниченной совокупности... отношений (не всех), которыми она непосредственно связана с другими (с некоторыми, а не со всеми) индивидами — “органами” этого коллективного “тела”, тела рода человеческого»⁸⁶. Следует принимать в расчет, что критика неизменной сущности человека из раннего текста Карла Маркса⁸⁷ используется в 1970-е годы как базовая самохарактеристика официального советского марксизма, который «отверг отвлечённую, внеисторическую трактовку “природы человека”... и утвердил её научное конкретно-историческое понимание»⁸⁸. Таким образом, отсылка новых философов к «человеческому роду» также является вызовом или, по меньшей мере, поводом для подозрений в ситуации политически однозначного приговора «родовой сущности человека» с позиций «классового подхода».

Наконец, еще одной отличительной чертой новой философской позиции становится теоретическое обоснование автономии «личности», изоморфное той контекстуальной автономизации «потребления» и «личности», которое ранее происходит в официальной политической риторике и социальных науках. За рамками базовой для позднесоветской философии методологической оппозиции гегельянства и кантианства авторы сходятся в понимании «личности» и «личного» как самоот-

⁸⁴ Ильенков Э.В. Что же такое личность? С. 345.

⁸⁵ Мамардашвили М.К. Указ. соч.

⁸⁶ Ильенков Э.В. Что же такое личность? С. 330.

⁸⁷ Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 3.

⁸⁸ Келле В.Ж. Гуманизм // Большая советская энциклопедия. 2-е изд.

несения. В одном случае это автономия, обеспеченная (скорее гегельянски) *новым* социальным порядком: «Подлинная личность, утверждающая себя со всей присущей ей энергией и волей, и становится возможной лишь там... где возникают и утверждают себя новые формы отношений человека к человеку, человека к самому себе»⁸⁹. В другом — это моральная автономия, близкая к кантовской свободной причинности: «Самые большие проблемы, перед которыми стоит человек, — это те загадки, которые он сам-собой-себе-задан... Личностным вопросом является прежде всего тот, который адресует к себе человек»⁹⁰. Даже в статье «Личность» из Философской энциклопедии содержится прямое утверждение автономии: «Выполняя множество различных ролей и принадлежа одновременно к различным группам, Л[ичность] не растворяется ни в одной из них, но сохраняет известную автономию»⁹¹. Подобные «субстанциалистские» положения и способы выражения невообразимы в ряду вариантов, официально допущенных к публичному озвучению в 1930-е или 1950-е годы. Между тем далекие от единичных попытки подобным образом продолжить политические реформы в философском выражении свидетельствуют не только об изменившейся к 1970-м годам официальной политической линии, но и о завершении того — несомненно, более существенного со структурной точки зрения — процесса, который приводит к окончательному превращению всех академических ученых в государственных служащих (наделенных целым рядом символических привилегий) и одновременно — к обособлению внутри этого нераздельно политического и научного пространства новых позиций, через тематику «личности» выражающих свою претензию на существенную символическую автономию.

В определении «личности» через обращенность «к себе» завершается работа по ее выведению из четкой обусловленности «коллективом» — от лица той же официально лицензированной философии, которой она была приговорена к «подчинению коллективу» в 1930-е годы. В конце 1970-х, в противовес теме «под-

⁸⁹ Ильенков Э.В. Что же такое личность? С. 355.

⁹⁰ Мамардашвили М.К. Указ. соч.

⁹¹ Личность // Философская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1970. Т. 3.

чинения», пунктом схождения новых философских определений «личности» становится «свобода»⁹². Один из решающих эффектов такой тематизации состоит в том, что «личность» локализуется в распаханном и экспансивном горизонте, который принципиально не сводится к коллективу или социальному классу. Это проявляется в разнообразии тематических контекстов, в частности, в теме «расширения»: «Личность не только возникает, но и сохраняет себя лишь в постоянном расширении своей активности, в расширении сферы своих взаимоотношений с другими людьми и вещами»⁹³. Или в теме «искусственности и бесосновности в природном смысле слова феномена человека»⁹⁴. Повторный перенос тем субстанциальности, необусловленности и т.п. из горизонта западноевропейской философии в советскую предстает «естественным» шагом в попытках «молодых философов» сконструировать профессиональные дисциплинарные образцы. Но этот же «естественный» для внутридисциплинарного состязания шаг не утрачивает хотя и интеллектуально переформулированной, но вполне осязаемой связи с ходом политической игры: утверждение автономной личности противостоит как официально историческому материализму, так и консервативной политической риторике, которые сохраняют доктринальное преимущество в административной конъюнктуре «зрелого социализма».

На фоне официально закрепленного компромисса между политически полярными смыслами «личности»: автономной «личности» и «личности» как продукта «коммунистического воспитания» — не кажется удивительной та важность, которую придают в уполномоченных публикациях и кухонных спорах коллизии «поглощение личности коллективом — интересы личности». В конечном счете в официально одобренной Философской энциклопедии «гармонические отношения между личностью и обществом» результируются в формуле: «При коммунизме Л[ичность] становится целью общественного развития»⁹⁵. В этой коллизии находит выражение позиция умеренного куль-

⁹² Образцы суждений из работ Э. Ильенкова и М. Мамардашвили см. выше.

⁹³ Ильенков Э.В. Что же такое личность? С. 357.

⁹⁴ Мамардашвили М.К. Указ. соч.

⁹⁵ Личность // Философская энциклопедия. Т. 3.

турного либерализма, с которой выступают философы, историки и социологи, так или иначе тяготеющие к неокантианству (порой соединенному с маскируемой религиозностью), чьи требования большей культурной автономии являются эвфемизированным призывом к продолжению реформ. Один из тех, кто активно продвигал тематику «личности» в психологии и социологии 1960-х годов, Вадим Ольшанский, в конце 1990-х резюмирует смысл этого продвижения в контексте исторического — и даже эпического — «противостояния двух систем»: социализма и либерализма⁹⁶. Надо признать, взгляд, вполне согласующийся с официальной позицией КНР в 1960-е годы.

Таким образом, понятие «личность» оказывается ставкой не только в борьбе внутринаучных фракций, но и, более широко, в борьбе между двумя фракциями господствующих классов советского режима: официальной государственной администрацией, где в 1970-е годы победа остается за умеренными консерваторами, и производителями доминирующей (в советском случае, официальной) культуры — философами, учеными, писателями, усматривающими в излишнем согласии с «административной системой» и «массовыми запросами» угрозу собственной профессиональной автономии и символической власти. В этом смысле последовательное расширение зон охвата понятием «личность» обозначает не только мягкую доктринальную революцию, но и структурный сдвиг от аскетически-мобилизационных схем социального порядка (включая организацию профессиональных научных сред) к компромиссной форме обуржуазивающегося социализма, в котором культурные производители приобретают все большую профессиональную независимость и со все большим успехом реализуют ставки, характерные для системы разделенного и заново интегрированного символического труда, в пределе порождающей первичные формы интеллектуального рынка.

ОСВОБОЖДЕНИЕ «ЛИЧНОСТИ» КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОМПРОМИСС

Изоляция «свободного времени» как фактора «образа жизни» и автономизация контекста «потребления», вытеснение «масс»

⁹⁶ Ольшанский В. Личность в российской социологии...

из политического лексикона и расширение реестра индивидуализирующих понятий в номенклатуре государственной экономики, официальное признание индивидуального вкуса и повторное учреждение субстанциализма в советской философии. Эти, а также сопутствующие им тематические смещения — эффекты трансформации понятийной сетки, в смысловом центре которой, не в последнюю очередь воплощенном в понятии «личность», бурно разворачивается двунаправленный процесс. С одной стороны, мы наблюдаем форсированное разграничение «истинного» (социалистического) и «ложного» (буржуазного) смыслов понятий, которое заново обосновывает специфику социализма и составляет само его определение. С другой стороны, формальный характер утверждаемой подлинности, редко определяемой содержательно в проектном измерении⁹⁷, постепенно избавляет эти понятия от функции ясного маркера, прежде разграничивавшего две модели социального порядка. Растущая ценность «личности» в категориальной сетке позднесоветского периода свидетельствует о том, что такие изменения далеки от «чисто» риторического прикрытия твердого ядра ортодоксии. Напротив, попытки сохранить политическую преемственность категориальной системы предпринимаются в условиях стремительного и редко вполне осознанного критериального переопределения «социализма», приближающегося к раннесоветским определениям «буржуазного».

Утрата базовыми оппозициями их прежней однозначности и новые связи, возникающие в структуре официальной риторики, социальных наук и философии, получают не только доктринальное выражение, но и вполне осязаемые *практические* следствия, реализованные, в частности, в практике государственного управления. Эти формы варьируются от новых категорий государственного бюджета и новых объектов экономического и правового контроля, до, например, учреждения государственной лотереи «Спортлото», первый тираж которой

⁹⁷ Если только это не отсылка к «научно обоснованному», как в случае «развития потребностей в направлении приближения к разумным, научно обоснованным нормативам», «последовательная реализация [которых] происходит только в условиях социализма» (Бабин Б.А. О законе возвышения потребностей... С. 10). То есть, если это, по сути, не подтверждение связи одной политической универсалии с другой: в данном случае, «личности» с «научно-техническим прогрессом».

проводится в 1970 г. и которая практически воплощает собой принцип индивидуально направленной случайности (в противовес принципу коллективного планирования), равно как фактическую официальную легитимацию категории «нетрудовые доходы».

Элементы, ассоциированные с буржуазностью, не могут быть исключены из символического порядка, эволюционирующего на протяжении с конца 1950-х до середины 1980-х годов, поскольку политический смысл, которым нагружено понятие «личность», институционализирован во множестве частных форм, от риторики отчетных собраний к съездам КПСС до новых научных направлений и библиографических классификаторов. Соседство ранее неустрашимых доктринальных противоположностей в рамках одной институциональной структуры служит основой для постоянного напряжения между конкурирующими способами тематизации социализма и их фракциями-носителями. Однако это уже не борьба за конечную истину или универсальный проект, результатом которой могло бы стать повторное «подчинение личности» или полная девальвация «коллектива». Это неизбежное, едва ли не телеологическое, *расширение зоны компромисса*, допускающего существование ранее неприемлемых интеллектуальных и политических позиций. Компромисс положен в основу классификаций не только политических, но и структурно им подобных научных, постоянно лавирующих между политической лояльностью «классового подхода» и растущими требованиями профессиональной нейтральности. В свою очередь, характерная для 1970–1980-х годов неразличимость между собой «западных» теоретических позиций, используемых при построении советских версий социальных наук и философии, напрямую (хотя это и не так очевидно) воспроизводит ту же символическую модель — политического компромисса как основы для любой типологии.

В публичной речи, выстроенной на таких условиях, институционализированное примирение политических противоположностей лишь отчасти нейтрализует политический потенциал понятия «личность», включенного в официально допустимые и признанные классификации. Чем более высок официальный статус классификации, тем более изощренные тематические маневры необходимы для достижения компромисса. Образцы подобного маневрирования при определении понятия «личность»

и тематически с ним связанных «свободы», «гуманизма», «воли» и т.д. представлены, в частности, в Философской энциклопедии⁹⁸ и в Большой советской энциклопедии⁹⁹. Здесь эти определения включены в нюансированную игру неокончательных — а потому опасных и нуждающихся в повторном уточнении — различий между, с одной стороны, «буржуазными» и «ревизионистскими» теориями, с другой — марксистской ортодоксией, которая сама находится в постоянном движении. Так, в Большой советской энциклопедии активно дискутируемое в 1950–1970-х годах понятие «воля», которое занимает ключевое положение на границе между «идеалистической» философской спекуляцией и эмпирической психологией, сопровождается специальная пометка «философ.», что, помимо прочего, подчеркивает отличие между реальностью психологической науки и ошибочностью немарксистской философии, к которой возводится понятие. В противоположность этому, статью о «свободе», открыто маркированной как понятие марксистской диалектики, сопровождает пометка «социальн.». В тексте статьи о «воле» подчеркивается опасность индетерминизма и указывается, что советская психология «рассматривает волю в аспекте ее общественно-исторической обусловленности». При этом в статье «Свобода воли» подчеркивается, что «в буржуазной философии конца XIX–XX вв. среди тенденций в истолковании свободы воли преобладает волюнтаристский и персоналистический индетерминизм», а в качестве референтных авторов перечисляются исключительно западные философы¹⁰⁰. Тем самым попытка обезопасить понятия, подозрительные с точки зрения политической ортодоксии, но уже не устранимые из официально признанной категориальной сетки, ставит их в амбивалентные отношения к оппозиции «марксистское — буржуазное», порождая дальнейшее усложнение символической системы.

На примере «воли», связанной с понятием «личность» опосредованно, в отличие от нейтрализованной психологией «индивидуальности» и в противоположность «индивидуализму»,

⁹⁸ Философская энциклопедия: в 5 т. М.: Советская энциклопедия, 1970.

⁹⁹ 30-томное издание, выпущенное в 1969–1978 гг.

¹⁰⁰ Здесь напрямую утверждается соответствие: свобода воли — буржуазное мировоззрение — капиталистическое общество.

по-прежнему обличаемому в статье БСЭ «Личность», можно видеть, как политическая цензура и эффекты вытеснения, которые удерживают «личность» в границах «коллектива», одновременно допускают конкурирующие определения базовых понятий, тем самым обеспечивая необходимый компромисс¹⁰¹. Более того, определение «личности» в официально приемлемых версиях психологии или философии в целом остается таким компромиссным образованием, которое, с одной стороны, допускает элементы буржуазного порядка, с другой — маскирует то, что может сделать их вполне *узнаваемыми* в качестве таковых. При очередном политическом повороте, со снятием наиболее сильных из этих цензурных ограничений, политический характер такого определения переводится из скрытого плана в явный: «Мы должны освободиться от имперской модели личности в советской психологии личности, которая проявляется только как сверхчувственное системное качество; сверхнормативное, внеситуативное образование, которое существует в других людях... Это имперское чудовище сковывает нас, но его обозначение, даже самое обобщенное, является первым шагом на пути к выздоровлению личности в советской психологии»¹⁰². Столь острое чувство соответствия смысла теоретического понятия и политического режима обязано не только новому сдвигу в официальных классификациях, но и параметрам того единого пространства научной и политической бюрократии, формирующегося в 1960–1980-х годах, где политические и научные классификации подчиняются общим правилам.

Во второй половине 1980-х — начале 1990-х годов можно наблюдать очередной скачок в использовании понятия «личность», когда реактивируется и профилируется политический смысл, заданный поворотом конца 1950-х, во многом за счет сохранения ключевых позиций администраторами и исследователями, вошедшими в профессию в 1950–1960-е годы. Таков, в частности, в середине 1980-х язык политической риторики, воспроизводящий понятийный строй рубежа 1950–1960-х годов и напрямую переведенный в задачи психологии: «Обес-

¹⁰¹ Что еще более отчетливо прослеживается в цитированной выше статье «Личность» из Философской энциклопедии.

¹⁰² Колга В. Проблемы личности: идеология и психология // Вопросы психологии. 1990. № 4. С. 146.

печить оптимальное сочетание личных интересов, интересов трудовых коллективов, различных социальных групп с общегосударственными, общенародными интересами и таким образом использовать их как движущую силу интенсивного роста экономики»¹⁰³. Схожий хронологический возврат происходит не только в академическом высказывании, но и в официальных партийных документах. Например: «Главный вопрос в теории и практике социализма — как на социалистической основе создать более мощные, чем при капитализме, стимулы экономического, научно-технического и социального прогресса, как наиболее эффективно соединить плановое руководство с интересами личности и коллектива»¹⁰⁴.

Дальнейшая эволюция контекста «личности» в психологии представляет собой повтор ряда исходных формул конца 1950-х — начала 1960-х годов и радикализацию в них смысла индивидуальной инициативы, который позже мы встречаем в контексте политической связки «собственник — средний слой»¹⁰⁵. Вот образцы таких конструкций: «проблема активной социальной позиции личности» (1985), «формирование всесторонне развитой личности» (1985), «решение актуальной современной проблемы — диагностика творческого потенциала личности» (1985), «психологическая перестройка людей, реализация важнейших личностных факторов, их творческого, духовного потенциала» (1986), «формирование высокого творческого потенциала каждой личности» (1986), «новый масштаб подхода к изучению личности — биографический» (1986), «становление творческой личности» (1988), «целостная личность, которая способна управлять собой в любых ситуациях» (1988), «психологические условия раскрепощения личности... и смены

¹⁰³ Навстречу XXVII съезду КПСС // Вопросы психологии. 1986. № 1. С. 6–7. Более того, одна из редакционных статей в «Вопросах психологии» прямо указывает на «страшный урон», который нанесли «годы культа личности» и негативное влияние «застоя», и вместе с тем — на «благоприятные перемены, которые принес XX съезд КПСС», тем самым недвусмысленно возводя генеалогию «перестройки психологии» к хрущевским реформам (Пути перестройки психологической науки // Вопросы психологии. 1988. № 6. С. 7).

¹⁰⁴ Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 25–26 июня 1987 г. М.: Политиздат, 1987. С. 44.

¹⁰⁵ См. гл. II наст. изд.

образа жизни» (1989) и т.д.¹⁰⁶ Одновременно с открытой критикой «растворения в коллективе» и девальвацией результатов компромисса предшествующего периода понятия «личность» и «личное» здесь прямо вписываются в проект либерализации политического режима.

В целом же «личность» как понятие с растущей ценностью обнаруживается в тех областях советского символического порядка и тогда, где и когда явно или неявно переопределяется граница между «социализмом» и «буржуазным обществом». В позднесоветский период это понятие выполняет роль маркера, который перестает различать с прежней остротой, поскольку оказывается в той зоне политического и, более широко, символического, где происходит конвергенция смыслов, ранее принадлежащих этим двум ясно противопоставленным в советской систематике полюсам. Утрата понятием функции строгого различения уже сама по себе выступает отличительным знаком. Именно поэтому в позднесоветском символическом универсуме наиболее разработанные тематизации «личности» являются результатом активности преимущественно мягкой либеральной оппозиции и нового профессионализма.

Политическая история и критическая социология понятия «личность» снова свидетельствуют о том, что советский режим не являлся монолитной структурой, но совокупностью альтернатив и конкурирующих проектов, связанных в воображаемое единство прежде всего самой официальной мифологией 1970-х о непрерывном развитии и полной преемственности в отношении исходной модели. Совокупность контекстов, задающих смысл «личности» в 1960–1980-е годы, воплощает собой одну из таких альтернатив, точнее, результат соединения по меньшей мере двух конкурирующих проектов. Попытка соединить в горизонте «социализма» модель мобилизационного, милитаристски-аскетического коммунизма с моделью общества устойчиво растущего индивидуализированного потребления сближает — как в «чисто» догматическом, так и в практическом измерениях — «зрелый социализм» с «буржуазным обществом».

¹⁰⁶ Приведены фрагменты из статей журнала «Вопросы психологии», в скобках указан год публикации статьи.

V. Рождение государства «научно-технического прогресса»

В 1961 г. в ежегодном статистическом справочнике «Народное хозяйство СССР» впервые появляется раздел «Рост материального благосостояния советского народа». Этот факт хорошо согласуется с растущей ценностью понятия «личность», которая, как я показал в предыдущей главе, находится в тесной связи с риторикой «потребления» и «благосостояния». Годом ранее раздел «Культура» в том же официальном статистическом справочнике превращается в раздел «Культура и наука»: его дополняют данные о численности научных работников, аспирантов, научных институтов и отдельная таблица по Академии наук СССР. Есть ли связь новых статистических категорий с первыми поездками советских делегаций на международные конгрессы, запуском спутника в 1957 г., созданием на ВДНХ в 1959-м павильона «Академия наук СССР», первым пилотируемым полетом в космос в 1961 г. и установкой на ВДНХ первого макета ракеты?¹ Все эти нововведения отражают еще одну ключевую

¹ В целом преобразования Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) как наглядного аргументативного пространства «побед социализма» крайне красноречивы. В 1958 г. единое пространство учреждается как продукт spectacularной централизации: слияния Всесоюзной сельскохозяйственной выставки с промышленной и строительной. Перестройка павильонов единой площадки и создание в конце 1950-х — середине 1960-х годов центральных павильонов отвечают задачам демонстрации уже не успехов отдельных республик, а отраслевой организации и общих советских достижений. Для строительства отраслевых и центральных павильонов сносят ряд тематических сельскохозяйственных. Реорганизация пространства обеспечивает доминирование над аграрной тематикой науки и наукоемкой промышленности. Наряду с появлением павильона «Академия наук СССР» который замещает «Северный Кавказ», ряд республиканских и региональных павильонов передаются под отрасли науки и культуры: «Поволжье» в 1959 г. трансформируется в «Радиоэлектронику и связь», «Дальний Восток» — в «Советскую книгу», в 1963–1964 гг. «Латвийская ССР» становится «Физикой-Техникой», «Литовская ССР» — «Химией», «Эстонская ССР» — «Биологией», «Азербайджанская ССР» — «Вычислительной техникой», «Узбекская ССР» — «Культурой», «Ленинград и Северо-Запад» — «Оптикой», «РСФСР» — «Атомной энергией». Павильоны «Физика-Техника», «Биология», «Химия» и «Космос» закреплены за

характеристику периода. С этого момента определение «научный» устойчиво используется в утверждении политической *differentia specifica* социализма. Согласно брежневской формуле 1969 г., «широкое развертывание научно-технической революции стало одним из главных участков исторического соревнования между капитализмом и социализмом»². В десятилетие 60-х научное планирование и прогнозирование доводятся до понятийной чистоты, представленные в политически нагруженной *оппозиции* планомерного развития социализма и стихийной регуляции капитализма³.

Первенство в освоении космоса, рост производственных показателей, прямая адресация к советскому потребителю становятся аргументами новой риторики преимуществ социалистического образа жизни. В этом контексте «научно-техническая революция/прогресс» часто используется как синоним «социалистического устройства». И если «научный» в характеристике советского политического режима тяготеет к утопии или метафоре, сама эта метафора имеет *продуктивный* характер.

Академией наук СССР (Максакова О.С. Из истории создания павильона «Космос» на ВДНХ СССР // Российский государственный архив научно-технической документации, Филиал в Самаре (<www.rganld-samara.ru/activity/articles/6868/>, последний доступ 14.10.2013)). Изменение символической ценности отдельных областей не менее показательно объективируется в эволюции павильона «Механизация и электрификация сельского хозяйства», построенного в 1938 г. В 1956 г. он переименован в «Машиностроение», наряду с аграрной техникой в нем начинают выставлять образцы промышленной. В 1964 г. павильон переименован в «Космос», с соответствующей сменой экспозиции, а экспонаты машиностроения перемещаются на обратную сторону здания, с отдельным входом. (История разных павильонов прослеживается на ресурсе «РетроМосФото» (<retromosfoto.ucoz.ru/index/0-165>, последний доступ 14.10.2013).)

² Международное Совещание коммунистических и рабочих партий: документы и материалы. М.: Политиздат, 1969. С. 84.

³ Одним из следствий этого различия становится то, что «при социализме и коммунизме движение по пути прогресса отвечает интересам всего общества и всех его членов. Общество не делится более на реакционные и прогрессивные классы...» (Глезерман Г.Е. Исторический материализм и развитие социалистического общества. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 280). Более поздние, канонические вариации на эту же тему см.: Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. М.: Политиздат, 1973. С. 111; Федосеев Н.Н. Вступительное слово на Секции общественных наук // 250 лет Академии наук СССР. М.: Наука, 1977. С. 477.

Она материализуется не только в регулярно повторяющемся и столь же регулярно редактируемом политическом ритуале, но в самих структурах советской администрации, систематически подвергаемых реформам. Понятие остается стержневым в определении социализма на протяжении почти трех десятилетий, вплоть до конца 1980-х годов. Когда в 1986 г. Михаил Горбачев объясняет смысл перестройки, он снова апеллирует к ценности «научно-технического прогресса» как понятия-посредника: «Это настоящая революция во всей системе отношений в обществе, в умах и сердцах людей, психологии и понимании современного периода, и прежде всего задач, порожденных бурным научно-техническим прогрессом»⁴. В этой и следующей главах я прослежу, как по мере силовых сдвигов и перегруппировок в структуре советской администрации это понятие наделяется высокой ценностью, рутинизируется в институциональных формах, а с демонтажем системы планирования замещается более слабыми в структурном и ценностном выражении дериватами.

НАУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Массово монографии по тематике научно-технического прогресса и научного управления обществом начинают издаваться в конце 1960-х годов. Речь идет как об управлении обществом в целом, так и об управлении коллективами предприятий и научных институтов, секторами производства, трудовыми ресурсами⁵. В 1967 г. начинает выходить периодический сборник Академии общественных наук «Научное управление обществом», последний выпуск которого датирован 1984 г. Умеренный в политическом отношении, «научно-технический прогресс» как мирный процесс приобретает доктринальный смысл в контек-

⁴ Перестройка неотложна, она касается всех и во всем: сб. материалов о поездке М.С. Горбачева на Дальний Восток, 25–31 июля 1986 г. М.: Издательство политической литературы, 1986. С. 36–37.

⁵ Можно отметить, что в подготовительной форме эта тематика содержится уже в служебной литературе середины 1960-х годов: Рабочий класс и технический прогресс (конкретное социологическое исследование на материалах Горьковской области). М., 1965; Рабочий класс и технический прогресс: исследование изменений в социальной структуре рабочего класса. М.: Наука, 1965; Дейнеко О.А. Методологические проблемы науки управления производством. М., 1966; и т.д.

сте более радикальных метонимий социализма: «научно-технической революции» и «превращения науки в непосредственную производительную силу»⁶. Он лучше согласуется с эволюционным оптимизмом политических конструкций, которые я подробно рассмотрел ранее, таких как «рост материального благосостояния граждан» или «развитие личности». Радикальная утопия человека будущего уступает место более скромным и прагматическим надеждам людей настоящего. В этом отношении смысл советской версии «прогресса» мало отличается от конструкции, зафиксированной Кристофером Лэшем в более долгой истории европейских и североамериканского обществ: «Идея прогресса, в противоположность расхожему мнению, обязана своей притягательностью не миллиенаристской проекции в будущее, но тому, на первый взгляд, более реалистичному ожиданию, что экспансия производительных сил может продолжаться бесконечно»⁷. О глубине происходящего категориального сдвига социализма в сторону неревolutionной поступательности и науки свидетельствуют многочисленные попытки переписать труды отцов-основателей, адаптировав их к новой смысловой системе. Частью этого сдвига в начале 1970-х годов становятся публикации с заглавиями, подобными таким: «В.И. Ленин и проблемы научного управления социалистическим обществом» (Материалы теоретической конференции. Красноярск, 1970)⁸.

⁶ Последняя начинает тематизироваться одновременно с «научным коммунизмом», в начале 1960-х годов. См., напр.: Жамин В. Превращение науки в непосредственную производительную силу // Коммунист. 1963. № 10.

⁷ Lasch Ch. The True and Only Heaven. Progress and Its Critics. N.Y.; L.: W.W. Norton and Company, 1991. P. 39. Высказывания виртуозов советского исторического материализма могут вносить коррективы в этот тезис, делая акцент на производственных отношениях, но от этого не перестают служить ему удачной иллюстрацией: «При изменениях в производственных отношениях социализма общественная собственность на средства производства остается и получает дальнейшее совершенствование. Этим обуславливается безграничность прогресса» (Глезерман Г.Е. Исторический материализм и развитие социалистического общества. С. 280; курсив автора. — А. Б.)

⁸ Вот еще несколько схожих примеров: Григорьян С.М. Карл Маркс и социально-экономические проблемы технического прогресса. М.: Наука, 1973; Суворов Л.В. В.И. Ленин и методологические проблемы социалистического управления. М.: Наука, 1973.

Историческая конструкция еще одного понятия, «научного коммунизма», служит дополнительной иллюстрацией тому, насколько неверна расхожая идея о неизменности советского идеологического комплекса. «Научность» коммунизма занимает важное место в системе политической риторики уже в 1920-е годы, а «научный коммунизм» институционализируется одним из первых в связке понятий, имеющих своим центром категорию «науки». Однако в рамках общей советской хронологии эта институционализация происходит относительно поздно. Учебный предмет «научный коммунизм» вводится в вузах указом Министерства образования только в 1963 г.⁹ Каким решающим обстоятельством обязан этот сдвиг? Институциональная привязка «советского строя» к «науке» в реформенное десятилетие 60-х становится результатом окончательного закрепления семантического узла научности за ясным эмпирическим референтом — научной экспертизой государственного планирования, которая следует за окончательной интеграцией институтов академической науки и университета в государственное администрирование и *vice versa*.

Сциентизация политического правления — одна из сторон двунаправленного процесса, который разворачивается также в форме политической индоктринации академии и университета¹⁰. Курсы «Исторический материализм», «Пролетарская революция», «Основы диалектического и исторического материализма и научного атеизма», «История ВКП(б)» преподаются в университетах уже в 1920–1930-е годы. В числе прочего система специализированных кафедр, обязательных курсов и экзаменов с течением времени формирует ту модель гуманитарной экспертизы социального порядка, которая приобретает общепризнанные эталонные формы на излете сталинского периода. Однако

⁹ Приказ от 27 июня 1963 г. № 214 «О введении преподавания в вузах СССР курса основ научного коммунизма». Обязательный для выпускников всех специальностей государственный экзамен по предмету вводится в 1974 г.

¹⁰ Идеологизация науки — тема обширного пласта исторических публикаций, появляющихся на русском языке с конца 1980-х годов и сформированных во многом под влиянием предшествующих американских исследований. Куда реже в них можно найти данные, необходимые для реконструкции второго измерения процесса — сциентизации политического режима, историческое описание и проблематизация которой во многом остается делом будущего.

более прямые и весомые доказательства своей «практической пользы» новому режиму почти сразу предоставляют науки о земле и о небе¹¹. Парадоксальным образом, их конструктивная потенция тем более осязаема, чем более удалены от центра географические зоны, которые эти науки способны захватить и преобразовать. Создание академических центров, включая испытательные полигоны и опытные станции, ботанические сады и обсерватории в труднодоступных и малопригодных для жизни областях, поражает политическое воображение с удвоенной силой рядом открытий, вносящих прямой вклад в государственную мощь, и демонстрацией неведомых доселе человеческих возможностей.

На успех этой формулы указывает быстрый рост периферийных институций, активно поддержанный новым правительством. Так, почти одновременно с началом промышленного освоения рудных месторождений Кольского полуострова, открытых в 1920-х годах, и строительством в северных горах Хибинах города Кировска, в 1930 г. по инициативе академика Александра Ферсмана¹² создается Хибинская альпийская стан-

¹¹ Послереволюционные переиздания последней — астрономии — в частности, стратегии ее включения в политическую и геополитическую повестку нового режима, развернуто описаны в блестящем исследовании: Иванов К. Небо в земном отражении. История астрономии в России в XIX — начале XX века. М.: Территория будущего, 2008.

¹² Научная биография Ферсмана особенно показательна в точке ее перехода в политическую. Студент Владимира Вернадского в Московском университете, он отправляется на аспирантскую стажировку в Гейдельберг, по результатам которой, в соавторстве с научным руководителем Виктором Гольдшмитом, публикует монографию «Алмаз». Издание выходит в 1911 г. на немецком языке, сокращенный русский перевод опубликован в 1955 г. (на обложке академического издания указывается только имя Ферсмана). На следующий год становится профессором Московского университета. В 1922 г. Ленин назначает Ферсмана главой комиссии по описи и оценке алмазного фонда Гохрана. Но это, скорее, одна из высших ступеней в его административной карьере. Уже в 1917 г. Ферсман занимает место председателя Комиссии по выработке плана подъема добычи драгоценных камней, в 1918-м участвует в организации экспедиций на Кольский полуостров в составе Северной научно-промысловой экспедиции ВСНХ, приказ о которой подписан Лениным. Академиком Ферсман избран в 1919 г., продолжая аккумулировать многочисленные административные и академические функции, т.е. успешно выстраивая карьеру в двух подпространствах, научном и политическом. (Подробнее биографические сведения, нормализованные в соответствии с советскими нарративными моделями, см.: Щербаков Д.И.

ция, в 1931 г. на ее базе закладывается Полярно-альпийский ботанический сад; в 1934-м станция преобразуется в научную базу, а в 1949-м — в Кольский филиал Академии наук. Наряду с достижениями в производстве и в массовом спорте утопия безграничных возможностей не менее наглядно реализуется в «полезной» науке, доказывая само существование нового общества и его нового человека.

Первоначальная институционализация неметафорической связи между коммунизмом и наукой происходит не позднее 1918 г., когда в обстоятельствах гражданской войны и массовых материальных лишений, одновременно с созданием независимых от государства университетов и отменой ученых званий, административную поддержку нового правительства получают академические проекты расширения сети исследовательских институтов, которые с 1900 г. регулярно ветировались прежним государственным режимом¹³. Однако такая институциональная связь, очевидно, еще не достаточна для универсального определения советского режима через научность и прогресс. Радикальным сдвигам в сетке советских политических категорий соответствуют новые, более глубокие сдвиги в структуре государственной администрации. Подобные соответствия обнаруживаются там, где академическая экспертиза государственного планирования утрачивает локальный или вспомогательный характер и становится частью самого планирования. В том же хронологическом интервале политических реформ, на который приходится создание учебного предмета «научный коммунизм» и фантомных теорий «научного управления обществом», сначала академический истеблишмент, затем целые институты кооптируются в рутину государственного управления.

Один из красноречивых показателей этой динамики — назначение в 1965 г. руководителем Гостехники, своеобразного прототипа Министерства науки и технологий, академика, вице-президента Академии наук Владимира Кириллина. С момента создания этого ведомства через три года после окончания Второй

Александр Евгеньевич Ферсман и его творчество // Ферсман А.Е. Кристаллография алмаза. Л.: Издательство АН СССР, 1955; Баландин Р.К. А.Е. Ферсман. М.: Просвещение, 1982.)

¹³ Бастракова М.С. Академия наук и создание исследовательских институтов // Вопросы истории естествознания и техники. 1999. № 1. С. 165–166.

мировой войны им руководят высшие функционеры оборонного и машиностроительного сектора, для которых «большая» научная политика исчерпывается целями «усовершенствования техники», т.е. улучшением промышленного и военного оборудования¹⁴. Назначение академика в министры не просто отмечает масштабный поворот государственного аппарата к академической экспертизе планирования, принципы которой в сталинский период соблюдаются лишь там, где политическая фальсификация результатов сопряжена с мгновенными угрозами безопасности, — как в случае разработки оружия, включая ядерное¹⁵. Это назначение также завершает далеко не мирную трансформацию самой Академии, которую с 1927–1929 гг. правительство последовательно превращает из разновидности почетного клуба «бессмертных» в государственное предприятие с тысячами «рядовых» научных сотрудников.

Помимо многочисленных свидетельств и исследований, которые описывают идейные чистки и политическое приручение Академии наук в конце 1920-х — конце 1930-х годов, об этом не менее красноречиво свидетельствует простой и, на первый взгляд, куда менее конфликтный показатель: численность штатных сотрудников. Если в 1917 г. при 58 почетных академиках и 87 членах-корреспондентах число сотрудников без почетного звания в Академии составляет 109 человек, то в 1937 г. их уже 3 тыс., а в 1967-м — почти 30 тыс. при куда менее радикальном росте числа почетных членов (около 200 академиков в 1967)¹⁶. Иными словами, в 1917 г. на каждого почетного члена Академии наук приходится не более двух сотрудников, в 1937-м — 37, а в 1967-м — уже 150 «рядовых».

Придание научному производству индустриального и партийного характера в целом отвечает правительственным проек-

¹⁴ Подробнее об этом см. далее в настоящей главе.

¹⁵ Прямо противоположным примером служат фальсификации данных переписи населения 1937 г., равно как планов промышленного и сельскохозяйственного производства, драматически вписанных в историю советского статистического ведомства (см.: Блюм А., Меснуле М. Бюрократическая анархия: статистика и власть при Сталине. 2-е изд. М.: РОССПЭН, 2008).

¹⁶ Сводные данные по нескольким источникам. Подробнее см.: Бикбов А.Т. Институциональная и смысловая структуры российской государственной научной политики 1990-х гг.: дис. ... канд. социол. наук. Специальность 22.00.04. (На правах рукописи.) М., 2003. § 2.1.1.

там 1927 и 1930 гг., когда принимаются новые варианты устава Академии наук, и логике выборов в Академию 1929 г., когда ее почетными членами впервые избираются видные партийцы и технические специалисты¹⁷. Согласно новым версиям устава, Академия входит в систему государственных учреждений, ей предписывается «выработка единого научного метода на основе материалистического мировоззрения» и вводится планирование самих научных исследований. Последствия институционального компромисса «чистой науки» с «нуждами практики» и подчинение первой второй можно оценить лишь четырьмя десятилетиями позже, в начале 1970-х годов, когда формула «наука на службе практики» уже не разделяет противоборствующие академические фракции, а воплощает нераздельность академической экспертизы и рутины государственного планирования. Так, в 1973 г. впервые вводится Комплексная программа научно-технического прогресса СССР, которая в 1979 г. становится обязательным этапом составления государственного плана¹⁸. Утверждаемую совместно Государственным комитетом по науке и технике и Президиумом Академии наук, эту программу разрабатывают преимущественно академические институты, которые выступают в роли «комиссий» и «головных организаций». Восприятие самими академическими участниками этого непрозрачного и малорезультативного процесса может быть сколь угодно критическим. Однако, чтобы понять действительное место академической экспертизы в государственном управлении, следовало дожидаться исключения академических институтов из управленческой рутины в начале 1990-х годов (вместе с отказом от самой системы плана) и резкого падения позиций Академии в государственных и административных иерархиях. Такая перемена становится настоящим шоком для значительной части профессионального академического корпуса, карьеры которого выстраивались по модели бюрократических.

Следуя за этими изменениями в структуре эмпирического референта понятийного гнезда «науки» и его производных в

¹⁷ Казанович Б.С. Российская Академия наук в 1920 — начале 1930-х (по материалам архива С.Ф. Ольденбурга) // За «железным занавесом». Мифы и реалии советской науки / под ред. М. Хайнеманна, Э.И. Колчинского. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 59.

¹⁸ 50 лет. Гостехника. ГКНТ. Миннауки / под ред. В.Е. Фортова. М.: ЦИСН, 1998. С. 40.

определении политического режима, начало новой политической эпохи следует датировать не 1985-м и даже не 1989-м. Действительный перелом в советской истории происходит в 1990–1991 гг., когда государственное финансирование Академии наук и университета сокращается в несколько раз и перестает действовать система *обязательной академической экспертизы* государственного планирования. Эта практика яснее любых деклараций утверждает отделение политического режима от инстанций «научно-технического прогресса», отмечая начало новой эпохи.

РОЖДЕНИЕ ВЕДОМСТВА ИЗ ЗАДАЧ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ

Во всей российской и советской истории центральное государственное научное ведомство насчитывает немногим более 60 лет существования. На протяжении своей относительно краткой истории оно неоднократно меняет функции вместе с названием, несколько раз упраздняется, создается заново и подвергается реструктуризации. В этом смысле послесоветское Министерство науки, которое в 1990–2010-х годах выступает объектом регулярных реорганизаций, сливается с министерствами промышленности и образования, чтобы снова от них отделиться, не представляет собой заметного исключения. Исходно мерцающий статус ведомства во многом объясняется существованием относительно обособленной (и сопротивляющейся) Академии наук, а также ощутимой дисперсией прикладных научных центров в структуре других производств, прежде всего крупной промышленности. В таких условиях ряд функций по научной координации распределен между действующими сильными ведомствами, в частности, Госпланом и Министерством тяжелой промышленности¹⁹.

Созданию в 1948 г. специализированного комитета по науке и технике в составе федерального правительства предшествуют

¹⁹ В отличие от 1940–1960-х годов особенно частые реорганизации Министерства науки в 1990-х обязаны иным обстоятельствам и в первую очередь связаны с неопределенностью его места в структуре политического режима. Подобную нестабильность функций можно было наблюдать и у иных ведомств, в чьем распоряжении находились экономически нерентабельные отрасли.

многочисленные попытки централизовать научное руководство и монополизировать контроль над ним, ослабив власть локальных научных руководителей и коллективов. Они предпринимаются с 1918 г. и ведутся как на республиканском уровне, в рамках Наркомпроса и лишь при формальном участии Академии наук²⁰, так и на правительственном уровне, уже с участием Академии, принимая форму активного противостояния²¹. Все они завершаются компромиссами. Строго говоря, первое центральное ведомство, Государственный комитет Совета министров по внедрению передовой техники в народное хозяйство (Гостехника) также не является органом научной политики в собственном смысле этого слова. Его функции ограничиваются интенсификацией производства за счет нового оборудования и технологий, стандартизацией оборудования и патентным делом²². Можно сказать, что успешная *централизация* государственного управления наукой становится косвенным следствием более жесткой координации производств, критических прежде всего в военном отношении: машиностроения, транспорта, горных разработок, атомной энергетики. О стратегической позиции нового ведомства в государственной иерархии свидетельствует одновременное назначение председателя Гостехники заместителем председателя Совета министров.

В 1951 г. Гостехника упразднена, ее функции возвращены Госплану и другим ведомствам, но в начале реформенного периода, в 1955 г., она снова восстановлена. В 1961 г. Гостехника повторно переучреждается как специализированное ведомство планирования прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок, в противоположность Академии, которая официально становится ведомством фундаментальных теоретических

²⁰ Эти сведения любезно сообщены Константином Ивановым в личной беседе. Более подробно на примере астрономии эти перипетии прослеживаются в его книге: *Иванов К. Небо в земном отражении... О смене структуры государственного управления наукой в 1910–1930-е на федеральном уровне см.: Лахтин Г.А. Организация советской науки: история и современность. М.: Наука, 1990. С. 15–28.*

²¹ *Грэхэм Л. Очерки истории российской и советской науки / пер. с англ. В. Геровича. М.: Янус-К, 1998. С. 206.*

²² 50 лет. Гостехника. ГКНТ. Миннауки. С. 10–14. Уже в реформенный период Гостехника получает обозначение Госкомитета по координации научно-технических работ и встраивается в децентрализованную систему совнархозов (*Грэхэм Л. Указ. соч. С. 206*).

исследований²³. Таким образом, оставаясь частью высших органов управления плановой экономикой, техническое ведомство обладает пока ограниченной властью в научном пространстве, конфигурация которого определяется Академией наук, реформированной в пользу большей «фундаментальности»²⁴. Именно в этот момент (и не ранее), с целью разделения ведомственных компетенций, утверждается категориальная оппозиция *фундаментальных* и *прикладных* исследований, которая становится неотъемлемой частью научной политики и академической практики вплоть до настоящего дня.

«АКАДЕМИЗАЦИЯ» ГОСТЕХНИКИ И ЦИКЛЫ РЕФОРМ

Разделение фундаментальной и прикладной науки, отныне воплощенное в двух ведомствах, Академии наук и Гостехнике (с 1966 г. — ГКНТ²⁵), ведет не к семантическому разрыву между понятиями «науки» и «техники», но к их сближению, вплоть до полного слияния в новом понятии «научно-технического прогресса». Усиление административных позиций Академии наук в пространстве государственной власти в середине 1960-х годов приходится на период возврата от хрущевского регионального принципа управления к ведомственному. К разработке реформ управления экономикой привлекаются академические эксперты, и ГКНТ совместно с Академией наук впервые разрабатывают так и не реализованный, впрочем, план особо приоритетных научных программ²⁶. В ведении ГКНТ находятся внедрение научных разработок, создание высокoeкономичного оборудования, отраслевые исследования, планирование каче-

²³ Комков Г.Д., Левшин Б.В., Семенов Л.К. Академия наук СССР. М.: Наука, 1974. С. 426.

²⁴ Подробнее о ходе этой реформы, в частности, о выведении из подчинения Академии целого ряда прикладных исследовательских институтов см.: Иванов К.В. Наука после Сталина: реформа Академии 1954–1961 гг. // Наукoведение. 2000. № 1.

²⁵ ГКНТ — Государственный комитет Совета министров СССР по науке и технике. В 1965 г. ведомство снова фактически переучреждается в связи с повторной централизацией государственного управления, возврата от территориального принципа организации совнархозов к ведомственному, на базе министерств (Грэхэм Л. Указ. соч. С. 206).

²⁶ Байбаков Н.К. Сорок лет в правительстве. М.: Республика, 1993. С. 110–113.

ства промышленной продукции, т.е. технические компоненты «научного прогресса». Но их реализация зависит от успеха «наиболее перспективных» фундаментальных исследований, которые должны передаваться на отраслевую доработку и «использоваться в народном хозяйстве»²⁷. Эта схема предусматривает межведомственную координацию работ, которая реализуется в форме комитетов, комиссий и совместных совещаний ГКНТ и Академии наук. Впервые план внедрения научных работ Академии составляется уже в 1950 г. Однако именно в ходе реформы 1961–1963 гг. определяются научные направления, необходимые для «непрерывного научно-технического прогресса», которые разрабатываются Академией совместно с ГКНТ²⁸. Образцовый пример этой схемы дает текст положения 1966 г. о ГКНТ²⁹, где в 10 пунктах из 30, определяющих функции ведомства, фигурирует формула «совместно с Академией наук» или «на основе предложений» АН.

Совокупная продукция Академии, которая отныне производится крупным государственным предприятием, ее руководство, официально исполняющее функции специализированного ведомства фундаментальных исследований, встраиваются в рутинное функционирование государственного аппарата. Разделение фундаментальной и прикладной науки не является, таким образом, простым рассечением сфер компетенции. Оно подчиняется той же сложной рекурсивной схеме, согласно которой функционирует сама Академия, «фундаментализированная» за счет выведения из нее институтов прикладных исследований, но при этом набирающая вес в управлении «народным хозяйством», т.е. национальной экономикой.

Другим и еще более наглядным показателем, раскрывающим смысл понятия «научно-технический прогресс», является траектория руководящего состава Гостехники. В самом деле, чтобы

²⁷ Этот понятийный ряд воспроизводится в целой серии документов и публикаций, цитировать которые по отдельности не имеет смысла.

²⁸ Комков Г.Д., Левшин Б.В., Семенов Л.К. Указ. соч. С. 390, 426; Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 11 апреля 1963 г. № 436 «О мерах по улучшению деятельности Академии наук СССР и Академий наук союзных республик».

²⁹ Положение о Государственном комитете Совета министров СССР по науке и технике утверждено Постановлением Совета министров СССР от 1 октября 1966 г. № 797.

точнее определить место науки в государственных иерархиях, а значит, локализовать тот *эмпирический референт*, который придает устойчивость политическим определениям социализма через «науку», «научное управление» и «предвидение», следует обратить внимание на элементарный факт профессиональной принадлежности высшего руководства научного ведомства и сопутствующие ей позиции в государственном аппарате. Еще точнее, чем в практической политике, где прежняя сфера деятельности позволяет строить предположения о ближайших шагах нового назначенца, аккумулированные чиновником карьерные ресурсы позволяют судить об относительной ценности его следующего назначения в действующем государственном режиме. Как можно видеть по смене базовой модели карьеры в 1960-х, на вершину научного ведомства ведут две альтернативные траектории: из высшей производственной (военно-производственной) администрации и из руководства Академии наук. Это вносит свой вклад в растущую социальную и политическую ценность конструкта «науки и техники». Не менее показательной для характеристики места ведомства в государственных иерархиях может служить административная карьера руководителей после прекращения полномочий. Но этот показатель я оставляю за рамками настоящего рассмотрения.

С 1948 до 1965 г. председателями Гостехники назначаются высшие администраторы промышленного и оборонного сектора. В этот период по своим функциям, равно как по исходной сфере компетенции председателя, Гостехника функционирует в качестве технического ведомства *par excellence*, в составе индустриального и готового к новой масштабной войне государства. Ключевым понятием, определяющим связь науки с политическим режимом, здесь служит «усовершенствование техники». Следующий период отмечает превращение Гостехники-ГКНТ из инструмента оптимизации промышленности в орган «науки как непосредственной производительной силы». В 1965 г. председателем ведомства впервые назначен академик-естественник, вице-президент Академии наук СССР Владимир Кириллин. Эта модель ведомственной карьеры действует вплоть до 1991 г. Здесь связь социализма и науки кристаллизована в синтетическом понятии «научно-технического прогресса». За хронологическим порогом советского режима можно выделить еще два периода, отмеченных новым пово-

ротом в государственном признании ценности фундаментальной или прикладной науки. Третий период (1991–1998) характеризуется очередным синхронным разрывом в системе политических категорий и в структуре государственной администрации, — отказом правительства от полного базового финансирования научных институций, при господствующей риторике «сохранения научно-технического потенциала». За этим ключевым понятием скрывается компромиссный тип траекторий высшего руководства Министерства науки: между Академией наук и вновь создающимися структурами, такими как эксцентрические (по отношению к традиционной академической карьере) аналитические центры и государственные научные фонды. Наконец, в четвертый период (с 1998 г. по настоящий день) связь между государственным режимом и наукой определяется в синонимичных терминах «инновационной экономики» и «научных инноваций». В этот период высшие руководители научного ведомства, за одним исключением, вновь теряют прямую связь с Академией наук и рекрутируются из экономических секторов, обязанных своей рентабельностью прежде всего коммерческим разработкам и технологиям, высокеемким, как коммуникации, или не столь передовым, как тяжелое автомобилестроение³⁰.

Чтобы запечатлеть эти колебания в рамках полного цикла, следует отмерить еще один хронологический интервал в прошлое. В напряженной политической и организационной борьбе 1930-х годов между двумя ключевыми принципами: *автономной науки* и *науки «на службе практики»* — стратегическая победа остается за вторым принципом и его сторонниками³¹.

³⁰ Детали карьер руководителей ведомства см. в приводимой далее таблице.

³¹ Одновременно с борьбой этих двух принципов, вернее, академических фракций, которые выступают их носителями, в 1930-х имеет место масштабный ряд гомологичных символических столкновений, включая те, которые рассматриваются в предшествующих разделах книги: эпический поход «коллективного» против «индивидуального» и «личного» или перекодирование «гуманизма» и «справедливости» в терминах классовой войны и ненависти. Точно так же в 1960-е годы сдвиги категориальной сетки носят не локальный характер, но затрагивают всю политическую семантику и все пространство административных инстанций. Подробнее перипетии борьбы автономной науки и науки «на службе практики» см.: Бикбов А. Т. Институциональная и смысловая структуры российской государственной научной политики 1990-х гг. Разд. 2.1.

Масштабная реорганизация 1960-х *восстанавливает* относительное равновесие между этими двумя полюсами, инкорпорируя академическую науку в структуры государственной власти и восстанавливая за понятием науки паритетную языковую ценность в понятиях «научно-технического прогресса», «науки как непосредственной производительной силы» и ряде с ними связанных. Этот сдвиг сопровождается «академизацией» государственного научного ведомства и частичное восстановление привилегий «чистой» науки, которые, помимо прочего, обязаны кооптации академического истеблишмента в высшее государственное руководство. В отличие от этого 2000-е годы отмечены обратной тенденцией: отрицанием ценности автономной науки и возвратом к определению науки через ее «пользу» и производственные функции, на сей раз в их коммерческом изводе³².

Четыре периода, ранее выделенные на интервале 1948–2014 гг., представлены в сводной таблице, отражающей административные траектории высших руководителей государственного научного ведомства³³. Как можно видеть, изменения эмпирического референта (типов высших административных карьер) соответствуют колебаниям между категориальными полюсами: автономией и «практической пользой» науки — оппозиции, институционализированной в 1920–1930-х годах; а также более позднего административного разделения 1960-х между прикладной и фундаментальной наукой. Вплоть до сегодняшнего дня символические и административные перемещения от одного полюса этих оппозиций к другому, со всеми коллизиями и перипетиями, сопровождающими работу и само существование профильного ведомства, определяют смысл политической «встречи» науки с государственным режимом на циклах средней длительности.

³² Более подробно понятийные и институциональные сдвиги в понятийном узле «науки» послесоветского периода будут описаны в этой главе далее.

³³ Биографические данные о руководителях советского периода собраны по различным источникам: энциклопедиям, справочникам, тематическим сборникам (в том числе цитируемым в этой главе). Данные о руководителях с 1990-х годов собраны и сверены с использованием различных интернет-источников.

ТАБЛИЦА 1. Траектории высших руководителей государственного научного ведомства и периодизация по ключевым понятиям, определяющим связь науки с политическим режимом

Годы руководства	Имя руководителя	Предшествующая административная позиция и специализация
I период, ключевое понятие — «усовершенствование техники»		
1948–1949	Малышев В.А.	Нарком (министр) тяжелого машиностроения (1939–1948); депутат Верховного Совета СССР (1939)
1949–1951	Вяткин А.Е.	Заместитель наркома станкостроения (1941–1946); председатель технического совета по механизации при Совете Министров СССР (1946–1948)
1955–1957	Малышев В.А.	Министр тяжелого и среднего машиностроения СССР (1949–1957); член Президиума ЦК КПСС (1952–1953)
1957–1959	Максареv Ю.Е.	Министр транспортного машиностроения (1950–1953); депутат Верховного Совета СССР (1946)
1959–1961	Петухов К.Д.	Директор Харьковского завода транспортного машиностроения (1950–е); министр тяжелого машиностроения СССР (1955–1957); председатель Московского городского Совета народного хозяйства (1957–1959)
1961	Хруничев М.В.	Министр авиапромышленности СССР (1946–1961); депутат Верховного Совета СССР (1946)
1961–1965	Руднев К.Н.	Заместитель министра вооружения СССР/председателя Госкомитета по оборонной технике (1952–1958); председатель Госкомитета СССР по оборонной технике (1958–1961)
II период, ключевое понятие — «научно-технический прогресс»		
1965–1980	Кириллин В.А.	Академик (1962), теплофизика и энергетика; вице-президент Академии наук СССР (1963–1965); депутат Верховного Совета СССР (1962)
1980–1987	Марчук Г.И.	Академик (1968), математика и физика, океанология; вице-президент Академии наук СССР (1975–1980); депутат Верховного Совета СССР (1979)
1987–1989	Толстых Б.Л.	Генеральный директор Воронежского завода полупроводниковых приборов и НПО «Электроника» (1980–е); заместитель министра электронной промышленности СССР (1985–1987)

Годы руководства	Имя руководителя	Предшествующая административная позиция и специализация
1989–1991	Лаверов Н.П.	Академик (1987), геология и экономика минеральных ресурсов; вице-президент Академии наук СССР (с 1988)

III период, ключевое понятие — «сохранение научно-технического потенциала»

1991	Малышев Н.Г.	Ректор Таганрогского государственного радиотехнического института (1986–1990), чл.-корр. Академии наук (1991), информатика
1991–1996	Салтыков Б.Г.	Заведующий отделом Института народнохозяйственного прогнозирования Академии наук СССР (1981–1991); заместитель директора Аналитического центра Академии наук СССР по проблемам социально-экономического и научно-технического развития (1991)
1996–1998	Фортов В.Е.	Академик (1991), теплофизика; председатель Российского фонда фундаментальных исследований (1993–1997); вице-президент АН (1996 [после назначения министром])

IV период, ключевое понятие — «инновационная экономика»

1998	Булгак В.Б.	Министр связи РФ (1990–1997); ранее (с 1983) — на иных должностях в Министерстве связи СССР и РФ
1998–2000	Кирпичников М.П.	Начальник департамента науки и образования Аппарата правительства РФ (1994–1998); заместитель министра науки и технологий (1998); академик (1997), физико-химическая биология
2000–2001	Дондуков А.Н.	Председатель Совета директоров акционерного общества «ОКБ им. А. Яковлева» (1994–2000)
2001–2003	Клебанов И.И.	Генеральный директор ЛОМО (1992–1997); первый вице-губернатор администрации Санкт-Петербурга (1997–1999); вице-премьер Правительства России (1999–2000); глава Совета директоров ОАО «КАМАЗ» (с 2000)
2003–2012	Фурсенко А.А.	Генеральный директор Регионального фонда научно-технического развития Санкт-Петербурга (1994–2001); председатель научного совета Фонда «Центр стратегических разработок “Северо-Запад”» (с 2000), заместитель министра промышленности, науки и технологий (2001–2003)
2012 — н.в.	Ливанов Д.А.	Статс-секретарь Министерства образования и науки РФ (2005–2007); ректор Московского института стали и сплавов (с 2007)

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ СДВИГ:

ОТ «НАУКИ НА СЛУЖБЕ ПРАКТИКИ» —

К «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ»

Как явствует из сказанного ранее, превращение Гостехники (ГКНТ) из сугубо технического ведомства в научно-техническое происходит в рамках обширной смены политических классификаций — трансформации всей категориальной сетки политического режима и государственной администрации. Данные социальной истории советских понятий свидетельствуют об одновременном протекании в ключевые периоды 1930-х, 1960-х и 1990-х годов множества отраслевых семантических «мутаций», которые ставят под вопрос ценность и иерархические позиции связанных между собой понятий-посредников универсалии «социализм». Суть необъявленной революции в поле научной политики по мере его становления в 1960-е годы как обособленной сферы государственного управления — в нейтрализации принципа партийности науки (1920–1930-е) за счет признания собственной ценности науки и техники в рамках новой, все более ориентированной на «личность» телеологии народного благосостояния, а также внешнеполитического курса на мирное сосуществование между странами с различным общественным устройством³⁴.

Официальное назначение науки в системе общественных производств покидает узкие рамки создания и использования промышленного оборудования, которые образуют понятийную сетку начального периода административных реформ на рубеже 1950–1960-х³⁵. Исходная формула согласуется со сталинским

³⁴ См. гл. IV наст. изд. Здесь уместно вспомнить о резолюциях XVI съезда ВКП(б) 1930 г., где присутствует формула «улучшение материального положения и быта рабочих» (Хрестоматия по истории КПСС. Т. 2. С. 161). В 1956 г. ее замещает более общая, одновременно универсальная и «буржуазная» формула: «рост благосостояния советского народа» (Там же. С. 401). Принятая в 1961 г. новая Программа КПСС официально утверждает парадигму мирного сосуществования двух систем. Прежде «мирное сосуществование» становится лейтмотивом совместных международных деклараций ряда коммунистических партий, см.: Декларации Совещания представителей коммунистических и рабочих партий социалистических стран (1957), Совещание представителей коммунистических и рабочих партий (1960).

³⁵ См. показательный с точки зрения используемых понятий сборник под редакцией председателя Гостехники: Технический прогресс в СССР,

«основным законом социализма», заявленным в 1952 г. и буквально воспроизведенным в Программе КПСС 1961 г. в качестве «цели социализма»: «Обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники»³⁶. В противовес этой формуле к середине 1960-х годов официальное определение науки и техники приобретает все более выраженный цивилизационный характер, вводя его в семантическое ядро социализма: научно-технические новшества, как «непосредственная производительная сила», обретают место в основании социального порядка. Наука по-прежнему подчинена принципу общественной пользы и служит победе социалистического строя в мировом соревновании. Эта победа, однако, зависит уже не только от прогресса политически нейтральной техники, но и от облагораживающей интеграции научных знаний и самой науки в общественное устройство. Благодаря этому советский политический режим приобретает новое качество, сближающее его с европейским «государством благоденствия», в той мере, в какой успех обоих обеспечивается не простым ростом экономических показателей, но всеобщим научным просвещением, так необходимым для осведомленного согласия управляемых³⁷.

Так, если в 1959 или в 1962 гг. при характеристике отдельных предприятий «научно-технический прогресс» определяется как усовершенствование машин, введение новой техники и ускоре-

1959–1965 гг. / под общ. ред. Ю.Е. Максарева. М.: Госпланиздат, 1960. Здесь «технический прогресс» все еще определяется через усовершенствование техники (см. «Предисловие»), что объективизирует позицию ведомства, локализованного на полюсе производства, а не академической науки.

³⁶ Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. М.: Госполитиздат, 1952. С. 8. Воспроизведение этой формулы в последующих редакциях можно проследить по тексту Конституции 1977 г.: «Высшая цель общественного производства при социализме — наиболее полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей» (ст. 15).

³⁷ Одну из объемных иллюстраций смены риторики предоставлял сборники официальных документов: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 9, 10. М.: Политиздат, 1972; 1986.

ние темпов производства³⁸, то в 1969 г. технический контекст уже явственно нагружен цивилизационными мотивами *социального прогресса*: «Иркутский обком партии... проводит... работу по мобилизации трудящихся на ускорение технического прогресса и повышение эффективности общественного производства. На отдельных предприятиях достигнут высокий уровень технической оснащенности, культуры и организации производства, освоен выпуск технически совершенных изделий»³⁹. Подобных примеров множество. «Усовершенствование техники» покидает прежние границы, образуя новые связи с «культурой производства» и «совершенством изделий»: при социализме нейтральная наука-техника оптимизирует социальные отношения. Этот сдвиг отражается в разнообразии контекстов категории «научно-технического прогресса» и в риторике «научного управления обществом», эксплуатация которой с конца 1960-х до середины 1980-х годов сопровождается неизменным ростом библиографического списка⁴⁰.

Датировать категориальный сдвиг можно и по партийным программным заявлениям, хотя поначалу он представлен здесь в менее отчетливой форме. В одном из официальных выступлений 1964 г., в разделе, посвященном научно-техническому прогрессу, можно обнаружить следующее высказывание: «Воздействие науки на производство и влияние ее на все стороны жизни народа неизмеримо возрастают»⁴¹. Между тем в упомянутой Программе КПСС 1961 г., гораздо менее новаторской в ее понятийном измерении, «научно-технический прогресс» по-прежнему определяется через «проектирование новых технических средств и освоение их в производстве», «технические усовершенствования

³⁸ КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1956–1960. Т. 9. М.: Политиздат, 1986. С. 438–443; Там же. С. 380; а также: Технический прогресс в СССР, 1959–1965 гг.

³⁹ КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1969–1971. Т. 10. М.: Политиздат, 1972. С. 92.

⁴⁰ Примеры заглавий, вписывающихся в эту тенденцию, предложены в начале главы.

⁴¹ О государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1965 год. Доклад А.Н. Косыгина на пятой сессии Верховного Совета СССР... С. 702. Примечательно, что это выступление принадлежит Косыгину: именно он вводит при правительстве институт академических экспертов, участвующих в разработке программы экономических реформ.

ния», «развитие производительных сил», «совершенствование технологий»⁴². Более плотный семантический поиск, вероятно, позволит локализовать этот сдвиг с еще большей точностью. Однако для наших целей вполне достаточно найденного интервала. Смысловой разрыв в определении науки и ее переопределение в качестве цивилизационного фактора социализма можно датировать хронологическим отрезком 1961–1964 гг.

Еще одной, возможно, даже более наглядной иллюстрацией той же динамики служит возвращение науке ее собственной этической ценности вместе с ценностью социальной — впервые после победы принципа партийности знания, который в 1930-е годы декларативно подчиняет науку требованиям партийной морали и дисциплины. Так, публично отвечая на вопросы газеты по теме «Наука и нравственность» в 1967 г., академик Александр Александров утверждает, что критерии точных и естественных наук «являются одновременно нормами нравственности»⁴³. Апология нравственности науки, предложенная академиком, так же показательна, как сама постановка вопроса редакцией: «В каком отношении находятся между собой рост знаний и моральные факторы?» Как и в случае «личности», чья свобода в тот же период уравнивает обременительное господство «коллектива», вопрос редакции публично провозглашает возможность паритетных отношений «науки» с «моралью». По сути, это иллюстрация скрытого разрыва с безусловностью классового и партийного подхода, который освобождает место для науки и техники как обособленной — и амбивалентной — социальной силы.

Взросшая *неопределенность* связей между партийностью (моралью) и политически нейтральным знанием (наукой) отражается в ближайшем контексте понятий одновременно с контекстуальными смещениями, которые сопровождают изменения смысла и ценности других ключевых универсалий советского режима, таких как «личность», «гуманизм», «право», чья социальная история прослеживается в двух предыдущих главах. В конечном счете вал литературы о социальных последствиях научно-технического прогресса, публикуемый с конца 1960-х годов официальными обществоведами, вызван

⁴² Там же. С. 553–555.

⁴³ Александров А.Д. Ответы на вопрос анкеты «Наука и нравственность» // Литературная газета. 1967. № 13.

необходимостью урегулировать новый скачок в неопределенности отношений между базовыми политическими категориями. Доктринальное определение науки в роли цивилизационного фактора, выкованное в течение ряда последующих лет, задействует в новых отношениях не только природу, преобразуемую по мере развития естественных наук. Оно настаивает на возможности «управления всеми общественными процессами», в стороне от которого не могут оставаться социальные дисциплины. Характеризуя науку в роли цивилизационного начала, уместно вспомнить приведенную ранее общую формулу, принадлежащую одному из идеологических виртуозов того периода: «[Наука] не только изменила характер производственных процессов, но и оказывает все возрастающее влияние на совершенствование общественных отношений людей»⁴⁴.

Вполне возможно, что своей исключительной политической ценностью категория «наука» была исходно обязана эйфорическим правительственным прогнозам, которые основывались на быстром (и нередко завышенном в официальной отчетности) росте экономических показателей второй половины 1950-х годов⁴⁵. Но даже если первоначально это и было иллюзией, таковая становится основой для масштабной трансформации режима, ведущей далеко за рамки отраслевой организации науки и официальных риторических упражнений по торжественным случаям. Иллюзия превращается в *illusio* — практическое коллективное верование, которое Пьер Бурдьё назвал главным интересом в игре, обеспечивающим ее продолжение⁴⁶. «Онаучивание» официальной формулы социализма, наряду с ее смещением в сторону «личности», наделенной «правами», «потребностями» и даже «вкусами», получает выражение в обновлении партийных и академических структур — создании аппарата академической экспертизы административных решений. Эти же изменения отражаются в частичной внутренней эмансипации науки, смяг-

⁴⁴ Трапезников С. Ленинизм и современная научно-техническая революция // Научно-техническая революция и современный прогресс. М.: Политиздат, 1972. С. 11.

⁴⁵ Безбородов А.Б. Власть и научно-техническая политика в СССР середины 50-х — середины 70-х гг. М.: Мосгорархив, 1997. С. 41–47.

⁴⁶ Бурдьё П. Практический смысл / пер. с фр. А.Т. Бикбова, Е.Д. Вознесенской, С.Н. Зенкина, Н.А. Шматко; под ред. Н.А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001. С. 128–132.

чив императивы «практической целесообразности» и заново легитимировав ее интернациональную ориентацию.

В целом признание цивилизационной роли науки как в гармоническом ключе («совершенствование отношений»), так и в агоническом, т.е. в мирном экономическом состязании социалистического государства с промышленно развитым Западом, становится решающим для частичной победы автономистских научных позиций над партийно ориентированными и изоляционистскими⁴⁷. Требование идеологической чистоты, сопровождающее международную изоляцию советских исследователей в сталинский период⁴⁸, в 1960-х годах сменяется референтной фигурой передовой (западной) науки и официальной переоценкой значения международных научных контактов⁴⁹.

Нужно отметить, что вера в потенциал науки, которая способствовала интернационализации всего советского режима, не становится исключительно советским феноменом. В тот же период или даже немногим ранее мы без труда обнаруживаем мировые аналоги, масштаб которых превращает *illusio* науки в *Zeitgeist*. В символических системах политических режимов, которые в 1950–1980-х годах находятся в состязательных отношениях с Советским Союзом, также заметны рост символической ценности «прогресса» и интеграция науки в национальную экономику и международные обмены. В этом отношении особенно показателен случай Франции позднего голлистского периода (1958–1968), в силу политической централизации сближающейся по ряду признаков с СССР. Среди прочего в это сближение вовлечен смысл науки как одной из основ «величия

⁴⁷ Такая победа находит выражение в общепризнанном структурном повороте рубежа 1950–1960-х годов: институционализации тех академических направлений, которые в предшествующий период подвергались остракизму как сомнительные с точки зрения принципа партийности: математическая экономика, генетика, кибернетика и ряд иных.

⁴⁸ В предшествующий период изоляция советских исследователей (в том числе поездки на зарубежные конференции, переписка и встречи с иностранными коллегами) распространяется не только на контакты с учеными из западных государств, но на коллег из восточных стран, принадлежащих социалистическому блоку (*Прозуменичиков М.Ю.* ЦК КПСС и советская наука на рубеже эпох (1952–1953) // За «железным занавесом»... С. 398).

⁴⁹ *Иванов К.В.* Наука после Сталина: реформа Академии 1954–1961 гг. // Науковедение. 2000. № 1. С. 196–197.

Франции»⁵⁰ и «национальной независимости» страны, прежде всего по отношению к США⁵¹. В 1953 г. будущий глава правительства Пьер Мендес Франс объявляет исследования национальным приоритетом⁵². Сама категория «научно-технический прогресс», хотя и не так широко, как впоследствии в СССР, используется во французском ведомственном обороте, куда попадает из международного уже в середине 1950-х годов⁵³. В конце 1950-х Франция и Россия разово обмениваются административно-экспертными делегациями, цель которых — взаимное ознакомление с практиками научного прогнозирования и предвидения⁵⁴. В 1958 г. во Франции создается специализированный орган, Общее представительство (*délégation générale*) научных и технических исследований, которому предписывается координация и планирование научных исследований. Тогда же начинает вестись статистика бюджетных расходов на исследования и разработки (в соответствии с рекомендациями ОЭСР). А с 1961 г. публикуются программы «согласованных действий» научной политики в разных секторах⁵⁵.

Таким образом, иллюзия производительной роли науки, включенная в определение социализма, оказывается действенной вдвойне, будучи подкреплена эмпирически не только национальным, но и международным балансом сил. Она сохраняет актуальность вплоть до конца 1980-х, скрепленная альянсом ГКНТ и Академии наук, этой опорой планомерного, предсказуемого и не сулящего никаких катаклизмов развития советского общества.

⁵⁰ Сведения из интервью с одним из сотрудников Общего представительства по исследованиям Комиссариата планирования в 1962–1969 гг., взятого совместно с Яном Даре в январе 2003 г. (Париж).

⁵¹ *Gilpin R. France in the Age of the Scientific State. Princeton: Princeton University Press, 1968. P. 3–17.*

⁵² *Chatriot A., Duclert V. Introduction. Un modèle politique Mendès France-de Gaulle interrogé // Le gouvernement de la recherche. Histoire d'un engagement politique, de Pierre Mendès France au général de Gaulle (1953–1969) / sous la dir. d'A. Chatriot, V. Duclert. P.: La Découverte, 2006.*

⁵³ Один из первых сборников, посвященных этой теме, — представительское издание трудов международной конференции: *Mémorial du Congrès international du progrès scientifique et technique. P.: Imprimerie Nationale, 1954.*

⁵⁴ Указанное интервью с членом Общего представительства по исследованиям (Франция). В 1970 г. подобная встреча повторяется.

⁵⁵ *Le Progrès scientifique. Programmes d'actions concertées. P.: La Documentation française, 1961–1981.*

VI. «Наука» без «прогресса»: послесоветская социология понятия

«Научно-технический прогресс» покидает центр официальной сетки категорий в начале 1990-х. Даже если можно указать «авторов», т.е. позиции и инстанции, ускорившие выход из оборота этой центральной категории 1960–1980-х, масштаб общего сдвига, равно как разброс инстанций в научном и административном пространствах, вдруг переставших определять научное производство через понятие «прогресс», слишком велик, чтобы можно было соотнести его с чем-то иным, нежели с изменением позиции всего научного производства в государственных иерархиях. Иными словами, можно установить *гомологию* между этими синхронными процессами, но не причинно-следственную связь, привязанную к какому-то одному событийному центру.

ОТ «ПРОГРЕССА» К «ПОТЕНЦИАЛУ», ИЛИ В НАПРАВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА

Начав с тематики публикаций, мы обнаружим отчетливый категориальный разрыв, приходящийся на пороговый период конца 1980-х — начала 1990-х. Как в общей массе литературы (включая наличие отдельной тематической категории в библиотечных классификаторах), так и в текстах законодательства категория «научно-технический прогресс» используется до 1989 г. включительно. Так, в электронной библиографической базе ИНИОН по науковедению, в списке из 7336 наименований, содержащих ключевое словосочетание «научно-технический прогресс» (на март 2002 г.), последние публикации датированы 1989 г. Этот отчетливый порог нельзя объяснить одним только техническим изменением библиографического классификатора, поскольку точно такая же картина наблюдается в заглавиях публикаций. Помимо того, пересмотр классификатора также предполагает вопрос о генезисе новых категорий. Обращение к бумажным

каталогам ИНИОН и Российской государственной библиотеки несколько отодвигает хронологическую границу: куда менее многочисленные работы и диссертации, в заглавиях которых значится эта категория, публикуются вплоть до 1991 г., а единичные публикации (чаще диссертации) встречаются вплоть до 1995 г.

Таким образом, вал публикаций о «научно-техническом прогрессе» прекращается в *той же точно* период, когда Академия наук утрачивает свое привилегированное экспертное место в государственных иерархиях, и ее место занимают диффузные группы экспертов, носители либеральной политической повестки. Этот разрыв оформлен не только доктринально, статистически и технически, но также юридически. Если в 1983 г. принимается постановление «О мерах по ускорению научно-технического прогресса»¹, которое дополняется в 1987 и 1988 гг., а в текстах постановлений 1987–1989 гг. данная категория все еще употребляется как элемент рутинного бюрократического языка², то уже в официальных юридических актах 1990–1992 гг. она отсутствует³. Нет ее также в постановлении 1989 г. о создании инстанции нового типа, Инновационного фонда⁴. Вместо «научно-технического прогресса» здесь и в иных «новых» постановлениях используется категория «научно-производственного» (1989) и «научно-технического потенциала» (с 1991)⁵. Этот факт юридического языка, отмечающий формирование «новых»

¹ Постановление Совета Министров РСФСР от 19 декабря 1983 г. № 560 «О мерах по ускорению научно-технического прогресса в народном хозяйстве РСФСР».

² См., например крайне либеральное по своей интенции, но использующее эту категорию постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 сентября 1987 г. № 1102 «О переводе научных организаций на полный хозяйственный расчет и самофинансирование».

³ См., в частн.: Указ президента СССР от 23 августа 1990 г. № 627 «О статусе Академии наук СССР» или один из первых научно-политических указов президента России «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации» 1992 г.

⁴ Постановление Совета Министров СССР от 29 декабря 1989 г. № 1174 «Об Инновационном фонде при Государственном комитете СССР по науке и технике».

⁵ Распоряжение Президента Российской Федерации от 3 августа 1991 г. № 9-рп «О мерах по более полному использованию научного потенциала региональных отделений Академии наук СССР».

инстанций, таких как научные фонды Иннофонд и РФФИ⁶, а также новых представлений о научной политике, официально закрепляемых с 1991 г., заставляет напрямую связывать замещение категории «научно-технического прогресса» категорией «научно-технического потенциала» с победой либерал-реформистской доктрины и «либерализацией» официального политического курса. Иными словами, сугубо *техническое*, на первый взгляд, замещение «прогресса» терминологией «потенциала» полностью раскрывается в *политическом* смысле перехода от одного политического режима к другому.

Отказ от официального использования понятия «прогресс» прочно связан с риторикой «кризиса», «недостатков» и «отставания» советской (российской) науки, которая получает официальное признание и хождение, выступая одним из рычагов политических реформ. Чтобы лучше понять логику категориального сдвига, следует зафиксировать исходный контекст понятия «потенциал». Вероятнее всего, его источник — методики по учету и планированию научных кадров, ресурсов и в целом по управлению научно-техническим прогрессом, которые вводятся в 1970-е годы⁷. Помимо прочего, об этом свидетельствует активное использование категории «потенциал», в том числе в форме «кадровый потенциал» и «технический потенциал», в специализированной литературе начала 1980-х годов⁸. Иначе говоря, данная категория используется как вспомогательная и техническая по отношению к явственно доктринальной категории «научно-технический прогресс». Согласно одному из типовых определений, «научно-

⁶ См. далее в настоящей главе.

⁷ В 1970 г. в переводе на русский язык выходит техническое руководство ЮНЕСКО: Пособие по инвентарному описанию научно-технического потенциала. Сбор и обработка данных. Управление системой НИР. ЮНЕСКО, 1970. См. также: *Ляхтин Г.А.* Организация советской науки: история и современность. М.: Наука, 1990. С. 171–179. Наконец, в 1985 г. авторы одной из специализированных работ указывают: «Сам термин „научно-технический потенциал“ за последние 10–15 лет получил широкое распространение» (Социальные и экономические проблемы повышения эффективности науки / под ред. Т.В. Рябушкина. М.: Наука, 1985. С. 187).

⁸ См., напр.: Социальные и экономические аспекты повышения эффективности науки в свете решений XXVI съезда КПСС. Тезисы научно-практического симпозиума. Москва, 1–3 июня 1981 г. (особенно секция 5. С. 186–214).

технический потенциал следует рассматривать как совокупность возможностей для осуществления научно-технической деятельности», а также как «необходимые условия для научно-технического развития»⁹. Более явную связь между «потенциалом» и «прогрессом» устанавливает формула в одном из законодательных актов, датируемая второй половиной 1980-х: «В стране создан мощный научно-технический потенциал, который позволяет решать многие сложные народнохозяйственные задачи. Вместе с тем... научно-технический прогресс в стране затормозился»¹⁰. Здесь отношение между научно-техническим прогрессом как центральной категорией и научно-техническим потенциалом как учетно-вспомогательной в полностью сформировавшейся к тому моменту категориальной сетке вполне очевидно: потенциал выступает ресурсной основой прогресса, находясь с ним в отношениях, изоморфных отношению базиса к надстройке.

Признание «отставания» советской науки и критика советской научной политики, которая в начале 1990-х годов ведется экспертными центрами, еще недавно решавшими ведомственные задачи по учету научных кадров, планированию развития научно-исследовательских институтов и т.д.¹¹, усиливает смысл «прогресса» как опровергнутой идеологии прежнего политического порядка. Второстепенная категория «потенциал», которая занимает ее место в официальной государственной речи, уже не связана с императивом «превосходства» социалистического строя. Однако даже открытая критика советской организации науки не вполне объясняет произошедший сдвиг. Прежде всего потому, что он является скорее *результатом*, нежели источником смены официальных классификаций.

⁹ Социальные и экономические проблемы повышения эффективности науки... С. 187. Исходное определение дается в тех же нейтральных терминах пособия ЮНЕСКО 1970 г., где «научно-технический потенциал» определяется как «совокупность наличных ресурсов, которыми располагает страна для научных открытий, изобретений и технических новшеств, а также для решения национальных и международных проблем, выдвигаемых наукой и ее приложениями» (Пособие по инвентарному описанию... С. 21).

¹⁰ Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 17 июля 1987 г. № 817 «О повышении роли Государственного комитета СССР по науке и технике в управлении научно-техническим прогрессом в стране».

¹¹ См.: Научные кадры СССР: динамика и структура / под ред. В.Ж. Келле. М.: Мысль, 1991. С. 10–19.

Действительным мотором движения категорий является смена недоктринальных, *технических* классификаций, которая приобретает политический смысл и которую я подробно рассмотрю в этой главе далее. Если обратиться к международным руководствам, послужившим референтными источниками для реформы науки, мы обнаружим, что понятие «научно-технический потенциал» («научно-технические ресурсы»), так же как понятие «инновация», входит и в рутинизированную систему учета научного производства, и в базовые определения науки уже в 1980-е годы. Такова, в частности, картина, представленная в рекомендациях ЮНЕСКО по статистике науки¹², изменений в которой я также коснусь далее.

Предлагая сугубо технические определения, предназначенные для сопоставления национальных показателей на общем основании¹³, подобные классификации «чисто» технически нивелируют политический смысл ряда категорий, парадоксальным образом приводя к еще более глубоким политическим следствиям. В частности, через смену аппарата научной статистики, который приближает национальную систему учета к международной, они позволяют иерархизировать национальные производства в господствующих международных классификациях, присваивая им позиции в международном балансе сил и, как следствие, влияя на ценность «науки» во внутригосударственных иерархиях.

Активизация международных инстанций в пространстве послесоветской политики синхронизирована со сдвигами в материальной инфраструктуре научного производства: моделях и объеме финансирования институтов, конструкторских бюро, межотраслевых научно-технических комплексов. Выступая эмпирическим референтом «научно-технического прогресса», утрачивающим административное влияние, подобные инстанции генерируют меньшую символическую ценность воспроизводимых ими понятий семантического кластера «науки». В свою очередь, определяя науку через экономическую (не)эффективность, (не)возможность поддержания громозд-

¹² Пособие по инвентарному описанию...; Пособие по статистике в области научно-технической деятельности. П.: ЮНЕСКО, 1984.

¹³ Международные нормативные акты ЮНЕСКО: конвенции, соглашения, протоколы, рекомендации, декларации / сост. И.Д. Никулин. М.: Логос, 1993. С. 556, 566.

кой системы советских исследовательских учреждений, новая либеральная доктрина разрывает связь «научно-технического» с понятием национального величия и благосостояния. В сравнении с предшествующим периодом перспектива инвертируется: уже не наука выступает в роли цивилизационной основы государственного режима, но государство становится содержанием «кризисной» науки¹⁴. Все эти изменения, происходящие одновременно в доктринальном и техническом измерениях категориальной системы, в некотором смысле попросту отменяют «научно-технический прогресс».

Следует заметить, однако, что категория «научно-технический прогресс» не исчезает из официального словаря научной политики окончательно. Ее точечное присутствие в ряде контекстов оказывается не менее важным диагностическим показателем, чем прекращение вала тематических публикаций в момент институционального разрыва с прежним политическим режимом. Нечастое появление этой категории можно проследить по выступлениям государственных чиновников и законодательным текстам вплоть до начала 2000-х годов. Например, оно присутствует в президентском обращении к Федеральному Собранию 2002 г., где ему, впрочем, возвращено узкое техническое определение начала 1950-х годов: «Наша экономика пока недостаточно восприимчива и к достижениям научно-технического прогресса. Значительная часть предприятий практически не вкладывает средств ни в создание новых технологий, ни в модернизацию старых»¹⁵. Сохраняется эта категория и в бюджетных классификациях, в расходной строке «Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу». Такая неполная «очистка» официальных классификаций 2000-х годов от понятий предшествующего периода только подчеркивает произошедшую инверсию, в ходе которой прежде техническая категория

¹⁴ См., например, ретроспективный обзор реформы научного производства начала 1990-х годов бывшего министра науки: *Салтыков Б. Реформирование российской науки: анализ и перспективы // Отечественные записки. 2002. № 7. Более подробно следствия этой инверсии анализируются ниже в данной главе.*

¹⁵ Из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации // *Курьер российской академической науки и высшей школы. 2002 (CD). № 4.*

«научно-технический потенциал» занимает центральное положение, выполняя функции доктринальной.

Тот же поворот в базовом определении науки позволяет проследить корпус законов и программных документов о науке и научно-технической политике, формирующийся с середины 1990-х годов. На деле законотворческая активность этого периода позволяет лучше понять отсутствие специализированного законодательства о науке в советский период. Прежде всего сам факт принятия закона окончательно фиксирует определение науки как одной из сфер экономики, поддерживаемой государством. Первый, нереализованный проект закона готовится в Верховном Совете СССР еще в 1991 г., а возврат к попытке юридически оформить новый *status quo* в пространстве научной политики датируется периодом первой стабилизации нового политического режима в 1995–1996 гг. Принимаемые во второй половине 1990-х годов законы и доктрины окончательно оформляют отраслевой характер науки и фиксируют определение научного производства как одного из секторов общенационального экономического рынка.

Первый принятый Закон о науке и государственной научно-технической политике (1996) становится компромиссным образованием, где наука уже не наделяется цивилизационной ролью, хотя основным агентом научного производства остается государство. Рассматривая текст Закона как операционализацию господствующего в этот момент представления о науке, мы обнаруживаем показательно амбивалентную схему. С одной стороны, Закон фиксирует автономию научного производства и признает рынок научных разработок, который еще предстоит создать государству (ст. 12, п. 2)¹⁶. С другой стороны, государство (его федеральные органы) фигурирует здесь владельцем-монополистом, который сам устанавливает приоритеты и финансирует основные научные организации посредством прямых заказов. Закон регламентирует отношения между научными организациями и государством, учеными и государством, одними государственными органами и другими... Иначе говоря, *de facto* государство по-прежнему признается учредительной фигурой

¹⁶ Этот пункт о «формировании рынков научно и (или) научно-технической продукции» государственными органами исключен из закона в 2004 г.

научного сектора. Однако само появление закона, который регламентирует этот сектор, неявным образом ставит под вопрос прямую и монопольную административную регламентацию науки как государственного предприятия.

То, что происходит в середине 1990-х годов, представляет собой новый символический разрыв, который следует за сдвигом в институциональном балансе сил. Введение инновационной модели в основу ведомственной доктрины Министерства науки (в 1998–1999), о которой я уже кратко упоминал в предыдущей главе, отменяет определение научного сектора через государственное управление. Концепция инновационной политики на 1998–2000 гг. (утверждена в 1998), Концепция межгосударственной инновационной политики СНГ до 2005 г. (утверждена в 2001) и Проект закона об инновационной деятельности и государственной инновационной политике (2002) регламентируют отношения между агентами общенационального экономического рынка, в число которых попадают научные организации и в ряду которых государство выступает уже не административным центром, но прежде всего крупным инвестором, отчасти, гарантом рисков. Его монопольная роль на рынке научных разработок обеспечивается уже не полным административным контролем над производством, но стратегическим преимуществом в различных секторах рынка¹⁷. Наконец, экономический поворот, предписанный науке в президентском послании 2002 г., в некотором смысле завершает цикл административных и политических реформ науки, открытый в 1991 г.: «Понятно, что модель научно-технического прогресса прошлых лет, помпезную и архаичную модель одновременно, восстанавливать нецелесообразно... Надо помочь российским разработчикам встроиться в мировой венчурный рынок, рынок капитала, обеспечивающий эффективный оборот научных продуктов и услуг, и начать эту работу в тех сегментах мирового рынка, которые действительно могут занять отечественные производители»¹⁸.

¹⁷ В текстах 1996, 1998 и 2001 гг. немало общего. Они во многом наследуют общей базовой модели, хотя и объективируют изменившийся баланс сил, в частности, разрыв с определением науки через государственное управление с задержкой в несколько лет.

¹⁸ Из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.

Таким образом, переход от «научно-технического прогресса» к «научно-техническому потенциалу» завершается в 2000-х годах не только переопределением политической функции науки, но и сдвигом в его *экономическом* измерении — от «отрасли народного хозяйства» к «сектору международного рынка». В рамках нового определения, где соединяются экономические (состязательность науки) и технические (ее эффективность) основания, категории «наука» ставится в соответствие экономический рынок. Определение «пользы науки» сдвигается от поддержания национальной экономики и укрепления национальной безопасности, этих ритуальных формул 1990-х, к окупаемости научной продукции в ряду прочих производств, благодаря которой возможен выигрыш в международном экономическом состязании. В целом категориальный сдвиг, завершающийся в начале 2000-х годов, сближает новое определение науки с господствующей в 1930–1950-х годах формулой «наука на службе практики», в противовес официальному признанию ценности автономной науки 1960–1980-х, которое отражено в цивилизационных коннотациях категории «научно-технический прогресс». Парадоксальным образом, экономически нерентабельная, создающая цивилизацию наука в официальных документах и суждениях нового политического порядка наделяется негативной ценностью вместе с советской административно-командной системой. Она локализуется на том смысловом полюсе, который становится точкой отталкивания для либерального проекта политической демократизации и экономической дерегуляции в начале 1990-х. В контексте этого разрыва цивилизационный оптимизм «научно-технического прогресса», этого продукта предшествующего витка либеральных реформ начала 1960-х годов, сменяется техницизмом экономического «потенциала». В понятийной сетке происходят дальнейшие перестановки. Наиболее общее определение пользы науки отныне тяготеет к экономической отдаче государственных вложений, в пределе — к «рынку»: научных технологий, венчурного капитала и даже рынку оружия, через который официальная риторика 1990-х переопределяет вопросы национальной безопасности¹⁹.

¹⁹ В качестве примера середины 1990-х годов см. президентское послание к Федеральному Собранию 1996 г. К концу 1990-х связь вопроса национальной безопасности с рынком вооружений приобретает статус фигуры здравого смысла, усвоенной СМИ. Так, во всех номерах «Не-

1991: «РАЗРУШЕНИЕ» ИЛИ «СОЗДАНИЕ»?

Как можно видеть, радикальный сдвиг 1990-х годов в понятийных и административных структурах политического режима происходит не только в ходе перенастройки оппозиций, связывающих между собой советские универсалии, но и в результате включения в политический словарь новых, во многом табуированных прежде понятий, таких как «рентабельность», «рынок технологий», «прибыль». При смысловых сближениях, например, между понятиями «инновация» конца 1990-х и «внедрение» 1970–1980-х основополагающее политически маркированное различие между ними состоит в контекстуальном определении первой через «научно-технические проекты с повышенной степенью риска», «вневедомственную экспертизу»²⁰ и, конечно, «рынок», которые отсутствуют в символической системе предшествующего периода. Иные понятия словаря государственной научной политики, такие как «приоритетные направления исследований», приобретают в новой категориальной сетке смысл вплоть до противоположного, будучи перекодированы из поощрительных в селективные. Дело в том, что в предшествующий период научная деятельность по «приоритетным направлениям» сопровождается дополнительным финансированием, наряду с базовым (институциональным); в 1990-е годы, при сокращении базового, выпадение исследования из числа «приоритетных» сопряжено с риском его прекращения. Эта картина не будет полной, если не принимать в расчет того, что уже в 1970-х годах ряд тематических понятий, вписанных в модель рентабельности знаний, например, «самоокупаемость» и «хозрасчет», локально используется в государственной научной политике²¹. Однако они не могут

зависимой газеты» с приложениями в 1999 и 2000 гг. словосочетание «рынок вооружений» вместе со словом «Россия» встречается в тех же публикациях, что и «национальная безопасность» вместе со словом «Россия» (45 раз в 1999 г. и 30 раз в 2000 г.).

²⁰ Именно так оно было сформулировано еще в 1989 г. в списке специфических задач новой инстанции, Инновационного фонда (Об Инновационном фонде, п. 5).

²¹ В качестве позднего примера можно привести статью, проблематизирующую экономические отношения между исследовательской и хозяйственной логикой в такой модели НИИ: Нуреев Р. Научно-производственные объединения и проблемы ускорения научно-технического прогресса // Вопросы экономики. 1985. № 1.

претендовать на характер универсалий, пока действует табу на категорию «свободный рынок» и не существует эмпирического референта, который сделал бы возможными корректные операции с данным понятием.

Безусловно, 1990-е годы дают множество иллюстраций тому тезису Райнхарта Козеллека, что, объективируя свое проектное регулятивное содержание, понятия производят новую реальность. В этот период мы обнаруживаем ранее стигматизированные и вполне успешно реализованные универсалии «буржуазного общества», такие как «свобода слова», эмпирическим референтом которой в течение ряда лет выступают относительно автономные СМИ и журналистские коллективы. Но здесь же мы находим социальные и политические смысловые кластеры, сформированные вокруг понятий «демократия», «рыночная экономика», «научная конкуренция», «средний класс», которые, несмотря на отсутствие у них отчетливых эмпирических референтов, в течение по меньшей мере десятилетия занимают ключевые позиции в понятийной сетке нового режима, выступая понятиями-проектами с постоянно отсроченным потенциалом реализации. Обилие «недореализованных» понятий, строго говоря, не создает дополнительных методологических трудностей в исследовании. Точно так же как иллюзорны одно-однозначные соответствия между понятием и практикой в советской категориальной сетке, не могут быть подвергнуты подобной проверке и понятия нового режима. Ключевую роль в анализе сдвигов и стабилизации смыслов играет не изолированное отношение между концептом и референтом, а контекстообразующая связь понятий между собой, с учетом синхронных процессов в структурах государственной администрации.

Вместе с тем, следуя за относительно недавними изменениями, нельзя не отметить, в какой мере способ обращения с политическими универсалиями и понятийной сеткой в целом зависит от места самих высказывающихся в структуре референтной, в частности, институциональной реальности. Так, в речи представителей академического истеблишмента научное десятилетие 1990-х годов зачастую тематизируется как «развал» и «катастрофа»: «Катастрофическое снижение финансирования науки, безусловно, составляет угрозу национальной

безопасности России»²². Этот тип высказывания, как и комплементарная ему риторика «спасения науки», отражает инверсию ценности «научно-технического прогресса» (вместе с резким падением символической ценности академической науки) и полностью согласуется с утратой Академией функций государственной экспертизы²³. Взгляду изнутри исполнинской институции, находящейся в перманентном кризисе, но сохраняющей в 1990-е годы почти неизменный численный состав²⁴, научный пейзаж представляется в виде пустошей и руин. Узнать, что в действительности происходит в символическом и административном пространстве, выстраивающемся вокруг понятия «наука», возможно, лишь соотнеся инволюцию «старых» институций с учреждением новых, а также уделив внимание внутри- и межинституциональным напряжениям, которые им вызваны.

Программа реформ науки начала 1990-х годов предполагает снижение общего объема научных затрат и численности научных работников, в частности, сокращение числа сотрудников академических институтов. В 1992 г. руководство Миннауки за-

²² Месяц Г.А. Спасти науку. М.: Наука, 2000. Это один из образцов во многом типичного высказывания о состоянии науки в докладе «О роли науки в обеспечении безопасности России в оборонной сфере» (исходно 1997). В целом обильный материал для тематического и семантического анализа содержится в околоакадемической публицистике, см., напр.: Осипов Г.В. Академия наук под ударом // Независимая газета. 2001. 23 февраля; Добрецов Н. Академическая реформа или путь разрушений // НГ-наука. 2011. 20 июня; Келле В., Мирская Е., Жанови В. О перспективах академической науки // Там же; и др.

²³ На деле восстановление функций главного экспертного центра часто значится в списке срочных мер по спасению Академии одним из первых. В различных контекстах это требование воспроизводится вплоть до настоящего времени. В том числе в не вполне очевидных, таких как борьба с лженаукой: Академик В. Захаров: «Мы должны отстоять экспертную функцию Академии наук» // Троицкий вариант. 2009. № 44.

²⁴ В 1987–1994 гг. численный состав Академии наук почти не меняется, составляя более 60,5 тыс. сотрудников (Народное хозяйство СССР в 1987 году. Статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1988. С. 26; Краткий сборник статистических сведений о Российской Академии наук 1994 г. [эл. ресурс], в настоящее время недоступен). Это вдвойне любопытно, учитывая как ощутимое снижение средних зарплат, так и массовый уход 20–40-летних из академического сектора в коммерческий в начале 1990-х годов.

казывает ОЭСР обзор состояния российской научной сферы²⁵, ряд выводов и рекомендаций которого одобрительно озвучиваются министром²⁶, а впоследствии многократно переозвучиваются как с прореформаторских, так и с контрреформаторских позиций²⁷. Помимо сокращения численности Академии наук и ее реструктуризации, реформа Миннауки предполагает отказ от «сплошного» финансирования научных исследований и переход к целевым программам, конкурсному финансированию и приоритетным направлениям, которые призваны снизить долю неэффективных бюджетных трат²⁸. Это также серьезно затрагивает позиции Академии, поскольку обширная система исследовательских институтов обеспечивается механизмом базового финансирования, резко сниженного в начале 1990-х годов вместе со снижением всех бюджетных расходов на научные исследования. Поэтому одна из ключевых коллизий 1990-х, одновременно понятийных и административных, объективируется в оппозиции базовой и конкурсной моделей научного финансирования. Ниже я подробнее остановлюсь на этой коллизии и ее институциональных реализациях.

При переходе с уровня глобальной институциональной и доктринальной реформы на уровень индивидуальных карьер снижение позиции «науки» в символических иерархиях не менее красноречиво иллюстрирует показатель относительной заработной платы в этом секторе. В 1987 г. этот показатель составляет 104,1% средней заработной платы по экономике, в 1988 г. — 109,1%, в 1989 г. — 121,5%, в 1990 г. — 112,5%. В 1991 г. этот показатель составляет уже 94%, а в 1992 г. — 64,4%²⁹. Ины-

²⁵ Научно-техническая и инновационная политика: Российская Федерация. Т. 1. Оценочный доклад. П.: ОЭСР, 1994.

²⁶ Министр науки Борис Салтыков дал пресс-конференцию // Российские вести. 1993. № 187.

²⁷ См., напр.: Кугель С.А., Давидюк С.Ф. Структура и динамика научных кадров // Социальная динамика современной науки / под ред. В.Ж. Келле. М.: Наука, 1995. С. 50; Ваганов А. Страна любопытных // НГ-Наука. 1998. № 11.

²⁸ Кокурина Е. О кризисе без истерики рассуждает министр науки и технической политики РФ Борис Салтыков // Общая газета. 1996. № 30; Борис Салтыков: Нет сплошному фронту (интервью с Е. Кокуриной) // Новая Сибирь. 1996. № 105.

²⁹ Сводные данные по нескольким источникам: Квалифицированные кадры в России. М.: ЦИСН, 1999. С. 238; Наука в России: 2001. Офици-

ми словами, в пиковый 1989 г. научное производство как крупное предприятие, финансируемое более чем на 90% из государственного бюджета, остается пространством государственной карьеры с высокими социальными гарантиями. Разрыв почти в 2 раза между значениями на кратком интервале 1989–1992 гг. совпадает, с одной стороны, с началом массового ухода работников из научных учреждений³⁰, а с другой — с вхождением иностранных фондов в национальное научное пространство и, в целом, с началом формирования конкурсной системы финансирования научных исследований. Именно последняя выступает главным контраргументом против взгляда на науку как «руины», столь характерного для высшего академического истеблишмента.

Относительное и абсолютное снижение заработной платы в научном секторе наряду с дифференциацией источников дохода ведет к дифференциации профессионального корпуса. Наряду с обширной фракцией «проигравших» в ходе реформ формируется фракция научных «победителей», которые получают преимущества от участия в грантовой системе и множественной занятости. По результатам опросов, проведенных Центром исследований и статистики науки в 1996 г., не менее половины опрошенных ученых имели дополнительный заработок или дополнительное место работы³¹. При этом дополнительный заработок исследователей не обязательно локализован в научном секторе. Появление новых интеллектуальных предприятий: учебных заведений (с занятостью по совместительству), новых журналов и издательств (с зыбкой системой гонораров), зарубежных фондов и программ международного сотрудничества (с систематически обновляемыми темами и приоритетами), консультационных услуг (с поиском заказчиков) — приводит к дисперсии центров сил как в самом научном производстве, так и в более широком пространстве возможных профессиональ-

альное издание. М.: Госкомстат, 2001. С. 70. Подробнее, в том числе соотношение по годам со средними расходами на гражданскую науку, см.: Бикбов А.Т. Институциональная и смысловая структуры российской государственной научной политики 1990-х гг.: дис. ... канд. социол. наук. М., 2003. § 3.1.1.

³⁰ Сокращение почти в 2 раза общего числа исследователей с 1990 по 1994 гг. (Наука России в цифрах: 1997. Краткий статистический сборник. М.: ЦИСН, 1997. С. 26).

³¹ Квалифицированные кадры в России... С. 146.

ных траекторий. Бюджетное финансирование нередко служит ключевым источником дохода³², который при этом все более растворяется в новых формах³³. Модель близкой к идеалу стратегии научной группы рисует под конец этой эпохи сотрудник государственного научного фонда: «В принципе, мощная передовая группа ученых, которая действительно занимается актуальными вещами и на высоком уровне, получает и из базового [финансирования], и по госпрограмме, и от [нашего] Фонда. И кормится больше, [а значит] станет богаче, чем другие группы института»³⁴. В гораздо большей мере, нежели единицей крупной (индустриальной) государственной организации, научная группа или институт оказывается *малым* предприятием. Разнообразие одних только государственных форм финансирования предполагает реструктурирование успешных профессиональных стратегий и их переориентацию от ведомственных к конкурсным источникам.

СТАНОВЛЕНИЕ «ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»: ТЕХНИЧЕСКОЕ КАК ПОЛИТИЧЕСКОЕ

Если для индивидуального ученого или научной группы профессиональный успех в 1990-х годах все более определяется доступом к вневедомственным источникам финансирования, то в административной структуре науки успех реформ тесно связан с появлением центров «вневедомственной» и «независимой» научной экспертизы, которые успешно замещают прежде единого исполнителя государственной экспертизы — академические институты. Наиболее известный сегодня пример подобных инстанций — это государственные научные фонды, которые действуют в секторе академической науки (РФФИ и РГНФ). Однако хронологически первенство принадлежит не им. Первыми

³² Согласно официальным данным, к концу 1990-х годов бюджетные средства продолжают составлять около 50% внутренних национальных расходов на научные исследования.

³³ Так, с 1994 по 1997 г. доля финансирования исследований через три государственных научных фонда (РФФИ, РГНФ и ФСР МФП НТС) увеличилась с 4,2 до 7,6%, а в 1999 г. составила почти 8% (рассчитано по: Наука России в цифрах: 1997. С. 43; и данным бюджетных расходов на сайте <www.budgetrf.ru>, в настоящее время недоступен, последний доступ 20.02.2003).

³⁴ Интервью с сотрудником РФФИ (июнь 2001 г.).

институционализируются экспертные центры, которые практически фиксируют новый смысл «научно-технического прогресса» — проблематичный характер связи между научной политикой и государственным управлением. Самые первые попытки такого рода относятся к концу 1980-х и обладают отчетливо выраженным компромиссным характером, поскольку все еще тесно связаны с категориальной системой «научно-технического прогресса». Инновационный фонд при ГКНТ, учрежденный в 1989 г. «для содействия ускоренной разработке и освоению нововведений в области науки и техники», предполагает ведение «вневедомственной экспертизы научно-технических проектов». При этом сам Иннофонд остается в подчинении ГКНТ и по широкому ряду полномочий (создание хозрасчетных и совместных предприятий, ведение внешнеэкономической деятельности) во многом сохраняет черты ведомственной модели³⁵. В 1991 г. Иннофонд переучреждается как республиканское ведомство, а уже в конце 1992 г. ликвидируется как «не обеспечивший выполнение возложенных на него задач»³⁶.

С 1991 г. можно ожидать появления экспертных центров нового типа, которые выступали бы самостоятельными игроками на формирующемся рынке консультационных услуг. В противоположность этому, инстанции «вневедомственной экспертизы» создаются в первую очередь как подразделения одного или нескольких «старых» заведений, порой открыто эксплуатирующих понятийную контаминацию «независимой государственной экспертизы». Именно так заявляет о себе Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы (РИНКЦЭ), созданный уже в 1991 г. при Госкомитете науки высшей школы РСФСР, в статусе научно-исследовательского института³⁷. Совмещая самоатрибуцию «независимого» и «го-

³⁵ Ранее цит. постановление «Об Инновационном фонде при Государственном комитете СССР по науке и технике».

³⁶ Постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1992 г. № 850 «О ликвидации Республиканского Инновационного фонда». П. 1.

³⁷ На актуальной версии сайта в презентации Центра (<www.extech.msk.ru/rtsce/info.php>, последний доступ 12.02.2013) сохранилось только понятие «государственной экспертизы»: устранена вторая часть смелой конструкции, атрибуция «независимой», которая присутствовала в рекламных буклетах и на сайте еще в начале 2000-х.

сударственного», эти центры действуют и в ведомственном секторе, и на складывающемся рынке консультационных услуг. В том же 1991 г., в двойном подчинении Миннауки и Академии наук создается Центр исследований и статистики науки (ЦИСН), один из ключевых проводников реформы научной статистики, организации экспертиз по научным приоритетам, составитель справочника российских научных организаций³⁸. Тогда же в двойном подчинении Миннауки и Минобразования создается (в статусе научно-исследовательского института) междисциплинарный центр ИСТИНА, который предлагает анализ «состояния российской науки», организует семинары по научным приоритетам с участием нескольких ведомств, участвует в подготовке законопроектов о науке, о наукоградах и т.п. В 1993 г. на базе Аналитического центра по проблемам научно-технического и социально-экономического развития при Президиуме Академии наук (1990) создается (в том же статусе научно-исследовательского института) Аналитический центр по науке и промышленной политике Миннауки (АЦНПП), который предлагает мониторинг науки и анализ научной политики, участвует в подготовке научного законодательства и разработке научных приоритетов³⁹.

Вклад этих центров в определение политического режима, на первый взгляд, минимален. Это особенно очевидно при сопоставлении масштабов их деятельности с обширным государственным и коммерческим секторами, где административные решения принимаются без предварительной научной экспертизы. Вместе с тем именно они технически и символически переопределяют внутреннее пространство научной политики, сопровождая его перевод из универсального регистра «научно-технического прогресса» и национального планирования в

³⁸ Центр действует и в настоящее время в статусе Федерального государственного бюджетного научного учреждения в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации. В 2002 г. Леонид Гохберг, один из руководителей, покидает Центр, чтобы создать Институт статистических исследований и экономики знаний при Высшей школе экономики — экспертную инстанцию, активную в двух секторах экспертизы: государственной и коммерческой.

³⁹ В 2000 г. Центр объединен с ВНИИ экономических проблем развития науки и техники при Миннауки (1971) в Российский НИИ экономики, политики и права в научно-технической сфере, в настоящее время — в ведении Министерства науки и образования.

отраслевой. То есть именно через эти своего рода *институциональные реле*, с их компромиссом между ведомственным и рыночным подчинением, прежний государственный режим «научного управления обществом» трансформируется в новый режим «рыночной экономики», где научный сектор становится лишь одним из многих и одним из нерентабельных (дотируемых). Области экспертной активности таких центров: приоритетные направления исследований и разработок, оценка научных проектов, подготовка отраслевого научного законодательства. Небольшой круг штатных сотрудников в статусе госслужащих на контрактной основе привлекает индивидуальных экспертов, создает временные экспертные группы, организует разовые мероприятия. Сами штатные сотрудники также выступают в роли экспертов на министерских совещаниях, в составе ведомственных рабочих групп, с оценочными докладами в международных организациях, таких как ОЭСР (АЦНПП, ЦИСН), предоставляют материалы для комитетов Госдумы (ЦИСН) или предлагают публичную экспертизу научной политики в СМИ (ИСТИНА)⁴⁰. По своей организационной структуре эти мало заметные инстанции ближе всего к неолиберальной модели, которая получает привилегированное место в мире культуры, образования и науки полутора десятилетиями позже⁴¹.

Другой тип экспертного центра, государственные научные фонды, которые изначально учреждаются как самостоятельные ведомства, а не подведомственные организации, наиболее последовательно воплощают принцип «независимой экспертизы», в том числе из-за их исходной оппозиции «старым» инстанциям: «Вся идея [фондов] была придумана, чтобы подорвать бюрократический монополизм учреждений»⁴². Вызванные к жизни деятельностью руководства Миннауки, и в частности, министра Бориса Салтыкова (занимавшего эту должность в 1991–1996 гг.), они представляют собой один из немногих успешных результатов институционального трансфера⁴³. В кон-

⁴⁰ Данные социологических интервью с сотрудниками этих центров, 2000–2001 гг.

⁴¹ Подробнее анализ этой модели см.: Бикбов А. Культурная политика неолиберализма // Художественный журнал. 2012. № 83.

⁴² Интервью с сотрудником РГНФ (май 2001 г.).

⁴³ Об успехе этого трансфера свидетельствует наличие опережающих технических решений и их ретрансфера: «Когда к нам приезжали

це 1991 г. учреждается Российский фонд технологического развития (РФТР), в начале 1992 г. — Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), в конце 1994 г. от него отделяется Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ): два последних финансируют научные проекты, которые попадают в категорию «фундаментальных». А в начале 1994 г. создается Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, наряду с РФТР кредитующий реализацию «прикладных» разработок. Изначально РФФИ проектировался как единый и единственный государственный научный фонд, аналог Национального научного фонда США (NSF)⁴⁴. Конверсия отделения гуманитарных наук РФФИ в самостоятельное ведомство (РГНФ), получившая поддержку министра Салтыкова и официальное признание Миннауки, нарушала первоначальный замысел, но вполне вписывалась в линию либерализации научной политики. Организация эмансипировавшегося РГНФ повторяла отработанную модель РФФИ, а потому позиционные различия между этими двумя фондами в научно-политических дебатах 1990-х годов оставались минимальными⁴⁵.

Само существование таких инстанций в значительной мере зависит от предприимчивости и связей сотрудников и может быть прервано *de jure* или *de facto*, как и целая серия не получивших развития институциональных проектов того периода. Вернуться к этому моменту тектонического сдвига в понятийной сетке государственного управления и генетического экспери-

из NSF, из американского фонда, начальник отдела грантов... говорит: "...А у вас уже [электронная система] действует?" — "Давно действует." — "А мы только внедряем у себя!" Это было года три назад. Но зато потом они сразу рванулись вперед... Сразу стали принимать через Интернет. ...Больше того, [российскому представительству] INTAS... базу-то ставили мы... Потом..., надо им отдать должное, через два года у них был прекрасный свой классификатор» (интервью с сотрудником РФФИ, июнь 2001 г.).

⁴⁴ Интервью с сотрудником РФФИ (июнь 2001 г.). Министр науки в 1991–1996 гг. Борис Салтыков указывает, что вместе с единомышленниками первый раз подавал в ЦК КПСС предложение о создании фонда, подобного РФФИ, еще в 1983 г. (Салтыков Б. Реформирование российской науки... // Отечественные записки. 2002. № 7. С. 26).

⁴⁵ Вплоть до 2000 г., когда правительство потребовало от фондов внести изменения в их уставы, что произошло в 2001 г. См.: Алфимов М. Битва на «фондовом» рынке // НГ-Наука. 2000. № 11; Евгений Семенов: «Я подаю в суд» (интервью с А. Вагановым) // НГ-Наука. 2001. № 6.

мента с новыми формами администрирования науки позволяет интервью с одним из свидетелей и участников — сотрудником РФФИ первых лет:

На самом деле, первый конкурс вообще проводился на общественных началах... Не было сотрудников фонда в 1993 г. вообще... Был один председатель — директор-организатор Гончар... Вот в первом году, комната в 2 раза больше этой — у нас угловые такие, большие — там был навален такой штабель посреди комнаты. Это были заявки. Ничего не было. Сидели люди из — даже не из отдела, а просто по направлениям — и выдвигали свои проекты и растаскивали по своим комнатам... Такие пионерские времена были... То было сладкое время, в общем. Действительно страшно увлекательное. Скрепки, карандаши, прочее... Я вот переезжал сюда из Отделения своего, так я со своими столами и стульями и вот с этими шкафчиками перевез еще: я из старых дел своих надергал скрепок два конверта и принес... Какие-то карандаши набрал, еще чего-то набрал. Вот такой бумаги натаскал из Отделения. Ну, не было просто — и все... И все сделали. Но вот люди работали... Пришли, поувольнялись, там, взяли отпуск на три месяца. То есть не насовсем, естественно [поувольнялись], потому что неизвестно, чем закончится. Я, например, со своим директором договорился... Ну, мне было проще всех. Потому что у меня свои отношения были со всеми. А другие просто оформляли длительный отпуск... И когда конкурс... Мы объявили его в ноябре, конкурс закончился в марте, по-моему, и первые люди были зачислены лишь в мае месяце. То есть они все отработали... не состоя в штате⁴⁶.

Несмотря на экспериментальный поначалу статус, научные фонды получают отдельную строку в расходной части государственного бюджета и закрепляются в структуре государственной администрации. В конце 1990-х годов лишь через РФФИ распределяется 6% государственного научного бюджета⁴⁷. Этому способствует тот факт, что вместе с административными и финансовыми полномочиями научные фонды получают узко-

⁴⁶ Интервью с сотрудником РФФИ (июнь 2001 г.).

⁴⁷ Помимо выплаты исследовательских и издательских грантов Фонд реализует программу поддержки молодых ученых и научных школ, участвует в организации международных проектов, ведет проект поддержки российских научных библиотек и обеспечивает электронный доступ к международной научной периодике, выполняет функции посредника между авторами проектов и потребителям научных разработок.

очерченную сферу компетенции. Тщательный государственный контроль за их действиями, в частности систематические проверки Счетной палаты, в некотором смысле не позволяет делать «ничего, кроме главного», т.е. принуждает их к поддержанию формализованных процедур экспертизы и финансирования научных проектов, одновременно не допуская выхода этих инстанций на рынок коммерческих услуг⁴⁸. В противоположность указанным выше ведомственным центрам «независимой экспертизы», которые, парадоксально для их статуса, выступают также агентами рынка коммерческих услуг.

Конкурсное и проектное финансирование, в противовес ведомственному «базовому», и трехуровневая техническая экспертиза заявок становятся неразрывно процедурным и идейным определением позиции научных фондов в пространстве государственной политики. Именно оно характеризует позицию руководства фондов по целому ряду ключевых «проблем» государственной научной политики: бюджетных расходов на научные исследования, научных приоритетов и т.д. Основоплагающая институциональная коллизия в треугольнике Академия наук — государственные научные фонды — Министерство науки на протяжении 1990-х годов оформляется, таким образом, не в политической, а в *технической* понятийной оппозиции «конкурсной — ведомственной» организации и финансирования исследований. Схожая коллизия выстраивается вокруг понятия «приоритеты». Если в рамках министерской модели формирование приоритетных направлений выступает залогом эффективности затрат (их окупаемости), то для РФФИ и РГНФ, которые финансируют научные исследования, принципиально не рассчитанные на экономический эффект, задание приоритетов противоречит самому режиму их работы. В противоположность Министерству, фонды опираются на доктрину поддержки центров «научного совершенства», или «внутренних приоритетов» науки, т.е. финансирования уже сформировавшихся про-

⁴⁸ См., напр., отчет о работе РГНФ в 1998–1999 гг.: Отчет о результатах проверки в РГНФ полноты поступления, целевого и эффективного использования средств федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования научных исследований в соответствии с бюджетным законодательством и Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» // Бюллетень Счетной палаты РФ. 2000. № 8 (32). «Недостатки в научно-организационной деятельности РГНФ».

ектов, школ и ученых⁴⁹. Эта доктрина, отвечающая организационной модели научных фондов, вступает в прямой конфликт со стремлением министерства унифицировать организацию науки, которое критикует фонды за неэффективное расходование средств⁵⁰.

В столь хрупком и напряженном балансе сил именно РФФИ, административно наиболее весомый из фондов, отчетливо демонстрирует отсутствие явных идеологических расхождений со «старыми» ведомствами и господствующими принципами ведомственной доктрины: «РФФИ — эффективный инструмент государства на ниве науки», «РАН и РФФИ — разными путями к общей цели», «Как создать спрос на знания?», «Не грантом единым»⁵¹. Вместе с тем поскольку прямая идеологическая конфронтация научных фондов Академии наук или Миннауки угрожает их институциональной автономии, особую роль приобретает демонстрация технического совершенства конкурсной грантовой системы⁵². Следует заметить, что целый ряд

⁴⁹ Алфимов М.В., Цыганов С.А. От научной идеи до практического результата. М.: Янус-К, 2000. С. 11–12; Семенов Е.В. Явь и грезы российской науки. М.: Наука, 1996. С. 93–94.

⁵⁰ Подробнее об институциональной коллизии вокруг научных приоритетов, см.: Бикбов А. Государство в научной проекции // Отечественные записки. 2002. № 7.

⁵¹ Заглавия статей Михаила Алфимова, директора РФФИ в 1997–2001 гг..

⁵² Систематические публикации руководства РФФИ, посвященные его эффективной работе, нередко включают численные данные и сопоставления, доказывающие эффективность этой модели организации научных разработок и финансирования. См., напр.: Алфимов М.В. РФФИ и наука: опыт первых пяти лет // Поиск. 1997. № 25; Минин В.А. Конкурсная деятельность РФФИ за 5 лет — организация, методика, результаты // Поиск. 1997. № 25; Алфимов М.В. РАН и РФФИ — разными путями к общей цели // ИГ-Наука. 1999. № 2; Алфимов М., Минин В. Страна науки — РФФИ: о природе, структуре и особенностях функционирования системы // Поиск. 1999. № 41, 44 (большинство статей, выполняющих одновременно аналитические и пропагандистские функции, дублируются в СМИ и в «Вестнике РФФИ»). Помимо указанных статей, на протяжении 1990-х годов в газете «Поиск» появляются многочисленные публикации сотрудников Фонда, разъясняющие экспертную процедуру, принципы выделения гранта, правила оформления заявок и т.п. От стратегии, реализуемой РГНФ, РФФИ в 1990-х — начале 2000-х годов отличается не только более активное медийное присутствие, но и поддержка регулярно обновляемого сайта, который служит одним из принципиальных инструментов самопрезентации Фонда и его успешной работы.

инструментов экспертизы, используемых в РФФИ, таких как классификатор научных направлений, формы анкет и заявок, процедура обработки экспертных оценок, действительно генетически связан со «старыми» институциями. Первые версии этих инструментов предварительно отработаны к моменту основания фонда одним из его организаторов в программах Президиума Академии наук и ГКНТ⁵³. Предшествующие этапы профессиональной карьеры административных сотрудников научных фондов также связывают их с Академией наук, откуда фонды рекрутируют и значительную часть своего экспертного корпуса. Это становится еще одним фактором, объясняющим, почему в тех же многочисленных статьях, подписанных руководством фонда, аргументы, не задевающие «старых» ведомств напрямую, подчеркнута сосредоточены на таком «частном» техническом пункте, как конкурсная организация государственной поддержки науки.

Принцип, который обеспечивает «современность» модели фондов, во многом отвечает веберовскому определению идеальной бюрократии: рациональная схема и формальный характер оценки проектов, подаваемых на конкурс, привлечение «независимых экспертов» (исследователей) той же дисциплинарной компетентности, что и авторы проектов. Отличие от подведомственных инстанций «независимой экспертизы» состоит здесь в том, что штатные сотрудники фондов не участвуют непосредственно в процедуре оценки проектов, а сама процедура отчетливо формализована. Подобное *техническое-как-политическое* отличие научных фондов от «старых» институций представляет собой одну из основных линий напряжения в борьбе за определение оптимальной модели научной организации и, как следствие, самой категории «наука». Несмотря на умиротворяющую тактику фондов, эти отличия служат поводом для регулярных попыток распустить их или превратить в подведомственные Миннауке учреждения, которым они с успехом противостоят до начала 2000-х годов⁵⁴. Частью этой борьбы являются не утихающие в 1990-е дебаты вокруг обоснованности модели науки,

⁵³ Интервью с сотрудником РФФИ (июнь 2001 г.).

⁵⁴ В 2001 г. изменения в уставах государственных научных фондов, внесенные по прямому правительственному указанию, отчасти лишают их институциональной автономии.

реализуемой фондами, а также вокруг отдельных принципов их функционирования: анонимности экспертизы, отказа комментировать решения о непредоставлении гранта, (бес)пристрастности экспертных оценок и ряда подобных.

В целом же наиболее острая борьба в пространстве научной политики смещается в 1990-х годах от политических и цивилизационных универсалий, которые ранее связывали «науку» с кардинальными характеристиками самого социалистического режима, к понятиям административным и техническим, что объективирует утрату категорией «наука» универсального политического измерения и закрепление за ней лишь отраслевых смыслов. Точно так же теряют в масштабах эмпирические референты нового вокабуляра научной политики: институциональный демонтаж масштабного альянса Академии наук — ГКНТ — Госплана как единой экспертной и плановой структуры «управления научно-техническим прогрессом» оставляет место разрозненным экспертным инстанциям, вступающим друг с другом не только в ведомственную, но и в публичную конкуренцию за внутриотраслевое определение научной организации⁵⁵.

РЕВОЛЮЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАЦИЙ: СОБСТВЕННОСТЬ И СТАТИСТИКА

Изменения в административных и смысловых структурах, центрированных на категории «наука», не ограничиваются появлением новых инстанций экспертизы и теми неразрывно организационными и понятийными новшествами, которые отмечают их включение в государственное управление. Во второй половине 1980-х — самом начале 1990-х годов происходит серия важных сдвигов в структуре самой Академии наук. В 1986 г. принимается поворотное для академического управления положение ГКНТ, Госстроя и Госкомтруда СССР об аттестации научных работников, которое передает эту процедуру, проводившуюся на *открытых собраниях* институтских ученых советов, в ведение *администрации* институтов⁵⁶, тем самым значительно

⁵⁵ Более подробный анализ «исчезновения» категории «научно-технический прогресс» из понятийной сетки см. в настоящей главе.

⁵⁶ Положение о порядке проведения аттестации руководящих, научных, инженерно-технических работников и специалистов научно-исследовательских учреждений, конструкторских, технологических,

усиливая полномочия последней. В 1987 г. ряд функций Президиума Академии наук передается отделениям, вводится выборность директоров институтов, ученых советов и даже глав подразделений, а Общее собрание Академии⁵⁷ вводит 65-летний порог для занятия организационных должностей и норматив 5%-го ежегодного обновления состава институтов молодыми исследователями. На том же собрании категорию финансирования «институт» предлагают заменить на «программу», «тему» и «инициативное исследование», что предвосхищает модель научных фондов и претендует на изменение принципов функционирования Академии наук⁵⁸.

Предложенные изменения не затрагивают при этом внутреннего разделения между двумя основными корпусами Академии наук, «действительных» (почетных) членов и «рядовых» (штатных) сотрудников. Сохраняющаяся форма действительного членства, характерная для традиционных Академий, отличает ее от структурно близких научных организаций послевоенного периода в других современных обществах. Так, Национальный центр научных исследований Франции, основанный в 1940-х годах и к началу 1980-х представляющий собой сеть самоуправляемых государственных учреждений, сотрудники которых явля-

проектных, изыскательских и других организаций науки (утв. постановлением ГКНТ СССР, Госстроя СССР и Госкомтруда СССР от 17 февраля 1986 № 38, 20, 50).

⁵⁷ Высший орган управления АН, который включает не всех сотрудников академических институтов, а академиков и членов-корреспондентов, т.е. обладателей почетных званий и высших административных позиций в академическом секторе, а также временно делегированных по квоте представителей научных организаций, чьи кандидатуры также не обсуждаются на коллегиальных собраниях институтов.

⁵⁸ *Лахтин Г.А.* Организация советской науки... С. 44–45, 90. Эта дискуссия и ее предварительное решение имели коррелят в форме акта официального государственного признания. Постановление 1988 г. предписывало «отменить существующую практику финансирования содержания научных организаций из государственного бюджета и перейти к целевому финансированию конкретных программ, тем и инициативных поисковых исследований на конкурсной основе» (Постановление Совета Министров СССР от 15 октября 1988 г. № 1210 «О переводе научных организаций, Академии наук СССР, академий наук Союзных республик и системы Государственного комитета СССР по народному образованию на новые методы финансирования и хозяйствования». П. 1).

ются государственными служащими⁵⁹, не имеет ничего общего с несколькими старыми французскими Академиями и Коллеж де Франс, которые воспроизводят модель почетного клуба. Одновременно специфическая «чистота» российской академической науки заключается в том, что, при своей связи с государственными техническими задачами, институты Академии отделены от образовательной системы, тем самым сближая советскую организацию исследований 1990-х годов с французской, выделяющейся в ряду прочих национальных систем, где исследования локализованы в университетах⁶⁰.

Внутренние реформы Академии наук СССР сопровождаются дискуссиями о ее еще более либеральном реформировании, вплоть до перевода всех рядовых сотрудников на контрактную основу⁶¹. Борьба ведется также вокруг собственности Академии, которая выражается в оппозиции категорий «федеральная собственность — собственность Академии», гомологичной оппозиции «государственное учреждение — самофинансируемая

⁵⁹ Официально статус государственных служащих был присвоен научным сотрудникам институтов Центра законом 1982 г., принятым новым правительством социалистов (*Théry J.-F., Barré R. La loi sur la recherche de 1982. P.: INRA, 2001. P. 91–104*), однако уже в середине 1970-х их трудовые договоры продлевались в основном автоматически.

⁶⁰ См., напр.: *Ben-David J. The Scientist's Role in Society. Chicago: University of Chicago Press, 1984. P. 92–95; Lepenies W. Les trois cultures. P.: MSH, 1989. Ch. 3; Коллинз Р. Социология философии: глобальная теория интеллектуального изменения / пер. с англ. Н.С. Розова, Ю.Б. Вертгейм. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. Гл. 14. Интересную двойную гипотезу о происхождении разрыва между исследовательскими и образовательными институтами в советской научной политике см.: *Александров Д.А. Советизация высшего образования и становление советской научно-исследовательской системы // За «железным занавесом». Мифы и реалии советской науки / под ред. М. Хайнеманна, Э.И. Колчинского. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. Этот разрыв исходно объективировал, с одной стороны, профессиональный интерес в раздельном (и, следовательно, большем) финансировании исследовательских и учебных учреждений, где одновременно работало большинство ученых в начале 1920-х, с другой стороны, изоляцию политически «неблагонадежных» ученых от преподавания в чисто научных институтах (Там же. С. 154–157, 163).**

⁶¹ См., напр.: *Франк-Каменецкий М. Механизмы торможения в науке // Иного не дано / под общ. ред. Ю.Н. Афанасьева. М.: Прогресс, 1988. С. 643–647. Об этом же упоминают в более поздних выступлениях и дебатах руководители Академии наук (см., напр., дискуссионные материалы в «Вестнике РАН и высшей школы» за 1992 г.).*

организация» и отчасти, с большим опосредованием, оппозиции «базовое финансирование — конкурсная основа». Следуя за ходом публичной полемики, можно убедиться, что эти технические понятия объективируют линии разрыва не только между отдельными ведомствами, но и между консервативными и либерал-реформистскими фракциями как в руководстве Академии, так и в государственных органах. Одним из промежуточных результатов этой борьбы становится постановление 1987 г., которое в явном виде опирается на определение науки не как универсального принципа управления, а как отрасли народного хозяйства⁶². Помимо прочего данное постановление предполагает «отменить начиная с 1988 г. планирование ассигнований из бюджета на содержание научных организаций по базовому методу»⁶³. Однако данный продукт борьбы за официальные классификации, как и целый ряд ранее указанных новшеств в организации Академии, оказывается лишь одной из ее динамических фаз и не получает окончательного институционального закрепления.

Ряд из этого еще не устойчивого списка понятий и понятийных конструкций, вызванного к жизни изменением внутреннего пространства Академии за короткий период с конца 1980-х до 1991 г., впоследствии устраняется из официально утвержденной понятийной системы. К ним относится, например, «самофинансирование» исследований, а также «выборность» и «сменяемость» применительно ко всем административным должностям в структуре Академии. Иные, исходно конкурирующие категории, такие как «государственный» и «самоуправляемый», соединяются в актах официального наименования, объективируя компромисс, достигнутый в этой борьбе между различными фракциями. Результатом преобразований внутренней струк-

⁶² «Исходить из того, что научные организации наряду с производственными предприятиями являются социалистическими товаропроизводителями и в основу их работы должны быть положены принципы полного хозяйственного расчета и самофинансирования. Они обеспечивают свое научно-техническое и социальное развитие за счет средств, заработанных путем реализации разработок потребителям, и несут полную ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности» (Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 30 сентября 1987 г. № 1102 «О переводе научных организаций на полный хозяйственный расчет и самофинансирование». П. 4).

⁶³ Там же. П. 26.

туры Академии наук на начало 1990-х годов становится фактический сдвиг центра административных полномочий в пользу дирекций институтов, который обеспечивает им большую административную автономию, но вместе с тем официально нейтрализует микромеханику коллегиального взаимного признания исследователей, которая гарантировалась открытыми коллективными аттестациями.

Официальное определение и переопределение двух взаимосвязанных вопросов — государственного финансирования Академии наук и ее собственности — вероятно, наиболее напряженное и изобилующее регулярными возвратами и пересмотрами, продолжается в течение нескольких лет. Лишь в 1990–1991 гг. государственные постановления и указы об организации Российской академии наук закрепляют за ней статус самоуправляемой организации, при этом распоряжающейся значительным имуществом (на уровне институтов) и освобожденной от ряда налогов на землю, собственность и доходы от внешнеэкономической деятельности⁶⁴. Таким образом, в ряду контекстуальных отраслевых определений за категорией «наука» закрепляется еще одно практическое понятие — специфической научной «собственности». В подобных предельных случаях, как кажется, не имеющих ничего общего с научными исследованиями, можно отчетливо наблюдать, насколько тесной оказывается *прагматическая*, т.е. социальная, связь между понятиями наиболее высокого и отвлеченного уровня, такими как «планирование» или «рынок», и основополагающими терминами технических классификаций, подобных «внедрению», «конкурсу» или «налогу». Будучи предметом горячих внутриведомственных дебатов и скучной административной рутины, именно последние сообщают политическим универсалиям их окончательные границы и смысл. Именно в этих технических терминах наиболее очевидна связь между понятийной и институциональной логикой, которые они воплощают собой без возможности отделить актуальную прагматику, обязанную текущему *modus operandi*

⁶⁴ Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 января 1990 г. «Об учреждении Академии наук Российской Федерации»; Постановление Верховного Совета РСФСР от 15 февраля 1991 г. «О дальнейшей работе по организации Российской академии наук»; Указ Президента РСФСР от 21 ноября 1991 г. № 228 «Об организации Российской академии наук».

институций, от универсального означающего, взятого в качестве самодостаточного элемента символической системы данного общества в данный период.

Столь же осязаемый эффект мы можем проследить в другой сфере практических классификаций — государственной статистике, в данном случае статистике науки, категории которой являются инструментами одновременно описания и предписания, т.е. управления смыслами и связанной с ними институциональной реальностью. Как и доктринальные, публично используемые в административной и политической борьбе, «серые» функциональные классификации принадлежат тому же порядку.

Если институционализация понятия «конкурсная поддержка» в первую очередь обязана позиции либерал-реформистского руководства Министерства науки, то статистическая реформа становится опосредованным следствием «либерализации» всего политического режима, который создает новые карьерные возможности для государственных служащих и смещает саму символическую и административную границу между СССР и «международным сообществом». На рубеже 1980–1990-х годов в числе международных центров сил, активно представленных в советском пространстве государственной администрации, одним из наиболее весомых является Европейская комиссия. Я уже отсылал к ее деятельности в первой главе книги, анализируя историю понятия-проекта «средний класс». Вслед за заключением в 1989 г. новых торговых соглашений между СССР и Европейским сообществом, в 1990 г. Евросовет принимает постановление о финансовой поддержке экономических реформ в СССР. В рамках программы TACIS — технического содействия странам бывшего СССР — только на поддержку институциональных, правовых и административных реформ израсходовано 280 млн евро⁶⁵. Как и в рассмотренных выше случаях, «техническое» в понятии «технического содействия» понимается здесь неразрывно с политическим: «Программа ставит своей задачей содействовать усилиям стран-партнеров в развитии обществ, основанных на политических свободах и экономическом про-

⁶⁵ Ранее доступные данные с сайта российского представительства Европейской комиссии (были размещены по адресу <www.eur.ru/neweur/user.php?func=info6>, последний доступ 19.03.2003).

цветании. Решение поставленных задач TACIS видит в предоставлении грантов на передачу ноу-хау для поддержки перехода к демократическому обществу и рыночной экономике». Реализация TACIS предполагает поддержку институциональных реформ, включая унификацию национальных законодательств и систем учета в соответствии с европейскими. И уже в 1992 г. российское правительство утверждает Государственную программу перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики. Тогда же (1992–1994 гг.) аналогичные программы утверждаются в других странах СНГ, в частности в Белоруссии и Казахстане. Инстанцией реформы научной статистики становится упоминавшийся ранее Центр исследований и статистики науки (ЦИСН), созданный в 1991 г. при Миннауки и Академии наук.

Вводимая ЦИСН с 1993 г. система научной статистики основывается на классификациях, предлагаемых ЮНЕСКО и ОЭСР⁶⁶. Согласно им, в отличие от советской статистической классификации, ведомственная группировка научных учреждений заменяется группировкой по экономическим секторам (государственный, предпринимательский, высшего образования, частный неприбыльный), меняется типология работников научных учреждений, вводится статистика инноваций, учет патентов и наукоемкости отраслей промышленности⁶⁷. Иными словами, в технических классификациях реализуется тот же сдвиг, который можно наблюдать в доктринальных: от планового управления — к экономической рентабельности. Разработанные классификации и методики ЦИСН передает Госкомстату для их рутинного использования: соответственно изменяется форма кадровой и бухгалтерской отчетности в научных институтах, в том числе в Академии наук.

Встроенный в функционирование новой инстанции, первичный перенос новых категорий и методов статистики науки происходит в режиме непосредственного присвоения технического навыка в рамках индивидуальной карьеры и его последующей экспансии на систему государственного управления наукой.

⁶⁶ Курс социально-экономической статистики / под ред. М.Г. Назарова. М.: Финстатинформ — Юнити-Дана, 2000. С. 484.

⁶⁷ Там же. С. 484–488, 511, 514.

С момента создания ЦИСН один из его руководителей, ранее заведующий лабораторией в Институте статистики, назначается официальным представителем в ЮНЕСКО, участвует в семинарах группы разработчиков методологии научной статистики ОЭСР⁶⁸, а впоследствии делает перевод издаваемого этой группой руководства⁶⁹. В течение нескольких лет статистические справочники о науке, выпускаемые в России ЦИСН и Госстатом, а также кадровая и бухгалтерская отчетность учреждений научного сектора реформируются с использованием новых классификаций. Объективированный в национальной (советской) версии научной статистики баланс сил: ведомственная группировка организаций, специальный раздел для Академии наук, где выделено число академиков и членов-корреспондентов и т.д., — отменяется в пользу международных статистических классификаторов. Новая система учета, интегрированная в рутинное государственное управление, оказывает обратное действие на баланс институциональных сил, поскольку именно статистические классификации научного производства лежат в основе бюджетного финансирования, а также административной экспертизы и политических решений. Без доктринальных публичных дебатов, в рамках европейской программы экономической и правовой реформы, избегающей открытой войны категорий, происходит техническая интервенция, которая, как и в случае «конкурсной поддержки», является не чем иным, как моментом институционализации новых представлений о науке в частности и о режиме государственного управления в целом.

В данном случае референтные для реформистских проектов понятия и официальные классификации уже реализованы к началу реформ по ту сторону границы «социалистического общества». Молчаливое символическое нарушение этой границы, которое заключается в приведении национальных классификаций и институтов к аналогам, действующим в Западной Европе и США, не просто вводит новую систему научной статистики.

⁶⁸ Факты из телефонного интервью с заместителем директора ЦИСН (июль 2001 г.).

⁶⁹ Измерение научно-технической деятельности. Предлагаемая стандартная практика для обследований исследований и экспериментальных разработок: Руководство Фраскати / пер. с англ. Л.М. Гохберга. П.: ОЭСР; М.: ЦИСН, 1995.

Реформированная система технического учета избавляется от признаков, связывавших научные практики с «социализмом». Иными словами, вклад в смену политического режима тихих экспертов и непубличных администраторов, занимающихся внедрением новых функциональных классификаторов, оказывается не менее, если не более весомым, чем общепризнанный вклад публичных критиков административно-командной системы и доктринальных виртуозов нового режима.

ИНФЛЯЦИЯ ПОНЯТИЙ: СИЛЬНАЯ «НАУКА», СЛАБЫЕ «УЧЕНЫЕ»

Характеризуя падение ценности «науки» в категориальной сетке нового политического режима и референтных ей инстанций — в административных иерархиях, до настоящего момента я не задавал вопроса о внутренней структуре этого процесса: было ли такое падение равномерным для всех понятий семантического кластера «наука», или оно сопровождалось внутренней дифференциацией последнего? Учитывая наличие нескольких измерений, в которых мы могли бы проследить эти изменения, ответ на такой вопрос может включать как обращение к официальной риторике, так и глубинный анализ технических классификаций, вплоть до сопоставления средних зарплат различных категорий исследователей. Последний ответ не вполне соответствовал бы логике социальной истории понятий, но не менее, если не более красноречиво иллюстрировал бы практическое функционирование системы научных категорий. Для текущих целей я ограничусь, однако, одним из промежуточных вариантов. Ответом на такой вопрос может стать анализ скрытых измерений открытых, т.е. официальных и наиболее декларативных источников научно-политического курса.

Чтобы провести такой анализ, следует вернуться к соссюрсовскому определению *ценности* понятия, которая связывается с положительно или отрицательно коннотированными элементами ближайшего контекста, где оно получает определение. Если мы подобным образом проанализируем контекст, в котором задается несколько родственных понятий «научного» семантического гнезда: в частности, определяются ли они одним и тем же (структурно изоморфным) контекстом, наделяются ли одинаково положительными или отрицательными

значениями, — это позволит установить, обладают ли они относительно равной ценностью, или они так же ценностно дифференцированы, как отдельные научные институты в рамках господствующей доктрины. Если избрать для анализа отдельные термины, которым официальная доктрина 1990-х годов заранее присваивает неравную ценность: например, «академия наук» и «научный конкурс», — мы получим небезынтересные в нюансах, но предсказуемые результаты. Чтобы обнаружить разрывы, скрытые внутри «единой» категории, следует раздельно проанализировать ее смысловые составляющие. Для этого идеально подходит анализ того, как государственные чиновники мыслят, а следовательно, практически распоряжаются такими понятийными составляющими научной политики, как «наука» и «ученые».

Круг источников для подобного анализа будет прямо пропорционален числу инстанций научной политики. Я воспользуюсь образцами, произведенными «наиболее официальной» из них — Министерством науки и технологий. Исходя из предложенной ранее характеристики циклов в функционировании этого органа, наиболее интересным, вероятно, будет хронологический интервал конца 1990-х (1997–1999 гг.), когда завершается фаза риторик «сохранения научно-технического потенциала» и в центр ведомственной доктрины перемещаются категории «инновация» и экономическая «конкурентоспособность» науки. Их эмпирическим референтом выступает создание инновационных центров и технопарков, законодательство о наукоградах и пересмотр первого списка приоритетных направлений в 1998 г., а проектным горизонтом — превращение науки в экономически рентабельную отрасль.

Для анализа скрытых измерений официального мышления были взяты 16 публикаций в СМИ (выступлений и интервью) за 1998–1999 гг., авторами которых были высшие руководители Миннауки. Из всего массива текстов были отобраны суждения, где присутствуют слова «наука», «научный», «научно-технический» (они составили первый список), «ученые», «научные работники», «научное сообщество» (второй список). Общая выборка суждений была разбита на два списка с целью выявить, в чем совпадают и чем различаются контексты, в которые вписаны эти категории. Прежде всего оказалось, что «ученые» — понятие, употребляемое ощутимо реже «науки»: в

общей выборке 33 суждения, содержащих «ученые», против 112 о «науке»⁷⁰.

Вычленив ближайший контекст суждений из списка «наука», мы получаем набор тем, через которые контекстуально определяется смысл этого понятия. Если рассматривать число суждений в общем списке как показатель значимости темы, наиболее важными стали: рыночная и экономическая эффективность науки, высокий научно-технический потенциал и сохранение научных достижений, необходимые государственные финансирование и поддержка науки, высокое положение российской науки в мире, новые возможности, инновационная стратегия, наука как будущее и лучшее. Среди тем, представленных куда менее весомо (все вместе — около пятой части общего числа суждений): недостаточное бюджетное финансирование науки, ее недостаточная приспособленность к реформам, связь науки с промышленностью, нежелание молодежи идти в науку, стойкость науки в трагическом положении, госзаказ науке. В таком подборе тем мы обнаруживаем, с одной стороны, элементы доктрины министерства и элементы его административной модели (коммерциализация, финансирование, реформа), с другой — обоснование важности науки, которая превращает ее в государственное дело. Вот показательные образцы суждений, взятые из общего списка: «Государство не может быть сильным без сильной науки»⁷¹; «...наши научные знания, наши технологии способны обеспечить людям достойную жизнь»⁷²; «уровень развития науки... напрямую определяет эффективность экономики»⁷³. В целом и по числу суждений, и по связи между темами, можно сказать, что за категорией науки в ведомственной иерархии закреплён полюс легитимного верха: государственного интереса, экономического и политического господства, экономической эффективности и технического совершенства. Наука — это

⁷⁰ Хотя нельзя говорить в строгом смысле о количественной достоверности этих данных, но такое сильное различие внимания, отводимого ученым и науке в речи, представляется показательным.

⁷¹ Киричников М.П. Фундаментальная наука — будущее России // Наука в России. 1999. № 4.

⁷² Терещенко Г. Наука готова работать на человека // Индустрия. 1999. № 2 (1997).

⁷³ Киричников М.П. Президент. Парламент. Правительство. Власть // Политико-правовой журнал. 1999. № 3.

предмет заботы государства и одновременно источник его «потенциала». Это рационализированная силовая компонента господства.

Закреплены ли за производителями «науки», т.е. за категорией «ученые», те же атрибуты мощи и престижа? Ряд тем, характерных для списка «науки», присутствует и здесь. Так, речь идет об экономической эффективности ученых, кооперации между учеными и не-учеными в рамках инновационных центров, о достижениях ученых, самоотверженности ученых в сложное время. Однако на каждую из этих тем приходится всего по одному суждению. Иначе говоря, в отличие от первого списка, здесь они остаются явно периферийными или просто производными от базовых определений науки. Но что же тогда составляет основу официального высказывания об «ученых»? Наибольший вес приходится на следующие темы: низкая (унизительная) зарплата, проблема материальной поддержки ученых, отъезд за границу и «утечка мозгов», участие ученых в проектах министерства. Вот архетипический пример, фокусирующий в себе почти все эти темы: «Актуальной проблемой... остается создание ученым достойных условий для жизни и работы, что не только значительно повысит эффективность их деятельности, но и будет способствовать предотвращению оттока из России высококвалифицированных специалистов сферы науки и образования»⁷⁴. Таким образом, в сравнении с контекстуальным определением «науки» ценностная позиция «ученых» радикально снижена. В официальной речи они выступают не творцами государственного потенциала, но прежде всего проблемной социальной категорией, определяемой через низкую зарплату и готовность «утечь» за рубеж. Как и «наука», «ученые» также вписываются в новую экономическую логику. Однако в отличие от науки они определяются не через производительную способность, а через зависимость от (неблагоприятных) экономических условий.

Категории «наука — ученые», размещенные на экономической шкале, оказываются полярными понятиями, как *активное* — *пассивное*. Будучи производным от официального определения науки, категория «ученые» — прежде всего в смысле «все работники научных учреждений» — в основе своей содержит зарплату (унизительную, мизерную, недостаточную). И если категория

⁷⁴ Кирпичников М.П. Фундаментальная наука...

«наука» располагается на доминирующем полюсе, вбирая в себя признаки государственного престижа и мощи, категория «ученые» оказывается на полюсе доминируемом, будучи представлена через следствия экономического кризиса, личную самоотверженность или предприимчивость, «условия жизни и труда». Обозначая символическую дистанцию и даже контрарность «науке», логика официального суждения превращает «ученых» из непосредственных производителей научной мощи в инертную массу, которая «приходит» в науку или «оттекает» из нее, претерпевает кризис или мигрирует за рубеж, стремясь к лучшим условиям. Иными словами, в высказываниях руководства Миннауки конца 1990-х годов «научно-технический потенциал», этот необходимый атрибут государства, отчужден от его производителей. Наряду с учителями, врачами, военнослужащими «ученые» контекстуально попадают в обширную проблемную категорию бюджетных служащих со всеми вытекающими для государственного бюджета издержками и неудобствами.

Проведенный по той же схеме анализ ряда текстов интервью и дискуссий 2001–2002 гг., в которых приняли участие чиновники Минпромнауки и Академии наук, выступления президента на совместном заседании Совета безопасности, Госсовета и Совета по науке, а также проекта Основ политики РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 г. показывает, что ряд базовых тем и сам разрыв в относительной ценности «науки» и «ученых» в целом сохраняется и в фазе научной политики, отмеченной восхождением категории «инновационная экономика». По-прежнему редко употребляемая категория «ученые» сохраняет смысл, производный от зарплаты и затруднительных материальных условий. В отношении «науки» можно наблюдать тематический сдвиг от общей темы экономической эффективности науки к вариациям о важности для науки новой экономики, а также попечении науки не только со стороны государства, но и частного капитала. Эти контекстуальные смещения совпадают со снижением ведомственного веса «науки» в структуре реформированного министерства, которое в 2000 г. сливается с «промышленностью»⁷⁵. За порогом 1990-х годов

⁷⁵ В 2000–2004 гг. научная политика определяется в составе Министерства промышленности, науки и технологий РФ — еще одна структурная параллель с 1950-ми годами.

«наука» более явственно, чем в министерстве до реорганизации, встраивается в безразличный к научной специфике либерально-экономический схематизм рыночной пригодности, окупаемости вложений и эффективности управления.

Сдвиг к науке, ориентированной на прибыль, маркирован здесь также темой квалификации, необходимой для работы по приоритетным направлениям и инновационным проектам⁷⁶. Примечательно, что квалификация атрибутируется не столько «ученым», сколько «кадрам» или «кадровому потенциалу» науки. Этот переход объективирует иерархическое перераспределение рангов промышленности и науки в структуре нового министерства и переводит профессиональное обозначение «ученые» в технократическую категорию «кадрового потенциала» периода научно-технического прогресса. Смысл отчуждаемого и восполнимого ресурса науки, который ранее перекрывался проблемной, но гуманизированной категорией «ученые», приобретает отчетливо индустриальную обезличенную форму.

Возвраты профильного министерства к проектам «эффективной науки», «сокращениям и слияниям» на протяжении 2000-х и начала 2010-х годов исходят из той же смысловой асимметрии между «наукой» и «учеными». Понятие «инновационная экономика» и попытки его прагматического применения связывают коммерческий успех исследований лишь с бюрократической реформой научных центров, тогда как «кадровый потенциал» становится производным продуктом институциональной реорганизации, призванным механически адаптироваться к меняющимся условиям. Регулярные сбои предлагаемых реорганизаций в России и мире показывают, как в действительности «работает» в социальном порядке понятие «наука», переопределенное подобным образом.

⁷⁶ Показательно и то, что в публичном пространстве: на круглых столах, в выступлениях на радио, в публикациях «экспертных мнений», — чиновники Минпромнауки оказываются лицом к лицу уже не только с руководителями Академии наук, но и с «представителями бизнеса», которым в доктрине инновационной экономики отводится ключевая роль. См., напр.: «Кому управлять наукой?», интервью на «Эхо Москвы» А. Венедиктова с И. Клебановым, К. Бендукидзе и М. Алфимовым, 2 августа 2002 г. (<www.echo.msk.ru/programs/beseda/19243/#element-text>, последний доступ 12.02.2013); Круглый стол «Национальная инновационная система России — перспективы и механизмы создания» (<www.csr-nw.ru/upload/file_category_1140.pdf>, последний доступ 12.02.2013).

Заключение: от истории понятий — к пониманию истории

Пересекая хронологические границы советского периода, я Postанавливаюсь на пороге 2000-х годов не столько во имя поддержания жанровой чистоты исторической социологии понятий, сколько из-за риска методологической ошибки. Переход от анализа языка официальных документов к данным интервью лицом-к-лицу и доступному «без лишних объяснений» здравому смыслу, который на деле требует дополнительных инструментов объективации, несет в себе неизбежное усложнение исследовательской перспективы. Как можно видеть на материалах этой главы, детализация данных и рост разнообразия источников раскрывает межпозиционную борьбу и доктринальный конфликт, результаты которых с большей исторической дистанции предстают в виде монолита категориальной системы. Прибавление к понятийным универсалиям «вспомогательных», на первый взгляд, технических понятий также способно существенно скорректировать избранный способ интерпретации: публично озвученные политические универсалии попросту не работают, если их введение не сопровождается одновременным изменением «серых» технических классификаторов и институциональных процедур, в которых объективируется проектный потенциал новых категорий и категориальных оппозиций.

Значит ли это, что не вполне состоятелен сам заявленный подход исторической социологии, сближающийся с социальной историей понятий, и результирующие универсалии следует рассматривать всего лишь как рабочую аппроксимацию, понятийное приближение, используемое исследователем с достаточной долей произвола для характеристики куда более сложной картины безостановочной борьбы между позициями, которые генерируют частные смыслы и с переменным успехом институционализируют их в качестве универсальных? Ответ расположен на грани, отделяющей две модели истории, одну из которых часто склонны принимать с большей готовностью:

направленного, пускай и никогда не осознанного до конца движения истории, прописанного по линии Гегель — Маркс — Дюркгейм — Элиас; или непрерывного становления порядка в синхронных вероятностных срезах, представленного в линии Ницше — Февр — Фуко. Отчасти (и лишь отчасти) эти модели допускают общее методологическое решение: концепцию *господствующей доктрины*, или, в более техническом регистре, *легитимных классификаций*, — наиболее последовательную разработку которого предлагает марксистская линия анализа. Однако, выступая текущим результатом непрерывной борьбы, легитимные (на данный момент) классификации также удовлетворяют тезису о непредсказуемом исходе тактических столкновений и реконфигурации поля сил в их результате. Эмпирически наблюдаемые циклы в чередовании побед противостоящих принципов (понятий) и их сторонников, таких как принципы партийности и автономии, коллектива и личности и ряда иных, анализируемых ранее, не позволяют описывать исторические сдвиги, следуя простой линейной телеологии. В итоге именно там, где анализ становления и функционирования господствующих классификаций не требует решительного выбора в пользу одной из двух моделей истории, и ведется основная эмпирическая работа.

В своем исследовании я обращаюсь к наиболее легитимным, или господствующим, классификациям, соблюдая необходимые методологические предосторожности, диктуемые как наличием иерархий между элементами понятийной сетки, так и циклическим характером наблюдаемых в ней сдвигов. Для объяснения этих сдвигов я описываю в первую очередь работу тех инстанций, которые вносят наибольший (наиболее легитимный) вклад в организацию понятийной сетки в данный период при данном балансе сил. С 1930-х годов успешнее других на эту роль претендует государственный аппарат, который приобретает характер универсальной машины по производству и лицензированию универсальных смыслов¹. Имея это в виду, в данном случае я

¹ Этот тезис, в более общем виде сформулированный Пьером Бурдьё в 1980-х, верен и сегодня, при всех перипетиях в мировой истории государства, свидетелями которых мы стали за последние 20 лет. Очевидно, что, двигаясь обратно по хронологической шкале, мы делали бы все более серьезные содержательные ошибки, продолжая рассматривать государство как основной источник господствующих классификаций.

уделяю преимущественное внимание даже не самому процессу борьбы классификаций, а его результатам — тем конфигурациям, которые понятийная сетка приобретает в наиболее легитимных формах, так или иначе лицензированных государством.

Если принимать этот подход за основу, сознавая его преимущества и ограничения, в частности, неизбежную трудность в определении того, как ключевые понятия направляют эмпирические практики, следующим после исторической социологии понятий шагом, в том числе для понимания истории как *своего* горизонта возможностей, должен стать критический анализ структурных предпосылок самого исследовательского взгляда на предмет исследования. Именно к этому призывал Пьер Бурдьё, указывая на необходимость процедур «двойной историзации»: объекта исследования и его дисциплинарного инструмента, инкорпорированного исследователем². В данном случае речь идет не столько об истории истории, сколько о социологии социологии. То есть о критическом описании институциональных и понятийных структур советской и российской социологии: о тех принуждениях и возможностях профессиональной микрополитики, следуя которым, социологи склонны приписывать смысл обществу. Этому и посвящен следующий раздел книги.

² Бурдьё П. За рационалистический историзм // Социо-Логос пост-модернизма '97. М.: Институт экспериментальной социологии, 1996.

КРИТИЧЕСКАЯ
(САМО)ОБЪЕКТИВАЦИЯ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОНЯТИЙ

Смещение от исторической социологии советских понятий к истории самой социологии как источника, по крайней мере, ряда понятий заставляет скорректировать некоторые критерии и приемы анализа. Эти коррективы оправданы в первую очередь тем, что исследователь обращается к «своему» профессиональному сектору напрямую и оказывается в поле профессионального состязания и актуальных ставок, которые в российском случае почти неизбежно предстают обескураживающе компромиссными как в индивидуальном биографическом, так и коллективном институциональном масштабе. На интервалах средней длительности, измеряемых 20–30-летним хронологическим шагом, мы можем наблюдать обширные силовые и семантические сдвиги, которые к концу 1950-х годов приводят к новому равновесию между конфликтующими принципами (и фракциями их носителей): партийности знания и научной эмансипации, коллективизма и персональности, догматической виртуозности и техники исследования и т.д. Эти сдвиги делают принципиально возможной институционализацию ранее запретных или просто немыслимых понятийных и организационных конструкций внутри партийного аппарата и в ширящейся вокруг него зоне научной экспертизы. Большой хронологический шаг спасителен. При дальнейшем приближении и сознательном методическом и (или) невольном эмпатическом переводе этих структурных показателей в биографические обстоятельства, когда ясно различимы уже не отдельные понятия, но отдельные персоналии, надежды, внушаемые этими бесшумными революциями, легко сменяются разочарованием от незавершенных начинаний и нереализованных шансов.

Одна из причин состоит здесь в том, что за радикальным символическим сдвигом внимательный взгляд обнаруживает в целом ряде случаев перекодированную семантически, но не разрешенную социально и политически коллизию. А именно, очередную понятийную симфонию обеспечивает все та же политическая отсрочка интеллектуальной автономии: стены вновь создаваемых академических и экспертных центров возводятся ценой сверхзатратного во многих отношениях превращения научной карьеры в разновидность бюрократической. Сегодня характерные для этой отсрочки императивы могут вовсе не иметь доктринальной формы в противоположность позднесоветскому периоду. Но ее последствия обладают критическим сходством.

Радикальным тестом этого карьерного бремени-привилегии становится демонтаж инстанций пастырской опеки над наукой в начале 1990-х годов. В противовес всем ожиданиям, устранение «идейного» партийного контроля приводит не к эмансипации знания и интеллектуальному прорыву в социальных дисциплинах, а к институциональной дерегуляции и консервации ранее узаконенных форм академического мышления. В результате профессионализм не столько торжествует над принципом партийности, сколько вынужден обороняться от культурно менее легитимных, но административно и экономически более действенных практик.

Схожий раскол в (само)восприятии и оценках послесталинского периода науки можно наблюдать, поочередно обращаясь к оптимистической истории историков, которая написана на значительной хронологической, а порой и географической (в случае зарубежных исследователей) дистанции, и к неизмеримо более проблемным свидетельствам и мемуарам самих обитателей очевидно размягчающейся, но от этого не ставшей радикально более приемлемой «системы». Разрешить это напряжение не так просто. Наиболее легким и часто практикуемым выходом из него служит самостигматизация: «В советской социологии не было ничего стоящего». Его противоположность ведет в том же направлении. Напористое мемориальное превознесение «успехов и достижений» советской социологии, особенно характерное для административного истеблишмента дисциплины, отчетливо демонстрирует исключительную зыбкость личных интеллектуальных заслуг. И та и другая тактика мало что объясняют социологически, лишь усиливая драматический разрыв между оптимистическим взглядом на «большую» историю и пессимизмом профессиональной (само)оценки.

Любые попытки создания объяснительных моделей усложняются и тем, что по мере сокращения хронологической и институциональной дистанции различие между историей дисциплины, понятой как история проекта и метода, и «нашей историей» как коллективным, пускай далеко не всегда добросовестно эксплицируемым и транслируемым опытом, становится все менее очевидным. Методологически обоснованное поддержание такой границы требует не только усилий в духе веберовской интеллектуальной честности, но и упомянутых корректив в ряде допущений, которые поначалу позволяли рассматривать смысло-

вые и силовые условия наблюдаемых изменений в завершенном историческом периоде. Наиболее действенным здесь решением становится описание динамики дисциплины, включая неокончателность ее обновлений, с привилегированным вниманием не к семантическому, а к институциональному и биографическому измерениям. Если, практикуя историческую социологию понятий, мы каждый раз сталкиваемся с институционально генерируемыми эффектами спонтанного перевода межпозиционной борьбы в понятийные различия, критическое (само)описание дисциплины обязано следовать за этими эффектами и сделать их основным предметом анализа.

VII. Российская социология: генезис дисциплины и преемственность оснований¹

ИНСТИТУТЫ, УНИВЕРСАЛИИ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

В совместной программной работе Дюркгейм и Мосс провозгласили принцип, впоследствии легший в основу «сильной программы» социологии знания: «Методы научного мышления — это подлинные социальные институты»². Когда речь идет о таких успешных с научной точки зрения реализациях научного мышления, как математика или физика, это парадоксально материалистическое положение позволяет высветить земные корни платоновского мира идей. В отношении социальных наук, которые в доказательство своего божественного происхождения зачастую не способны предоставить ни универсального закона, ни материальной техники, систематически и осязаемо изменяющей мир обыденной очевидности, велик соблазн заключить, что они попросту сводятся к социальным институтам и всего лишь объективируют их логику, будь то логика изучаемых институтов, институтов-заказчиков или самих инстанций научного производства. Иными словами, социальные науки, разрушающие миф о трансцендентных источниках знания, первыми лишаются привилегий трансцендентного происхождения.

Впрочем, если проблема заключалась бы только в отсутствии решающих доказательств научности, до их обретения можно было бы рассчитывать на постоянный эзотерический, признаваемый

¹ В основу этой главы легла существенно переработанная статья «Российская социология: автономия под вопросом», первоначально опубликованная в соавторстве со Станиславом Гавриленко: *Логос*. 2002. № 5–6; 2003. № 1–2. Публикация этой главы — еще один повод выразить мое искреннее расположение и признательность соавтору, с которым меня связывает продолжающийся интеллектуальный и дружеский диалог.

² Дюркгейм Э., Мосс М. О некоторых первобытных формах классификации. К исследованию коллективных представлений // Мосс М. Общества. Обмен. Личность / пер. с фр. А.Б. Гофмана. М.: Восточная литература, 1996. С. 7.

лишь внутри этих дисциплин обмен знанием. Но современные научные институты, идет ли речь о 1960–1980-х годах или (даже в большей степени) об актуальном периоде, по своей организации крайне далеки от эзотерических кружков. Прежде всего они постоянно поддерживают принудительно утилитарную саморефлексию своих членов, обосновывая как свою «общественную полезность», так и экономическую эффективность. Открытость социальных дисциплин к внешним требованиям и, одновременно, отсутствие твердых эпистемологических оснований, тесно связанных с иллюзией трансцендентного происхождения знания, упреждают их возможное движение по эзотерическому пути и тем самым оставляют приоритет за таким мышлением, которое в самом деле тяготеет к самопредставлению изучаемых институтов, вернее, к представлению посредством этих дисциплин господствующего взгляда на социальный мир.

Очертив отправную и часто само собой разумеющуюся — а оттого наименее заметную и наиболее устойчивую — плоскость социологической практики, мы способны не только выявить силовые основания понятийного строя дисциплины, но и расширить пространство возможных взглядов на социальный мир и показать, что господствующий с 1960-х годов по настоящее время в российской социологии взгляд — продукт соединения социальных обстоятельств на коротком промежутке ближайшей истории дисциплины, который может быть иным в иных исторических условиях и в принципе иным, если рассматривать социальные науки в движении к новым горизонтам и к собственно научному мышлению, каждый раз заново преодолевающему свою исторически и социально заданную ограниченность.

Взятые крупным планом, на кратком историческом интервале социологические классификации — это отношение сил, которое складывается между отдельными институтами и фракциями и которое через профессиональные иерархии, механизмы признания, актуальные требования и ставки, результирующие это отношение, порождает представления о социальном мире. Система универсалий, к которым относятся «личность» или «наука», формирующаяся вне дисциплинарных границ и локализованная скорее в политическом универсуме, нежели в собственно научном, продолжает играть здесь учредительную роль. Прибегнув к методологической редукции, историю новых дисциплин, к числу которых принадлежит и социология, можно свести к институ-

циализации этих понятий в легитимной дисциплинарной сетке. Но эта динамика, как можно было видеть на материале предыдущих глав, не имеет ничего общего с гармоническим самозарождением. Само *отношение сил*, реализованное в форме институтов и состязающихся фракций в их составе, является тем общим условием, которое ограничивает возможности равно общей понятийной системы и отдельных носителей смыслов по использованию некоторых понятий в статусе универсалий. Именно поле сил предпосылает индивидуальному научному и политическому воображению наиболее вероятные формы, которые оно может принять, чтобы выглядеть приемлемым с дисциплинарной точки зрения. То, что может скрываться за понятием дисциплины в различных силовых (институциональных) конфигурациях, я подробно анализирую в следующей главе. Сейчас же основным будет иной вопрос: как понятия, классификации, суждения порождаются или отсеиваются этим полем сил?

Профессиональная цензура на средства выражения, которая наиболее отчетливо выражена в философии, слабее в социологии и совсем слабо в публицистике³ — если брать за основу наличие специализированного языка, — обнаруживает себя уже в самых общих и глубоко укорененных критериях текущей дисциплины высказывания, которые отделяют высокую теорию от «зауми», актуальные вопросы от ортодоксии, интересные сюжеты от скучных и т.д. В числе этих оснований находятся и неявные политические предписания, которые остаются привилегированным объектом нашего исследования российской социологии в той мере, в которой используемые ею понятия генетически связаны с политически заданной системой исторического материализма и научного коммунизма, а карьеры социологов во многом подчиняются бюрократическим императивам.

Общность профессиональных условий, вписанных в институции, гарантирует устойчивость ряда понятий и классификаций, которые приобретают характер господствующих — внутри дисциплины или, как в нашем случае, благодаря специфической связи новой науки с государственным аппаратом⁴. Подкреплен-

³ См.: Бурдые П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера / пер. с фр. А. Бикбова, Т. Анисимовой под ред. А. Бикбова. М.: Праксис, 2003. Гл. 4.

⁴ То, как формируется эта связь, а через нее — специфические черты российской социологии, я подробно анализирую в следующих разделах этой главы.

ные институционально, отдельные понятия и стоящие за ними смысловые различия начинают функционировать не как частные изобретения, но как неустранимые универсальные схемы категоризации реальности или как сама реальность, что признается самыми разными участниками, в том числе находящимися друг с другом в открытой интеллектуальной конкуренции. Таким образом, ряд институционально заданных смысловых различий, включая те, о которых шла речь выше, например фундаментальной и прикладной науки, служат *здоровым смыслом* дисциплины, определяющим условия деятельности внутри нее.

В данном случае характеристика «господствующие» применительно к классификационным различиям и понятиям оказывается структурным, а не количественным признаком. Именно в этом качестве он включен в определение Маркса, не раз доказывавшего свою объяснительную силу: господствующие представления — это представления господствующих⁵. В дальнейшем анализе я воспользуюсь тем же приемом: возвратом от смыслов и понятий, институционализированных в качестве универсалий, к тем их носителям, которые занимают в дисциплинарных иерархиях господствующее положение⁶. Такое понимание смысловых различий, увязывающее социальную историю дисциплины с социальной историей понятий, рассмотренных ранее, обеспечивает также техническое решение проблемы избыточности материала. Для выявления принципов социологического мышления позднесоветского и постсоветского периода попытка охватить весь массив дисциплинарных текстов, опубликованных на ограниченном хронологическом интервале, может оказаться

⁵ См. также: *Bourdieu P. La Distinction. Critique sociale du jugement. P.: Minuit, 1979. P. 448–461.*

⁶ Среди прочего, структурное определение господства предполагает отход от позитивистской логики конструирования объекта, опорным аргументом которой служит количественное измерение «господства» (ср. «господствующие мнения», «господствующие ценности» и т.п.) и которая систематически вытесняет вопрос о социальных условиях и формах эффектов господства, а вследствие этого нередко — и конверсию политических императивов в статистические процедуры (см.: *Шампань П. Разрыв с предвзятыми или искусственно созданными конструкциями // Лемуар Р., Мерлье Д., Пэнто Л., Шампань П. Начала практической социологии / пер. с фр. Д.В. Баженова, А.Т. Бикбова, Е.Д. Вознесенской, Г.А. Чередниченко под ред. Н.А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001).*

не столь продуктивной⁷. Более результативным может стать, в некотором смысле, прямо противоположное действие: выделение ключевых фигур и текстов, отмеченных неформальным признанием профессиональной среды и (или) явными признаками высшей иерархической принадлежности (посты, звания, награды), и анализ логики функционирования этих позиций, занятие которых чаще всего является результатом длительной и ритмически неоднородной аккумуляции ресурсов в пределах дисциплины.

Чтобы избежать явного уклона в сторону «великих имен» (в чем бы ни заключался источник их величия), следует обратиться к другому структурному показателю — наиболее общим и устойчивым классификациям, действующим в профессиональной среде и выраженным в организации научных и образовательных институтов: структуре социологических факультетов и академических заведений, темах больших конференций и пленарных выступлений, сюжетах итоговых сборников и отчетных сессий, — в которых социальный мир, а значит, и сама со-

⁷ Это отчасти доказывает попытка авторов, которые сделали акцент на «быстрой» формализации большого корпуса текстов и детальном математическом обосновании модели его обработки: Качанов Ю.Л., Маркова Ю.В. Автономия и структуры социологического дискурса. М.: Университетская книга, 2010. Особенность их подхода заключалась в том, что, решая задачу формализации текстовых данных, они не фиксировали смысловые оппозиции на основе противопоставлений, предложенных самими авторами социологических статей, и отказались от анализа понятийного контекста. Вместо этого они самостоятельно приписывали ряду терминов, найденных в статьях, характер устойчивых смысловых полюсов. Промежуточным результатом анализа стали таблицы частотного распределения таких смысловых оппозиций, как «свобода — независимость», «легальный — нелегальный», «вероятный — невероятный», «коммунистический — демократический», «абсолютный — относительный» (полный список приводится в Приложении 1 цит. соч.) и т.д., имеющих совсем неочевидное отношение не только к их смыслу у отдельных авторов, но и к социологически легитимным понятиям или политическим универсалиям. Итогом предпринятого анализа стали два кардинальных противопоставления в смысловом пространстве дисциплины: макро- и микросоциологический подходы, а также политическое и социальное, или гражданское основание для социологических классификаций (гл. 4 и 9). Трудно не признать, что такой результат мало добавляет к пониманию специфики российской социологии и, возможно, не требует использования того массивного аппарата обоснований и подсчетов, который был задействован для его получения.

циология представлены через наиболее общие и теоретически легитимные деления и определения.

Таким образом, в поисках господствующего в российской социологии здравого смысла и его силовых оснований следует обращаться к общим, заданным институциями условиям и к господствующим позициям: к практике центральных инстанций и ключевых агентов, продукция которых выступает образцом (и пределом) для большинства менее специализированных и (или) менее признанных участников дисциплинарной динамики. Прodelанный на этих принципах анализ способен дать первое адекватное приближение к модели дисциплинарного генезиса базовых смысловых различий, если учитывать, что она не исчерпывает содержательных нюансов социологической практики, но лишь фиксирует ее наиболее крупные гравитационные центры.

ПРИНЦИПЫ МЫШЛЕНИЯ И ГЕНЕЗИС СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ

Прежде чем описывать межпозиционную борьбу, в ходе которой был произведен ряд смысловых различий, признанных в советской и даже современной российской социологии, следует обратиться к общим условиям функционирования институций и правилам карьеры, которые позволяли отдельным социологам достигать господствующих позиций. Этот шаг оправдан вдвойне, поскольку в российской социологии 1990–2000-х годов ключевые позиции занимали те, кто еще в 1950–1960-х годах переоткрывал в советском академическом контексте подходы и приемы, разработанные в американской и, реже, в западноевропейских версиях дисциплины. Борис Грушин, Татьяна Заславская, Андрей Здравомыслов, Игорь Кон, Юрий Левада, Геннадий Осипов, Владимир Ядов — энтузиасты, практики и интерпретаторы, научные администраторы эпохи становления советской социологии, которые от полуофициальных семинаров и чтения западной литературы из спецхранов⁸, исследова-

⁸ Спецхран — отдел специального хранения в крупных и специализированных научных библиотеках, где размещались книги, изъятые цензурой из общего доступа. Для обращения к фондам спецхранов требовалось отдельное разрешение, предполагающее, среди прочего, характеристику политической лояльности читателя. Подробнее функцио-

ний трудовой мотивации и общественного мнения, первых зарубежных стажировок и международных конгрессов, миновав в 1970–1980-х годах с большими или меньшими потрясениями поворотные точки своей научной карьеры, к рубежу 1980–1990-х (времени повторного официального признания дисциплины) находились на достаточно высоких должностях в академическом секторе, чтобы использовать обретенный политический ресурс для восхождения к вершинам административной иерархии, заняв ключевые посты в старых и новых учреждениях, таких как ИС АН, ВЦИОМ, чуть позже ИСПИ и Интерцентр⁹.

Схожий эффект можно было наблюдать и в образовательном секторе дисциплины, например, в случае Владимира Добренькова, который в тех же обстоятельствах оказался распорядителем крупнейшего образовательного учреждения — деканом социологического факультета МГУ¹⁰. Авторы, опубликовавшие свои первые социологические тексты в 1960-х или в начале 1970-х годов и к 2000-м годам воплощающие в своей траектории опыт всего периода институционализированной советской социологии, обрели господствующее положение в результате постоянства своего административного и научного (в случае исследователей) присутствия в дисциплинарном пространстве. Именно они через тексты и конференции, через учебники и прямое обращение к студентам-социологам, но также, и все больше — через административную и организационную деятельность гарантировали устойчивость дисциплины и правила наследования в ее рамках.

При этом наиболее известные российские социологи были склонны оценивать скептически не столько советскую социоло-

нирование этих отделов и история их создания описаны, в частности, на примере одной из научных библиотек: Лютова К.В. Спецхран Библиотеки Академии наук. Из истории секретных фондов. СПб.: БАН, 1999.

⁹ Институт социологии Академии наук СССР (впоследствии РАН, создан в 1968 г. как Институт конкретных социальных исследований АН СССР, в 1988 г. возглавлен Владимиром Ядовым), Всесоюзный (впоследствии Всероссийский) центр изучения общественного мнения (создан в 1987 г., возглавлен Татьяной Заславской), Институт социально-политических исследований АН СССР (впоследствии РАН, создан в 1991 г., возглавлен Геннадием Осиповым), Междисциплинарный академический центр социальных наук (создан в 1993 г., возглавлен Татьяной Заславской и Теодором Шаниным).

¹⁰ Создан в 1989 г. на основе кафедры конкретных социальных исследований при философском факультете МГУ.

гию в целом, которой они все же склонны адресовать сдержанные комплименты, поскольку на этот период приходится пик их профессионального признания, сколько собственную *профессиональную компетентность*. Из их уст подобные признания могут показаться удивительными: «Вот это проблема моего поколения социологов. Мы все — самоучки в социологии»¹¹; «Это была атмосфера всеобщих споров... Я смотрю на это... скептически, потому что чего-то оригинального и серьезного создано не было... Мы сами учились всем этим предметам — плохо и мало...»¹²; «Надо четко разделить социологию и меня. Конечно, социология — это особая наука. Но я и сейчас недостаточно ею владею, хотя бы потому, что у меня нет базового социологического образования»¹³. Эти признания, которые, как можно видеть, распространялись и на дисциплинарное самоопределение 30 лет спустя, не являются чем-то случайным по отношению к практике социологов, чей вес и престиж гарантирован временем, проведенным внутри дисциплины. Выстраиваясь вокруг оппозиции профессионализма — любительства, они сообщают о важном факте в истории дисциплины: профессиональная социология была учреждена в России (СССР) в течение жизни старшего поколения, и следы этого незавершенного превращения самоучек в признанных социологов продолжают составлять один из пунктов напряжения в их автобиографической рефлексии, равно как в их отношении к профессии.

Однако осмысление признанными социологами своего любительства в данном случае интересует меня существенно меньше, чем вопрос о том, каким образом неокончательная профессионализация господствующих профессионалов сказывается на структуре дисциплины. Первое, чем следует поинтересоваться, изучая здравый смысл российской социологии, — это критерии, которые служат для различения позиций внутри дисциплины. Отличают ли представители старшего поколения себя и других по теоретической принадлежности, по политическим пристрастиям, общекультурным (прежде всего литературным)

¹¹ Интервью с В.А. Ядовым // Российская социология 60-х годов в воспоминаниях и документах / под ред. Г.С. Батыгина. СПб.: Издательство РХГИ, 1999. С. 61.

¹² Интервью с Ю.А. Левадой // Там же. С. 91–92.

¹³ Интервью с Т.И. Заславской // Там же. С. 140.

предпочтениям и т.д.? Можно сказать, что как и в любом интеллектуальном производстве, здесь работают все перечисленные принципы. Главное отличие мы обнаружим, если обратимся к их весу и рангу в общем списке. Непрофессиональный генезис дисциплины означает прежде всего исходное отсутствие делений, которые соответствовали бы специфическим правилам и ставкам, принятым в данной дисциплине, и беспрепятственный перенос внутрь дисциплины тех смысловых различий, которые обладают легитимностью вне ее, в частности, в рассмотренном нами ранее универсуме официального политического высказывания. Какие деления в этих условиях стали отправной плоскостью для советской социологической практики, учитывая, что институционально первые шаги социологии нередко свершались в стенах философских учреждений? Были ли это философские различия, действовавшие в 1960-х годах: кантианцы — гегельянцы, диалектический материализм — теория познания, история философии — истмат-диамат? Быть может, советская социология структурировалась по образцу осваиваемых западных версий, т.е. в соответствии с действующими в них различиями позитивизма — феноменологии, системной теории — микросоциологии и т.д.? Или вся дисциплина была упорядочена вокруг политически заданных понятийных различий, таких как зафиксированная ранее оппозиция между «всесторонним развитием личности» и «коммунистическим воспитанием личности», которые при внешнем созвучии представляли собой два противостоящих дисциплинарных мира?¹⁴

С одной стороны, в социологических и философских публикациях на протяжении 1960–1970-х годов мы обнаруживаем неоднократное возобновление полемики о предмете социологии, где иерархические притязания молодой дисциплины сталкиваются с монополией на социальную теорию, закрепленной за историческим материализмом. В этом смысле одной из оппозиций, отражавших собственное место социологии в ряду дисциплин, но также ее внутренний порядок, была «общая социальная теория» — «теория среднего уровня» и «прикладные исследования», где за официально и профессионально легитимной социологи-

¹⁴ Подробнее эта оппозиция рассмотрена в гл. IV, посвященной «личности» — в параграфе «Новые социальные дисциплины: между «коллективом» и «личностью»».

ей был закреплён второй полюс¹⁵. С другой стороны, роль профессионального катализатора внутри дисциплины в 1960-е годы выполнил структурный функционализм, напрямую восходящий к теории систем Парсонса. Введенный в двойственном статусе: официально — как оптимизирующее дополнение, неофициально — как решительный контраргумент к «общей социальной теории» истмата, он выступил одновременно теоретической основой и отличительным знаком *профессионализма* в терминах 1960-х¹⁶. Обособленный сектор производителей «критики буржуазных теорий», по своей логике более всего приближавшийся к истории философии, за редкими исключениями, не нарушал принципиального равновесия между истматом и системной теорией — именно в силу своей обособленности¹⁷. Общая масса заимствуемых понятий и приемов интегрировалась в корпус знаний советской со-

¹⁵ Ввиду значения темы и длительности ее разработки в советской социологии список литературы, пожелай я его здесь воспроизвести, был бы огромен. Параллельно с открытыми публикациями в научной периодике существует пласт партийных и административных документов, предметом которых была теоретическая чистота социологии, борьба с различными «вредными влияниями» и обоснование оправданности той или иной теоретической интервенции (представление об этом дают сборники серии «Социология и власть», два выпуска которых опубликованы в издательстве «Academia» в 1997 и 2001 гг.).

¹⁶ Об этом свидетельствовали как непосредственные участники (см. интервью с В.А. Ядовым и Ю.А. Левадой, цит. соч.), так и нынешние наследники системного подхода (Чеснокова В.Ф. Предисловие // Парсонс Т. О социальных системах / пер. с англ. под ред. В.Ф. Чесноковой, С.А. Белановского. М.: Академический проект, 2002. С. 3, 13–14).

¹⁷ Этот сектор, изначально предназначенный решать двойственную задачу «идеологической борьбы» и реферативной работы (Записка директора ИФ АН СССР П.Н. Федосеева «Об организации научно-реферативной работы по современной зарубежной философии и социологии» (Социология и власть 1953–1968 / под ред. Л.Н. Москвичева. Сб. 1. М.: Academia, 1997. С. 36)), оказался привилегированной позицией, приближающейся к новейшей истории философии (с самого начала реферативная работа «по современной зарубежной философии и социологии» являлась единой категорией (Федосеев П.Н. Указ. соч. С. 36)), за счет порога компетентности «критиков», задаваемого материалом: владение одним или несколькими иностранными языками, общая ориентация в пространстве социологических теорий и одновременно в философской классике, способность выразить в собственном тексте действующие теоретические различия — что для советских социологов и даже философов поколений 1950-х и 1960-х годов было относительно редкими качествами. Вот реалистичное признание из той же записки: «Философских кадров, владеющих иностранными языками, у нас край-

циологии помимо делений, действующих в западных социологиях, преимущественно в рамках системной и позитивистской (т.е. господствующей американской) модели социологии как научной дисциплины. Поэтому советские социологические дискуссии довольно быстро ушли от собственно философских различий но, имея в качестве латентной модели научности структурный функционализм, сдерживаемый официальным надстоянием истмата, не произвели *собственных теоретических делений*, которые соответствовали бы границам между западноевропейскими социологическими школами. Отраслевые деления (социология труда, социология образования, социология семьи и т.д.), производные от нужд управления и безразличные к вопросам метода, ни в коей мере не заменили теоретических различий.

Но если не признаки теоретической и школьной принадлежности были решающими для союзов и расхождений внутри дисциплины, и если эта теоретическая неразличимость¹⁸ во многом сохраняет актуальность при изменившихся условиях у обладателей ключевых позиций, которые наследуют пионерскому эклектизму семинаров 1960-х годов, — что же лежит в основе профессиональных предпочтений и что продолжает оказывать влияние на социологические классификации, используемые в 1990–2000-х признанными социологами и их сегодняшними учениками и последователями?

Как и в любой другой дисциплине, в позднесоветской социологии нельзя обнаружить единого неоспоримого основания или неизменного набора оснований, действующего на протяжении всего этого периода, который включал бы существенные разрывы и принципиальную неоднородность как от одной фазы к другой, так и от позиции к позиции¹⁹. Однако условия

не мало, выписываемая из-за границы иностранная литература изучается недостаточно...» (Федосеев П.Н. Указ. соч. С. 36).

¹⁸ В середине 1990-х она «вдруг» стала очевидна для следующего поколения социологов, которые позже по меркам коллективного времени дисциплины, но раньше в индивидуальном времени своей биографии и в иных институциональных условиях приобщились к американскому и западноевропейскому научному миру, откуда предыдущие поколения в 1950–1960-х годах начали извлекать и компоновать элементы советской методологии.

¹⁹ Для примера можно взять такую значимую для старшего поколения поворотную точку, как смена дирекции Института конкретных соци-

первичной институционализации социологии в 1960-х годах, ее место в символических иерархиях 1970–1980-х, а также обстоятельства ее реконфигурации в конце 1980-х — начале 1990-х, когда ревизия политических принципов советского периода заострила напряжения, ранее сложившиеся в дисциплине, закрепили в качестве господствующих принципы и категории, напрямую заимствованные из практик и правил действующего политического режима. Неверно думать, что они полностью подменили собой все прочие, в частности интеллектуальные критерии, но их относительный вес, воплощенный в том числе в фигурах социологов — академиков РАН, т.е. на формальной вершине академического признания, оказался настолько велик, что здравый смысл российской социологии и сегодня не испытывает нужды в строгих теоретических различиях, функцию которых по-прежнему выполняют расхожие политические деления.

Проследить политическую генеалогию профессиональных категорий можно вплоть до самого основания социологических институтов. Прежде всего следует принять во внимание, что исследовательский институт (ИКСИ²⁰, 1968) был создан десятилетием позже создания профессиональной социологической ассоциации (ССА²¹, 1957). Иными словами, рамочная профессиональная структура была создана до появления самих профессионалов, а центральную роль в ней длительное время играла администрация философских учреждений и партийное руководство. Не заполненная исследовательской работой институциональная рамка исходно служила целям внешнеполитического представительства: она позволяла советским делегатам официально принимать участие в международных социологических конгрессах и представлять СССР в Международной

альных исследований в 1971–1972 гг., произведенная отделом науки ЦК и резюмировавшая поворот в официальном определении социологии после пражской весны; или сложившееся уже к началу 1960-х годов позиционное различие между, например, эмпирическими исследованиями трудовых отношений (в том числе в рамках социологических лабораторий при крупных промышленных предприятиях) и реферативной (историко-социологической) работой.

²⁰ Институт конкретных социальных исследований, в настоящее время Институт социологии РАН.

²¹ Советская социологическая ассоциация.

социологической ассоциации²². В свою очередь, создание исследовательского института одновременно с частичной легитимацией социологии как самостоятельной дисциплины институционализировало и ее политическую функцию как инструмента идейной борьбы и инструмента управленческой экспертизы²³.

Вторым источником административно-политического определения дисциплины было обширное участие отделов науки и идеологии ЦК КПСС в решении внутрипрофессиональных вопросов. Это участие состояло не только и не столько в пресловутой цензуре статей и монографий, авторы которых позволяли себе шаг в сторону от ортодоксии исторического материализма²⁴. Гораздо более серьезное воздействие на структуру дисциплины осуществлялось через управление научными карьерами. Утверждения на должности, начиная с заведующего отделом, обсуждались и утверждались дирекцией институтов в отделах ЦК; в отдельных случаях совместно рассматривались кандидатуры старших научных сотрудников и кандидатов на докторскую степень. Список социологов, выезжающих на международные конгрессы, равно как допущенных к встречам с зарубежными коллегами в СССР или к международному книжному обмену (получение зарубежных публикаций), находился в прямом ведении отделов идеологии и науки ЦК²⁵.

Тем самым принципы формирования административной структуры дисциплины, делающие ее частью обширной системы государственной службы, предполагали крайне специфическую комбинацию административных и научных ресурсов, обеспечивающих успешную профессиональную карьеру. Наиболее известными и активными (публикующимися, выступающими, выезжающими за рубеж) социологами были не те, кто

²² Подробнее об этой истории см. в гл. VIII наст. изд.

²³ См.: Интервью с Г.В. Осиповым // Российская социология 60-х годов... С. 98–99.

²⁴ Нередко обсуждения и «проработки» в ЦК происходили не до, а после публикации и становились оружием межфракционной борьбы внутри социальных дисциплин, в частности, между ревнителями ортодоксии и социологами, транслирующими зарубежные модели. Однако именно этот пункт наиболее часто используется в построении героического образа социологии как науки, противостоящей власти.

²⁵ Сведения получены в ходе интервью с социологами, вошедшими в профессию в 1960-е годы (записаны в разное время на протяжении 2001–2004 гг.).

находился на максимальной дистанции от органов партийного руководства, а те, кто занимал в них не ключевые, но далеко не последние должности (секретари институтских ячеек КПСС, члены горкома комсомола и т.д.). Именно эта включенность обеспечивала им привилегию участвовать в теоретических дискуссиях с советскими философами и зарубежными социологами, равно как получать представление о «западной теории» из первых рук в ходе конгрессов и встреч. Именно таков случай социологической лаборатории при Ленинградском государственном университете, где в середине 1960-х годов работали Ядов, Здравомыслов, Кон. Эта ситуация позже была воспроизведена в ИКСИ, где работали Осипов, Левада и сотрудники ленинградской лаборатории. Наиболее признанные социологи были в разной мере вовлечены *одновременно* в обе структуры, что решающим образом определяло тематические и теоретические приоритеты советской социологии²⁶.

Иначе говоря, в советском случае профессиональная социология не была изобретением молодых преподавателей времен университетского кризиса, как не была она продуктом разрыва исследователей с корпусом преподавателей старых дисциплин, что во многом можно было наблюдать во Франции 1950–1960-х²⁷. Не была она и местом собственно политической оппозиции, как это порой представляют послесоветские версии истории дисциплины. Акт политико-административного учреждения социологии бесконечно воспроизводился в создании исследовательских подразделений и групп, формировании тематического репертуара и ключевых проблем, заказах на исследования из нужд и средств отделов идеологии и науки ЦК и обкомов. И лишь вслед за политическим учреждением дисциплины, дающим ей место в административных иерархиях, равно как правила занятия должностей, могли следовать санкции и репрессии. В этом смысле институционализация социологии в игре интересов научной и государственной администрации²⁸ лишала ее того эпистемологического резерва, который позволял бы,

²⁶ Это двойное участие и его последствия для понятийных структур дисциплины еще будет подробно рассмотрено в гл. VIII наст. изд.

²⁷ Bourdieu P. *Homo academicus*. P.: Minuit, 1984. P. 176–180.

²⁸ Которые служили как официальной основой, так и плоскостью отталкивания, столь необходимой для мягкой либеральной оппозиции.

находясь внутри дисциплины, противостоять логике административных (само)определений и использования политических универсалий в неизменном виде.

ОБЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ КООРДИНАТ И ПОВОРОТНЫЕ ТОЧКИ

Рассмотреть, как работает эта механика, переводящая институциональные условия в дисциплинарный здравый смысл, лучше всего на отдельных примерах, позволяющих описать ее в деталях. В ряду интересующих меня примеров можно обнаружить как понятия, составляющие часть методологического инструментария советской социологии, так и классификации, которые позволяют участникам дисциплинарной динамики проводить рефлексивные различия внутри нее, в частности, фиксировать ее хронологические этапы. Действительно, для исследователя не менее выразительными, чем теоретические или методологические различия между отдельными позициями, оказываются хронологические различия, привязанные к поворотным точкам, которые приобретают характер общепризнанных. Более того, одним из косвенных признаков веса и признания того или иного социолога в пространстве дисциплины будет служить как раз появление в его собственных текстах и текстах о нем явных отсылок к таким поворотным точкам.

Так, известность социолога Владимира Ядова²⁹ определяется не только рядом публикаций, пользовавшихся исключительно

²⁹ Родился в 1929 г., окончил философский факультет и аспирантуру ЛГУ; после XX съезда КПСС в течение двух лет являлся секретарем райкома ВЛКСМ; в конце 1950-х возглавил лабораторию социологических исследований при ЛГУ; в 1963–1964 гг. прошел стажировку в Манчестерском университете и Лондонской школе экономики; в 1950–1960-х годах — руководитель коллектива исследования трудовой мотивации; один из редакторов коллективной монографии «Человек и его работа» (1967), получившей признание в качестве базового текста советской профессиональной социологии; автор известного учебника эмпирической социологии «Социологическое исследование: методология, программа, методы» (1968, переизд. в 1972, 1987); в 1968 г. возглавил ленинградское отделение ИКСИ; в 1988 г. — директор-организатор ИС АН СССР. Эта неизбежно неполная биографическая сноска, где не отражен целый ряд поворотных пунктов социальной траектории, может быть дополнена по указанной словарной статье и интервью в сборнике «Российская социология 60-х годов...».

ным читательским вниманием уже в 1960-е годы, но и его присутствие в ряде поворотных точек дисциплины периода ее повторной институционализации, в конце 1980-х — начале 1990-х. Вот яркий по своей политической маркированности фрагмент из словарной статьи, относящейся к моменту, когда Ядов находился на должности директора Института социологии РАН: «В годы перестройки моральный и науч[ный] авторитет Я[дова] сыграл определяющую роль в консолидации либерального крыла профессионального сообщества социол[огов]. Он был активным участником преобразований, участвовал в подготовке новой, так и не принятой Программы КПСС. В 1988 на волне демократизации общественной жизни Я[дов] был избран директором Ин-та социол. АН»³⁰. Столь же отчетливым хронологическим и политическим маркером становится формулировка, призванная ретроспективно отличить себя от этой позиции, в исполнении другого известного в 1960-е годы социолога, Геннадия Осипова: «Они [социологи] решительно отвергли первоначальную идею Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева о форсированном переходе к коммунистическим принципам распределения и поддержали идею перехода к рыночной экономике. ...Концепция основывалась на демократически узаконенной идее социальной стабильности и социального порядка»³¹. Эти формулировки демонстрируют поразительное единство оснований, на которых возможно проведение различий. С одной стороны, в них объективирован политический антагонизм между двумя социологами, актуализированный в поворотный для дисциплины момент и сохраняющийся поныне: спустя десятилетие они повторно утверждают границу между «активным участником преобразований» Ядовым и Осиповым, который рассматривает себя (и социологию в целом) как здравую оппозицию радикализму государственных реформ. С другой стороны, эти и подобные формулировки демонстрируют общность господствующих политических (проперестроечных) диспозиций, характерных для дисциплины в конце 1980-х годов. Политические деления этого периода в почти нерегулируемой

³⁰ Социологи России и СНГ XIX–XX вв. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 354.

³¹ Осипов Г.В. Институт социально-политических исследований РАН на службе отечеству и науке (<www.ispr.ru/10LET/10let.html>, источник на сайте более не доступен, последний доступ 25.03.2005).

форме продолжают сохранять актуальность для социологов и администраторов, которые обязаны своим положением в дисциплине политическим условиям этого периода.

Те же условия проясняют принцип периодизации дисциплины, предложенный самими участниками этих поворотных моментов, в частности Ядовым. В соответствии с ним «точку в истории советского периода отечественной социологии» ставит не что иное, как публикация доклада Татьяны Заславской на Западе в 1983 г., после чего Россия начинает входить в «глобальное научное сообщество... освобождаясь от давления “единственно правильной и всеобъемлющей” теоретической парадигмы»³². Устанавливая явную связь между политическим смыслом «реформаторского» доклада и поворотом во внутренней истории дисциплины, Ядов тем самым объективирует собственную позицию, сближающуюся с позицией Заславской. Столь явные политические (само)определения обнаруживаются в текстах прежде всего тех социологов, чьи траектории в конце 1980-х — начале 1990-х годов меняются вместе со всей социологией, «вдруг» получившей официальное признание и роль инструмента Нового порядка.

Безусловно, ретроспективные (само)характеристики ключевых участников институционализации дисциплины в поворотных точках не исчерпывают признаков, которые указывали бы на единство политических оснований социологической практики в исполнении самых разных ее участников. Куда более убедительным в этом отношении становится набор методологических и пропедевтических предписаний о том, как следует заниматься социологией. В явном виде мы обнаруживаем подобные предписания в учебниках и учебных курсах, в неявном — в последовательности шагов социологического исследования, формулировках гипотез, предлагаемых авторами статей типологиях, декларациях о назначении социологии и ее месте в системе знания. Если во всем этом разнообразии можно проследить некоторые общие принципы, а в реализации этих принципов — прямую связь с системой политических категорий, мы существенно продвигаемся в понимании того, как устроена советская социология, а также те элементы актуальной дисциплины, в которых унаследована исходная конструкция.

³² Ядов В.А. Предисловие // Социология в России. М.: Издательство Института социологии РАН, 1998. С. 12.

Таким образом, вопрос о наличии общей системы политических координат и языка, объективирующего прагматику дисциплины, указывает дальнейшее направление анализа. Возможно, если открытая политическая дифференциация позиций в дисциплине датируется концом 1980-х годов, то прежде профессиональное мышление характеризовал относительно однородный набор базовых очевидностей, на основе которого эта дифференциация и стала возможной.

ПРАВИЛА МЕТОДА И «СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА»

Как я указывал ранее, советская академическая социология на протяжении 1960–1980-х годов утверждалась прежде всего через рецепцию американской профессиональной социологии, которая выступала для нее референтной системой: плоскостью одновременного ценностного притяжения («западный опыт») и отталкивания («критика буржуазных теорий»). При этом официальное определение дисциплины в качестве набора «теорий среднего уровня и конкретных эмпирических исследований», которое в условиях прямого надзора со стороны официальной доктрины истмата и ее носителей функционировало как реальный практический регулятив, превращало методы и результаты эмпирической работы в центральные темы реферативных и собственно социологических текстов³³. Собственно, наряду с овладением текстами Толкотта Парсонса и помимо этого, ключевая ставка социологической профессионализации непрофессионалов и состояла в освоении ими методов эмпирических исследований, которые в системе политических координат этого периода являлись главным аргументом в пользу существования дисциплины.

Эта гипотеза находит целый ряд подтверждений. Еще в конце 1960-х годов публикуются обширные пропедевтические тексты,

³³ См., напр.: Социологические исследования. Список литературы. Л.: Библиотека АН СССР, 1971. В двух основных разделах, «Методика социологических исследований» и «Социологические исследования в НИИ и на промышленных предприятиях», количественно преобладают работы по следующим темам: математика и статистика в социологии, методы и методики социологических исследований, социальное управление и прогнозирование (первый раздел); оптимизация и организация труда, социальное развитие и прогнозирование коллективов, планирование и прогнозирование производства и трудовых ресурсов на предприятиях и в НИИ, отношение к труду (второй раздел).

которые обходят стороной чистую «буржуазную теорию» и полностью посвящены техникам эмпирического исследования³⁴. Однако уже в 1968 г., а большими тиражами — с начала 1970-х появляются отечественные пособия, которые не просто предлагают перечень технических приемов для воспроизведения, но через нормативную риторику, наделенную статусом теории (методологии), локализуют его в советском академическом контексте и вместе с тем перемещают прежде отчетливо «западные методы» в универсальную перспективу социологии как таковой. Речь идет о таких учебных пособиях, как «Социологическое исследование: методология, программа, методы» (Владимир Ядов, 2-е изд. 1972³⁵); тогда же — «Лекции по методике конкретных социальных исследований» (под ред. Галины Андреевой, 1972); несколько позже — «Рабочая книга социолога» (под ред. Геннадия Осипова, 1977), — которые в форме исчерпывающего списка и уже от лица советской социологии восполняют постоянный спрос на практические руководства. Все три издания получают широкое признание, два из них (ядовское и осиповское) вновь издаются на протяжении советского периода, а представленный в них репертуар методов, набор понятий и определений составляют парадигму профессиональной социологии в СССР.

Что объединяет эти руководства, признанные и канонизированные целыми поколениями советских социологов? Прежде всего «методологическая часть», несколько варьирующаяся от текста к тексту³⁶, составлена неизменным рядом понятийных пар: «объекта и предмета», «целей и задач», «абстрактного и конкретного», «данных и гипотез», «социальной ситуации и проблемы исследования», — которые определяют нормативную схему исследования, ее имплицитную теорию и практическую

³⁴ См., напр.: Моница М.Л. Критический очерк методов и техники социологических исследований за рубежом // Информационный бюллетень: материалы и сообщения. 1967. № 1.

³⁵ Первое ротационное издание — 1968 г., в издательстве Тартуского университета.

³⁶ Так, «Рабочая книга социолога», продукт Академии наук, в части изложения принципов исследования — усложненное выражение логики, которая более прозрачно представлена в университетских «Лекциях» (под ред. Г.М. Андреевой), выпущенных пятью годами ранее. Вместе с тем в «Рабочей книге» изложение бюрократических принципов исследования, практически значимых для социолога из академического института, менее эвфемизировано (см. далее).

последовательность шагов. Помимо социологического в современном понимании, у используемых в руководствах понятий имеется политический и административный смысл. Чтобы реконструировать его сегодня, следует помнить, что в структуре советской научной политики социология исходно удовлетворяет двум основным задачам: доказательство преимуществ социалистического образа жизни в международном состязании (с этой целью создавалась Советская социологическая ассоциация) и «оптимизация управления научно-техническим прогрессом», прежде всего в сфере трудовых отношений: решение проблем текучести кадров, использования рабочего времени, сплоченности коллективов и т.д. На это указывает как библиография первых социологических публикаций, так и специализация первых социологических лабораторий. В исследованиях конца 1950-х — первой половины 1960-х годов особое место принадлежит таким техническим или сугубо описательным темам, как «самофотография рабочего дня», «научная организация труда на предприятии» и «проблема текучести кадров»³⁷. Даже знаменитое коллективное исследование «Человек и его работа» (1967), первая версия которого публикуется в 1965 г. под заглавием «Труд и развитие личности», помещается в библиографическом указателе в раздел «Социологические исследования в НИИ и на промышленных предприятиях», а не в раздел «Общие работы»³⁸.

³⁷ Социологические исследования. Список литературы. Л., 1971.

³⁸ Место социологии в «устранении проблемы текучести кадров», «организации труда на предприятии» и, более широко, в «научном управлении обществом», которое легитимирует ее в системе позднесоветской администрации, схожим образом представлено в одной из ранних попыток послесоветского анализа: Альберг Г. Реабилитация социологии в СССР. Постановление Политбюро ЦК КПСС по социологии и его значение // Социология как предмет специального научного исследования. М.: Институт социологии АН, 1992. С. 88–92. Даже в рубежный 1990 г., в единственном на тот момент академическом издании дисциплины, журнале «Социологические исследования» (учрежден в 1974 г.), регулярно публикуются статьи по этой тематике, нередко первыми позициями номера. Представление о неизменности «проблем» позволяют составить заголовки: «В ожидании перемен (рабочие о ситуации на промышленных предприятиях)», «Почему рабочие ограничивают выработку?», «Старение рабочей силы и его влияние на занятость», «Индустриальный отряд трудящихся», «Социальная сфера предприятия», «Что привело к забастовке», «Распределение труда в СССР», «Социально-

В этой прагматике контекстуальное определение, которое получают такие понятия, как «проблема» или «задача», тесно связывает их социологический смысл с административным:

Непосредственным поводом к проведению практически ориентированного социологического исследования служит реально возникшее противоречие в развитии социального организма. Так, речь может идти о противоречии между социальной и профессиональной ориентацией молодежи, закончившей среднюю школу, и потребностями общества, в том числе конкретными потребностями данного населенного пункта, предприятия... Проблемная социальная ситуация *более или менее точно* отображается в научной проблеме, в которой фиксируется противоречие между знанием о потребностях общества и его организаций в определенных практических действиях и незнанием путей и средств реализации этих действий³⁹.

Более того, в административно-политической логике исследования «Рабочая книга социолога» предлагает подробные инструкции к процедуре *административного* согласования *теоретической* программы исследования: «В разработке теоретической программы принимает участие широкий круг социологов в сотрудничестве с административными органами и общественностью тех предприятий и учреждений, где предполагается проведение социологического исследования» и т.д.⁴⁰

Далее, модель социологической практики, представленная во всех трех пособиях, основана на неизменном репертуаре техник исследования и способах их представления, мало отличающих эти советские публикации от рефератов по «зарубежным исследованиям». Такие техники: анкетирование, интервьюирование, наблюдение, анализ документов, социальный эксперимент. Этот репертуар представлен в виде готового набора, элементы которого социолог может выбирать в зависимости от поставленных перед ним задач. Наконец, содержательные деления в исследовательской практике подчиняются преимущественно отраслевому, т.е. снова административному принципу: социо-

психологический климат коллектива предприятия», «Оптимальный уровень безработицы в СССР» и ряд подобных.

³⁹ Рабочая книга социолога. М.: Наука, 1977. С. 127 (Курсив мой. — А. Б.).

⁴⁰ Там же. С. 124.

логия труда, социология молодежи, исследования социальной структуры и т.д.

Сходство структуры всех трех пособий указывает не только на то, что они явным образом представляют, но и на то, о чем они умалчивают, маскируя одну из искомых базовых очевидностей. В логике всегда полного и заранее готового к употреблению набора оказывается невозможной постановка вопросов о смысле и направленности самой исследовательской практики, а сами техники исследования оказываются полностью нейтральны к любым теоретическим различиям. Иными словами, действительный методологический посыл всех этих пособий заключается в том, что структура социологической практики *неподвижна*. Об этом же свидетельствует алгоритмическое изложение этапов исследования, на которых я останавлиюсь подробнее, поскольку именно оно своим рутинным порядком определяет порог формирования собственных социологических понятий и различий.

В советской социологической методологии исходные задачи напрямую определяют выбор техники анализа из имеющегося репертуара, а эти задачи непосредственно задаются в самом начале алгоритма, который вводится как чистая логическая схема. В противовес интеллектуальной самоцензуре, отмечающей все слишком простое⁴¹, административная самоцензура социологических пособий предписывает исследованию утилитарную прозрачность и доступность, превращая в парадоксальный импульс неподвижного исследования ту самую *социальную проблему*. Способы ее тематизации принципиально схожи во всех трех пособиях. «Поставленная самой жизнью», она прямо отождествляется с проблемой социологического исследования, которое призвано ее разрешить. В университетском учебнике (под ред. Г.М. Андреевой) это отождествление усиливается императивом гражданской ответственности, которая, помимо ответственности научной, необходима для формулировки проблем. Принцип ответственности подкрепляется еще одним требованием: видеть и понимать большие, «магистральные проблемы общества и соотносить с ними те частные проблемы, которые должны быть решены в отдельном конкретном исследовании»⁴².

⁴¹ Бурдые П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера. Гл. 4.

⁴² Лекции по методике конкретных социальных исследований / под ред. Г.М. Андреевой. М.: Издательство МГУ, 1972. С. 7.

При сходстве с миллсовским принципом социологического воображения, сформулированным с критически левых позиций в конце 1950-х годов⁴³, в советском обороте оппозиция общего — частного в контексте исследовательской практики задается политико-административным образом или даже открыто отсылает к социальному заказу, в соответствии с которым должно вестись исследование⁴⁴. Именно «невозможность решения социальной проблемы имеющимися средствами создает прецедент обращения к науке»⁴⁵.

Социологическая практика не способна доказать своей — пользуясь терминами эпохи — прямой народнохозяйственной пользы, которая обосновывала бы относительную неприкосновенность ее внутренней структуры от вмешательства административного интереса, актом которого она и была учреждена. В этих условиях *социальная проблема* оказывается одновременно главным обоснованием возможности социологии и местом ее невозможного выхода за рамки административно предписанной функции. Более того, «естественным образом» исследование завершается там же, где оно было инициировано: социолог докладывает о результатах своей работы в административную инстанцию, которая исходно формулирует проблему и запрос на исследование. Тем самым картография социологических объектов и логика исследования оказываются плотно вписаны в телеологию административного акта: исследование служит лучшему пониманию социальной системы на уровне организации, отрасли, региона, и далее — комплексному социальному планированию; оно выявляет закономерности социальной подсистемы ввиду управления социально-экономическими процессами или решения управленческих проблем⁴⁶. Управленческий успех мыслится здесь неотрывно от исследовательских задач и предпослан им в качестве ожидаемого эффекта. Именно здесь укоренено фундаментальное для советской социологии отождествление *социальной проблемы* и проблемы *социологической*, которое

⁴³ Миллс Ч. Социологическое воображение / пер. с англ. О.А. Оберемко под ред. Г.С. Батыгина. М.: Стратегия, 1998. Гл. 1 (амер. изд.: 1959).

⁴⁴ Рабочая книга социолога. С. 129.

⁴⁵ Там же. С. 127.

⁴⁶ См.: Там же. С. 126. Здесь, в частности, приводится схема, предполагающая обязательную выработку рекомендаций.

вплоть до настоящего времени составляет основу профессионального высказывания и кочует из одного «учебника нового поколения» для студентов-социологов в другой⁴⁷.

Между заранее заданными пунктами исходной проблемы и предполагаемого практического эффекта (в согласии с рекомендациями социологов) разворачивается весь алгоритм исследования, направляемый имманентным ему смыслом административной реальности, в котором избыточна или невозможна критика понятий и проблематизация отношения к объекту. Вопрос, объект, исходные гипотезы *уже присутствуют* «в реальности»: осмыслив уже осмысленное, социолог должен лишь пустить в ход один из инструментов своего арсенала методик. Административная сверхопределенность и репертуарная незыблемость социологической практики в конечном счете приводят к парадоксальному для эмпирической дисциплины дедуктивизму: «Обычно в конкретном социологическом исследовании проверяются некоторые частные положения общей теории. Посредством *логических операций* из гипотезы получают следствия, доступные эмпирической проверке»⁴⁸.

Более точно, парадоксальная схема дедуктивного конструирования гипотез в эмпирическом исследовании оказывается проекцией двух основных социальных условий: места социологического исследования в структуре государственного управления и иерархического положения социологии в официальном реестре советских дисциплин, где историческому материализму принадлежит официально подтвержденная монополия на тео-

⁴⁷ Список учебников, изданных в 1990-е годы и продолжающих пополнять полки книжных магазинов и университетских библиотек, где явным образом проводится это отождествление, слишком велик, чтобы пытаться его воспроизвести. Такое отождествление, равно как неизменный список исследовательских техник, требование отделять объект от предмета и далее, по модели пособий 1960–1970-х, во многом остаются общим местом в российской образовательной социологии. Точно так же объект, который в иной логике должен конструироваться *в ходе* исследования, с той же легкостью, что и проблема или гипотеза, которую советская методология предписывает сформулировать до исследования, дедуцируется из административных интересов и обыденного опыта. И объект, и предмет как специально выделенный «аспект» объекта, и «проблема» полагаются не только уже существующими «вещами», но «вещами», знание о которых студент-социолог разделяет с несоциологами.

⁴⁸ Рабочая книга социолога. С. 141 (Курсив мой. — А. Б.).

рию высшего уровня: «Она [гипотеза] должна соответствовать исходным принципам исторического материализма... Это требование играет роль критерия отбора научных гипотез и отсева ненаучных, исключает из науки безусловно несостоятельные гипотезы, построенные на основе ложных философских идей и общесоциологических теорий»⁴⁹. Здесь уместно снова вспомнить о последовательности создания Советской социологической ассоциации и Института конкретных социальных исследований: учреждение сначала пустой титульной институции, а только затем исследовательского института и центров переподготовки. Та же самая «дедуктивная схема» находит полное соответствие в алгоритме эмпирического исследования.

Описывая административные условия функционирования дисциплины, можно смело отказаться от расплывчатого языка влияния: эти условия не «влияют» на социологическую практику, но прямо объективируются в правилах метода. Формальное выражение структуры исследовательской практики, лишь незначительно деформирующей механику и логику административного акта, который присваивает себе имя социологии, и *есть* дедуктивизм и неподвижность технического репертуара исследования. Представление о гипотезе как о логической конструкции, проверяемой на истинность или ложность посылок, которая при этом может быть и описательной, и объяснительной (в зависимости от характера исследования), хорошо согласуется с предписанием «комбинировать» в пространстве одного исследования «различные методы научного познания»: формальной логики, исторического и логического, аналитического и синтетического, индуктивного и дедуктивного и т.д.⁵⁰ Лишенная собственно теоретического центра, роль которого выполняет центр административный, советская версия «твердого» каузального позитивизма на деле оказывается смысловым бриколажем, который без каких-либо предварительных условий и оговорок сплавляет метафизику социальных законов с неокантианскими (Вильгельм Виндельбанд, Генрих Риккерт) противоположностями истории и логики, истины разума и истины факта. Исследование, первоначально заявленное как процесс, сводится к точке, поскольку от предпосланных административных делений все

⁴⁹ Рабочая книга социолога. С. 139.

⁵⁰ Там же. С. 150.

многообразие путей (методов и гипотез) ведет обратно к тем же делениям, и проделанная работа, словно в системе классической механики, оказывается равной нулю.

В тексте советского социологического пособия проблемы метода, в смысле анализа собственных предпосылок, оказываются нелегитимны, и их заменяют вопросы личных ошибок исследователя, недостаточно творческого или, наоборот, недостаточно строгого подхода к проблеме, корректности проведения границ объективного — субъективного и т.п. Реальность, которой принадлежит процедура административного акта, предполагает специфическую бдительность и ответственность, рождая требование реалистического взгляда на «социальную ситуацию» и указания на опасность «псевдопроблем» или «мнимых проблем», нигде ясно не обозначенных, но оттого не менее грозных⁵¹.

Одновременно обыденные категории употребляются наряду с риторикой «проблем управления» и лишь отчасти переопределяются на языке «науки об обществе»: «Для части молодежи жизненные планы не соответствуют той реальной сфере, где молодой человек применил свои силы»⁵². Место, которое занимает социологическая практика в решении административных проблем под именем социальных, определяет смещение от собственно дисциплинарных и даже политических смысловых различий в сторону бюрократически понимаемой компетенции и ответственности. А критика и переопределение заимствованных проблем и внешнего языка, на котором они сформулированы, не могут быть включены в текст, поскольку среди всех социальных сил, в нем отображенных, наиболее слабой оказывается *сам познавательный интерес социологии*, который мог бы служить источником критической интенции, спроецированной в текст и преобразующей влияние всех прочих сил.

⁵¹ Лекции по методике конкретных социальных исследований. С. 7; Рабочая книга социолога. С. 128.

⁵² Рабочая книга социолога. С. 128. Соседство легитимной социологической и одновременно административной категории «молодежь» с категорией «молодой человек» в ее обыденном понимании («применил свои силы») маскирует разрыв: общепонятная категория словно бы поясняет специальную и вместе с тем между ними устанавливается неявное тождество.

ОБРАЗЦОВЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ
И ОБРАЗЦОВЫЕ КАРЬЕРЫ

Вероятно, параллельного описания институциональных и методологических характеристик советской версии социологии достаточно, чтобы дать представление о ее административной сверхопределенности. При этом наиболее интригующим вопросом остается механизм их воспроизводства, не только в позднесоветский, но и в постсоветский период, когда, казалось бы, политические принуждения, которые ранее обеспечивали это постоянство, перестали действовать. В этих условиях биографические обстоятельства образцовых социологических карьер оказываются одним из важных источников объяснения, наряду с описанием ряда институциональных параметров и дисциплинарных рутин, которым будет посвящена следующая глава книги.

Как и в 1960-е, в 1990-е годы политические смыслы и различия, в которых социологи классифицируют себя и друг друга, рассеяны в литературе, предназначенной для внутрипрофессионального использования, начиная с публикаций в социологических журналах, заканчивая словарями социологических персоналий и мемориальными сборниками⁵³. Недавняя история научных учреждений не менее, если не более плотно, чем эти публикации, насыщена политически значимыми поворотными точками. Так, раскол Института социологии в самом начале 1990-х и выделение из него самостоятельного Института социально-политических исследований⁵⁴ резюмирует не только внутрицеховую борьбу за власть. Она также в предельно осязаемой форме объективирует политические оппозиции, локализованные, например, в двух параллельных программах работы Института, которые давали различные «научные обоснования» и полярные оценки политическим реформам середины-конца 1980-х годов: как движению к идеалу или как критической угрозе прежним достижениям⁵⁵.

⁵³ Наподобие цитированного ранее словаря «Социологи России и СНГ XIX–XX вв.» (1999) и сборника «Социология в России» (1998).

⁵⁴ Директорские посты в которых в 1991 г. занимали соответственно упомянутые Владимир Ядов и Геннадий Осипов.

⁵⁵ См., в частн.: *Осипов Г.В.* Институт социально-политических исследований РАН на службе отечеству и науке.

Наиболее полно и явно политические принципы определяют дисциплинарные классификации на вершине профессиональной иерархии, в текстах и карьерах двух академиков, Татьяны Заславской, наиболее известного социолога Перестройки, и Геннадия Осипова, на протяжении 1990-х годов остававшегося единственным действительным членом Академии наук по социологии. Предлагаемые ими с конца 1980-х годов интерпретации социальной структуры, как и их оценки реформ конца 1980-х — начала 1990-х, все больше поляризуются по политическим основаниям, без учета которых, т.е. вне их прагматического контекста, эти интерпретации лишаются смысла, вернее, лишаются той особой ясности, которая гарантирует им смысл помимо собственно социологического.

Если на протяжении 1990-х годов Заславская сохраняет позицию главного социолога реформ, то Осипов занимает позицию главного социолога кризиса. Это политическое различие прямо переводится в типологии, которые оба они предлагают в качестве социологических. Модель социальной структуры, предлагаемая в этот период Заславской, — классификация социальных сил в зависимости от позиции, которую граждане занимают в отношении либеральных реформ. По сути, социальная структура заменяется здесь комбинацией политических различий: «государственные силы», «олигархические силы», «либерально-демократические силы» (включая «независимых профессионалов», «либерально-демократическую часть базового слоя», представителей «бизнес-слоя»), «социал-демократические силы» (включая часть профессионалов, часть массовой интеллигенции и рабочих), «национал-патриотические силы» («реакционная верхушка коммуно-патриотов», «консервативная часть директорского корпуса», «не сумевшие адаптироваться рабочие, служащие и крестьяне»), «противоправные силы» («лидеры уголовной экономической преступности», «коррупцированная бюрократия среднего уровня», «рядовые участники организованной преступности»)⁵⁶. Сходные политико-моральные осно-

⁵⁶ Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества. М.: Дело, 2002. С. 525–538 (сборник объединяет работы разных лет с конца 1980-х). Базовая формула этой «социально-трансформационной структуры российского общества», предложенной автором, при явных отличиях призвана утверждать те же классификационные принципы: правящая элита и верхний слой бюрократии, средний слой, рядовые

вания социальной стратификации затем многократно воспроизводятся в социологических публикациях 1990-х. Так, для многочисленных исследований, которые проводятся в форме массовых опросов, одним из основополагающих служит вопрос «успеха адаптации населения, связанной с формированием продуктивных моделей социально-экономического поведения, адекватных сложившейся хозяйственной ситуации»⁵⁷. А социальная структура определяется через базовое деление на сумевших или не сумевших успешно приспособиться. Еще более явно политическая маркировка — знак тяготения к господствующей позиции через выражение лояльности к господствующему порядку — обозначена Т. Заславской в своеобразном кредо ангажированного теоретика социальной структуры: «Тип современного общества определяется качеством в первую очередь четырех базовых институтов, а именно: власти, собственности, гражданского общества и прав человека. Говоря более конкретно: а) степени легитимности, демократизма и эффективности власти; б) развитости, легитимности и защищенности частной собственности; в) многообразия и зрелости структур гражданского общества; г) широты и надежности прав и свобод человека»⁵⁸. Пиком подобного политического (само)освящения социолога становится указание его «естественного места» в государственном порядке, которое прекрасно вписывается в дисциплинарную модель, сформированную еще в 1960-х годах: «Естественной функцией ученых-обществоведов является научное консультирование тех, кто облечен правом так или иначе экспериментировать над обществом»⁵⁹.

В отличие от Татьяны Заславской Геннадий Осипов не предлагает сколько-нибудь исчерпывающей по тем или иным осно-

граждане (Заславская Т.И. Социетальная трансформация... С. 499). Парадоксальная взаимозаменяемость несхожих классификаций, за которой скрывается их подразумеваемое тождество, дает образцовый пример работы политического смысла, заложенного в самые основы социологической интерпретации.

⁵⁷ Авраимова Е.М. Появился ли в России средний класс // Средний класс в современном российском обществе / под общ. ред. А.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой, А.Ю. Чепуренко. М.: РНИСиНП-РОССПЭН, 2000. С. 23.

⁵⁸ Там же. С. 497.

⁵⁹ Там же. С. 556 (Курсив мой. — А. Б.).

ваниям социальной типологии. Однако в политическом отношении его интерпретации оказываются столь же ясными, тем самым компенсируя собственную социологическую неполноту. Если для Заславской ключевыми в ее одновременно политическом и социологическом самоопределении выступают понятия *гражданского общества, либеральных реформ, демократической экономики*, то для Осипова главным противовесом «основным идеям как государственно-бюрократического социализма, так и рыночно-потребительского капитализма, а также духовной деиндивидуализации, авторитаризма и прочих могла бы стать новая триада идей: *духовность, народо-властие и державность*»⁶⁰. Тем самым в противовес «рыночно-потребительскому капитализму», создателем которого среди прочих является либерал Заславская, Осипов обозначает свою позицию как консервативно-охранительную, не пренебрегая явственным консонансом с уваровской триадой «самодержавия, православия, народности». Подобно тому, как Заславская обозначает свою социологическую позицию через озабоченность успехом «либерализации и демократизации российского общества»⁶¹, Осипов задается столь же отчетливо политическим вопросом: «Каковы средства возвращения на естественно-исторический путь строительства социализма?»⁶² Безболезненное совмещение социализма и державности следует той же логике, что и в работах Заславской: сцепление разнородных элементов происходит в пространстве политического здравого смысла. Но здесь допустимость и устойчивость сцепления гарантирована не правительственным курсом реформ, а охранительно-революционной идеологией КПРФ, т.е. другим крупным центром политической гравитации первой половины 1990-х годов. Наличие в социологии Осипова столь же реального, как и у Заславской, политического адресата для социологических консультаций хорошо объясняет наивное сближение диагноза от лица науки со здравым смыслом политической оппозиции: «Современная ситуация в России характеризуется *тяжелейшим кризисом, охватившим все сферы*

⁶⁰ Осипов Г.В. Социология и политика. М.: Институт социально-политических исследований, 1995. С. 17 (Курсив мой. — А. Б.).

⁶¹ Заславская Т.И. Социетальная трансформация... С. 447.

⁶² Осипов Г.В. Социология и политика. С. 35.

*жизнедеятельности общества... Попытки выйти из кризиса с помощью радикально-либеральных реформ закончились провалом, который сегодня очевиден всем...»*⁶³.

Заняв идеологически полярные позиции, оба автора при этом не просто пользуются одной и той же сеткой политических категорий; они остаются в одном смысловом горизонте, каковой производит не история дисциплины и не правила метода, но политические структуры Перехода конца 1980-х — начала 1990-х. Столь полный и явный перевод политических делений в социологические на вершине академического признания обязан механике функционирования социологических институтов и построения профессиональных карьер, укорененной в советском периоде. Как я уже указывал, восхождение к вершинам академической иерархии, которая встраивалась в иерархию государственной службы, предполагало наличие существенного административного капитала у социологов, претендовавших на право теоретического суждения. Соединение политического здравого смысла с научной легитимностью в классификациях, предлагаемых от лица социологии, результировало игру как по правилам научного признания (работа с западной литературой, поездки на международные конгрессы, эмпирические исследования), так и по правилам государственной карьеры: исследования по административно значимым «социальным проблемам», идеологическое представительство на тех же международных конгрессах, аналитическая работа для отделов ЦК и Госплана.

Так, решающую роль в социологическом обращении для правоведа и философа по образованию Осипова и экономиста Заславской сыграли международные конгрессы: конференция

⁶³ Осипов Г.В. Социология и политика. С. 6 (Курсив мой. — А. Б.). Попытка доказать от лица социологии истинность лозунгов, находящихся в текущем политическом обороте, одинаково характеризует стратегии обоих академиков, с поправкой на различие позиций в политическом спектре. Если Заславская обосновывает истину реформ, то Осипов обеспечивает социологической риторикой их несостоятельность: «Из анализа материалов и статистических данных 1989 года следует вывод о глубоком социальном кризисе, поразившем тогдашнее общество» (с. 6). Как и в случае Заславской, подобные утверждения не нуждаются во внешних референтах (самых цифрах): предполагается, что статистический анализ и расхожее политическое ощущение ведут к одному и тому же результату, а потому высокоученый текст является лишь подтверждением политических интуиций в их наиболее простых и доступных формах.

по мирному сосуществованию двух политических систем в конце 1950-х для первого⁶⁴ и VI международный социологический конгресс в 1966 г. для второй⁶⁵. Участие в подобных мероприятиях, которые придали решающий импульс социологической карьере обоих, в свою очередь, было возможно лишь в рамках карьеры научных администраторов, часть которой проходила в стенах комсомольских органов, обкомов КПСС и отделов ЦК.

Принципиальные расхождения, которые к середине 1990-х годов приводят двух академиков на полярные позиции в рамках одной и той же системы политических координат, также обусловлены спецификой их карьер в этом нераздельно социологическом и бюрократическом пространстве. И Осипов, и Заславская в разное время занимают должности заведующих отделом в исследовательских институтах, посты председателей Советской социологической ассоциации (ССА), становятся членами-корреспондентами Академии наук СССР. Но именно специфика ритма профессиональной карьеры решающим образом влияет на различие их позднейших политических позиций.

Определяющей карьеру наиболее известного социолога Перестройки Заславской является, как ни удивительно, вторичность социологического признания по отношению к ее деятельности в качестве экономиста и научного администратора. Окончив экономический факультет МГУ (1950), она поступает в аспирантуру и работает в Институте экономики АН СССР (1950–1963), переезжает в формирующийся Новосибирский Академгородок (1963–1988), где работает в Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения АН, защищает докторскую диссертацию по экономике (1965), возглавляет отдел социальных проблем Института (1967) и избирается сначала членом-корреспондентом АН СССР (1968), а затем академиком (1981) по отделению экономики. В 1984 г. она возглав-

⁶⁴ «Все началось с конференции Международного института социологии по проблемам мирного сосуществования, которая проходила здесь, в Москве (практически и организовывал эту конференцию)!» (Интервью с Г.В. Осиповым // Российская социология 60-х годов...).

⁶⁵ «Не могу сказать про других, но на мои научные ориентации это событие оказало громадное влияние. Перед нами, по существу, предстал новый “социологический мир” — огромный, пестрый, невероятно интересный, увлекательный, к тому же до тех пор нам мало известный» (Заславская Т.И. Истоки новосибирской социологии (1959–1966 гг.) <http://nesch.ieie.nsc.ru/Hist_ch1.html>, последний доступ 17.01.2013).

ляет журнал «Известия СО АН: серия экономики и прикладной социологии»; с 1972 по 1986 г. является вице-президентом Советской социологической ассоциации, а в 1986 г. становится ее президентом и переезжает в Москву (1988)⁶⁶. В Москве она занимает пост директора ВЦИОМа⁶⁷, сообщающего рейтинг президента СССР лично Михаилу Горбачеву; депутатское кресло на либеральном фланге Верховного Совета СССР; кресло в комиссии Верховного Совета СССР по труду, ценам и социальным вопросам; в Высшем консультативно-координационном совете при Президенте РФ (1990–1992); а также публикует несколько монографий и многочисленные тексты в научных и популярных изданиях (в том числе в Англии и США), разъясняющих смысл реформ в России.

Наиболее успешная социологическая карьера в условиях Перехода оказывается образцовым примером успеха экономиста, конвертировавшего приобретенное в советский период научно-административное положение в позицию эксперта высшего уровня при Новом порядке. Удачное размещение на престижной периферии (Новосибирск), смягчающее жесткость междисциплинарных и одновременно политических императивов, действующих в центре (Москва, Ленинград); использование социологии как профилирующего дополнения к экономической специальности; редкое (в особенности для женщины) и относительно раннее избрание в Академию наук как экономиста, способствующее ее признанию как социолога; наконец, удачное обращение академических регалий в околполитические посты — признаки восходящей полицентричной карьеры, отнюдь не исключающей систематических усилий и напряженной борьбы, но доказывающей, что место главного социолога Перехода, т.е. наиболее известного социолога конца 1980-х и начала

⁶⁶ Отдельные биографические сведения см.: Научная элита. Кто есть кто в РАН. М.: Гласность, 1993; Социологи России и СНГ XIX–XX вв. М.: Эдиториал УРСС, 1999; Интервью с Т.И. Заславской // Российская социология 60-х годов...; а также на сайте УрО РАН (<www.uran.ru/sobitla/presid/laureatzaslavska2000.htm>, последний доступ 19.03.2013); на сайте НЭСШ (<nesch.ieie.nsc.ru>, последний доступ 19.03.2013); Шабанова М.А. Татьяна Ивановна Заславская. Творческая биография: Российское общество сквозь призму социологии (<www.msses.ru/tiz>, к моменту написания текста материал недоступен, последний доступ 14.02.2005).

⁶⁷ Всесоюзный центр общественного мнения.

1990-х годов, является *продуктом* самого этого Перехода и во многом независимо от собственно социологических намерений и практик его обладателя.

Социологическая карьера Геннадия Осипова, несмотря на ее стремительный старт и восходящий характер, в сравнении с траекторией Т. Заславской содержит несколько ощутимых сбоев — в особенности если соотносить ее со значительными личными инвестициями, вложенными им в административную структуру социологии, центральное место в которой он рассчитывал занимать⁶⁸. Окончив МГИМО со специализацией по международному праву (1952), Осипов поступает в аспирантуру Института философии (ИФ АН), в стенах которого (1953–1968) восходит по ступеням административной и социологической карьеры: становится ученым секретарем и секретарем комсомольской организации института, участвует в организации Международной конференции социологов в Москве по вопросам мирного сосуществования (1958), занимает должность заместителя директора института, возглавляет сектор исследований новых форм труда и быта (1960–1968), защищает докторскую диссертацию по философии (1964). Как администратор Института философии АН и руководитель социологического отдела он участвует в подготовке проекта Советской социологической ассоциации, становится сначала ее вице-президентом (1958–1966), а затем президентом (1966–1972)⁶⁹. В 1966 г. под редакцией Осипова вы-

⁶⁸ Отдельные биографические данные, зачастую более лаконичные или расплывчатые, чем в случае Т.И. Заславской, см.: Научная элита. Кто есть кто в РАН; Социологи России и СНГ XIX–XX вв.; Интервью с Г.В. Осиповым // Российская социология 60-х годов...; Пугачева М.Г. История создания Советской социологической ассоциации (<rss.isras.ru/CCA_Hist.htm>, в настоящее время материал недоступен, последний доступ 14.02.2005); на страницах Института социально-политических исследований (www.isprras.ru/pages_34/index.html; http://www.isprras.ru/pages_14/index.html#1 [более не доступные версии этих страниц сообщали больше подробностей: <www.ispr.ru/osipov.html; www.ispr.ru/10LET/10let.html>, последний доступ 14.02.2005]).

⁶⁹ В 1966 г. на том же собрании ССА, на котором Г. Осипов избран ее президентом, сектор исследований новых форм труда и быта было предложено преобразовать в отдел конкретных социологических исследований ввиду его дальнейшей реорганизации в самостоятельный институт. Предложение было принято Президиумом АН СССР, тогда же был создан Научный совет по проблемам конкретных социальных исследований при Президиуме АН, заместителем которого также стал Осипов.

ходит двухтомный титульный сборник «Социология в СССР», приуроченный к проведению VI международного конгресса⁷⁰, который содержит представление основных отраслей советских исследований и критико-реферативную часть.

Административная карьера замедляется в 1968 г., когда при активной подготовительной работе Осипова создается ИКСИ АН⁷¹, где он рассчитывает занять директорский пост, но получает пост заместителя директора, наряду с извне назначенным замдиректора, спичрайтером Никиты Хрущева и политическим публицистом Федором Бурлацким⁷². В 1970 г. официальной критике подвергнут вышедший под редакцией Осипова сборник «Моделирование социальных процессов» (1968). Смена руководства ССА в 1972 г. также сопровождается административной дисквалификацией: Осипов обвиняется в финансовых нарушениях. Однако он сохраняет пост заместителя директора Института, который занимает до 1991 г. Если до середины 1980-х препятствием в административной карьере служит весомость ставки на институционализацию социологии и вытекающая из нее нехватка политической ортодоксии, впоследствии сбой происходит по схожей схеме, но под действием прямо противоположного политического принципа: в 1988 г. отдел науки ЦК КПСС отменяет выборы директора Института, пост которого по-прежнему рассчитывает занять Осипов, и назначает директором-организатором Института либерально настроенного ленинградца Ядова, поддерживаемого Заславской. Отсрочка в занятии директорского кресла истекает в 1991 г., когда бывший замдиректора создает собственный институт и уходит в него с частью сотрудников. Несмотря на далеко не полную согласованность с требованиями Нового порядка, политический поворот разблокирует для Осипова отрезок пути, оставшийся до высших позиций в академической иерархии: в 1987 г. он избирается членом-корреспондентом, а в 1991 г., став директором ИСПИ⁷³, — академиком РАН. С конца 1980-х он

⁷⁰ Сборник распространяется в том числе среди зарубежных социологов, участвовавших в этом конгрессе, а впоследствии переиздается в Англии, в расширенном виде.

⁷¹ Институт конкретных социальных исследований.

⁷² Интервью с И.В. Бестужевым-Ладой // Российская социология 1960-х годов... С. 166.

⁷³ Институт социально-политических исследований АН.

участвует в разработке программ социальной политики, готовит докладные записки в ЦК КПСС, Верховный Совет, однако прямой кооптации в экспертный (и, тем более, управленческий) корпус нового государственного руководства, в отличие от Заславской, не происходит, что приводит к поляризации политической линии его публикаций по отношению к официальной социологии Перехода: с начала 1990-х годов Осипов осваивает нишу радикальной критики радикального правительственного курса, которую освящает престижем высшей академической позиции⁷⁴. С задержкой, потребовавшейся на переопределение позиции, он находит свое место в Новом порядке, но уже в том его секторе, который, в отличие от правого либерализма Заславской, примыкает к правому консерватизму КПРФ и «патриотического» блока.

Эти образцовые научно-административные карьеры, где замедление одной приходится на моменты ускорения другой и совпадает с изменениями господствующего политического курса, позволяют увидеть, насколько различие между позициями двух академиков задано особенностями их административного продвижения в советский период, начиная с самых ранних этапов. Нужно также увидеть, что карьеры этих социологов, равно как производимые в рамках этих карьер научные классификации, не являются «чисто» научными или «чисто» политическими, — это *социологически выраженное различие административных траекторий*, развертываемых в общем силовом поле дисциплины, которое и есть механизм порождения всех частных случаев.

IMMOBILIS IN MOBILE

Административное предопределение социологического исследования, отождествление социологической и социальной проблемы и наличие готового репертуара исследовательских техник служат условиями того внутрисоциологического консенсуса, на

⁷⁴ Как и Заславская, он пишет многочисленные публицистические тексты, но не объясняет смысл реформ, а предлагает альтернативные модели политических преобразований. Темы его публикаций: человеческая цена реформ, демографическое вырождение, социальный и экономический кризис России, поспешность и корыстность реформ и т.д. При этом в газетных интервью и публикациях его имя сопровождается неизменным указанием «академик».

основе которого происходит позднейшая политическая и тематическая дифференциация дисциплины. Из пионерских работ и пособий конца 1960-х — начала 1970-х годов схема объекта и предмета, способ определения проблемы, принцип дедуктивного конструирования гипотез, типология методов исследования без существенных корректив переносятся в многочисленные эмпирические труды и пособия. Относительная устойчивость организации дисциплины, помимо прочего, запечатленная в биографиях социологов, обеспечивает воспроизводство дисциплинарных классификаций. В конце 1980-х годов серия сдвигов в структуре политического режима затрагивает порядок профессионального производства. Изменение прежде всего экономических условий — базового финансирования, расходов на исследования, заработной платы, характера заказа и заказчиков — *de jure* сохраняя за научными предприятиями статус государственной службы, *de facto* сближает их со свободными профессиями. Однако этот решающий сдвиг, который происходит одновременно с политической поляризацией социологии, существенным образом не переопределяет заложенных еще в 1960-х годах базовых понятий и смысловых различий.

С одной стороны, преемственность обеспечивается господствующими позициями в законсервированной, несмотря на реформы, академической структуре у тех социологов, которые вошли в нее еще в 1960-е и начали покидать административные посты лишь в начале 2000-х, сохраняя значительные связи и влияние, а также нередко оставаясь авторами наиболее часто используемых (и переиздаваемых) пособий по методологии исследования⁷⁵. С другой стороны, при институционализации новых исследовательских и образовательных позиций, прежде всего существующих преимущественно или исключительно на зарубежные гранты, позиция академической и институционализированной в 1989 г. образовательной социологии в административных иерархиях радикально не изменилась. Миновав краткий период высшего политического признания в 1988–1990 гг., когда наиболее успешные социологи получили политическое подтверждение «своего участия в трансфор-

⁷⁵ Так, с некоторыми изменениями учебник В.А. Ядова переиздается в 1995, 1998, 2000 гг. «Рабочая книга социолога» без сколько-нибудь существенных изменений переиздается в 1983 и 2003 гг.

мации России»⁷⁶, социология уступила место экономике как главной кузнице экспертных кадров. С начала 1990-х годов социологи по-прежнему выступают в роли экспертов второго эшелона в государственных учреждениях, а также предлагают свои консультационные услуги за границами административного рынка. Но изменение рамочных политических условий воспроизводства дисциплины не затронули ту сторону ее прагматики, которая составляла основу ее методологии, среди прочего оправдывая отождествление между социальной и социологической проблемой или предлагая формулировать гипотезу до всякого исследования.

В этом отношении показателен фрагмент из обновленного учебника В. Ядова, который воспроизводит схематику первых советских изданий с поправкой на новые реалии: для разработки программы как «теоретико-прикладного», так и «прикладного исследования» центральной задачей он называет решение социальных проблем, а задачу социолога усматривает в том, чтобы помочь довести социальную проблему до сознания ее общественной значимости и до формулировки «социального запроса» на ее исследование⁷⁷. Отвечая на вызов «духа времени», это определение вносит такие коррективы в модель 1960-х годов, которые не разрывают исходной связи между социологией как интеллектуальной дисциплиной и учредительным административным актом. Более того, они усиливают эту реальность, превращая социолога из простого ремесленника в решении социальной проблемы в ее ангажированного (рынком) *производителя*. То же самое, что прежде являлось профессиональным долгом социолога, в новых условиях оказывается его профессиональным интересом, вытекающим из нужды в оплаченном заказе на профессиональные услуги. Через призму такого взгляда весь социальный мир в пределе приближается к сумме официально признанных симптомов общественной дисфункции, которую социолог оперирует готовыми инструментами из имеющегося у него арсенала.

Таковыми же показательными образцами преемственности схем мышления, произведенных в рамках советского научно-

⁷⁶ Заславская Т.И. Социетальная трансформация... С. 547.

⁷⁷ Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. М.: Добросвет, 1998. С. 69–72.

административного порядка, являются коллективные монографии, которые представляют результаты работы академических институтов за несколько лет⁷⁸, или тематическая структура Всероссийских социологических конгрессов. Так, на Всероссийском социологическом конгрессе 2000 г. уже в заглавиях текстов-выступлений присутствует отсылка к социальным проблемам, обозначенная явно или выраженная через использование «проблемных» категорий. Как парадигматический образец социологии на добровольной политической службе можно рассматривать секцию «Социология и управление современным российским обществом»: вслед за советским государственным определением дисциплины здесь возрождается тематика «научных основ управления современным обществом» и «выбора методологической базы» для такого управления. Однако и в удаленных от прямого политического заказа, формально «чисто» научных секциях, таких как «социологическая классика» или «современные теории», обнаруживаются столь же мало соответствующие императивам научной автономии категории и конструкции: «мировоззренческое значение социологии для современной России», «изучение трансформационного общества», «изменчивость и устойчивость в развитии общества», «устойчивое развитие общества».

Другая ключевая разновидность производства дисциплинарных смыслов, которая строится на тех же принципах, — это списки тематических приоритетов, принимаемые основными социологическими институтами. В списке Института социологии РАН, сформированном после сентября 2001 г., из шести добровольно присвоенных приоритетов четыре явным образом отсылают к официально лицензированному «проблемному» взгляду на социальный мир: «адаптация к трансформационным процессам», «региональная специфика социальных процессов», «толерантность и предупреждение экстремизма», «девиантное поведение».

⁷⁸ См., напр.: Россия: трансформирующееся общество / под ред. В.А. Ядова. М.: Канон-Пресс-Ц, 2001. Текст всего сборника содержит ряд сквозных тем, которые в начале 2000-х отсылают к той же мало изменившейся дисциплинарной прагматике: устойчивость демократических изменений и их научное обоснование, диагностика болевых точек и выработка управленческих решений, особенности и мировая роль российской цивилизации. Более подробно этот пример см.: Бикбов А., Гавриленко С. Российская социология: автономия под вопросом. Ч. 2 // Логос. 2003. № 2. С. 59–66.

Из четырех определяющих направлений другого академического учреждения, Института социально-политических исследований РАН, по крайней мере два в еще менее эвфемизированной форме определяются интересами политического господства: «социальная стабильность и социальная безопасность», «демографические процессы в контексте социальных перемен». Те же категории, лежащие в основе этих академических самоопределений, обнаруживаются в основе списка тем, рекомендованных социологическим факультетом МГУ для кандидатских диссертаций (в первой половине 2000-х) и в подавляющем большинстве производных от официально одобренного «проблемного» взгляда: «устойчивость и безопасность социальных систем», «экстремизм и терроризм», «война как социальное явление», «социальная экология», «толерантность», «информационное общество», «социальная безопасность», «социальные конфликты», «Россия в контексте глобализации».

Предъявляя себя вовне и одновременно вводя эти административные смыслы в качестве внутридисциплинарных критериев, в соответствии с которыми формируется или дооформляется тематический репертуар социологии, социологические институты в поисках постоянной политической, но также и рыночной ниши вновь и вновь располагают профессиональное мышление в неподвижном горизонте более не существующего политического порядка. Используя в качестве технических (эпистемологических) критериев административные принципы — до-определяя социальный мир на основе официально пред-определенных «социальных проблем», — они по-прежнему утверждают (или предвосхищают) решающую роль административной санкции в учреждении социологического знания. Говоря о французском случае, Пьер Бурдьё отмечал, что «значительная часть социологических ортодоксальных работ обязаны своим непосредственным социальным успехом тому, что они отвечали господствующему заказу на инструменты рационализации управления и доминирования или заказу на “научную” легитимацию спонтанной социологии господствующих»⁷⁹. Сохраняющееся в российской социологии институциональное господство этой позиции делает подобное определение не просто одним из четко маркированных полюсов в профессиональном ландшафте, но слабо рефлекслируемой и

⁷⁹ Бурдьё П. Ориентиры // Бурдьё П. Начала / пер. с фр. Н.А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994. С. 82.

социологически почти не тематизируемой инстанцией здравого смысла, столь же диффузной, сколь неустранимой.

В этом смысле попытка «показать непрерывность российской социологической традиции», организующая вокруг себя еще один интегральный, одновременно мемориальный и нормативный текст дисциплинарного самоопределения⁸⁰, содержит больше истины о российской социологии, чем можно предположить, имея в виду перформативный характер такой формулировки. Утверждая мифическую преемственность между дореволюционной российской социологией, новой советской социологией 1960-х и либерализованной социологией 1990-х, этот макротекст фактически опровергает и вытесняет вытеснение, произведенное либеральным Поворотом конца 1980-х — начала 1990-х годов по отношению к тому, что с 1960-х продолжало оставаться порождающим принципом профессиональной практики. Речь идет об акте административного и политического учреждения дисциплины, воспроизводящемся в новых и новых исследованиях и текстах. Гарантированный институционально, он все еще удерживает центр социологического здравого смысла в изменившихся условиях и располагает российскую социологию к тому, чтобы служить прежде всего формой объективации официальных институтов, согласованной с их самопредставлением.

⁸⁰ Социология в России / под науч. ред. В.А. Ядова. М.: Институт социологии РАН, 1998. С. 24–25.

VIII. Неколлегияльная дисциплина: эскиз политической микроистории российской социологии¹

Поворотной точкой в недавней истории российской социологии стал указ 1988 г. «О повышении роли марксистско-ленинской социологии в решении узловых проблем советского общества», который окончательно легализовал дисциплину в статусе экспертной и учебной. Следующей, наиболее отчетливой точкой стало студенческое выступление против реакционной администрации на факультете социологии Московского университета в 2007 г., которое произвело если не практическую, то моральную мобилизацию социологических институций и групп. Два события очертили почти 20-летний интервал, который, вопреки всем ожиданиям, возлагавшимся на дисциплину в конце 1980-х — середине 1990-х годов, мало что прибавил к социологическому пониманию постсоветского общества². Публично критикуя советскую командно-административную систему, в частных беседах социологи нередко сокрушались об утраченном научном порыве: энтузиазме первопроходцев, размахе все-союзных опросов, — но также о парадоксально двусмысленном государственном признании дисциплины, в частности, о том политическом значении, которое ЦК КПСС приписывал результатам исследований, несмотря на их явную административную цензуру, а возможно, и в силу последней.

Тема интеллектуальной несостоятельности (советской) социологии поначалу сопровождала планы ее методологического

¹ Эта глава представляет собой переработанную статью «Эскиз политической микроистории социологии: российская и французская социология — части одной дисциплины?», первоначально опубликованную в: *Labogatoriūm. Журнал социальных исследований*. 2009. № 1.

² По многочисленным уверениям самих социологов в начале 1990-х годов, этот период был идеальной площадкой для наблюдения над меняющимися социальными структурами и создания теории изменений.

и морального переустройства³, однако открыто обсуждать эту проблему в профессиональной среде перестали уже к середине 1990-х годов. Сперва еще подшучивая над собой, затем все более серьезно, бывшие советские социологи проникались сознанием ответственной работы на заказчика. Как я показал в предыдущей главе, служебное подчинение административному интересу было вписано в структуру дисциплины уже в момент ее позднесоветского рождения, когда теория и методология эмпирического исследования должны были согласовываться с «администрацией и общественностью». Неудивительно, что в начале 1990-х, в момент повторной институционализации дисциплины, где соседствовали и пересекались самые разнонаправленные тенденции, на занятиях «Введение в специальность» студентов едва созданных социологических факультетов по-прежнему учили тому, что социология — это наука, задачи которой определяются заказчиками⁴. Менялся лишь круг заказчиков: его центр неумолимо смещался от воображаемой «общественности» к разнообразным «администрациям».

Это «ситуативное» смещение, на деле структурообразующее для дисциплины в целом, заново определило ее границы и внутренние смысловые деления. Советская социология никогда не была публичной критикой «большого» политического порядка или локальных форм господства и неравенств. Казалось, с переменой политических обстоятельств в начале 1990-х годов у нее был шанс таковою стать. Повторное утверждение сервисной функции как основополагающей свело этот шанс к минимуму и к 2000-м годам превратило наиболее критичные самохарактеристики социологов начала 1990-х в самосбывающиеся пророчества: спектр теоретических предпочтений, слабо согласующийся с международным научным контекстом; простота перевода дисциплинарной систематики в свод моральных предписаний;

³ Такие реформистские планы можно обнаружить, в частности, в проекте Профессионального кодекса социолога: Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. М.: Наука, 1987 (Приложение). Среди прочих этот проект содержал такие декларации профессиональной ответственности: «Социолог не имеет морального права слагать с себя ответственность за экономические, социальные, политические и нравственно-психологические последствия применения (внедрения в практику) полученных им результатов» и т.д.

⁴ Следует отметить, что та же формула и по сей день нередко сопровождает «введение в специальность» у студентов-первокурсников.

бюрократическая модель эмпирического исследования, в основе своей сформированная к середине-концу 1970-х⁵.

Надежды конца 1980-х годов на профессиональную реформу и повторную экспансию дисциплины, по следам послеоттепельной⁶, всерьез сдерживались не только поколенческой, но и методологической, или классификационной, петлей 1970-х годов, которая туго стягивала интеллектуальные предпосылки послеперестроечной социологии⁷. В момент становления первичного интеллектуального рынка конца 1980-х — начала 1990-х годов прежние дисциплинарные иерархии перестраивались ввиду ошеломительного междисциплинарного спроса на неортодоксальные (в советском контексте) теоретические приемы, публичное предложение которых было во многом подготовлено уже позднее-

⁵ Носителем этого критического взгляда выступает сегодня одна из профессиональных фракций, локализованная преимущественно на полюсе малых интеллектуальных центров с размытыми границами дисциплинарной принадлежности. В целом его разделяют прежде всего те, кто ориентирован на императивы профессиональной технической компетентности и модель социологии как международной науки — т.е. наиболее близкие к собственно научному полюсу внутри дисциплины, который противопоставляет полюсу должностной кооптации. Менее других обязанные своей карьерой «большим» академическим институтам, они могут позволить себе озвучивать эти наблюдения в публичной форме. См., напр.: Родовая травма российской социологии. Интервью с В. Воронковым <www.polit.ru/science/2007/05/08/voronkov.html>; Малахов В. О силе институтов, или почему у нас так много сторонников теории заговора <www.polit.ru/analytics/2007/11/20/malahov.html>; Бикбов А. Беспольные выгоды внешнего наблюдения (<www.polit.ru/science/2007/04/06/bikbov.html>, последний доступ к указанным публикациям 21.03.2013).

⁶ Анализ, проделанный в предыдущем разделе книги, позволяет утверждать, что политический поворот конца 1950-х превратил новую дисциплину 1960-х не только в синоним познавательной альтернативы, парадоксальным для социологии образом высвобождая личность из коллектива, но и одновременно способом альтернативного определения политической свободы, не менее парадоксально, по меркам сегодняшнего дня, отсылающего к ленинским идеалам. Наиболее подробно об этом процессе см. гл. IV наст. изд.

⁷ Это относится и к интеллектуальной, и институциональной (в частности, отраслевой) номенклатуре социологии. Одним из ярких свидетельств высокой зависимости социологического здравого смысла от генетически исходного режима «большой науки» и «больших цифр» предстают попытки разоблачения «качественных методов» как ненаучных, еще в середине 1990-х предпринимаемые методологами среднего поколения (см.: Батыгин Г.С., Девятко И.Ф. Миф о «качественной социологии» // Социологический журнал. 1994. № 2).

советской рецепцией «западной теории» в отдельных дисциплинарных секторах: «история философии», «история социологии», «экономическая теория» и ряде других. Социологию трудно было упрекнуть в полном отсутствии подобных позднесоветских «заготовок». Но невозможность распорядиться ими с позиций профессиональной монополии подтвердили ее подчиненное положение среди смежных дисциплин: философии, истории, экономики. Среди прочего об этом свидетельствует относительно редкое междисциплинарное использование социологических текстов за весь минувший период⁸ и, в целом, низкий курс конверсии неофициального наследства позднесоветской социологии.

Вопрос об интеллектуальной состоятельности социологии более десятилетия, с середины 1990-х до середины 2000-х, институционально вытеснялся за дисциплинарные границы⁹.

⁸ Выборочный просмотр российского индекса научного цитирования (<elibrary.ru>, последний доступ 30.03.2013), на первый взгляд, опровергает этот тезис. Так, в структуре ссылок на публикации философа Вячеслава Степина за все время с 1984 г., в философских изданиях (561) их на 20% меньше, чем в изданиях по педагогике (222), психологии (161), социологии (130), экономике (107) и политическим наукам (63) вместе взятым. С формальной точки зрения можно рассматривать эту разницу как характеристику междисциплинарного интереса. У социолога Владимира Ядова сходная общая картина по тем же показателям: 586 ссылок на его публикации в изданиях по социологии сопровождается на 15% больше ссылок в тех же пяти дисциплинах: психологии (200), педагогике (169), политическим наукам (130), экономике (111) и философии (68). Система автоматического учета ссылок, реализованная в этом индексе, крайне далека от совершенства, на что указывают и его составители (<elibrary.ru/projects/science_index/science_index_questions.asp>, последний доступ 30.03.2013). Крайне неочевидной предстает и сама дисциплинарная атрибуция изданий. Но помимо недоработок в системе подсчета общая статистика цитирования содержит иную серьезную проблему. Она не позволяет различать характер цитирования. Очевидно, что ссылки в сборниках тезисов и трудах региональных отчетных конференций будут иметь мало связи с искомыми господствующими позициями и классификациями, формальным признаком которых следует считать взаимные ссылки в установочных для каждой из дисциплин текстах. Поэтому для основательной проверки позиционного тезиса потребуются самостоятельное библиографическое исследование.

⁹ Более подходящим поводом для институционализированных дискуссий служат тезисы, которые локализируют «проблемные точки» российской социологии вне дисциплины, в частности, обнаруживая их при отсутствии общественного запроса на социологическое знание: «Отсутствие ее [теоретической социологии] есть не столько состояние науки, сколько состояние общества» (Филиппов А.Ф. О понятии «теоретическая социология» // *Социологические исследования*. 2000. № 1).

Основополагающим результатом этого длительного вытеснения было такое же длительное публичное молчание профессиональных социологов об условиях и смысле собственной деятельности, ускользающее от внутренней интеллектуальной критики и саморефлексии, которая оставалась уделом своего рода академических эксцентриков¹⁰. Студенческое выступление 2007 г. произвело скандал, вернув вытесненному публичный характер и сделав его сюжетом для СМИ прежде, чем оно послужило темой для внутрипрофессиональной дискуссии.

Несмотря на то что ряд коллег были вынуждены согласиться с подобным диагнозом¹¹, все еще мало проясненными остаются условия несостоявшегося интеллектуального (критического) прорыва в послесоветской социологии и воспроизводство административных и политически заданных критериев в основании дисциплины. Было бы очевидной ошибкой объяснять это лишь скоростью изменения социальных структур, которая в конце 1980-х — начале 1990-х годов превзошла самые смелые ожидания, затрудняя социологический анализ. «Развал» больших советских институций, этот расхожий аргумент в речи академического истеблишмента, как мы уже убедились, не служит достаточным объяснением. Более того, как можно будет видеть далее, дело обстоит скорее противоположным образом. Несостоявшийся интеллектуальный разрыв с предшествующей подцензурной методологией куда больше обязан консервации некоторых ключевых институциональных параметров, которая переводит пресловутую «постсоветскую исключительность» в разряд иллюзий.

логия» // Социологический журнал. 1997. № 1/2. С. 5). Редкие попытки критического анализа *собственных* механизмов дисциплины встречают институциональное отторжение, о чем свидетельствует и мой опыт (статья «Российская социология: автономия под вопросом» стала предметом столь же внимательного прочтения и скорых административных санкций, сколь старательных умолчаний внутри дисциплины).

¹⁰ По эксцентрической, с точки зрения дисциплинарных классификаций, стилистике критических аргументов, на грани литературы или метафизики — что часто служило дополнительным аргументом не в пользу самой практики саморефлексии в дисциплине. В качестве примера см.: Качанов Ю.Л. Начало социологии. М.; СПб.: Институт экспериментальной социологии; Алетейя, 2000.

¹¹ См., в частности, показательную подборку суждений ряда социологов по следам студенческого выступления, подготовленную мною совместно с Валерием Анашвили на портале Полит.ру (<www.polit.ru/analytics/2007/11/20/socfak1.html>, последний доступ 19.03.2013).

Снова сделать вопрос об интеллектуальной состоятельности социологии предметом критической саморефлексии трудно вдвойне, поскольку стыдливое вытеснение и формирование ультракомпромиссного внутридисциплинарного консенсуса сопровождается работой другого защитного механизма — поддержания чувства исключительности, во власти которого оказались как яростные критики советской и российской социологии (беспрецедентно «непоправимая» ситуация), так и ее не менее ярые защитники по должности («особый путь»). В последние годы нейтрализации интеллектуальной саморефлексии и самокритики, релевантной для дисциплины в целом, способствует также обострившаяся конкуренция между отдельными институтами, в первую очередь образовательными — за платежеспособный студенческий спрос. В этих обстоятельствах путь к освобождающей, собственно социологической самокритике лежит через реконструкцию модели дисциплины с опорой на нетривиальные критерии, отличные от традиционных и беспомощных в российском случае «теорий» и «научных школ».

ХРОНОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ АНАЛИЗА

Как и любая другая дисциплина, социология — не «просто» набор классификаций. Это также разновидность микрополитики, со специфическими для нее средствами борьбы, контроля и производства авторитета¹², которая генерирует цепочки знания, согласованные с режимом «большой» политики через механизмы научных карьер. Иначе говоря, социология — это не только место воспроизводства смысловых различий, но и место приложения сил, релевантных этим различиям. Потому описывать это место в его современном состоянии следует в нескольких взаимосвязанных измерениях: 1) как институциональные рутины академического мира¹³, которые фиксируют текущее состояние сил, образуя сложный баланс со структурами государ-

¹² При этом не всегда и не обязательно соответствующая определению поля как автономной структуры (П. Бурдьё). Даже в отсутствие интеллектуальной автономии любая дисциплина и институция порождают нюансированные формы локальной власти.

¹³ Здесь и далее понятие «академический» употребляется как общее обозначение и для образовательных, и для исследовательских институций и структур.

ственного управления; 2) как господствующие формы участия представителей дисциплины в публичном политическом (более широко, символическом) состязании; 3) как доступные внутри дисциплины средства присвоения новых культурных ресурсов и релевантные им способы установления или обновления дисциплинарных границ. Описание российской социологии по этим параметрам выводит ее за рамки любой логики исключительности, открывая возможность для сопоставления различных хронологических конфигураций, в частности, советской и послесоветской, а этих двух — с дореволюционной. Оно же избавляет российскую социологию от комплекса национальной неповторимости, позволяя рассматривать локальную версию дисциплины в международном контексте так же свободно, как в историческом. В предельной форме этот набор параметров позволяет ставить вопрос о том, являются ли российская, французская или американская социологии одного периода различными национальными версиями *одной и той же* дисциплины, что в целях удобства постулируют многочисленные версии теоретической истории социологии и учебники.

Академическая дисциплина в микрополитическом измерении — это интеллектуальный комплекс, границы которого определяются работой институций, в первую очередь образовательных¹⁴. Я буду использовать понятие «интеллектуального комплекса» далее, обозначая им сцепление смысловых и силовых компонент в рамках локальной (национальной) версии дисциплины. Место последней в интеллектуальном междисциплинарном пространстве — это суммирующий вектор поливалентной так-

¹⁴ Образцовой, в некотором смысле «чистой», иллюстрацией этому служит организация университетских факультетов в средневековой Европе, которая не только номинально, через устав, но и практически, через всю систему лекций, диспутов и итоговых экзаменов, обеспечивала право преподавателей на дальнейшую передачу комплекса знаний, предоставляемое в форме универсальной *licentia docendi*, как соответствия индивидуальной умственной дисциплины бывшего студента дисциплинарным предписаниям и привилегиям, которыми распоряжалась корпорация в целом. Государственная система лицензирования ученых специальностей, постепенно сменившая корпоративную начиная с XVII в., отнюдь не отменила (но лишь унифицировала) этот принцип институционального утверждения интеллектуальных границ. Обширный материал для изучения данного вопроса, среди прочего, дает продолжающееся издание: *A History of the University in Europe* / gen. ed. W. Rugg. Cambridge University Press. Vol. 1–4.

тической ситуации, когда институциональные рутины поддерживают доминирующий набор интеллектуальных предпочтений, а появляющиеся интеллектуальные различия между фракциями участников, в свою очередь, в ряде случаев могут быть институционализированы и превращены в доминирующие¹⁵. Как следствие, первый шаг в критическом анализе социологии как места сил и смыслов следует сделать в направлении базовой властной конфигурации: ключевых элементов институциональных структур, которые дисциплинируют знание и его производителей, одновременно с ключевыми элементами политической диспозиции, которые сообщают дисциплинарным результатам наиболее вероятные формы публичного обращения.

Ограничиваясь описанием российской, а ранее советской социологии как изолированного случая, мы можем избежать обобщений такого масштаба. Это не мешает, как и в предыдущей главе, анализировать механизмы воспроизводства доминирующего понятийного и методологического горизонта дисциплины уже после распада советского политического режима, приведшего к формированию такого горизонта. Однако если мы попытаемся описать современную российскую социологию не только через локальные (дисциплинарные и национальные) правила научной карьеры и политические условия, но рассмотрим ее в качестве одной из национальных версий науки социологии, мы обнаружим очевидную нехватку понятийных средств, поскольку привычные в локальном контексте понятия производны от локальной же микрополитической конъюнктуры дисциплины. Анализ «своей» дисциплины как одной из версий интернациональной науки требует задания нового масштаба. Он предполагает перенос реалий российского интеллектуального комплекса «социология», в специфической конфигурации его смысловых и институциональных компонент, в международную систему координат, достроенную в тех измерениях, которые слабо актуализированы в российском случае. Чтобы произвести эту операцию корректно, необходима предварительная фиксация

¹⁵ Таким образом, следует быть равно внимательными не только к рутинному воспроизводству существующими институтами смысловых различий (что особенно характерно для «спокойных» периодов в истории дисциплины и «большой» истории), но и объективации новых смыслов в форме институций или внутринституциональной номенклатуры (что всегда характерно для реформ и революций).

властных микроструктур, которые определяют содержание социологической практики в каждой из национальных версий. То есть различий не только и не столько в господствующих теоретических, методологических предпочтениях, сколько в доминирующих или маргинальных институциональных рутинах (и релевантных им технических и теоретических понятиях), которые сформированы исторически. Таким образом, задача этой главы — ввести некоторые микрополитические различия как основу для новой, более строгой международной модели социологии в будущем. И для этого параллельно с российским я ввожу другой, «образцовый» в ряде измерений случай — французской социологии.

СОЦИОЛОГИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР BELLE ÉPOQUE: РЕСПУБЛИКАНЦЫ VERSUS АНТИМОНАРХИСТЫ

Известно, что в конце XIX — начале XX в. французская социология институциализируется группой интеллектуальных нонконформистов во главе с Эмилем Дюркгеймом как университетская дисциплина, утверждающая свою легитимность прежде всего перед лицом философии и философов¹⁶. В формировании познавательных структур социологии, этого детища Belle Époque, существенную, хотя не всегда явную роль играет политическая ангажированность ее основателей, Эмиля Дюркгейма, Марселя Мосса, Мориса Хальбвакса: позиция социологов-республиканцев еврейского (не исключительно) происхождения в деле Дрейфуса, их социалистические симпатии и сотрудничество с левыми организациями¹⁷. Эти предпо-

¹⁶ См., напр.: *Ringer F. The Fields of Knowledge*. P.; Cambridge: Edition de la maison des sciences de l'Homme; Cambridge University Press, 1992. P. 283–284; *Капади В.* Стратегии повышения статуса социологии школой Эмиля Дюркгейма // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. № 5.

¹⁷ См., напр.: *Шарль К.* Удачная женитьба Эмиля Дюркгейма // Шарль К. Интеллектуалы во Франции. Вторая половина XIX века. М.: Новое издательство, 2005; *Капади В.* Морис Хальбвакс, биографический очерк // Хальбвакс М. Социальные классы и морфология. М.; СПб.: ИЭС; Алетейя, 2000. Социалистическая чувствительность ряда университетских интеллектуалов играет важную роль и в складывании социологии как интеллектуального проекта в Германии. Так, свои эмпирические ис-

чтения и альянсы редко получают публичное выражение в силу высокой планки университетской интеллектуальной (само)цензуры, которая препятствует превращению французской социологии в разновидность левой республиканской публицистики. При этом они хорошо согласуются с реформистскими и экспансионистскими установками, которые носители нового типа знания демонстрируют перед лицом как традиционных университетских дисциплин, включая философию и право, так и новых, подобных политической экономии.

Институционализация российской социологии на рубеже XIX–XX вв. происходит по иному сценарию. Ее интеллектуальные и политические характеристики определяются иерархической позицией, ассоциируемой в университетском пространстве с обозначением «социология». Строго говоря, в российском университете это место маргинально: социология формируется как внедисциплинарная, а поначалу даже экстерриториальная интеллектуальная практика. Первой социологической институцией становится Русская Высшая Школа общественных наук, открытая в 1901 г. в Париже теми и для тех, кто прежде всего по политическим причинам не может преподавать или получать образование в России¹⁸. Сам факт институционализации далек от попытки сплоченной группы единомышленников закрепиться в университетских иерархиях, известной по французской версии дисциплины. Создание русской Школы в Париже развивает успех цикла лекций, прочитанных российскими интеллектуалами на Всемирной выставке, которая проходила в 1900 г. в этом городе. В число организаторов Школы вошли Максим Ковалевский и Юрий Гамбаров, а также Евгений Де Роберти, Илья Мечников вместе с целым рядом публицистов из условно дружественных политических лагерей, которые не занимали единой исследовательской платформы и неизмеримо больше были заинтересованы в публичной

следования аграрного и рабочего мира Макс Вебер выполняет по приглашению ассоциации преподавателей «Союз социальной политики», ставивших своей целью распространение социалистической критики в среде академической молодежи (Вебер М. Жизнь и творчество Макса Вебера / пер. с нем. М. Левиной. М.: РОССПЭН, 2007. С. 116).

¹⁸ Гутнов Д.А. Парижские тайны: Русская Высшая Школа общественных наук в Париже, 1901–1906 гг. // Мир истории. 2001. № 7. Заведение представляло собой свободный университет, преподавание велось по-русски.

площадке, обеспечивающей свободу высказывания, нежели в формировании дисциплинарного ядра, закрепляющего за ними место в российском или даже французском университете¹⁹.

Основатели Школы, выходцы из провинциального дворянства, объединенные «системной» оппозицией против самодержавия и поначалу спонсировавшие работу институции из собственных средств, столкнулись с растущей политизацией и дезорганизацией занятий. «Политические пристрастия студентов школы... в основном распределялись между приверженцами социалистов-революционеров и социал-демократов», боровшихся за влияние в Школе через приглашение в качестве лекторов политических деятелей из разных лагерей, таких как радикальный социал-демократ Владимир Ленин, социалист-революционер Виктор Чернов, народник Карл Кочаровский, консервативный либерал Петр Струве и др. В результате полемики и разногласий, доходивших до драк, отчасти провоцируемых агентами русской полиции, работа Школы уже в 1904 г. оказалась под вопросом²⁰. Эти обстоятельства становятся одной из причин самороспуска институции в начале 1906 г.

Показательно, что по своей организационной структуре Русская Высшая Школа гораздо ближе к европейской университетской модели, чем к императорской российской. Кадровую и тематическую политику определяет Совет, коллегиальный орган, объединяющий всех профессоров; из него выбирается распорядительный комитет Школы, фактическая администрация; каждый преподаватель самостоятельно формирует программу занятий²¹. Прямой перенос тех же форм самоуправления в государственные российские университеты, находящиеся под прямым министерским контролем, так же маловероятен, как институционализация в их стенах подозрительной новой дисциплины, гораздо более открыто, нежели в дюркгеймовской версии, смыкающейся с радикальной политической публицистикой.

Таким образом, «русская социология» в изгнании возникает как прямой институциональный ответ на российскую универ-

¹⁹ Для характеристики обстановки в Школе и вокруг нее, помимо статьи Д. Гутнова, см. также: *Голосенко И.А., Козловский В.В.* История русской социологии XIX–XX вв. М.: Онега, 1995. Гл. 1. § 2.

²⁰ *Гутнов Д.А.* Указ. соч.

²¹ Там же.

ситетскую политику и, более широко, как политический ответ на ограничения, составляющие часть монархического режима. Именно антимонархическая диспозиция, общая для разнородного состава участников институции, ведет к крайне далеким от академических интересам и организационным следствиям, в отличие от общей республиканской диспозиции узкой группы интеллектуальных единомышленников в случае французской социологии. Республиканизм последних остается невидимой основой академической дисциплины в собственном смысле слова (как исследовательской школы); антимонархизм первых служит скрепой временного тактического альянса между свободными интеллектуалами и политическими публицистами. В конечном счете Дюркгейм или Мосс становятся служащими республиканского государства; Ковалевский или Де Роберти — интеллектуалами-фрилансерами за пограничной линией государственной службы. И в профессиональном, и в политическом измерениях различие между французской и российской социологией определяется в первую очередь степенью интеграции нового знания и его носителей в центральные образовательные институции.

Вторым местом рождения «русской социологии», после самороспуска Школы в Париже, становится социологическая кафедра (1908), возглавленная Ковалевским и Де Роберти, при другом частном заведении, Психоневрологическом институте Владимира Бехтерева. Из экстерриториального режима социология переключается в экстрауниверситетский. Ее профессиональная близость свободной журналистике и политической публицистике закрепляется тем фактом, что в стенах государственных университетов занятия социологией возможны лишь в форме самодеятельных кружков²². Оставаясь политической угрозой слева до 1917 г., социология оказывается недостаточно левой вскоре после революции. Не став, таким образом, частью рутинизированной и нормализованной академической номенклатуры, наряду с историей или философией, социология повторно институциализируется в послесталинском СССР в статусе университетски маргинальной и политически сомнительной.

²² Голосенко И.А., Козловский В.В. Указ. соч. Гл. 1. § 2.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ КРИТЕРИЙ: КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ VERSUS НАЧАЛЬСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНОЙ

В сравнении с Belle Époque с 1950-х годов государственные режимы Франции и СССР сближаются в результате технократической централизации управления и последовательной универсализации социального обеспечения. При относительном подобии «больших» административных структур различие между двумя национальными версиями социологии еще более ощутимо выражается в различии академических структур микроуровня²³. Даже не придавая решающего значения хронологическому разрыву в повторной университетской институционализации социологии (1958 г. во Франции и 1989 г. в России), на который обоснованно указывает Шарль Сулье²⁴, и сопоставляя более близко расположенные повторные институциональные «перезапуски» социологии в рамках французской (1946)²⁵ и советской (1960)²⁶ исследовательских систем, мы оказываемся перед серьезной дилеммой. Можем ли мы говорить об одной и той же дисциплине — как о неразрывно интеллектуальном и институциональном комплексе, если она заново формируется во Франции и в СССР не только в различном образом ориентированных теоретических горизонтах (в частности, по отношению к американскому социологическому мейнстриму²⁷), но и в принципиально несовпадающих конфигурациях академической микровласти?

²³ В данном случае термин «академический» я употребляю в его европейском смысле, как характеристику и академических в узком смысле (относящихся к системе Академии наук), и университетских структур и позиций.

²⁴ *Ле Галь Б., Сулье Ш.* Реформа управления университетами и актуализация спора факультетов во Франции // *Laboratorium. Журнал социальных исследований*. 2009. № 1. Сн. 22.

²⁵ Создание Центра социологических исследований Ж. Гурвичем в рамках только учрежденной конфедерации исследовательских центров CNRS, которая во многом ориентируется на образец советской Академии наук.

²⁶ Одновременное создание в Ленинградском государственном университете социологической лаборатории под руководством В. Ядова, а в Институте философии Академии наук СССР — Сектора новых форм труда и быта под руководством Г. Осипова.

²⁷ Несколько подробнее вопрос о роли американских образцов в учреждении советской социологии — в условиях холодной войны и в

После исчезновения дюркгеймовской школы, в послевоенной Франции социология заново учреждается в академическом пространстве, где политика карьер и знаний опирается на органы коллегиального самоуправления. Рамочная система Национального центра научных исследований (CNRS, 1939/1944²⁸) и Высшая практическая школа социальных наук (EPHESS/EHESS, 1947) создаются как самоуправляемые конфедерации научных центров, задача которых — преодолеть раздробленность исследований, но также облегчить профессиональные и материальные трудности, связанные с выбором исследовательской карьеры, такие как нехватка вакантных должностей в университетах, отсутствие помещений для научной работы и т.д. Повторное учреждение социологии как самостоятельной и массовой университетской специализации в 1958 г. во многом представляет собой переприсвоение исходной дюркгеймовской позиции в университете, обладающей философской и политической легитимностью. При активном участии реформистски настроенного министра образования Гастона Берже, почитателя Эдмунда Гуссерля, характерологии и американской модели прикладной науки, ряд центральных гуманитарных факультетов (*lettres*) преобразуется в факультеты гуманитарных и социологических наук (*lettres et sociologie*) с правом защиты диплома по специальности «социология»²⁹. В рамках нового технократического поворота императив интеллектуального прогресса и модернизации университета соединяется с институциональной активностью ученых — членов Соппротивления, политических реформистов, отчасти партийных коммунистов, достаточно быстро получающих государственную и международную поддержку своих усилий по

связи с французской интеллектуальной ситуацией — рассматривается в первой части статьи: *Bikbov A. Strange Defeat: Reception of P. Bourdieu's Works in Russia // Sociologica. 2009. No. 2* (www.sociologica.mulino.it), последний доступ 20.03.2014).

²⁸ Официально учрежденный за две недели до начала Второй мировой войны, CNRS возобновляет работу как координационный центр исследований после Освобождения (1944). Подробнее см.: *Picard J.-F. La création du CNRS // Pour l'histoire du CNRS. 1999. No. 1.*

²⁹ Подробнее об институциональных нововведениях в гуманитарных и социальных науках этого периода см.: *Бикбов А. Институты слабой дисциплины // Новое литературное обозрение. 2006. № 77.*

институционализации новых дисциплин. Наряду с экономикой, также включенной в обновленную академическую номенклатуру, социология становится одной из дисциплин, которые определяют специфику послевоенной республиканской организации социальных и гуманитарных наук.

В отличие от «слабой» конфедеративной модели рамочных французских институций, поначалу не обеспеченных ни помещениями, ни должностными ставками, в послевоенном СССР академические институции нередко создаются «под ключ», с отстроенными зданиями и набором должностных ставок, что особенно характерно для 1960–1970-х годов. Это отвечает индустриальной модели науки, с большим производственным штатом «рядовых сотрудников»³⁰. Цена за прямое государственное обеспечение или даже учреждение, как в случае социологии, дисциплин — слабость коллегиальных механизмов управления, прежде всего микровласти ученых советов в стенах заведений. Уже в 1930-х годах баланс академической власти смещается в пользу управленцев на постоянных должностях: к директорам институтов и ректорам университетов, их заместителям, начальникам институтов, отделов и лабораторий. Генезис дисциплинарных структур социологии как вновь образованного комплекса, не унаследовавшего дореволюционных интеллектуальных и институциональных ресурсов, и вовсе становится образцовым примером институционализации «наоборот», которую я рассмотрел в предшествующей главе: создание органов дисциплинарного представительства и управления (Советской социологической ассоциации) здесь опережает формирование собственно академического корпуса (включая исследовательские институты).

Можно объяснять это различие в организационных моделях французской и советской социологии через обращение к «большим» политическим порядкам: исходно милитаризованному мобилизационному режиму в советском случае и ассоциативному/республиканскому во французском. Такое объяснение не будет полностью ложным, но будет далеко не достаточным. Формирование любого «большого» — т.е. централизованного, в пределах государственного — режима происходит через сопротивление актуальных доминирующих структур отдельным неконформистским и радикальным инициативам и фракциям их носите-

³⁰ Эта модель охарактеризована в гл. V наст. изд.

лей, которые стремятся их перехватить и монополизировать³¹. Если с усилением в 1920–1940-е годы общемировых тенденций к государственной централизации формирование мобилизационного режима оказалось возможно в одном случае и невозможно в другом, значит, в различных национальных контекстах во множестве локальных точек сопротивление ему имело неодинаковую силу. И среди прочих сил препятствием к централизованной (милитаризованного типа) мобилизации во Франции становятся микрополитические структуры академического мира, которые в российском научном и интеллектуальном мире ослаблены³².

Это расхождение, представленное, с одной стороны, автономной властью академических институций, с другой — пастырским контролем со стороны национальной бюрократии, можно возвести еще к университетской организации XVIII в. в обеих странах. Во Франции университетская корпорация медленно адаптируется к попыткам государственной власти переприсвоить контроль над ними, не утратив полностью своей специфики, восходящей к XII в., когда университет создается и существует в форме независимых ассоциаций. В России первый университет учреждается лишь в XVIII в., далеко за пределами эпохи корпораций, и изначально функционирует не на принципах свободного участия, а по элитарной прусской модели, как заведение, готовящее прежде всего к высшей государственной и научной карьере. Революционный роспуск университетов во Франции и последующие наполеоновские реформы, которые централизуют университет в попытке превратить его в школу государственной службы, где должности замещаются по конкурсу³³, также не уничтожают коллегиальной власти: она регенерируется в новых формах³⁴. Национальный конкурс на занятие академиче-

³¹ В этом смысле элиасовская модель конкуренции центров сил за монополию на инструменты высшей власти (Элиас Н. О процессе цивилизации. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. Т. 2. С. 105–106) частично применима и в данном случае как к государству, так и к отдельным огосударвленным дисциплинам.

³² См.: *Graham L. The Soviet Academy of Sciences and the Communist Party, 1927–1932*. Princeton: Princeton University Press, 1967.

³³ *Décret impérial portant organisation de l'Université du 17 mars 1808*.

³⁴ Строго говоря, за роспуском университетов в 1793 г., наряду с иными «вредоносными» корпорациями, носителями привилегий, тогда же следует попытка их переустройства как национальных заведений (*Guenée S. Les universités françaises dès origines à la révolution. Notices histori-*

ских должностей сохраняется до настоящего дня, став частью республиканской механики отбора, которая не конфликтует со структурами коллегиальной власти, но дополняет их.

При всей хронологической дистанции, отделяющей реалии XVIII в. от характерных для XX в. форм администрирования и борьбы, ряд «долгих» структурных эффектов в обоих национальных контекстах обеспечивает связь актуальных рутин и научно-политических коллизий с генетическими моделями. Некоторые исторические структуры и смысловые оппозиции не просто сохраняются в современных институциях в полустертой форме, но публично реактивируются в текущей борьбе. Так, в случае Франции в политических столкновениях вокруг образовательных моделей «корпоративные пережитки» служили одним из опорных аргументов для правительства Николя Саркози при неолиберальной централизации и менеджериализации власти в университетах (2006–2011)³⁵. В свою очередь, публичная контркритика преподавателей, вплоть до уличных выступлений широкой академической среды и солидарных госслужащих, отталкивалась от необходимости и неустрашимости самоуправления в определении задач академической практики³⁶. В российском случае схожие реформы образовательных и научных центров с 2003 г. встретили куда более слабое публичное и внутрицеховое сопротивление —

ques. P.: Picard, 1982. P. 53). Наполеоновские реформы не только создают на месте множества университетов одну централизованную структуру, но и регламентируют карьеры единым государственным конкурсом и государственными назначениями (Amestoy G. *Les universités françaises*. P.: I.N.A.S.-CLUB, 1968. P. 5). Эти нововведения на несколько десятилетий ставят под вопрос коллегиальный характер академического управления. Постепенное восстановление университетского самоуправления в XIX в., параллельно с сохранением системы конкурсов, начинается с передачи ему технических процедур — управления кадровыми и финансовыми вопросами (Ibid.).

³⁵ Снижение государственных расходов на социальную и культурную сферы, равно как поощрение социального неравенства, лежащие в основе реформ, также характеризует их как неоконсервативные. Подробнее о содержании реформ и их политической квалификации см.: Бикбов А. Рассекреченный план Болонской реформы // Пушкин. 2009. № 2; Он же. Культурная политика неолиберализма // Художественный журнал. 2012. № 83. Сдвиг продолжился и при смене правительства.

³⁶ Одной из наиболее показательных по набору тем и смысловых оппозиций в этом отношении стала конференция, посвященная критическому анализу реформ, в университете Париж-8: «Université critique pour tous», 1^{er} décembre 2007, Paris VIII, Vincennes — St. Denis.

в первую очередь из-за слабости структур коллегиальной контр-власти, *grosso modo* заложенной уже в конструкции императорских университетов. Здесь в борьбу за модель академического управления наряду с правительственными чиновниками включились не академические ассоциации, движения и профсоюзы, но почти исключительно начальство вузов и научных учреждений, занимающее про- или контрреформистские позиции. Иначе говоря, эта борьба зачастую ограничивалась межфракционными столкновениями между руководством конкурирующих академических институций, в отчетливо иерархической логике, и дополнялась многочисленными публикациями в первую очередь интеллектуальных фрилансеров и обладателей эксцентрических академических позиций.

В каких формах и процедурах во французском академическом мире послевоенного периода поддерживается коллегиальная микровласть? Прежде всего в основе институциональной научной карьеры лежит тот принцип, что объектом оценки выступает не *продукция* (публикации, проекты, направления), а *индивиды*, обладающие необходимыми интеллектуальными свойствами. Объективированными показателями этих свойств неизменно служат число и качество публикаций, реализованные проекты, успешные просветительские инициативы. Их демонстрация при участии в *конкурсе* других 100 или 200 претендентов на должность становится практически необходимой в двух отношениях: как доказательство индивидом своих свойств и как обоснование институцией сделанного в его пользу выбора. Тем не менее конечным предметом оценки выступают не эти показатели, а сами преподаватели и исследователи, за которыми признается *способность* производить результаты в силу наличия у них нужных свойств³⁷. Столь же важно, что источником научной оценки в конечном счете выступают не заведения в лице официально представляющих их администраторов, а такие же индивиды, наделенные необходимыми научными свойствами, признание которых они получили от коллег ранее. На практике это означает, что в ходе общей профессиональной аттестации,

³⁷ Понимание этого обстоятельства позволяет прекрасно объяснить сопротивление французских ученых и преподавателей библиометрической, или «механической», оценке их научной результативности, которую в рамках реформы образования и науки вводят вместо «человеческой», или коллегиальной.

при приеме кандидатов на работу или продвижении в должности ключевую роль играют решения, принимаемые коллегами по научной дисциплине. Французская модель научной оценки, определяющая карьерные перемещения кандидатов, — это регулярно воспроизводимая серия актов взаимного признания³⁸ и имманентная им реализация желания быть признанным³⁹.

Кардинальная дилемма справедливого карьерного решения, рождаемая в неустранимом напряжении между частными обстоятельствами и универсальными принципами, реализована в такой модели в сложном равновесии между *локальными* (отдельные учреждения) и *общенациональными* (дисциплины в целом) актами профессиональной аттестации. Разработка учебных программ самими преподавателями, с последующим утверждением учеными советами факультетов и дальнейшей сертификацией в национальном министерстве образования — пример управления интеллектуальным равновесием, а по сути, локального самоуправления, которое удерживается в основном на собственных свойствах индивидов, признанных коллегами. Следует заметить, что в российском случае соотношение сил прямо противоположное: содержательные программы разрабатываются *общенациональными* органами (комиссиями и учебно-методическими объединениями при Министерстве образования), а карьерные решения принимаются *локальными* органами (дирекцией учреждений). Другой, более замысловатый пример — прохождение кандидатами на должности в научных и учебных заведениях обязательных квалификационных порогов. Первичная аттестация на профессиональную пригодность, дающая право занимать должности в университете или научных заведениях⁴⁰,

³⁸ Иными словами, речь идет о признании равными (*reconnaissance par les pairs*), которое, по определению П. Бурдьё, составляет специфическую и фундаментальную характеристику поля науки (*Bourdieu P. Les usages sociaux de la science. P.: INRA, 1997*).

³⁹ Этот и два следующих абзаца перенесены сюда из статьи, в которой развернуто анализируются различия между моделями академической и интеллектуальной карьеры в России и Франции, а также последствия, к которым эти различия ведут в структуре гуманитарного и социального знания: Бикбов А. Осваивая французскую исключительность, или Фигура интеллектуала в пейзаже // Логос. 2011. № 1.

⁴⁰ Речь идет о государственных заведениях, в которых результаты аттестации остаются действительными в течение ближайших трех лет, после чего нужно проходить аттестацию заново.

проводится общенациональными дисциплинарными комиссиями, в которых на сменной основе заседают представители из разных университетов или научных заведений, включая региональные⁴¹. Условия конкурса на вакантную должность формулируются локально, в переговорах между ученым советом и администрацией факультета или лаборатории, которые публикуют содержательные требования к кандидатам. Однако отбор кандидатов, претендующих на каждую должность, производят не они, а те же общенациональные дисциплинарные комиссии коллег, которые изучают присылаемые кандидатами досье: профессиональное резюме, списки публикаций и сами публикации. Итоговый рейтинг кандидатов, предоставляемых этими коллегиальными комиссиями, не является обязательным к исполнению, тем не менее пренебрежение к нему — серьезный риск для репутации заведений, поскольку локализм в карьерных решениях почти всегда указывает на nepотизм, обмен услугами и иные отклонения от универсалистских требований научной дисциплины⁴². Некоторая доля вакантных должностей в университетах создается и заполняется локально, по решению администрации, однако — до самого недавнего времени, пока коллегиальная власть превалировала над административной иерархией, — эта доля была незначительной. Наконец, решение о карьерном продвижении преподавателей или исследователей, которых рекомендует к продвижению локальный ученый совет, также принимается общенациональными комиссиями, организованными по дисциплинам⁴³.

⁴¹ Третью часть состава этих дисциплинарных комиссий назначается по спискам профсоюзов, из числа тех же преподавателей и исследователей. Включение профсоюзов в карьерный процесс отчасти нейтрализует эффект внутридисциплинарных иерархий: частично пересекающиеся структуры власти, коллегиальной и административной, куда одновременно вовлечены сотрудники научных институтов, дополняется еще одной.

⁴² Пример аргументированной дискуссии о локалистских тенденциях в конкурсах на университетские должности см.: Godechot O., Louvet A. *Le localisme dans le monde académique: un essai d'évaluation* // *La vie des idées*. 2008. 22 avril (<<http://www.laviedesidees.fr/Le-localisme-dans-le-monde.html>>, последний доступ 19.03.2013) и последующие реплики.

⁴³ Во всех случаях речь идет о постоянной занятости в научных заведениях или университетах, т.е. о постоянном и собственном корпусе институтов. Наряду с ней существуют промежуточные формы контрактного типа и стажировок, которые не подчиняются требованиям публичного

Иными словами, в управлении индивидуальными карьерами и при создании тематических репертуаров преподавания и исследования ключевую функцию выполняют коллегияльные органы — структуры власти, учреждаемые процедурами взаимного признания равных. Наряду с этим дисциплинарные комиссии, представительные в национальном масштабе, уравнивают решения, принимаемые на локальном уровне⁴⁴, гарантируя соответствие карьерных назначений универсальным критериям научной дисциплины и, как следствие, универсализм самого научного корпуса, производимого в результате принимаемых решений. Участие профсоюзов в карьерных вопросах и в обсуждении политики занятости, как с локальной администрацией научных и учебных заведений⁴⁵, так и в составе национальных комиссий при министерстве, делает это равновесие еще более сложным. Научная политика, по сути, превращается в управление равновесием в нескольких, лишь отчасти пересекающихся и пронизывающих

конкурса, оставаясь в ведении локальных органов. В последние годы такими формами все чаще замещается прием на постоянные должности, в частности, молодых преподавателей. Очевидно, что временный наем, узаконенный текущими реформами, меняет как социальный состав профессионального корпуса социальных и гуманитарных наук, так и его субъектность.

⁴⁴ Это уравнивание — настоящая работа, о чем свидетельствует время, которое преподаватели и исследователи посвящают деятельности в комиссиях: по три-четыре месяца в году на чтение досье, участие в заседаниях, прослушивание кандидатов, получивших высокий рейтинг.

⁴⁵ На дисциплинарном уровне — определяя треть состава научных комиссий по оценке кандидатов на должности в университете и системе исследовательских институтов (Национальный комитет университетов, CNU, и Национальный комитет научных исследований, CoNRS); на межинституциональном — представляя в многосторонних согласительных и консультационных комиссиях, готовящих или оспаривающих решения министерств образования и науки. Оспаривая антиэгалитарную направленность реформ, левые профсоюзы также выступают за сохранение роли органов профессионального представительства и самоуправления в научных и образовательных институтах. Среди прочего они могут публично выступать по совсем, казалось бы, техническим вопросам, которые на деле имеют прямое отношение к принципу коллегияльности. Так, наиболее крупный профсоюз FSU-SNESUP выступил с обращением против автоматизированной оценки активности исследователей и преподавателей на основе рейтинга журналов, где публикуются статьи оцениваемых, и потребовал сохранения коллективных форм оценки карьер и научной продуктивности самими учеными (пресс-релиз SNESUP от 3 октября 2008 г.).

каждое заведение структурах власти: *коллегиальной, административной, ассоциативно-политической*. Наличие нескольких сопряженных структур и форм профессионального представительства частично нейтрализует гравитационные эффекты каждой из них по отдельности, оставляя шанс для интеллектуальной карьеры как таковой, т.е. для перевода индивидуальных научных свойств в должностные позиции. Эта же сложность равновесия сил, определяющего индивидуальные карьеры, в конечном счете способствует индивидуации интеллектуального поиска, избавляя «людей со свойствами» от слишком однозначных административных, тематических и политических принуждений и формируя у них навыки своего рода малых интеллектуальных предпринимателей даже в стенах крупных заведений⁴⁶.

Таким образом, коллегиальная микровласть, которая в критические моменты может реализоваться в солидарной публичной критике правительства, активистских межинституциональных или внеинституциональных ассоциациях и массовых уличных акциях⁴⁷, в рутинном режиме формируется по ходу участия преподавателей и исследователей в разноплановых коллегиальных и ассоциативных структурах, подобных ученым советам и национальным комиссиям по оценке научных карьер. Свой вклад в эту подвижную коллегиальную платформу вносят общие собрания (*assemblées générales*) лабораторий, факультетов, университетов, аспирантов, преподавателей и (или) студентов, инициативные группы и дни рефлексии, а также критические отчеты профессиональных ассоциаций.

Ангажированность вопросами управления дисциплиной становится стратегическим пунктом в организации интеллекту-

⁴⁶ Текущая (с середины 2000-х годов) образовательная реформа угрожает этому хрупкому равновесию и, как следствие, этому типу интеллектуальной субъектности, помимо прочего попыткой резко сместить его в пользу структур административной власти, усилив их гравитационные эффекты по сравнению с коллегиальными и ассоциативными. Одним из вероятных следствий такого дисбаланса может стать сближение французских учебных и научных заведений с известными нам российскими образцами, охарактеризованными далее.

⁴⁷ Как это происходило в 2009 г. в течение нескольких месяцев национальной забастовки университетов. В качестве примера академического активизма можно назвать ассоциации «Спасем исследования» [SLR], «Спасем университет» [SLU] или общенациональный орган (само)представительства — Национальную координацию университетов, созданную во время забастовки.

ального комплекса социологии, равно как и других дисциплин, в отличие от российского случая, где эти вопросы привычно выносятся за скобки академических взаимодействий, под видом сугубо технических. Одним из первых следствий различных моделей управления дисциплиной становится прагматика понятий, используемых непосредственно в процессе и с целью реализации этих моделей. Различие можно проследить по такому привычному в академическом и политическом контекстах понятию, как «администрация». Во французской и в близких ей европейских версиях академической организации это в большей степени *процедурная*, нежели *должностная* категория, ключевая роль в семантическом и прагматическом определении которой принадлежит (само)представительству ученых.

Эмпирическим референтом этого понятия служит отсутствие в стенах академических институций специализированного чиновничества, которое располагало бы средствами *окончательной* монополии научных, бюджетных, карьерных решений через удержание вершины административной иерархии в «своих» заведениях, подобно деканам и ректорам российских университетов. Научные администраторы выбираются на ограниченный срок из корпуса преподавателей или исследователей и возвращаются в него после прекращения должностных полномочий. В России «администрация» — это изолированная и устойчивая *профессиональная* категория, представители которой выстраивают внутриинституциональные или политические карьеры, не зависящие от карьер специалистов в данной области, и при исчезающем влиянии органов (само)представительства монопольно распоряжаются карьерами специалистов⁴⁸. В общем виде, расхождение в российской и французской прагматике категории

⁴⁸ Возможность провести критический тест на смысловые расхождения предоставляют международные встречи и конференции, на которых в прямой диалог вступают носители различных господствующих моделей научной карьеры. Таким тестом, который с предельной остротой обнажил это «смысловое» расхождение, стала конференция «Современное образование для социальных наук» (организованная в Москве автором книги в сентябре 2007 г., при поддержке Франко-российского центра гуманитарных и общественных наук, Института верховенства права и общественного движения «Образование — для всех!»). Российское определение «администрации вуза» вызвало удивление и живые возражения со стороны французского (Шарля Сулье) и немецкого (Юргена Фельдхоффа) коллег. Развивая свое возражение, Фельдхофф предположил, что для характеристики управления российскими универси-

«администрация» с релевантной для каждого из случаев областью само-собой-разумеющегося объясняется кардинальным различием между двумя режимами академического управления, *коллегиального* и *начальственного* (должностного).

Несмотря на послевоенное усиление роли государства как центра, до самого недавнего времени гарантирующего работу общенациональных академических структур: конкурсов, аттестаций, светского характера образования, единой тарифной сетки оплаты труда⁴⁹, — решающую роль в определении критериев социологической практики, как и в академическом мире в целом, во французском случае играет не внешнее по отношению к специалистам чиновничество, а непосредственные инициативные производители. Советский/российский случай тяготеет к прямо противоположному полюсу. Роль конечных инстанций научной экспертизы здесь достаточно рано была присвоена профессиональной бюрократией: в рутинной форме — бюрократией самих академических заведений, в предельных случаях — партийными органами. Официальная советская модель была далека от «тоталитарной»: наряду с начальственным принципом она допускала и, более того, идеологически предписывала самоуправление, в рамках ученых советов и собраний коллективов, которые *de facto* функционировали в качестве консультативных, а не законодательных органов. Решающую роль в профессиональной квалификации и решениях о карьерах вузовских сотрудников и исследователей в СССР/России послевоенного периода выполняет преимущественно руководство учреждений: их дирекция, руководство отделом кадров, председатель профсоюза учреждения⁵⁰. Органами централизованной оценки рутинной продукции в дисциплине и «рядовых» акаде-

тетами — с точки зрения европейской университетской модели — более подходящей категорией будет «отправление власти» или «коррупция».

⁴⁹ В России последняя была официально отменена для бюджетных работников в конце 2008 г. Этот решающий шаг по демонтажу социальных гарантий в системе государственной службы был обойден профессиональным критическим вниманием, равно как сколько-нибудь организованным или публичным социальным протестом.

⁵⁰ Одним из принципиальных отличий позднесоветской модели академического профсоюза (как и в ряде восточноевропейских случаев) от охарактеризованной выше послевоенной французской является фактическое отсутствие актива, помимо руководителя и заместителей в каждом заведении. Последние распределяют среди «рядовых работников»,

мических карьер служат дирекция и партбюро заведений, отчасти специальные Первые отделы (своего рода информационная и политическая безопасность), связанные с обкомами КПСС и КГБ, а в отношении должностных позиций, начиная с уровня ведущих научных сотрудников, руководителей лабораторий и кафедр — отделы науки и идеологии ЦК КПСС. С демонтажем советских политических институтов эти центры должностной экспертизы прекращают существование, и оценка карьер при сохранении формальных процедур утверждения кандидатур на кафедрах и в лабораториях переходит в монопольное распоряжение «администрации» учреждений, тогда как академические профсоюзы и ученые советы выполняют преимущественно фасадную функцию⁵¹.

Так же однозначно, как смысл категории «администрация», эту институциональную конъюнктуру характеризует комплементарное ей понятие — «рядовые сотрудники». Французское понятие «pairs» (англ. «peers»), «равные» — основополагающее для целого ряда рутинных процедур коллегиального самоуправления, начиная с оценки статей, представляемых к публикации в научном журнале, заканчивая упомянутыми конкурсами на должность — отменяет жесткую иерархическую дихотомию и столь же естественно встраивается в европейское определение социологии как науки, коллегиальной по этой линии своего происхождения, сколь чуждым остается в российском академическом контексте с его служебной лестницей «начальников» и «подчиненных»⁵². Несмотря на действительные изъяны французской коллегиальной микрополитики, которая регулярно подвергается внутриакадемической критике за формализм, продвижение «своих» и злоупотребления властью, — именно

выплачивающих членские взносы, путевки в дома отдыха, праздничные подарки детям и талоны на распродажи дефицитных бытовых товаров.

⁵¹ CoNRS, производящий оценку карьер исследователей, тоже является формально консультативным органом, однако до самого недавнего времени (2006–2009) его рекомендации *de facto* рассматривались как итоговые решения; эти полномочия отчасти сохраняются за ним и сегодня.

⁵² Из-за характерной маргинальности коллегиальных форм управления в российской науке даже хорошие переводчики порой ошибаются при передаче на русский язык понятия «pairs» («peers»), отчего в докладах и текстах по истории университета или актуальной научной политике действующими лицами вдруг становятся благородные «пэры».

она до самого недавнего времени гарантировала состоятельность определения науки Пьером Бурдьё как поля, структура которого зависит от признания равными⁵³. Она же выступает основным источником и ставкой в текущей академической борьбе против коммерциализации и менеджериализации интеллектуальных производств «сверху».

Логично предположить, что различия в академической организации во Франции и России служат источником различных определений не только понятия «администрация», но и самой «социологии». Заново интегрированная в послевоенный административный режим, «средневековая» коллегиальность становится несущей опорой французской академической науки, увеличивая вероятность появления новаторских интеллектуальных результатов через процедурное измерение карьер. В первую очередь речь идет о социологии как проекте рефлексивной и саморефлексивной критики социального порядка. В этом отношении французская версия дисциплины, вероятно, более всего разошлась с советской на уровне процедур и классификаций, открывающих доступ к анализу эффектов политического господства, частных и тонких инструментов государственной власти (включая официальную статистику), а также собственных интеллектуальных оснований⁵⁴. Однако этим различия не ограничиваются. Классификационные альтернативы, генерируемые каждым из двух типов академической микровласти, в советской социологии оформились в моделях монолитного социального порядка и схематике иерархической гармонии (социальных слоев и классов, функций, уровней организации, потребностей и т.д.). Мягкая и неполитически оформленная либеральная оппозиция ряда советских социологов⁵⁵ могла выражаться

⁵³ В оригинале — «reconnaissance par les pairs», т.е. равными в указанном процедурном, а не в метафизическом смысле (Bourdieu P. Les usages sociaux de la science...).

⁵⁴ В советской социологии интеллектуальная критика используемых методов, как и анализ интеллектуальных оснований дисциплины, имела крайне спорадический характер, тогда как «критика буржуазной социологии», т.е. политическая критика «чужой» — политически «чуждой», но активно заимствуемой — методологии, была институционализирована в качестве одного из основных дисциплинарных разделов.

⁵⁵ Которую сами представители этого поколения зачастую не признают или, по меньшей мере, старательно выводят за рамки политических координат.

в переоценке отдельных явлений, но не в публичном научном или популярном изложении альтернативных объяснительных моделей. В свою очередь, ряд доминирующих версий послевоенной французской социологии, возникших в стенах обновленных академических институций (Ален Турен, Пьер Бурдьё, Мишель Крозье⁵⁶) прежде всего тематизировали различия — через борьбу и конфликт.

В целом вопреки бытующему взгляду источником «теоретических» расхождений между французскими и советскими социологическими классификациями стал не только и не столько разрыв в содержании «больших» политических событий 1968 г. во Франции и СССР. В гораздо большей мере их определила институционализация этого политического разрыва в рамках ранее сложившихся форм микровласти, которые определяют правила академических карьер. В самом общем виде относительно автономное пространство научных суждений, одновременно более состязательное и устойчивое в случае послевоенной французской социологии, нежели в советской/российской, формируется как следствие относительной автономии научных карьер: органы коллегиального представительства, которые «естественно» отправляют наиболее рутинные процедуры оценки академических результатов, так же естественно производят эффекты рефракции (в смысле Бурдьё) внешних карьерных воздействий и принуждений.

И начальственное управление, и коллегиальное самоуправление — виды академической организации, которые через механику высших административных карьер напрямую связывают дисциплину с «большой» политикой, но также находятся с ней в отношениях общего структурного подобия. Во французском случае структура академической дисциплины согласуется с республиканским режимом, помимо прочего через коллегиально гарантированный доступ к преподаванию, исследованию, администрированию для участников, не вполне и не обязательно конформных господствующему политическому курсу. В пределе, общий интерес, лежащий в основе нормативного опреде-

⁵⁶ Которые, наряду с наиболее международно известными представителями реформистских фракций в истории, экономике, лингвистике, сделали карьеру не в традиционных университетах, а в новых институциях, среди которых центральное место заняла Высшая школа социальных и экономических наук (первая институциональная форма которой восходит к концу 1940-х годов).

ления Республики, делает коллегиальное представительство доминирующей формой институционализированного диалога конкурирующих академических фракций⁵⁷. В таких обстоятельствах глава исследовательского института, факультета или лаборатории — не игрок, наиболее лояльный патронам «наверху», и не обладатель наибольшего политического веса в политических, снова, «более высоких» институциях, но фигура прежде всего наиболее приемлемая в интеллектуальной и микрополитической конъюнктуре заведения. В советском и, далее, российском случае, где доминирующей формой микрополитики выступают отношения «службы», которые разворачиваются между «начальством» и «рядовым сотрудником», преобладающая вертикальная аффилиация делает условием доступа к профессии прежде всего формальную лояльность «руководству», непосредственному и высшему.

ГЕНИЙ МЕСТА: РОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ СОЦИОЛОГИИ ИЗ ДУХА РУКОВОДСТВА

Российская социология дореволюционного периода институционализируется как интеллектуальная и политическая практика за границами государственной карьеры и вне географических границ Российской империи. Как я показал в предыдущей главе, повторное учреждение и первоначальная профессиональная рутинизация дисциплины в позднесоветский период локализует ее на прямо противоположном полюсе: внутри реформируемого аппарата государственной службы, ввиду задач международного идеологического состязания и роста производительности труда. А со стабилизацией места социологии в экспертном поясе «управления прогрессом» в 1960–1970-е годы «гармониче-

⁵⁷ Как явствует из сказанного ранее, отношения между коллегиальными органами и Республикой исторически далеки от однозначности. Республиканская модель, утвержденная Французской революцией, в строгом смысле исключала корпоративных посредников между гражданином и нацией. Именно это привело в 1793 г. к упразднению университетов. Легитимность в рамках республиканского порядка постепенно возвращается коллегиальным структурам через признание юридической автономии факультетов (1885) и самих университетов (1893–1896) (*Amestoy G. Les universités françaises...* P. 6), а также с последующим развитием ассоциативных форм публичного и политического действия, прежде всего в юридической форме (по закону 1901 г.), близкой российским некоммерческим организациям.

ский» характер советской социальной теории становится одним из моментов переопределения официальной доктрины «общественных отношений», в которой уже в конце 1950-х происходит кардинальный сдвиг от «классовой борьбы» к «предотвращению войн», а затем и к «социальной однородности»⁵⁸. Этот период, как и описанные выше поворотные точки в истории дисциплины и всего символического порядка, изобилуют конкурирующими моделями и пересекающимися тенденциями. Однако вектором, результирующим и резюмирующим эти одновременно реализуемые альтернативы, как и в начале 1990-х, становится начальственная модель.

В «послеоттепельное» десятилетие, с конца 1950-х до конца 1960-х годов, мы с легкостью обнаруживаем прототипы коллегияльных структур, которые спонтанно формируются во вновь возникающих зонах интеллектуальной активности: деятельность кружкового типа, поначалу институционализируемая в виде легальных академических семинаров, публичные лекции и дебаты, содержательные дискуссии на ученых советах. Однако по мере академической и бюрократической нормализации социологии в конце 1960-х — первой половине 1970-х эти формы вновь лишаются институциональной легитимности, подвергаясь служебным процедурам контроля и отсева. Ключевую роль здесь играют партийные санкции, применяемые к тем, кто наиболее глубоко вовлечен одновременно в самоуправляемую (кружковую) и институциональную (вплоть до партийной) активность. Серия «взысканий» и «разгонов» конца 1960-х — начала 1970-х годов, вызванных методологически «опасными» публикациями, чтением идеологически не выверенных лекций, ведением «бесполезной» и «непродуктивной» деятельности в стенах недавно созданных исследовательских учреждений обращена в первую очередь на тех социологов, чьи имена уже не раз были упомянуты в книге: Ю. Леваду, В. Ядова, А. Здравомыслова, Г. Осипова, И. Кона и ряда других.

Если мы соглашаемся с расхожей квалификацией этих событий как «гонений на социологию»⁵⁹, нам приходится допу-

⁵⁸ Подробнее эти сдвиги рассмотрены в контексте понятий «средний класс» и «гуманизм» в гл. II и III наст. изд.

⁵⁹ Послесоветская реконструкция истории дисциплины, где доминирует жанр «гонения на социологию в СССР», отталкивается от целого ряда документированных свидетельств и громких (в пределах дисцип-

стить, что в этот поворотный момент истории дисциплины имеет место конфликт между интеллектуальными и политическими принципами ее организации, закончившийся победой последних. Однако подобное допущение совершенно не позволяет объяснить, почему партийный выговор оказывается столь действенным в управлении интеллектуальными практиками социологов. Равно как не дает понять, каким образом «гонимые социологи» сохраняют партийные посты и, в целом, относительно высокие позиции в академических иерархиях. Именно это видимое противоречие и составляет, вероятно, центральную интригу истории дисциплины позднесоветского периода. Картина решающим образом проясняется, как только мы отказываемся от банализированного противопоставления репрессивного политического и свободного интеллектуального, которое содержится в формуле «гонений на социологию». Административная реорганизация дисциплины и усиление контроля за ее продукцией представляет собой всего лишь приведение спонтанной интеллектуальной активности социологов как государственных служащих и партийных функционеров среднего звена к доминирующей модели *советской академической карьеры* бюрократического типа, параметры которой я уже кратко характеризовал ранее и к которым вернусь далее.

Как следствие, специфика комплекса советской социологии 1970–1980-х, а также российской социологии 1990-х, прямой наследницы советской институциональной инфраструктуры и профессионального состава, пополнившегося преподавателями идеологических дисциплин, определяется почти полным *отсутствием* внесоветских процедурных «изобретений» в организации дисциплинарной микровласти. С этой точки зрения российская социология оказывается в куда большей степени продуктом советского периода, чем история или философия, которые почти сразу предложили на возникающем в 1990-е годы интеллектуальном рынке критический ресурс досоветского на-

лины) партийных «дел» 1960–1970-х годов, по которым можно проследить редукцию интеллектуального — индивидуального и коллегиального — самоуправления (см., в частн.: Социология и власть 1953–1968 / под ред. Л.Н. Москвичева. М.: Academia, 1997; Российская социология 60-х годов в воспоминаниях и документах / под ред. Г.С. Батыгина. СПб.: Издательство РХГИ, 1999).

следия под видом радикального разрыва с девальвированным советским прошлым.

Отсылая к доминирующим параметрам научной карьеры позднесоветского периода, следует уточнить смысл сближения в ней академического и бюрократического. Для этого нужно не упускать из виду, что в СССР 1950–1980-х годов академическая деятельность — это государственная служба, регламентируемая требованиями лояльности непосредственному и высшему начальству. Буквальным выражением такой лояльности в конечной профессиональной продукции служат пресловутые цитаты из решений последнего съезда КПСС в начале статей и в предисловиях монографий. За этим наиболее очевидным внешним слоем скрыт целый спектр практик бюрократической лояльности, начиная с координации выборов в действительные члены Академии наук отделами науки и идеологии ЦК КПСС, включая согласование будущих публикаций с Первыми отделами научных институтов, заканчивая обязательной для рядовых сотрудников «общественной нагрузкой». На деле «тоталитарный режим», образ которого до сих пор преследует российские и зарубежные исследования по истории науки, воспроизводится в позднесоветский период в форме *бюрократического сверхпредставительства*, т.е. рутинной кодификации самых различных профессиональных практик в соответствии с критериями государственной службы. При этом в разных научных дисциплинах и внутридисциплинарных секторах эта господствующая модель реализуется и отчасти переопределяется различным образом, в зависимости от степени их интеллектуальной автономии.

В академической системе на интеллектуальную автономию успешно претендуют не только «практически необходимые» дисциплины, подобные физике элементарных частиц или органической химии, помимо прочего, сохраняющие тесную связь с институциональными (коллегияльными) образцами дореволюционного периода и «буржуазной науки» 1920–1930-х⁶⁰. Сходные элементы можно обнаружить в советской медиэвистике,

⁶⁰ Показательной, но не единственной иллюстрацией прямой связи институциональных структур советской физики с «буржуазными» образцами служит Институт физических проблем Академии наук, который Петр Капица основывает в 1934 г., покинув лабораторию Эрнеста Резерфорда в Кембриджском университете, во многом по образцу последней.

также сохраняющей элементы дореволюционной научной школы. Здесь практика коллегиальной оценки научных результатов, происходящая, помимо прочего, на заседаниях ученых советов, интериоризирована в форме групповой интеллектуальной самооцензуры⁶¹, которая если и не предполагает открытой критики официозных схем, то вводит им своего рода техническую альтернативу: практику скрупулезной работы с источниками, освоение нескольких иностранных языков, сверхинвестиции в монографии. Подобная самодисциплина обеспечивает право на вход в профессию и позволяет технически делегитимировать носителей более «легковесных», непосредственно политических суждений. Превращение источников в предмет своеобразного профессионального культа, который разворачивается на фоне рисков потери работы за нелояльность и выверенных игр с официальным языком, делает «директивы вождя» факультативным условием научного состязания⁶².

Отличие советской социологии от советской медиевистики и иных «не вполне советских» дисциплин в профессиональном отношении определяется куда менее весомой интеллектуальной платой за вход, а также тесной связью дисциплины с административно определенными «нуждами практики». Поворотный в этом отношении момент — краткий период конца 1950-х — начала 1960-х годов, когда тактический комплекс «социология» приобретает первоначальную политическую и научную легитимность в ходе частичной отмены режима (само)изоляции СССР⁶³. В этот момент «международное» превращается в новую референтную фигуру политического курса, а государственная

⁶¹ Отправление интеллектуальной самооцензуры как одного из средств по обеспечению автономии дисциплины см.: Бурдые П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера / пер. с фр. под ред. А. Быкова. М.: Праксис, 2003. Гл. 4.

⁶² См. описание профессионального этоса советской медиевистики: Уваров П. Портрет медиевиста на фоне корпорации // Новое литературное обозрение. 2006. № 81.

⁶³ Подробнее об этой поворотной точке см. гл. V наст. изд. О научном изоляционизме начала 1950-х см.: Прокуменищikov М.Ю. ЦК КПСС и советская наука на рубеже эпох (1952–1953) // За «железным занавесом»: Мифы и реалии советской науки / под ред. М. Хайнеманна, Э.И. Колчинского. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. О смене научно-политического курса: Иванов К.В. Наука после Сталина: реформа Академии 1954–1961 годов // Науковедение. 2000. № 1.

администрация расширяет зону и репертуар публичного самопредъявления. Институционализация социологической карьеры внутри административного государственного аппарата тесно и надолго вписывает карьерные и познавательные возможности профессионального социолога в горизонт проблем и вопросов, определяемых «руководством». В предыдущей главе я кратко описал последствия этого поворота для смысловой структуры советской социологии. Здесь полезно остановиться на некоторых подробностях.

В 1956 г. советские делегаты неофициально участвуют во Всемирном социологическом конгрессе и по возвращении докладывают, что это научное по форме мероприятие на деле представляет собой арену идеологического противостояния капитализма и социализма. Президиум Академии наук рекомендует «усиление роли советских научных учреждений в деятельности международных научных организаций» и ознакомление «зарубежных социологов с нашей позицией по важнейшим вопросам общественного развития», что помешало бы «распространению клеветнической информации в отношении СССР, имевшей место на предыдущих Конгрессах»⁶⁴. Однако официально представлять на Конгрессе может только делегация от национальной социологической ассоциации. Именно с этой целью уже в 1957 г. и создается Советская социологическая ассоциация (ССА), учредительный съезд которой проводится в 1958 г. в Институте философии АН СССР. Показателен весь состав учредителей, куда входят Научно-исследовательский институт труда при Комитете по труду и зарплате при Совмине СССР, Институт экономики, Институт права, еще четыре республиканских философских заведения, а также кафедра философии МГИМО⁶⁵.

Неудивительно, что первая официальная делегация нового профессионального органа, которая отправляется на следующий Всемирный конгресс (1959), состоит из специалистов по историческому материализму и партийных функционеров. Государственные администраторы и виртуозы идеологии в роли профессиональных представителей сохраняют свое место в

⁶⁴ Записка АН СССР о создании Советской социологической ассоциации, 26 декабря 1957 г. // Социология и власть. Вып. 1. С. 38.

⁶⁵ Там же. С. 40.

следующих делегациях, которые представляют «советскую социологическую науку» за рубежом: здесь мы находим администраторов научных учреждений, редакторов академических журналов, государственных чиновников⁶⁶. Профессиональная социологическая ассоциация в отсутствие профессиональных социологов предстает той институционализацией «наоборот», которую я уже характеризовал в предыдущей главе.

Лишь вслед за учреждением ССА начинают создаваться специализированные лаборатории и центры, деятельность которых носит отчетливо инструментальный характер и ориентирована в первую очередь на решение «социальных проблем» в трудовом секторе: эффективность использования рабочего времени, текучесть кадров между предприятиями и отраслями, субъективную удовлетворенность трудом и т.п. Институционализация дисциплины в форме центрального научного учреждения, Института конкретных социальных исследований АН СССР, происходит десятью годами позже создания национальной социологической ассоциации, т.е. в 1968 г. Институт также возглавляет высший партийный чиновник, академик по экономике Александр Румянцев⁶⁷. А его заместителями назначены не исследователи, а референт ЦК КПСС, спичрайтер Никиты Хрущева Федор Бурлацкий и научно-партийный функционер, руководитель первого социологического центра Геннадий Осипов⁶⁸.

Создание центральной институции, призванной обеспечить аналитическими материалами аппарат ЦК КПСС, закрепляет комплекс «социология» в государственной бюрократической иерархии. Учрежденная административно дисциплина исходно не вводит внутренних интеллектуальных критериев, которые определяли бы границы социологического комплекса и условия

⁶⁶ Социология и власть. Вып. 1. С. 22, 46–47, 58.

⁶⁷ Ряд должностей, которые Румянцев занимает, начиная со смерти Сталина и до занятия поста директора ИКСИ: заведующий Отделом науки и культуры ЦК КПСС (1953–1955), главный редактор журнала «Коммунист» (1955–1958), шеф-редактор журнала «Проблемы мира и социализма» (1958–1964), главный редактор газета «Правда» (1964–1965), секретарь Отделения экономики АН СССР (1965–1967), вице-президент АН СССР по общественным наукам (1967–1971).

⁶⁸ Архивный материал, фиксирующий перипетии создания Института, см.: Пугачева М.Г. Институт конкретных социальных исследований Академии наук СССР, 1968–1972 годы // Социологический журнал. 1994. № 2.

допуска к профессии. По ряду свидетельств решение о приеме на работу принимается на основании «человеческих симпатий». Прекрасную иллюстрацию этому дает руководитель одного из первых социологических центров, Сектора новых форм труда и быта:

Люди искали. Как-то приходит ко мне один человек, говорит: «Есть у меня сосед, вроде такой смысленный, работает в одном вузе на кафедре экономики». — «Давай, говорю, приводи его ко мне». Приводят (это просто как иллюстрация, таких примеров были десятки, сотни). Такой молодежавый, боевой. Беседуем — так, мол, и так. «Ну, хорошо, — заключает он, — только заранее предупреждаю: бригадами коммунистического труда заниматься не буду!» — «Ладно, оставь свое заявление». И я сразу его зачислил⁶⁹.

Ту же модель вхождения в дисциплину можно наблюдать и на другом, отчетливо более теоретическом и претендующем на профессиональную автономию полюсе создающейся дисциплины. Вот как описывает свой прием на работу один из первых сотрудников сектора под руководством Юрия Левады:

Юрий Александрович с нами побеседовал и взял нас на работу. ... Ключевых вопросов уже абсолютно не помню, Юрий Александрович больше проверял общую эрудицию, знание каких-то имен. И по-моему, составлял общее впечатление, внимательно присматривался помимо прочего, не подлец ли, так сказать, и не будет ли от человека впоследствии слишком много беспокойства. А самое главное — я был москвич, а значит, в жилье не нуждался⁷⁰.

Подобным образом в социологические центры официально и полуофициально устраиваются на работу философы, историки, психологи, математики по первой специальности. Новоприбывшие назначаются социологами по факту прибытия. Низкая интеллектуальная плата за вход во многом определяет то чувство собственного дилетантизма, в котором несколько десятилетий спустя признаются социологи-первопроходцы. В отсутствие предшествующих интеллектуальных (коллегиальных) взаимо-

⁶⁹ Интервью с Г.В. Осиповым // Российская социология 60-х годов... С. 97–98.

⁷⁰ Интервью Марины Пугачевой с Александром Дмитриевичем Ковалевым (4 марта 1998 года) // Социологическое обозрение. 2012. № 1. С. 152.

действий, результаты которых были бы закреплены в форме социологической теории и методологии, как это можно было наблюдать во Франции, общим регулятивом социологической практики выступает сложный баланс между чутьем на новизну, «человеческими качествами» и партийным императивом «практической пользы», а конечным адресатом — государственное чиновничество. Только к середине 1960-х годов появляются первые переводные издания и компилятивные пособия, по которым социологии-«самоучки», по их собственной характеристике, осваивают методы в процессе их применения и с которыми соотносят свои профессиональные успехи⁷¹.

ДВОЙНАЯ КАРЬЕРА И ПОНЯТИЙНЫЕ КОМПРОМИССЫ

Связь между исходно административно-политическим назначением дисциплины и слабостью интеллектуальной регламентации карьер в советском случае заставляет усомниться в историческом единстве международной науки социологии, часто допускаемом по умолчанию. Это же делает необходимым ретроспективно уточнить смысл французской социологии как автономистского проекта в стенах центральной университетской институции. Озабоченный вопросом университетской легитимности в политически компромиссной конъюнктуре, Эмиль Дюркгейм ищет отнюдь не благосклонности университетского «начальства», но интеллектуального и процедурного признания со стороны коллег, которыми он числит прежде всего философов. Точно так же, созданный Жоржем Гурвичем в совсем ином институциональном контексте, в составе новой и стремительно огосударствливающейся академической платформы CNRS⁷², Центр социологических исследований (1946) функционирует отнюдь не по принципу вертикальной аффилиации, но как автономная коллегиальная инстанция. Реальность самоуправления заново подтверждается здесь в мае 1968 г., когда Общее собрание (*Assemblée générale*)⁷³, т.е. простое большинство сотрудников

⁷¹ Подробнее об этом см. гл. VII наст. изд.

⁷² Уже упоминавшийся Национальный центр научных исследований (CNRS), экспансивно развивающийся в послевоенный период.

⁷³ Еще одна привычная для академического мира Франции категория (понятие и институциональная рутина), которая не переводится на научный русский язык без дополнительных пояснений, поскольку в со-

центра, пожелавших участвовать в обсуждении и голосовании, принимает решение о бессрочной забастовке, продлившейся около года, а также о перевыборах руководства. В результате на смену «университетскому мандарину» Жану Стоцелю избирается сотрудник Центра, сюрреалист, троцкист и социолог труда Пьер Навиль⁷⁴.

Поиски легитимных оснований для новой дисциплины и институционализация первых социологических центров в послевоенном СССР встраивается в кардинально отличную, одновременно начальственную в карьерном и гетерономную в интеллектуальном отношениях, логику. Создание в 1960 г. утилитарного по тематике Сектора новых форм труда и быта в рамках Института философии АН СССР предстает своеобразным пактом с «начальством», который предполагает не только прямую санкцию из ЦК КПСС, но и — в качестве предварительного и необходимого условия — принадлежность самого руководителя Сектора (Геннадия Осипова) к академической и партийной бюрократии⁷⁵. Схожая схема действует в случае социологической лаборатории при Ленинградском государственном университете. Ее директор (Владимир Ядов) поначалу занимает должность секретаря райкома комсомола, затем секретаря комсомольской ячейки университета. Решение о создании лаборатории отнюдь не ограничивается согласием между коллегами. Единственно доступный путь институционализации через государственные и партийные органы и единственно возможный в этих условиях партийно-научный тип восходящей карьеры «естественным образом» предопределяют специфику познавательного горизонта дисциплины. Центральная гипотеза самой известной исследо-

ветском и российском академическом мире Общее собрание предстает административным мероприятием с соблюдением иерархической субординации и заранее сформированной повесткой.

⁷⁴ История Центра была представлена в докладе на тематической конференции «Май 68: плавильный котел для социальных наук?»: Vannier P. Mai 68 et la sociologie: une reconfiguration institutionnelle et théorique (10 сентября 2008 г., Centre Malher, CNRS).

⁷⁵ Поначалу ученый секретарь и секретарь комсомольской организации Института философии, затем (с конца 1950-х) заместитель директора института и вице-президент Советской социологической ассоциации (Интервью с Г.В. Осиповым // Российская социология 60-х годов...), в составе которой на протяжении как минимум 10 лет нет ни одного профессионального социолога.

вательской монографии советского периода «Человек и его работа» (1967)⁷⁶, которая резюмирует деятельность социологической лаборатории при ЛГУ за несколько лет столь же искренне, сколь лояльно воспроизводит титульную максиму *партийной ортодоксии* о «превращении труда в первую жизненную потребность при переходе от социализма к коммунизму»⁷⁷.

Насколько зарубежный опыт сохраняет ключевую роль в формировании смыслового горизонта дисциплины, настолько распоряжение им регламентируется критериями бюрократической лояльности. Учрежденная на выходе из режима жесткой политической (само)изоляции, советская социология в полной мере наследует противоречивый комплекс активного заимствования-отторжения в отношении «буржуазной науки». Этот комплекс явственно отражается в содержательном измерении дисциплинарных текстов и целых тематических секторов, таких как «критика буржуазных социологических теорий»; гораздо менее явственно и при этом так же основательно — в механизме социологических карьер. Не следует упускать из виду, что большинство советских социологов получали представление о международной дисциплинарной конъюнктуре по пересказам и вторичной советской литературе, прошедшей утверждение отделов идеологии и науки ЦК. Прямой доступ к зарубежным публикациям, в частности из раздела «Для служебного пользования» (ДСП) научных библиотек, регламентировался не только *de facto* редким владением иностранными языками, но и формальными ограничениями доступа к публикациям тематическим соответствием текущей работе и служебной принадлежностью⁷⁸.

⁷⁶ Соавторы книги: А. Здравомыслов, В. Рожин, В. Ядов.

⁷⁷ См. описание задач исследования в первой главе, которое сохранено и в послесоветском издании: «Попытаться определить наиболее существенные объективные и субъективные факторы, способствующие превращению труда в первую жизненную потребность рабочего, и факторы, препятствующие этому. На этой основе постараться выяснить возможные последствия технического прогресса в нашей стране с точки зрения его влияния на изучаемый процесс» (Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Человек и его работа в СССР и после. 2-е изд. М.: Аспект-Пресс, 2003). Здесь же мы обнаруживаем «научно-технический прогресс» в роли цивилизационного фактора (подробнее см. гл. V наст. изд.).

⁷⁸ Ряд социологов, работавших в советских институциях, указывали (в интервью со мной и в различных публикациях), что «в целом не было

Неизменно более высокие требования регламентировали контакты с зарубежными учеными, которые напрямую управлялись местом в административной и партийной иерархии заведений. Согласно ряду свидетельств, базовым условием участия во встречах с зарубежными социологами служила принадлежность слушателей к числу комсомольских или партийных функционеров, а списки допуска к встречам с американскими или европейскими социологами, посещающими СССР, и, тем более, включение в делегацию международного конгресса формировались на бюро комсомола или партии и утверждались в тематических отделах ЦК КПСС⁷⁹.

Важным звеном социологической карьеры служат упомянутые зарубежные «выезды», на которые могли рассчитывать прежде всего обладатели относительно высоких партийных и административных должностей. Риск оказаться «невыездным», т.е. лишиться одновременно средств к поддержанию международных связей и административного влияния, выступает важным источником политического и одновременно теоретического благоразумия. Альтернатива самоцензуры, которая делала невозможным серьезный теоретический разрыв с официальной догмой, может быть описана следующим образом: «не выехать» — значит выпасть из системы сложившихся научных контактов и сдать позиции во внутрипрофессиональной иерархии, «выехать» — значит корректно соблюдать границу между собственными интеллектуальными амбициями и официальной догматикой.

Как следствие, целый ряд известных впоследствии социологов, вошедших в профессию в конце 1950-х — начале 1960-х и демон-

никакой проблемы» при доступе к зарубежной литературе, хранившейся в библиотеках под грифом «ДСП». При этом большинство из них были членами бюро ячеек комсомола или партии, вели административную или «общественную» работу, т.е. уже принадлежали к категории сотрудников, имеющих привилегированный доступ к режимным фондам и, как следствие, к зарубежным источникам. Если кто-то на время утрачивал ДСП-доступ или получал отказ в выдаче конкретной книги/статьи (в частности, из-за несоответствия ее содержания заявленной тематике исследований), исковую публикацию, порой заранее цензурированную сотрудниками спецотдела, мог взять для него более высокопоставленный или не утративший лояльной репутации сотрудник. Иными словами, при относительной простоте коллективного доступа к зарубежным публикациям и преодолимости ограничений в основе индивидуальных ограничений лежали критерии служебной лояльности.

⁷⁹ Интервью с Андреем Здравомысловым 29.05.2004.

стрирующих образцы «нового профессионализма», отсылающего к международному контексту, — это обладатели двойных, партийно-научных, траекторий: уже упомянутые Ядов, Осипов и Левада (поначалу секретари комсомольских организаций, затем партбюро своих учреждений), Андрей Здравомыслов (член КПСС, участник групп при отделах ЦК, впоследствии заведующий кафедрой Высшей Партийной Школы), Татьяна Заславская (член КПСС с 1954 г.), Игорь Кон (несмотря на беспартийность, участник подготовительных комиссий по десталинизации к Пленуму 1956 г.) и ряд других⁸⁰. Двойное членство в *интеллектуальных и официальных партийных структурах* «естественно» обеспечивает им международную социализацию и так же «естественно» ведет их к интеллектуальным и политическим компромиссам.

Однако те же принципы бюрократической лояльности управляют восходящими социологическими карьерами и понятийными образцами вне сферы международных контактов. С уровня заведующего отделом научного института должности утверждаются в отделах ЦК, тем самым сближая административный корпус институтов с государственным управленческим аппаратом и делая его доступным для партийного контроля и взысканий по результатам интеллектуальной деятельности. В ряде случаев партийный контроль включает совместное рассмотрение дирекцией и отделами ЦК кандидатур старших научных сотрудников и желающих защищать докторскую диссертацию. Разновидность *компромиссной карьеры*, при которой доступ к решающим интеллектуальным ресурсам гарантирован служебной лояльностью, становится собственным профессиональным местом советской социологии. Именно в этих условиях одним из ее фундаментальных познавательных продуктов становится модель эмпирического исследования, проводимого в «сотрудничестве с административными органами и общественностью», а другими — неразличимость социологических и социальных проблем и заимствование гипотез исследования из партийных постановлений⁸¹.

⁸⁰ Ряд данных почерпнут из интервью в сборнике «Российская социология 60-х годов...», из интервью автора с Андреем Здравомысловым, а также из публикации серии интервью Дмитрия Шалина с Игорем Коном 1990–1996 гг. (<cdclv.unlv.edu/archives/Interviews/kon_96.html>, последний доступ 20.03.2013).

⁸¹ Подробнее см. в гл. VII наст. изд.

В конечном счете познавательный выбор советской социологии в пользу «большой теории» (одновременно марксизм и структурный функционализм Толкотта Парсонса) в соединении с позитивистскими техниками описания (в духе Пола Лазарсфельда) оказывается в той же мере продуктом административного и политического компромисса, в какой — карьерного альянса между представителями государственной бюрократии и новым поколением социологов, в той или иной мере принадлежавших к этой бюрократии. В этом контексте даже выбор теории Парсонса как признака профессиональной принадлежности, в противоположность виртуозной риторике исторического материализма⁸², был результатом отнюдь не предельной конфликтности двух этих классификационных систем, но, напротив, соизмеримости обеих «высоких теорий» по структуре и политически узаконенной абстрактности понятийной сетки. Понятия «социальной структуры», «системы», «интереса», «потребностей», «ценностей», «группы», «роли», которые служили классификационной основой советской социологии 1960–1980-х годов, в той же мере следовали за Марксом, в какой за Парсонсом, представляя собой результат узаконенного смыслового компромисса. В рамках этих классификаций уже в 1970-е было крайне трудно и в принципе противопоказано отграничивать Маркса от Парсонса, социальное равенство от стабильности системы, социальную справедливость от функциональной иерархии. По словам одного из создателей советской социологии, который активно и искренне способствовал продвижению парсонсианства во имя научности социологии: «Между основными понятиями марксизма и структурного функционализма не было никаких противоречий»⁸³.

⁸² Попытки социологической профессионализации посредством теории, комплементарной догматическому марксизму, обнаруживала структурное подобие с описанным мною ранее позиционной логикой «молодых» философов того же периода, которые противопоставляли догматике диалектического материализма техническую компетентность в области истории философии.

⁸³ Интервью с Ю.А. Левадой // Российская социология 60-х годов... Подобная игра на концептуальной неразличимости порой подается сегодня самими социологами 1960-х как попытка мирного обновления взгляда на позднесоветское общество. Не исключено, что эта задача и совпадает с некоторыми из их исходных установок того периода, несмотря на все риски ретроспективного самоистолкования. При этом удивительным и

Акт идеологически-служебного учреждения социологии многократно воспроизводится при создании академических центров, при утверждении их тематического репертуара, в перипетиях социологических карьер, в способе конструирования социальных и социологических проблем, в проведении исследований из нужд и средств отделов идеологии и науки ЦК, областных комитетов КПСС и т.д. Обеспечивая право социологических центров на существование, их бюрократический *raison d'être* вносит регулярные поправки в смысловую структуру дисциплины: как со стороны внешнего, сугубо партийного прочтения и цензурного контроля, так и со стороны политической и административной самодисциплины социологов. Работа по непрестанному двойному дисциплинированию смещает профессиональные тексты к разновидности научно-политической публицистики и аналитики для узкой аудитории, преимущественно состоящей из государственных чиновников⁴⁴.

Подобная бюрократическая сверхопределенность комплекса советской социологии, рудиментарность коллегиальных форм и внеинтеллектуальная (само)цензура естественным образом возвращают нас к вопросу о том, чем — в сравнении с французской или некоторыми иными международными версиями — представляла версия советская. Тот же самый вопрос можно сформулировать иначе: что в этих обстоятельствах может означать «дисциплина», или о какой дисциплине может идти речь? Советскую социологию невозможно рассматривать в терминах «чистой» интеллектуальной или методологически строгой практики, которая обеспечивалась бы работой автономных (самоуправляемых) образовательных институций и опиралась бы на технически независимые критерии доступа в профессию. При этом, несмотря на действие кодекса служебной лояльности,

весьма красноречивым остается, во-первых, отсутствие иных сколь-нибудь серьезных теоретических влияний на систему социологических классификаций, во-вторых, исключительная жизнеспособность этого компромиссного образования, пережившего политический режим, при котором оно могло выполнять такую функцию.

⁴⁴ Такие интеллектуальные казусы, как рубрика ответов на «письма трудящихся» о смысле социологических понятий, содержании публикаций и т.д., — в единственном дисциплинарном журнале советского периода «Социологические исследования» (основан в 1974 г.) — лишь усиливают своеобразие этого жанра.

ее нельзя рассматривать и в терминах одной только партийной самоцензуры. Минимальные требования научности — по меньшей мере, ввиду участия советских социологов в международном состязании — также определяют характер этого тактического комплекса. Можно констатировать, что с конца 1950-х годов советская социология выполняет функции административно-интеллектуального инструмента *двойного назначения*, который используется не только для «научного управления обществом», но и для влияния на государственный аппарат со стороны его умеренно реформистских фракций⁸⁵. Консервативные фракции, одержавшие верх в 1970-х, получают возможность сместить с ключевых позиций реформистски ориентированных научных администраторов и близких им социологов, как это происходит в 1972 г. в Институте конкретных социальных исследований. Подчинение социологов бюрократической дисциплине и понижение наименее дисциплинированных в партийных и должностных иерархиях получает итоговое выражение в отставке «либерального» академика Румянцева с поста директора ИКСИ и из администрации Академии наук СССР. Но победа консерваторов в партийном аппарате уже не может попросту «отменить» институции, которые отныне плотно вписаны не столько в интеллектуальные, сколько в административные и политические иерархии, объективированные и в новой понятийной сетке, где более высокое место занимают «личность» и «прогресс».

Перестав рассматривать теоретический горизонт социологии отдельно от институциональных, и в частности, карьерных рутин, мы получаем возможность гораздо яснее обозначить границы и механизмы воспроизводства этого компромиссного образования, которое продолжает существовать в начале 1990-х и заново переучреждается в 1990–2000-е годы. Фиксируя национальные и хронологические различия подобным образом, мы обязаны отбросить навязываемую с 1990-х годов ложную генеалогию, которая превращает советскую и дореволюционную социологию в подобие единой дисциплины, будто бы «восстановленной» в 1960-х.

⁸⁵ Учредительная фигура партийного деятеля и академика-экономиста Алексея Румянцева, который сыграл важную роль в институционализации дисциплины, став первым директором Института конкретных социальных исследований, может служить особенно яркой иллюстрацией этой двойственности на высоком иерархическом уровне.

Вместе с этим такой критический подход делает возможной более точную локализацию частичных (структурных) подобий в хронологически не связанных социальных контекстах воспроизводства дисциплины в позднесоветский и дореволюционный периоды. В советском универсуме социологическая практика отправляется в интеллектуальном секторе государственной службы; в российском дореволюционном возможна лишь как частный досуг за пределами государственной карьеры. Однако в обоих случаях социология — как эмпирически фундированное критическое описание актуальных социальных порядков — исключена из состязания за университетскую легитимность и закрепляется на полюсе публицистики. В обоих случаях этот полюс сверхопределен политически: антимонархической диспозицией в ранней версии и бюрократической в поздней. Для позднесоветских социологов, государственных служащих, научный профессионализм становится одной из немногих доступных форм относительной политической свободы, или этического спасения⁸⁶. В свою очередь, критический и экспансионистский ход, подобный дюркгеймовскому или бурдьевистскому, который позволил бы социологам потеснить доктринальных философов на университетских кафедрах, остается для них недоступным, как невозможен он до 1917 г. Компромиссная карьера и партийная самодисциплина социологов симметричны институциональному доминированию над социологией исторического материализма, который оставляет ей уровень «конкретных методов» и «частных обобщений», одновременно монополизируя социальную тематику в рамках университетского преподавания. В прямом состязании с партийными философами-ортодоксами за самостоятельное определение основ дисциплины вплоть до конца 1980-х годов социологи раз за разом терпят поражение⁸⁷. Функционируя

⁸⁶ Выбор «настоящих профессионалов» в пользу методологий Парсонса и Лазарсфельда — в оппозиции ортодоксальному марксизму — в целом следует этому императиву. Пример советской медиевистики, приводимый выше, дает представление о более последовательной реализации той же логики.

⁸⁷ В отличие от множества кулуарных форм утверждения академической иерархии, это состязание получает публичное выражение в форме дискуссий о «предмете социологии», регулярно возобновляемых на страницах «Вопросов философии», «Социологических исследований» и в предисловиях к монографиям по социологии и историческому материализму на протяжении 1950–1980-х годов.

как одно из звеньев двойного научно-бюрократического дисциплинирования, «младшая», одновременно в партийном и теоретическом смыслах, позиция социологии благоприятствует закреплению дисциплинарных классификаций в гетто служебной литературы, усиливая зыбкость позиций социологии в советских интеллектуальных иерархиях.

ДИСЦИПЛИНИРУЯ СОЦИОЛОГИЮ ЗАНОВО: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ОБНОВЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ

Рассмотренная связь между смысловыми и карьерным регуляторами дисциплины заставляет признать, что неортодоксальные результаты и обретение социологией интеллектуальной состоятельности могли быть связаны в 1990-е годы только с изменением способа управления дисциплиной: разрывом с логикой бюрократического руководства «рядовыми» академическими работниками в пользу практик коллегиального самоуправления. В первые годы академической деиерархизации формы самоуправления получают «естественное» преимущество, подкрепленные энергией официального отказа от «единственно верного учения», ортодоксального марксизма. Однако принципы бюрократической сверхопределенности методологии исследования и начальственного управления дисциплиной не перестают действовать в стенах первых университетских факультетов социологии (1989), кадровый состав которых во многом пополняется преподавателями расформированных идеологических кафедр. Ряд микрополитических решений, принятых тогда же в конце 1980-х — начале 1990-х годов и описанных в предыдущих главах, подводит формальный итог смелым экспериментам, блокируя академическое самоуправление не только в социологии, но и во всей академической системе⁸⁸. Результирующий вектор реформ *de facto* указывает скорее на консервативную, нежели либеральную революцию. К этому следует добавить, что представление о демократизации науки в раннем

⁸⁸ См. краткое описание того, как демократические «изобретения» конца 1980-х годов в Академии наук, такие как сменяемость руководства, фиксация верхней возрастной планки для руководящих должностей, передача власти научным коллективам, уже в начале 1990-х устраняются из уставов и практики РАН (см. гл. VI наст. изд.).

послесоветском контексте неразрывно связано с императивом ее коммерциализации. Поэтому когда в 1991 г. за Академией наук законодательно закрепляется статус *самоуправляемой* организации, это вовсе не подразумевает создания коллегиальных структур «рядовыми сотрудниками», но отсутствие министерского контроля над деятельностью Президиума АН, закрепление собственности на недвижимость за научными институтами и налоговые льготы⁸⁹.

В меняющихся условиях 2000-х годов эти тенденции принимают в социологии окончательную форму патронального утилитаризма. Прежде всего для дисциплины, учрежденной в позднесоветский период, с его крайне ограниченными институциональными ресурсами коллегиальности, перенос оценки карьер с открытых научных собраний в кабинеты руководства окончательно закрепляет академическую власть за дирекцией учреждений. В свою очередь, демонтаж советского аппарата, отделов науки и идеологии ЦК, которые выполняли функции не только идеологического контроля, но и альтернативных центров надинституциональной микровласти, не обеспечивает механического поворота дисциплины в пользу интеллектуальных критериев. *Напротив*, устранение центральных государственных органов из институциональных обменов лишь усиливает локалистские и патерналистские тенденции в академическом управлении, которые оправдываются лихорадочным поиском финансового самообеспечения институций, вслед за резким снижением государственного финансирования в начале 1990-х⁹⁰.

⁸⁹ См. итоговые версии Уставов Академии наук (в частности, последний доступен на сайте www.gas.ru). Единственный пункт (№ 3), где употребляется понятие «самоуправления», определяет сферу бюрократической компетенции и принципиально не содержит отсылку к процедурной коллегиальности: «Российская академия наук является самоуправляемой организацией, которая проводит фундаментальные и прикладные научные исследования по важнейшим проблемам естественных, технических, гуманитарных и общественных наук и принимает участие в координации фундаментальных научных исследований, выполняемых научными организациями и образовательными учреждениями высшего профессионального образования, финансируемых за счет средств федерального бюджета» (2007).

⁹⁰ Так, доля государственных расходов по статье «Фундаментальные исследования и содействие НТП» с 3,86% в 1991 г. последовательно сокращалась до 1,6% в 1996 г., а общие затраты на научно-исследовательские разработки из различных источников составляли в 1991 г. 66,9% от

Наиболее экономически эффективные формы самообеспечения оказываются наиболее далеки от интеллектуальных: сдача в аренду помещений или оптимизация коррупционных схем поступления в вузы. На протяжении 1990-х годов идеалы академического самоуправления окончательно капитулируют перед критериями финансовой самоокупаемости. К началу 2000-х носителем власти в исследовательских и образовательных институтах выступает «начальство», дисциплинарные связи тяготеют к изоляции в стенах отдельных учреждений, а крупные межинституциональные события, подобные Всероссийским конгрессам, приобретают явственный ритуально-бюрократический характер⁹¹.

В этих обстоятельствах независимые профессиональные ассоциации как форма самоуправления, необходимость которых активно обсуждается в первые годы, остаются таким же «незавершенным проектом», вскоре окончательно забытым, поскольку при растущей с конца 1990-х герметичности институций он не находит опоры в рутинных формах низовой коллегиальности, обладающих высшей легитимностью само-собой-разумеющегося во французской социологии. Попытки неоконсервативного французского правительства «отменить» коллегиальные структуры в 2005–2009 гг. под неолиберальными лозунгами приводят в действие движение протеста⁹², которое создает масштабные временные контринституции, такие как Национальная координация университетов⁹³, которая в 2009/2010 учебном году про-

уровня 1990 г. и колебались в пределах 22,5–30% вплоть до 1999 г. (на основе данных из: Наука и технологии в России. Прогноз до 2010 года / под ред. Л.М. Гохберга, Л.Э. Миндели. М.: ЦИСН, 2000. С. 90, 93; Квалифицированные кадры в России. М.: ЦИСН, 1999. С. 238; Наука в России: 2001. Официальное издание. М.: Госкомстат, 2001. С. 70; Кузнецов Ю. Финансирование гражданской науки в России из федерального бюджета: положение дел и основные проблемы // Отечественные записки. 2002. № 7. С. 108).

⁹¹ Помимо прочего, это выражается в крайне незначительном числе межинституциональных исследовательских и образовательных проектов.

⁹² Включая создание уже упоминавшихся междисциплинарных ассоциаций: «Спасем исследования» (SLR) и «Спасем университет» (SLU), которые с 2009 г. вели совместную активность.

⁹³ Орган, созданный преподавателями, куда Общие собрания учебных заведений поначалу 46 из 80 действующих во Франции государственных университетов делегировали по два преподавателя. Позже предста-

водит всеобщую бессрочную забастовку университетов. Как я указывал ранее, подобные экстренные формы коллегиальной мобилизации оказываются технически и идейно осуществимыми, поскольку им предшествуют устойчивые рутинные формы коллегиального самоуправления, начиная с обладающих реальной властью локальных ученых советов и национальных комиссий научного конкурса по дисциплинам.

Отсутствие рутинизированных форм коллегиальности в российской социологии подчиняет учреждение и переучреждение профессиональных ассоциаций логике, близкой к *raison d'être* Советской социологической ассоциации (ССА), а именно, к прагматике международного и национального административного представительства. В частности, оформление наследства ССА решается как вопрос удержания институциональных ресурсов: ее преемник, Российское общество социологов (РОС), созданное в 1989 г. как республиканская организация ССА, выполняет функцию институционального регулятора между центральным академическим учреждением, Институтом социологии РАН (на базе которого *de facto* функционирует РОС), и региональными социологическими центрами. С конца 1990-х годов, по мере локализации академической власти и складывания конкурирующих альянсов вида «центральная институция — младшая клиентская сеть», а также превращения относительно недавно (с 1989 г.) созданных факультетов в самостоятельные центры институциональных сил логика «простого» бюрократического представительства уступает место режиму межинституциональной борьбы, которая приобретает все более отчетливую политическую окраску.

В первой половине 2000-х годов наиболее крупные институциональные альянсы формируются вокруг двух полюсов: с одной стороны, Института социологии РАН, отчасти пересекающегося по кадровому составу с Высшей школой экономики (сеть РОС), с другой — Института социально-политических исследований РАН и социологического факультета МГУ (сеть Российской социологической ассоциации⁹⁴). В терминах локаль-

вительство было расширено до пяти делегатов, включая представителя от технического персонала и представителя от студентов, уже от 67 университетов и 12 других учебных заведений.

⁹⁴ Создана в 2003 г.

ной борьбы эти альянсы уже к концу 1990-х в целом описывались в политических терминах как «либеральное крыло» versus «патриотическое»⁹⁵. Характерный не только для российского случая перевод на язык «большой» политики общих институциональных установок в пользу международной науки или национальной, в пределе — националистической экспертизы, на деле мало способствовал формированию общедисциплинарного пространства и более строгих интеллектуальных критериев, поскольку на обоих полюсах господствовали неколлегиальные формы микрополитики. Во второй половине 2000-х годов экспансия правого полюса продолжилась с созданием новой ассоциации, Союза социологов России (2007), на сей раз на базе Социального государственного университета: в состав ее организаторов также вошло руководство Института социально-политических исследований РАН и социологического факультета МГУ. Политическая конфронтация «чисто» бюрократических поначалу объединений увеличила непроницаемость межинституциональных перегородок и сделала еще менее вероятным эффект общедисциплинарной коллегиальной солидарности.

Усиление локальных иерархий и административной власти в стенах институций выразилось в росте индивидуальной зависимости «рядового» сотрудника от «начальства» как непосредственного работодателя⁹⁶, а исследовательского проекта — от непосредственного заказчика⁹⁷. В менее очевидной форме тот

⁹⁵ См., например, упомянутое обозначение «либерального крыла профессионального сообщества» в биографической статье о Владимире Ядове (Социологи России и СНГ XIX–XX вв. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 354).

⁹⁶ Эта тенденция приобретает явную форму во второй половине 2000-х годов, особенно масштабную с конца 2008 г. — с одновременным уменьшением минимальных доходов в образовательном секторе и отменой общенациональной тарифной сетки для государственных служащих: отныне от 30 до 50% фонда зарплаты каждого заведения поступает в непосредственное распоряжение руководства, которое самостоятельно перераспределяет эти средства между сотрудниками на основе оценки их «эффективности».

⁹⁷ Согласно анкетному опросу, проведенному в середине 2000-х, 41% из 205 опрошенных социологов (из которых 70% работали в системе высшего образования) сообщили, что проводят исследования на средства российских заказчиков, и около 20% — зарубежных заказчиков (Климов И. Социальный состав и профессиональные ориентации российских обществоведов // Социальная наука в постсоветской России /

же возврат к зависимости и самозависимости, уже на институциональном уровне, объективируется в попытках снизить неопределенность экономического положения институций на рынке изолированных и временных коммерческих заказов. Способом снижения издержек становится не создание горизонтальных, ассоциативных структур, а поиск муниципального и государственного патронажа, отвергнутого в конце 1980-х, — уже с середины 1990-х годов руководители социологических проектов и институтов добровольно возобновляют этот поиск, а значительный сектор исследований и публикаций упредительно адресуется к «власти»⁹⁸.

Наиболее заметное выражение инволюция структуры академической власти получает в интеллектуальном измерении дисциплины. Первым и наиболее заметным следствием такой локализации-провинциализации академических связей во второй половине 1990-х — 2000-х годах становятся изоляционистские, в пределе националистические тенденции на фоне непрерывно растущего числа переводов и заимствований из международного словаря социологических понятий. Крайнюю форму эти тенденции приобретают в публичном приговоре «вредному влиянию Запада», который произносится одновременно от имени социологии и от имени квазирелигиозно определяемого морального порядка на ультраконсервативном полюсе⁹⁹. Явные, но не исключительные иллюстрации

под ред. Г.С. Батыгина, Л.А. Козловой, Э.М. Свидерски. М.: Академический проект, 2005. С. 203–206).

⁹⁸ Попытки заново вписать социологию в «государственные интересы» и «приоритеты» возобновляются администраторами институций и руководителями проектов, самое позднее, в середине 1990-х. Они характерны не только для почвеннического полюса (Институт социально-политических исследований), но и для вполне умеренных в политическом и профессиональном отношении позиций, представленных на рынке опросов и консультирования, а также академической экспертизы. Так, предвыборные выступления на пост директора Института социологии РАН в 2000 г., по меньшей мере у двух из трех кандидатов, Леокадии Дробижевой и Валерия Мансурова, строились вокруг идеала превращения Института в государственный экспертный центр.

⁹⁹ Как можно видеть по публикациям середины 1990-х, позиция «неприменимости» западных теорий выстраивалась на совсем иных политических допущениях, далеких от тезиса о национальной исключительности: «Государство казарменного социализма, существовавшее в

такого сдвига демонстрирует руководство социологического факультета «главного» российского вуза, МГУ, отчасти Института социально-политических исследований РАН. Конфликт 2007–2008 гг. на социологическом факультете МГУ заостряет эти тенденции, придав им публичную форму. В частности, он заставляет наиболее консервативные фракции в дисциплине

нашей стране, резко отличалось от развитых капиталистических стран, и уже в силу этого многие теории и рецепты западных социологов оказывались не применимы в наших условиях» (Аитов Н.А. История с историей социологии // Социс. 1997. № 3. С. 140). Строго говоря, профессиональная нелегитимность полного отрицания «западной теории» вписана во всю не слишком обширную генеалогию российской (включая советскую) социологии: от ключевых обстоятельств «рождений» и «возрождений» дисциплины в 1960-х и 1980-х годах, недвусмысленно привязанных к «западному опыту», до постоянного спроса на реферативную работу, принимающую все более дифференцированные формы, но продолжающую сохранять свои индикативно-предписательные функции. О том, что даже наиболее «патриотически» настроенные авторы вынуждены считаться с этой логикой, возможно, еще ярче, чем научные тексты, свидетельствуют произведенные ими учебники. Это хорошо прослеживается по одному из наиболее распространенных, по институциональным причинам, учебников: *Добренчиков В.И., Кравченко А.И. Социология: в 3 т. М.: ИНФРА-М, 2001*. Защита его авторов от возможных обвинений в непрофессионализме в неявном виде содержится уже в библиографии к первому «теоретическому» тому: из 437 единиц 116 — источники на английском языке, еще 44 — переводные. При этом иллюзия исчерпывающей полноты, подкрепленная отсылками к «классическому наследию» и намерением «кратко изложить воззрения классиков социологии» (т. I, с. 281) маскирует факт использования различных версий американской социологии, которые доминируют в общей структуре тома и в библиографии, в качестве парадигмального образца дисциплины в целом. В этом отношении крайне показателен раздел 2.2 «Современный этап социологии»: он исключает упоминание таких центральных в современной европейской социологии фигур, как, например, Норберт Элиас, Пьер Бурдьё или Ален Турен (подраздел «Общие особенности этапа» путем простого перечисления школ заключает всю современную социологию в политические границы США); тогда как центральное место занимает фигура Парсонса, вслед за которой в число основных направлений попадают «экзистенциальный менеджмент» и выдуманная «школа „ультрадетальных эмпирических исследований“». Двойной разрыв авторов с декларацией собственных намерений: неявный отказ «золотому фонду отечественной социологии» в статусе современного и столь же неявное включение американских маргинальных ответвлений в число центральных, — представляет собой иную форму предпринятого в целях безопасности смешения классификаций, призванного обойти рискованные крайности как явного превознесения американской социологии, так и не менее явного отказа российской социологии в ее оригинальности.

дооформить и транслировать вовне свое практическое кредо, включая «православную социологию»¹⁰⁰, а также подтверждает позиции публичного невмешательства как преобладающей стратегии у гораздо менее реакционного большинства социологов.

Другое интеллектуальное следствие возросшей локальности академической власти — это отсутствие в общедисциплинарном горизонте релевантных «всей социологии» технических и регулятивных понятий. Так, уже в середине 1990-х годов происходит негласный отказ от экспансионистского принципа единой «науки о человеке», оптимистически провозглашенного в конце 1980-х — начале 1990-х и задававшего тон целой серии исследовательских программ и межинституциональных взаимодействий. На смену ему приходит рутинная практика институциональной экономии усилий, которая упорядочивает деятельность крупных заведений по отраслевому принципу¹⁰¹ и — что еще явственнее определяет актуальный характер дисциплины — прагматично избегает нерентабельного синтеза эмпирических исследований с социологической теорией в публикациях и учебных планах, предназначенных прежде всего для употребления в стенах самих институций.

«Мультипарадигмальность» в рамках одного исследования, которая уже во второй половине 1990-х выступает господствующей методологической установкой¹⁰², не только и не столько отражает растущую доступность «западных теорий», сколько фиксирует исчезновение прежней централизованной инфраструктуры, прежде обеспечивавшей социолога значительными объемами ресурсов и данных. Неконсистентность материальных ресурсов при видимом избытке мало освоенных теоретических ведет к восстановлению в дисциплинарных классификациях официальной советской дихотомии «теоретического — прикладного», которая маркирует водораздел между академической

¹⁰⁰ Добренков В.И. «Я не боюсь высказывать свои убеждения...» // Татьяна день. 2007. 4 декабря (<www.taday.ru/text/82371.html>, последний доступ 19.03.2013).

¹⁰¹ История и теория социологии, социология молодежи, социология труда, социология культуры и т.д., — деления, которые в основе своей воспроизводят советскую социологическую номенклатуру.

¹⁰² Компактный и показательный образец теоретического обоснования «политеоретичности»: Ядов В.А. Два рассуждения о теоретических предпочтениях // Социологический журнал. 1995. № 2.

отчетностью и коммерческими заказами, благородным социологическим досугом и доходной технической специализацией. Вторую жизнь получает и «социальная проблема», которая по-прежнему предстает отправным пунктом эмпирического исследования в учебных пособиях и образовательной практике 1990–2000-х годов¹⁰³.

Учебники и учебные курсы по социологии для студентов-социологов заслуживают отдельного упоминания. Почти не имея прямого воздействия на профессиональную практику, они имеют прямое отношение к социологии как интеллектуальной дисциплине, которая формируется через тот самый общий набор понятий и смысловых делений, который содержится в используемых пособиях, сверенных с ними или выстроенных по ним курсов, практических занятий и т.д. Неявным образом, через согласованность и даже совпадение базовых классификаций, подтвержденных необходимостью сдать экзамен по курсу, учебная литература также вносит вклад в определение границ социологического мышления и, более широко, социологически мыслимого. То, что с 1990-х годов до настоящего времени в большинстве учебников, в их методологической части воспроизводятся понятийный строй и классификации советской социологии, этого синтеза догматического марксизма и структурного функционализма, можно было бы снова объяснить сохранением господствующего теоретического горизонта, гарантированного устойчивостью ряда ключевых параметров институциональной микрополитики. Труднее объяснить в этом случае, почему новые поколения преподавателей, а также студентов не сформировали массовый спрос на обновленные, в пределе, зарубежные пособия, тем самым не повлияв на господствующие модели учебной литературы.

Ключом к «странному» механизму консервации советских образцов здесь служит еще одна практическая иллюстрация неколлегиальной организации дисциплины, на сей раз в образовательном секторе. А именно, признание государственного законодательства (*госстандарта*) основой дисциплинарной методологии. Большинство учебников походят на советские социологические пособия и зачастую идентичны по своей структуре, вплоть до оглавлений и определения понятий, поскольку

¹⁰³ Подробнее см. в гл. VII наст. изд.

их авторы состязаются не за анонимный рыночный спрос, а за гриф «рекомендовано» (или, на более низкой ступени, «допущено») «в качестве учебного пособия по дисциплине», который удостоверяет максимальное соответствие образовательному стандарту — в свою очередь, обязательному условию государственной аттестации учебных заведений¹⁰⁴. Именно на основании госстандарта в университете, имеющем государственную лицензию, должны строиться базовые курсы по социологии; поэтому отдельные преподаватели, уже не под прямым министерским контролем, но по требованию заведений, основывают курсы на «рекомендованных» учебниках, а не на собственных разработках¹⁰⁵. То, как по завершении советского периода, с отменой пастырского идейного контроля и партийной дисциплины учебники и учебные курсы *чисто технически* в условиях образовательного рынка воспроизводят стандарт, «спускаемый сверху» в качестве условия государственной лицензии, дает еще более глубокое понимание начальственной власти в социологии.

Большим институциям, воспроизводящим подобные образцы дисциплины в исследовательском и образовательном секторах, во многом противостоят малые интеллектуальные и образовательные центры, которые с начала 1990-х годов институционализируют классификации и предпочтения вне границ советской социологии: «качественные методы», понимающая социология, гендерные исследования, социальная политика. Они являются точками кристаллизации *много* рода дисциплины, ориентиро-

¹⁰⁴ Государственная аттестация обеспечивает выпускникам диплом государственного образца, предпочтительный для поиска работы на рынке труда, а потому само ее наличие у вуза нередко оказывается минимальным требованием при его выборе абитуриентом. В свою очередь, для образовательной инстанции соответствие госстандарту напрямую отражается в количестве студентов (в том числе, если не прежде всего, оплачивающих свое образование). Иначе говоря, госстандарт парадоксальным образом превращается в невидимый (но одновременно столь осязаемый на уровне структуры и самопрезентации учебника) ключевой пункт, связывающий две, казалось бы, напрямую не подчиненные государственному регулированию области: предложение на образовательном рынке и спрос на рынке труда.

¹⁰⁵ Подробно структура учебников по социологии 1990-х — начала 2000-х, а также институциональная логика их создания и использования см.: Бикбов А., Гавриленко С. Российская социология: автономия под вопросом. Ч. 2 // Логос. 2003. № 2. Раздел «Учебник социологии: фигуры и ставки».

ванной на международные критерии профессионализма и регулятивы единой социальной науки, при этом занимая в балансе академической власти 2000-х годов маргинальное положение. Одним из ключевых показателей такого положения служит незначительная доля докторов наук в их составе и отсутствие собственных диссертационных советов¹⁰⁶. В свою очередь, эти обстоятельства сохраняют за крупными институциями статус основных центров профессионального воспроизводства, располагая исследователей-неконформистов к неизбежным компромиссам с доминирующими дисциплинарными моделями или, напротив, к окончательному уходу «из науки», при и без того ощутимом замедлении их академических карьер.

В целом ряд напряжений, характерных для советской версии дисциплины и возникавших на пересечении между ее партийным и интеллектуальным измерениями, воспроизводится в послесоветский период в форме технических условий исследовательских и образовательных практик. Можно сказать, что изменяется масштаб, но не господствующая модель управления дисциплиной, которая при изменившихся структурах «большой» политики порождает прежние интеллектуальные эффекты в силу воспроизводства структур академической микровласти. Рынок социологических услуг — фигура профессионального воображаемого периода реформ и скрытая переменная интеллектуального конформизма дисциплины в 1990–2000-е годы — оказывается структурирован таким образом, что его возможности вполне отвечают базовым профессиональным навыкам бывших советских социологов, долгое время сохраняющих ключевые позиции в дисциплине. Кроме того, логика «внутренней» институциональной рентабельности переводит большие социологические заведения в режим латентной, а порой и явной (как в случае социологического факультета МГУ) *антиинтеллектуальной (само)цензуры*. Она действует не только в стенах отдельных, наиболее реакционных и иерархически организованных институций, но, в результате работы механизмов, формально утверждающих границы дисциплины, может распространяться и за их стенами: через рецензирование учеб-

¹⁰⁶ По сути, ключевой фактор, открывающий дорогу к дальнейшей институционализации новых направлений: воспроизводству корпуса преподавателей и исследователей, чья карьера не обязана компромиссу с более консервативными институциями.

ников (ввиду присвоения им рекомендательных министерских грифов), утверждение государственных образовательных стандартов по дисциплине и аттестацию образовательных центров, включая независимые малые¹⁰⁷. В условиях, когда структуры коллегиальной контрвласти в дисциплине крайне слабы, такой перезахват процедур оценки и отбора существенно снижает шансы институционализации интеллектуальной чувствительности и практик, которые не вписываются в «начальственную» модель академической карьеры.

Консервация в больших заведениях этой модели, восходящей к 1970-м годам, бесконфликтно надстраиваемой в 2000-е элементами «новой» механики патрональной власти — руководства заведений как непосредственных работодателей, — консервирует на всем пространстве дисциплины не только понятийные образцы советского периода¹⁰⁸. При сохранении политической сверхопределенности дисциплины за фасадом «либеральных» реформ в 1990-х годах или «общеевропейских» (подобно Болонской) в 2000-х происходит последовательный сдвиг больших академических институций вправо: как в политическом смысле, в выборе «высоких» патронов и союзников, так и в организационном плане, в дискриминационной политике найма и управления «рядовыми сотрудниками». Социологический факультет МГУ снова маркирует крайнюю точку на карте политических предпочтений в дисциплине, когда декан в 2007 г. публично озвучивает целесообразность введения образовательные программы «православной социологии» и необходимость распространения «русских духовных ценностей» в партнерстве с церковью¹⁰⁹. Однако его пример далек от исключительности, когда одновременно с утверждением новой «социологической» ортодоксии руководство факультета

¹⁰⁷ Перечисленные виды деятельности образуют сферу компетенции Учебно-методического объединения по социологии и социальной антропологии Министерства образования РФ, которое функционирует на базе социологического факультета МГУ.

¹⁰⁸ Повторюсь, в условиях массированного импорта международных теоретических образцов, часто получающих столь же методологически поверхностную, сколь институционально маргинальную рецепцию.

¹⁰⁹ Владимир Добренков: «Православные ценности должны стать основой ценностной доктрины государства» // Русская линия. 2007. 29 июня (<www.rusk.ru/newsdata.php?idar=172112>, последний доступ 20.03.2013).

требует от преподавателей перевода учебных курсов в формат презентаций PowerPoint с целью их повторного использования любыми другими лекторами или не предоставляет сотрудникам копию трудового договора в момент его заключения. Если в *макрополитическом* измерении российской социологии различия между «либеральным» и «патриотическим» полюсами, культивируемые самими основными игроками, отчетливо разграничивают лагеря и институты, то в организационном, или *микрополитическом*, измерении эти различия существенно нивелируются, в гораздо большей мере противопоставляя крупные институты вместе взятые малым (и немногочисленным) интеллектуальным центрам с характерным для последних режимом личной вовлеченности и элементами коллегальности «западного образца».

О том, что коллегальный микрополитический режим может быть успешно реализован не только в малых, но и в крупных академических центрах, свидетельствует рутинное воспроизводство ассоциативных связей и чрезвычайная профессиональная мобилизация в самих «образцовых» институтах, в частности, во французских университетах¹¹⁰. Зыбкость «естественных» предпосылок к установлению этого режима в актуальной российской социологии демонстрирует, помимо прочего, преобладающая реакция социологов на студенческое выступление 2007 г. Наиболее распространенным ответом — в том числе со стороны больших и даже малых «либеральных» институций — на протест против деградации социологического образования становится формула невмешательства во «внутреннее дело» социологического факультета или МГУ. То есть отказ от публичной квалификации событий как предмета общепрофессионального и общедисциплинарного интереса, в пользу сохранения бюрократического *status quo* — суверенного и локального руковод-

¹¹⁰ Последние численно сопоставимы с начальственно управляемыми гигантами российской образовательной системы. Так, упоминавшийся ранее университет Париж-8 составляют в 2012/2013 учебном году 914 преподавателей, 666 технических работников, 23 013 студентов и 1446 докторантов (<www.univ-paris8.fr/Paris-8-en-chiffres>, последний доступ 20.03.2013). Для сравнения, Московский государственный университет в 2010/2011 учебном году составляли 10 784 преподавателя и исследователя, около 15 000 технических сотрудников и 38 150 студентов и аспирантов (<www.msu.ru/science/2010/sci-study.html>, последний доступ 20.03.2013).

ства каждым отдельным заведением¹¹¹. Умеренно критические заключения и рекомендации внеинституциональной Рабочей группы по изучению конфликта (при Общественной палате РФ, 2007)¹¹² стали финальным аккордом студенческого протеста, не послужив началом для более широкой профессиональной мобилизации.

Не менее показательно, что спонтанные интерпретации социологов из центральных институций зачастую определяли студенческое выступление как дело о смене административной власти и сопровождалось регулярными попытками разгадать фигуру «действительного» вдохновителя и манипулятора за спинами студентов — институционального конкурента социологического факультета МГУ: «враждебный» университет, коммерческого или политического рейдера. Преобладание теории заговора над гипотезой о самоуправляемой мобилизации косвенно засвидетельствовало тот факт, что «нормальная» карьера академического социолога предполагает весьма *поздний возраст* и *высокую должностную планку*, при которых за ученым признается интеллектуальная зрелость и способность к автономному, не лицензированному руководством институции действию. Однако еще более ясно эта воображаемая проекция на события отношений между могущественным «шефом» и безвольными «подчиненными» снова зафиксировала условия профессиональной деятельности самих интерпретаторов: жестко иерархические отношения между «руководством» и «рядовыми сотрудниками».

¹¹¹ Формула невмешательства во «внутреннее дело», как и подавляющее большинство реакций, избегала публичной формы и воспроизводилась прежде всего в неофициальной устной и полуанонимной блоговой коммуникации. Укорененность этой формулы в здравом смысле российских социальных наук подтверждается рядом близких примеров: в частности, она же служила обоснованием антиколлегиальных действий руководства вуза, на сей раз в отношении преподавателей, в другом университетском конфликте (см.: Мухомов Д. Университетская интеллигенция и бюрократия: борьба за университетские свободы в постсоветской России // Неприкосновенный запас. 2007. № 1. С. 165).

¹¹² См. промежуточную резолюцию (<www.polit.ru/dossie/2007/07/13/opsoc.html>, последний доступ 20.03.2013) и итоговое заключение Рабочей группы (<www.sociolog.net/zakluchenie.doc>, последний доступ 20.03.2013). По моим наблюдениям участника Группы, исключительность этого временного органа при сохранении ряда иерархических черт состояла в коллегиальном характере решений: в их подготовке, наряду с исследователями и преподавателями, принимали участие студенты.

События вокруг социологического факультета МГУ могли стать — но не стали — поворотной точкой в истории утверждения дисциплины как формы коллегиальной солидарности и самоконтроля. Отказ большинства социологов от активной позиции в конфликте и даже от признания его общедисциплинарного характера в очередной раз ратифицировал институциональные границы, вместе с самим принципом суверенности заведений. Подтвердив привилегию на решение «своего внутреннего дела», руководство факультета произвело «чистку рядов» студентов и преподавателей, создало полностью лояльные органы студенческого самоуправления, ужесточило контроль за исполнением служебных обязанностей преподавателей и за посещением занятий студентами, а также предприняло очередную попытку укрепить свое положение «наверху», пригласив возглавить Центр консервативных исследований (2008) лидера ультраконсервативного «Евразийского движения», советника партии «Единая Россия», автора радикально националистической версии геополитики Александра Дугина. Излишне уточнять, что эскалация монопольного начальственного контроля над факультетом, сохраняющим, помимо наименования «социологического», одну из ключевых позиций в дисциплинарном балансе сил, снизила вероятность обновления доминирующего в социологии смыслового горизонта. Лишь повторяющийся и последовательно рутинизируемый разрыв с «естественной» властью «начальства» над «рядовыми сотрудниками» в форме коллегиальных органов и самоуправляемых дисциплинарных ассоциаций способен произвести новые познавательные и критические эффекты. Иными словами, заново дисциплинировать социологию как науку.

Вместо послесловия: подводя итоги академической дерегуляции¹

Проделанный в данной книге анализ подталкивает к двум выводам. Во-первых, с 1920-х годов академические авторы и институции вносят все более осязаемый вклад в формирование универсальной понятийной сетки. Во-вторых, профессиональная и понятийная механика социологии не составляет принципиального исключения из ряда социальных и гуманитарных дисциплин — в той мере, в какой социологические карьеры и заведения подчиняются общему академическому режиму. Прояснить близость между этими (и не только) дисциплинами можно различными способами. Первый способ задан в главах второго раздела книги. Он состоит в том, чтобы выявлять категории, которые функционируют схожим образом в разных дисциплинах, подобно понятию «личность» в 1960–1970-е годы, и описывать семантическую и институциональную механику их закрепления в понятийной сетке. Второй способ, предлагаемый в данном разделе, задает обратную последовательность. Он позволяет сопоставить модели микрополитики в отдельных дисциплинах и зафиксировать релевантные им понятийные структуры. Возможен и третий путь, для которого особенно хорошо подходит глава, выполняющая роль заключения. Этот путь состоит не в том, чтобы детально анализировать отдельные понятия и механику нескольких дисциплин на основе данных дисциплинарного словаря, условий карьеры, технических и методологических классификаций и т.д. А в том, чтобы зафиксировать условие, релевантное самому режиму академического управления, а именно, диспозицию, или, пользуясь дюркгеймовским понятием, *представление* об устройстве социального мира, которое под-

¹ Настоящий текст представляет собой переработанное и дополненное выступление на конференции «Идеология различия», состоявшейся в Киево-Могилянской Академии 6–10.12.2010. Его первоначальная версия была опубликована в переводе на украинский язык «Академічний расизм: багато причин — один вихід?» в журнале «Політична критика». 2011. № 2.

держивается этим режимом, но, в отличие от наивного утверждения «социальных проблем» под видом научных и в отличие от административной процедуры под видом методологической, не обязательно находит собственное «теоретическое», т.е. легитимное выражение в различных дисциплинах.

Как видится, на роль такой диспозиции лучше прочих подходит академический расизм, воспроизводящийся в послесоветских институтах и в латентной, и в явной форме. В отличие от научно легитимных и даже административно санкционированных представлений, расизм в академической среде воплощает ту смысловую крайность, которая, как кажется, не санкционируется ни одним карьерным правилом какой-либо институции. Именно поэтому внимание к расистской речи в академических стенах позволяет наблюдать действие неадминистративной политизации академической речи и гораздо глубже проникнуть в работу институционального механизма послесоветской Академии².

Оставаясь вполне определенным политически, расизм ускользает от строгих академических определений. При разнообразии видов общей расистской чувствительности: антисемитизм, вариации биологизма, социального сегрегационизма и проч., — самоцензура участниками академического мира собственных политических позиций зачастую растворяет расистское высказывание в нейтральных контекстах. Хотя и в таком виде, и часто без труда, оно считается сочувствующими и оппонентами. Ряд расистски чувствительных авторов не афишируют своей политической чувствительности, иные пытаются придать им академически приемлемую понятийную форму: «евразийство», «традиционализм», «этнопедагогика», «православная социология», «витализм», — с переменным успехом претендуя на их институционализацию в качестве самостоятельных «научных» направлений и образовательных субдисциплин. Правила игры с учетом механики образовательных стандартов, государственной аккредитации вузов и требований интеллектуальной респектабельности располагают сегодня к мимикрии: в образовательном секторе расистские взгляды могут воспроизводиться прежде всего в паразитической форме. Например,

² Как и ранее, здесь под «Академией» и «академическим» я имею в виду и университетский, и исследовательский сектор.

за счет их введения в утвержденные разделы научной номенклатуры и образовательного цикла, в общие и дополнительные курсы по той или иной признанной исторической, демографической, социологической или управленческой теме. Не так редко расистская речь включается в учебные курсы и публикации с формальными признаками научности или нейтральности. Она может подводиться под универсальные категории образовательных программ, вплоть до «истории мировой цивилизации», «социальной структуры», «процессов управления», «общественной динамики» и т.п. Подобная мимикрия частных форм возвращает нас к более глубокому методологическому вопросу: может ли история или социология понятий ограничиваться обращением к одним только словарным терминам, или нам следует также включать в нее анализ *операций* со смыслами? Так, в целях научной самолегитимации понятия, изъятые из контекста научной классики, могут перекодироваться такими авторами и преподавателями в пользу разнородных «постклассических подходов» собственного изобретения. Двойная, политическая и академическая, система кодирования служит главным условием их безопасности и формальной допустимости в стенах образовательных и исследовательских институций.

Не пытаюсь вычленить «суть» расизма, типологически не отграничивая его от этнического национализма, классового элитизма и прочих идеологий исключительности, явно или неявно представленных в академических обменах, я хотел бы поставить иной вопрос: насколько и в каких обстоятельствах расистски детерминированные суждения становятся приемлемыми, а возможно, и желательными в стенах современной российской и, может быть, более широко, постсоветской Академии.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЯЗЫК ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИЕЙ РАСИЗМА?

Для начала возьмем или заново сконструируем несколько фраз, подобных тем, что можно услышать и в университетских аудиториях, и в академической речи, и далеко за стенами Академии.

1. Украинцы превосходят русских по обеспеченности жильем.

2. Русские превосходят американцев по качеству военной техники.

3. Французы превосходят итальянцев и прочих европейцев в изысканности кухни.

4. Немцы превосходят другие народы в умственных способностях.

5. Русские превосходят другие этносы в витальной силе.

Большая часть из этого набора прямо присутствует в академической речи или принципиально близка к ее образцам. Причем не всегда к актуальным российским. Так, суждение о превосходстве французской кухни — это почти прямая цитата из «Материальной цивилизации» Фернана Броделя³. Если мы прочтем некоторые тексты Броделя в логике повышенной антирасистской бдительности, местами они могут нас насторожить. Последнее суждение, также в почти неизменном виде, встречается в текстах действующих российских сотрудников Академии⁴, где интеллектуальная (само)цензура куда менее действенна, нежели административная. Несомненно, оно имеет более очевидную политическую прагматику, нежели спор о национальных кухнях. Нетрудно заметить, что от высказывания-1 к высказыванию-5 расистский смысл делается все более явным. Вернее, если первое из них трудно заподозрить в расистском содержании вне соответствующего контекста, то в последнем этот контекст предъявляет себя сам через исторически сертифицированную связку понятий «этноса» и «витальной силы». Однако политическая маркировка высказывания производится здесь не только за счет понятий, но и за счет самой операции установления превосходства.

В целом мы имеем дело с континуумом, в котором, как кажется, сам язык убеждает в отсутствии ясной границы между расизмом и обычной экономией языковых средств. Будет ли в этом случае правильным повторить вопрос Ролана Барта, по-

³ Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. / пер. с фр. Л.Е. Куббеля. Т. 1. М.: Прогресс, 1986. С. 203–215.

⁴ См., напр.: Соловей В.Д. Русская история: новое прочтение. М.: АИРО-XXI, 2005. Заключение. Автор книги — заведующий кафедрой в МГИМО, эксперт Горбачев-Фонда. К концу 2000-х годов он публикует ряд книг, в основе которых лежит архаично расистское, биологическое понимание крови как основы национальной идентичности (Соловей В.Д. Кровь и почва русской истории. М.: Русский мир, 2008; Соловей В.Д., Соловей Т.Д. Несостоявшаяся революция. Исторические смыслы русского национализма. М.: Феория, 2009).

ставленный им в отношении мифа: не «предрасположен ли сам язык» к расизму, а в данном случае, не служат ли сами языковые конструкции, выражающие превосходство, пассивным резервом расистских классификаций? Отдельные понятия, составная часть этих конструкций, в драматические периоды истории приобретают ясную политическую маркировку из-за их использования в практиках расовой дискриминации; в результате уже сама грамматика превосходства отягощается отчетливо расистским смыслом. В самом деле, подставляя иные единичности на место «русских», «украинцев», «итальянцев», «французов», заменяя «изысканность кухни» и «витальную силу» новыми переменными, мы получим конструктор пропозиций, который позволяет весьма последовательно моделировать существующие исторические и риторические образцы превосходства.

Расизм языка, очевидно, обнаруживает себя и в функционировании самих этих единичностей. Они словно «естественным образом» генерируют расистский смысл, будучи помещены в сравнительные конструкции. Будь это термины, утверждающие этнические, культурные, социально-политические общности, — используемые «сами по себе», они располагают к тому, чтобы мыслить расистски, или, вернее, к тому, чтобы на месте дифференцированных социальных структур мыслить сущности, наделенные собственной природой⁵, которые, в свою очередь, предельно открыты для построения расистского языка. Можно говорить, что в использовании этих единичностей повторно инвертируется леви-стросовская схема мифа, которая благодаря работе по расколдовыванию предстает разветвленной системой смысловых и силовых оппозиций, однако сами носители пользуются структурными элементами мифа как изолированными и анимированными сущностями. Частота их использования в современных обществах — оседающий в языке результат вытеснения структурной логики эссенциалистской. И конечно, не в одном только языке академическом.

Нередко эссенциалистская логика способна ускользать от расколдовывающей рациональной проверки, мирно уживаясь

⁵ Начиная с Барта (а до него стоит упомянуть Дюркгейма), натурализация социального — «превращение истории в природу» — была подробно проанализирована многими внимательными критиками очевидности. Замечу лишь, что этнический расизм делает невроз природного безысходным.

с цифрами или обращая их в свою пользу. Это обстоятельство переводит тезис о языке-расисте в прагматическое измерение. Степень обеспеченности жильем (в высказывании-1) возможно вычислить, разделив число квадратных метров на число обитателей. Дифференциальный или эссенциалистский результат будет зависеть от того, на каких основаниях конструируются исчисляемые общности: идет ли речь о жителях территории Украины и России, о гражданах этих государств, о называющих себя «русскими» или «украинцами» в массовых опросах. В одном нашумевшем учебнике истории авторы составили список коллаборационистов и дезертиров по этническому признаку, количественно обосновав «повышенной готовностью [национальных регионов] к пособничеству оккупантам» сталинские депортации⁶. Помимо очевидного сомнения в политической логике переноса ответственности с отдельных коллаборационистов на целые регионы, на деле не менее важным здесь выступает структурный вопрос: кто и на каких основаниях включен в эти этнизированные общности? Политическая история языковых категорий, которая отвечает на этот вопрос, могла бы служить действенным инструментом лингвистической самокритики. Но поскольку такой вопрос редко звучит даже со стороны оппонентов, числовые расчеты, которые, казалось бы, могли уравновесить дрейф от эссенциализма к расизму, легко инструментализируются в поначалу невинных играх сравнений и сопоставлений.

В целом язык, без сомнения, выступает тактическим полем расизма. И академические конструкторы вносят в его организацию свой весомый вклад. Но сводится ли проблема к расизму языка, или все же правильнее говорить о расизме его носителей? Не превращается ли тезис о языке, который будто бы сам делает нас расистами, в излишне простое алиби? Ведь язык делает расистами не всех и не в одинаковой мере. Тезис, который можно найти еще у Эмиля Дюркгейма и Мэри Дуглас, состоит в том, что язык или коллективные верования не есть что-то, что просто проявляет свою структуру в нашей речи. Как можно заключить из всей этой книги, имеются социальные силы — конечно, не в виталистском смысле, — которые организуют использова-

⁶ Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917–2009. 3-е. изд. М.: Аспект-Пресс, 2010. С. 362–364.

ние языка. И этот простой факт снова возвращает нас к прагматическому измерению: кем и как формируется этот расистский комплекс, получающий свое завершение в языке? И вслед за ним: достаточно ли наложить моральное вето на использование грамматики превосходства, чтобы оградить Академию от использования расистской речи в собственной публичной или в превращенной форме?

ИНСТИТУЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РАСИЗМ АКАДЕМИИ: ГИПОТЕЗА ДЕРЕГУЛЯЦИИ

В поисках действующих сил можно оставаться номиналистами, составив список сотрудников университетов и академических институтов, которые активно и публично практикуют расистские суждения⁷. Строго говоря, эта процедура отнюдь не будет излишней. Дело в том, что академическая критика расизма обращена сегодня чаще на языковые практики, чем на их индивидуальных носителей. Но процедура составления списка может скрыть от нас не менее важное обстоятельство. А именно то, что силами, уполномочивающими индивидов на политические суждения, выступают в первую очередь институции⁸. И если мы имеем дело с такой Академией, где расистские суждения возможны или даже желательны, прежде всего следует установить, каковы в реальности (в отличие от пресловутого гумбольдтовского идеала) те институциональные параметры, что уполномочивают носителей расистских диспозиций.

В предыдущих главах я ввел ряд понятийных и институциональных параметров академической организации. Здесь я сведу их в компактную схему. Что произошло в конце 1980-х — начале 1990-х годов помимо резкого снижения зарплат и, более обще, сокращения государственного финансирования на научные исследования и преподавание одновременно с отменой партийного контроля над Академией? И как произошедшее связано с распро-

⁷ Пример краткого списка с содержательными подробностями см.: Бикбов А. Вирус расизма в российском образовании // Острая необходимость борьбы. 2010 (<a.bikbov.ru/download/60>, последний доступ 20.12.2013).

⁸ Пьер Бурдьё подробно анализирует этот тезис в целом ряде своих работ. Одной из наиболее подходящих к случаю можно назвать: *Le langage autorisé* // *Actes de la recherche en sciences sociales*. 1975. No. 5 (1).

странением расистского высказывания, которое нередко звучит не интимно, не между преподавателями и учеными как частными лицами, но как легитимное объяснение социального мира?»

Бурный финал 1980-х среди прочих тем, понятий и неразрешенных вопросов оставил нам в наследство понятие «либерализация», при помощи которого принято характеризовать постсоветское состояние академического мира. Действительно, наиболее заметная тенденция начала 1990-х годов в Академии, как и во всем российском обществе, — это демонтаж инстанций советского государства, которое производило сдерживающие и цензурные эффекты в стенах и за стенами исследовательских и образовательных учреждений. В случае Академии речь идет о таких внешних инстанциях, как отделы идеологии и науки ЦК, с которыми следовало согласовывать проекты научных исследований, планы публикаций, программы конференций, выезды за границу. Но речь также о партийных и комсомольских ячейках в структуре образовательных и научных учреждений и ряде подобных инстанций скорее политического, нежели узкобюрократического контроля над Академией. В системе научных обменов, которые одновременно сдерживались и поощрялись инстанциями государства-опекуна, некоторые проявления академического расизма, в частности антисемитизм, распространенный и в естественно-научной, и в гуманитарной советской среде, достаточно эффективно цензурировались. В позднесоветский период ученые или преподаватели вряд ли были меньшими антисемитами, чем они «вдруг» стали в конце 1980-х или в начале 1990-х годов. Однако в реальности позднесоветской Академии антисемитская чувствительность (как, впрочем, и многое несомненно более ценное) оставалась мотивом кухонных бесед в той мере, в какой ее носители следовали требованиям бюрократизированной академической карьеры, с ее системой публичной речи и публичных умолчаний.

То, что мы понимаем под либерализацией, стартовавшей за два-три года до сокращения государственного финансирования

⁹ Это вдвойне интригующее обстоятельство, если принимать в расчет, что далеко не все, кто практикует расистский язык и прибегает к объяснениям расистского типа, профессионально занимаются теми дисциплинами или темами, которым подобное использование может хоть как-то послужить. В этом смысле расизм нередко оказывается бескорыстной практикой, что также способствует его распространению.

научных и образовательных институций (наиболее резкого в 1991–1992 гг.), было связано прежде всего с демонтажем этих инстанций государственной опеки, которые не являлись в собственном смысле академическими, но при этом активно присутствовали в академических обменах и в значительной мере определяли модели академического высказывания. В контексте освобождения от опеки понятие «либерализации» применительно к концу 1980-х — началу 1990-х годов вполне правомочно и не подлежит серьезному сомнению. Однако в поиске объяснений того, как расистский, националистический или шовинистический типы речи стали легитимными в стенах Академии, его будет явно недостаточно. Мы можем допустить, что антисемитски настроенные интеллектуалы, активно обсуждавшие за чаем «засилье евреев», как и «белая кость» академических учреждений, с гадливым высокомерием отзывавшаяся о «нацменьшинствах», набираемых в Академию по квотам советской позитивной дискриминации, и обладатели иных, схожих форм социальной чувствительности всего лишь воспользовались исчезновением инстанций надзора, чтобы уже на рубеже 1980–1990-х объявить о своих взглядах публично. Наиболее репрессивные и банальные трактовки политической свободы (либерализации) этого периода — как полигона всех видов испорченности — по сути, являются вариациями этой модели. При этом с ее помощью нам будет очень трудно объяснить, каким образом подобные взгляды стремительно получили не только публичную сцену за стенами Академии, но и формальную научную респектабельность, сопровождающую публикацию монографий в университетских издательствах, создание отделов и целых академических институтов, занимающихся «проблемой геноцида нации»¹⁰, защиты кандидатских и докторских диссертаций по темам и проблемам, казалось бы, раз и навсегда оставленных за порогом XX в.

Чтобы объяснить эту стремительную инволюцию в послевоенном академическом мире, следует уделить внимание по меньшей мере еще одному его институциональному измерению, возникшему почти одновременно с политической либерализацией и в итоге полностью переопределившему ее результаты. Ко

¹⁰ Так, один из «отцов-основателей» советской социологии, Геннадий Осипов, чья двойная, административно-академическая карьера подробно показана в гл. VII наст. изд., в своей деятельности 1990-х годов активно эксплуатировал эту тему.

многим — по сути, к тем же самым — процессам в послесоветской Академии следует применить вторую схему анализа: не либерализации в терминах освобождения от политической опеки государства, но *дерегуляции* в терминах обмена между участниками, оставшимися без государства. Институциональная дерегуляция Академии была структурно изоморфна той реформе, которой подвергся экономический мир, где государство в роли арбитра, гарантирующего ценообразование, качество продукции, дотации слабым производителям, было устранено из отношений между экономическими контрагентами. Если политическая либерализация демонтировала партийную иерархию Академии, отменив надстояние политической администрации над научной и образовательной, то итогом институциональной дерегуляции стала отмена или принципиальное ослабление прежних интеллектуальных иерархий и тесно связанных с ними критериев научности, которые были вписаны в советскую государственную политику поддержки и контроля.

Такая инволюция была вдвойне радикальной, поскольку затрагивала систему, где государственная опека над Академией составляла лишь половину парадоксальной петли, закреплявшей за академической наукой и университетским преподаванием государствообразующую функцию. В конструкции «режима научного коммунизма» за характеристикой «научный» стояла социальная категория «квалифицированных кадров», этого основного продукта университетской системы, но также, если не прежде всего — фигура государственного эксперта, роль которого отводилась сотрудникам академических институтов и отчасти университетов. Экспертный корпус советского государства рекрутировался из Академии уже в узком смысле слова — из Академии наук СССР. Это можно проследить в целом спектре практик бюрократического участия, от написания в 1970–1980-х годах полуритуальных отчетов или 5- и 20-летних перспективных прогнозов развития народного хозяйства, до неизменного назначения министрами науки с 1965 по 1991 г. членов Президиума АН СССР¹¹.

Институциональная организация, легитимирующая расизм в стенах Академии, восходит к моменту, когда освобожденные от политической опеки академические институты, чья

¹¹ Подробнее см. гл. V наст. изд.

легитимность более не была гарантирована государственными полномочиями, сами не могли гарантировать исключительной легитимности суждений сотрудников перед лицом внешней публики. Равно проблематичные — в своей социальной и профессиональной бесполезности, имеющие одинаково зыбкий политический курс в распадающемся режиме советской опеки и вместе с тем обладающие одинаковым потенциалом истинности, обращенной к неизвестному будущему, — все разновидности систематизирующей речи сталкивались в становящемся публичном пространстве, где научная речь девальвировалась так же быстро, как речь членов общества «Память», как речь начитанного дилетанта, благосклонно принятого широкой публикой, или речь бывшего преподавателя политэкономии социализма, который брался читать курсы по новой дисциплине — социологии или, например, экономикс, при этом вынужденный подрабатывать еще в двух или трех местах, не имея времени добросовестно готовиться к каждой лекции, лихорадочно осваивая пласт литературы, едва появившейся в переводах, — той самой, о существовании которой он мог знать разве что по сборникам с обманчивым названием «Критика современной буржуазной философии».

Одной из распространенных попыток академического перехвата эффектов дерегуляции в начале-середине 1990-х годов стало возведение принципа «anything goes» в ту образцовую степень, каковой Пол Фейерабенд не мог вообразить и в страшном сне. В противовес отталкивающему «постмодернизму», с которым он имел гораздо больше общего, чем хотелось бы самим участникам, этот принцип был открыто провозглашен этическим и методологическим регулятивом в разных секторах Академии: в виде «мультипарадигмального подхода» в социологии, «сопоставимости/единства научного и ненаучного знания» в философии и т.д.

ДЕРЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНОВ, КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЛАСТИ: «ЕСТЕСТВЕННОСТЬ» РАСИЗМА

Дерегуляция произвела перелом, по сути, сделавший одинаково легитимным и нелегитимным все множество контрагентов и их высказываний, уполномоченных формальной (институциональной) принадлежностью к науке и университету. Академия

начала первой половины 1990-х годов представляла собой совершенно фантастическую амальгаму из ученых с именем и высокоспециализированными публикациями тиражом 150 экземпляров, религиозных аскетов, обретших убежище от опасной реальности, известных всей стране публицистов, доморощенных кухонных мыслителей, начинающих полит- и оргконсультантов, владельцев едва созданных и уже успешных кооперативов, которым было приятно или выгодно помимо новой работы в коммерческом секторе сохранять место в Академии, а также убежденных искателей Н/ИО, роевого сознания, метанаучной высшей истины и т.п. В условиях принципиальной слабости органов научного самоуправления, прежде всего ученых советов, и в отсутствие опекающей, надзирающей инстанции, которая до этого регламентировала отношения внутри институций, все эти участники оказывались одновременно обладателями весьма проблематичных профессиональных позиций и зыбкого авторитета перед лицом «большого общества», включая читающую публику, политиков, коммерческих заказчиков и прочих реципиентов их профессиональной речи; но также одинаково или почти одинаково легитимных позиций перед ними же и друг перед другом в стенах дерегулированных учреждений.

Приостановив прежние научные иерархии и уравнив в интеллектуальной ниште ученых, дилетантов, политиков, дерегуляция перепроизвела публичное пространство, допустив в него расистскую речь как один из множества (слабо)легитимных способов социальной систематики. Это во многом определило модель конкурентных отношений между различными типами институций, старых и новых, но также отношения внутри каждой академической институции, причем несимметричным образом. Если межинституциональное пространство в течение 1990-х годов демонстрировало тенденцию к росту разнообразия, включая не только самопровозглашенные экспертные институты и околополитические группировки, но и малые научные центры, независимые от больших институций дисциплинарные и междисциплинарные журналы, издания и порталы интеллектуальной публицистики; то внутренняя организация Академии претерпела обратную эволюцию. Будучи исключены из внутриинституциональных обменов, одиозные отделы ЦК и партийные ячейки, которые одновременно с опекой и контролем отчасти расширяли пространство карьерных маневров

в бюрократизированной советской Академии¹², освободили место для новой, более жесткой конфигурации, связывающей руководство учреждений и большинство сотрудников, которое еще в советское время получило странное военное обозначение «рядовых».

Прежде всего демонтаж инстанций государственной опеки усилил зависимость «рядовых сотрудников» от руководства институций, превратив их в наемных работников, экономически и морально зависимых от начальства-работодателя. Занятые в двух, трех и более местах, преподаватели и исследователи оказались почти не связаны между собой коллегиальными, ассоциативными отношениями, что способствовало быстрой деградации научных и учебных дисциплин как саморегулирующихся — пускай и весьма ограниченно — сообществ¹³. Относительное уравнивание всех видов высказывания в результате дерегуляции привело к парадоксальной на первый взгляд централизации и концентрации академической власти у руководства заведений. Переход Академии в руки «кризисных менеджеров», казавшийся естественным в ситуации резкого снижения научных бюджетов и банального поиска денег на свет и отопление, в противовес советской партийной дисциплине заново центрировал академическую организацию 1990-х годов на внутренней начальственной иерархии, более равнодушной к научному смыслу речи. Взаимная изоляция институций, обретших административную «суверенность», и шаткое профессиональное положение их сотрудников лишь подкрепляли этот эффект. Такой силовой сдвиг изменил всю экономику академических обменов, по сути, создав иную академическую рациональность.

Именно в этой узловой точке мы обнаруживаем источник легитимности расистской речи как компенсаторной иерархической систематики зависимостей и превосходств. Он локализован в характере связей, в типе взаимодействий, которые регулярно воспроизводятся с начала-середины 1990-х годов в постсоветских академических институциях, где эффекты на-

¹² Например, снимая запрет на публикации, зарубежные поездки или карьерный рост отдельных исследователей, наложенный руководством или партийными ячейками институций, где они занимали должности.

¹³ Как я уже отмечал, результаты такого поначалу не замеченного процедурного сдвига 1990-х стали очевидны только в конце десятилетия и превратились в господствующую систему в 2000-е годы.

учной дерегуляции накладываются на возросшую административную иерархию. Практика «суверенных», жестко иерархизированных институций, с исчезающе слабыми ассоциативными связями и монополией руководства на принятие решений, становится такой формой дисциплинирования академического работника, которая почти естественно перепроизводит его как обладателя политической чувствительности правового толка¹⁴. Подчинение начальству, прямая зависимость от него как работодателя и отсутствие опыта процедурной коллегиальной практики в конечном счете редуцируют саму способность участника академических взаимодействий к интерпретации социального мира в иных терминах, нежели отношения зависимости, превосходства и манипуляции.

Это подкрепляется ключевым на сегодня академическим и политическим мифом, о котором я уже упоминал и который, казалось бы, логически никак не обязан расистской чувствительности, но тесно связан с нею генетически. Речь идет о модели, часто используемой при объяснении любых форм социальной самоорганизации, которая систематически переопределяется в терминах внешней манипуляции: участники самоуправляемых инициатив первым делом подозреваются в «подкупленности», «внешнем заказе», «рейдерстве», «политтехнологиях», а интерпретативная задача при этом сводится к локализации кукловода¹⁵. Строго говоря, неавтономный субъект, покинутый инстанциями опеки, — это большой познавательный парадокс. Но он остается абсолютно непроблематизируемым в иерархической модели «суверенных» институций, где участникам гарантирована свобода действовать или говорить только по достижении высоких административных позиций. Обладатели низких административных позиций всегда остаются на подозрении в том,

¹⁴ Подробно целый ряд примеров правого дрейфа вместе с концептуальной схемой производства консервативной субъективности в Академии см.: Бикбов А., Дмитриев А. Люди и положения (к генеалогии и антропологии академического неоконсерватизма) // Новое литературное обозрение. 2010. № 105.

¹⁵ Строго говоря, академический мир предлагает здесь лишь частную разновидность более широкого спектра коллективных верований. Любая самоорганизующаяся активность нередко интерпретируется российскими наблюдателями как «подкупленная» и «направляемая» Западом, в том числе публично. Год массовых уличных протестов (с декабря 2011 г.) явил тому множество иллюстраций.

что их действиями и высказываниями руководит, манипулирует кто-то вышестоящий.

Для новой институциональной организации расистский и, более широко, крайне правый тип высказывания предстает *менее опасным*, если не более легитимным (в силу «естественности»), нежели критическая рефлексия и интеллектуальная самокритика, будто бы неотделимая от самой «идеи Университета». Послесоветский опыт показывает, что Академия способна успешно и молчаливо цензурировать критическую рефлексию и так же молчаливо поощрять расистскую речь, которая лучше отвечает ее типовой внутренней организации, а кроме того, вместе со множеством иных дилетантских систематик выгодна своим соотношением малых институциональных затрат на производство (в отличие от научных исследований, требующих сложной и выверенной институциональной механики) и политических или «экспертных» дивидендов, которые отдельные академические предприниматели и целые институты могут получать на политическом рынке.

В этом отношении показателен ряд фигур, кооптируемых в Академию за пределами 1990-х годов, когда это все реже можно объяснить биографической случайностью и чаще — осознанным политическим выбором институций. Таков случай Александра Дугина, первоначально маргинального мистического эзотерика, со-основателя Национал-большевистской партии, в 1990-х годах открыто превозносящего фашизм и диктат нации над индивидом¹⁶. В его более поздних высказываниях эти

¹⁶ В середине 1990-х этот автор открыто демонстрирует восхищение фашизмом: «Сущность фашизма — новая иерархия, новая аристократия. Новизна состоит как раз в том, что иерархия строится на естественных, органичных, ясных принципах — достоинство, честь, мужество, героизм» или «По аналогии с национал-социализмом, который часто называли просто "немецким социализмом", о русском фашизме можно говорить как о "русском социализме"» (Дугин А. Фашизм — безграничный и красивый // Дугин А. Тамплиеры Пролетариата. М.: Арктогея, 1997). Показательно, что из текущей электронной версии текста эти фрагменты исключены (<arcto.ru/article/47>, последний доступ 19.03.2013; текст воспроизводится по версии <www.anticompromat.org/dugin/fashizm.html>, последний доступ 19.03.2013). Фашистскую чувствительность Дугина и попытки ее респектабельной ретуши детально раскрывает в своих исследованиях Андреас Умланд. См., напр.: Умланд А. Постсоветские правозэкстремистские контрэлиты и их влияние в современной России (На примере восхождения Александра Дугина) // Неприкосно-

мотивы уступают место риторике конфликта геополитических интересов США и России, традиционно для подобных авторов связанной с планетарной органикой, миссией наций, превознесением «исконности». Поворотную точку в смене декларируемой политической чувствительности он указывает сам: «2000... поддержка курса В.В. Путина, переход от оппозиции на центристские позиции»¹⁷. Появление А. Дугина на социологическом факультете МГУ в 2008 г. происходит вслед за событиями, описанными в предыдущей главе: выступлением студентов против ультраконсервативной администрации и последовавшей реакцией, с «чистками» среди студентов и преподавателей. Уже до ухода из Национал-большевистской партии в 1998 г. Дугин активно аккумулирует иерархические ресурсы и связи. К моменту занятия преподавательской должности в МГУ в его послужном списке значатся преподавание в Академии генерального штаба, должность советника председателя Государственной Думы, редактора православного ТВ-канала, советника партии «Единая Россия».

Поэтому приглашение на социологический факультет МГУ — не просто признание растущей политической близости между руководством факультета и консервативным «экспертом». По сути, это пакт взаимной защиты, по условиям которого Дугин, ранее получивший докторскую степень в периферийном вузе (Ростовский юридический институт МВД России, 2004), на сей раз приобретает формальную принадлежность к «главному университету страны», а консервативное руководство факультета, чья репутация всерьез поколеблена громкой протестной кампанией, обзаводится политическим союзником на случай

венный запас. 2008. № 1; или совсем сжато: Он же. Фашист ли доктор Дугин? Некоторые ответы Александра Гельевича // Forum.msk.ru. 2007. 20 июля (<forum-msk.org/material/society/365031.html>, последний доступ 19.03.2013). Несколькими годами позже в поисках респектабельности А. Дугин задействует в сходной риторике уже не фашизм, но русский национализм: «В рамках русского этноса русский национализм должен быть единственной и тотальной идеологией, могущей иметь свои различные версии и уровни, но всегда остающейся постоянной во всем, что касается постановки категории “нации” над категорией “индивидуальности”» (Дугин А. Основы геополитики. М.: Арктогея-центр, 2000. С. 146).

¹⁷ Александр Дугин. Официальный сайт (<dugin.ru/bio>, последний доступ 19.03.2013).

возобновления протеста. Кооптация Дугина в университет выглядит особенно эксцентричной на факультете социологии в свете неизменных претензий свежеявленного преподавателя на роль идеолога традиционализма, отрицающего науку и современное общество¹⁸. Впрочем, главная интрига состоит даже не в этом, поскольку с содержательной и стилистической точек зрения традиционализм Дугина не выделяет его из пестрой вереницы интеллектуальных эксцентриков и кухонных мыслителей, которые приобретают ученые степени и академические должности, невзирая на дисциплинарную принадлежность.

Что менее очевидно и, вероятно, более интересно в данном случае и в целом ряду ему подобных — это замаскированное ультраконсервативной риторикой *структурное сродство* с беспощадно обличаемым врагом — постмодернизмом. И дело здесь не только в конструкции дилетантских правых «теорий», которые возникают из непредсказуемой комбинации морализма, модных веяний и случайно подобранной «классики»¹⁹. Традиционализм, консерватизм, расизм, крайний национализм — как риторически жесткие идеологии единства и превосходства — на первый взгляд представляют собой полярную противоположность плюралистическим и либеральным объяснительным моделям, которые обычно отождествляются с постмодернизмом. Более того, критика постмодернистской порочности служит важным учредительным мотивом для крайне правых околоакадемических позиций, утверждаемых от противного²⁰. Карти-

¹⁸ См., например, подтвержденные в 2000 г. программные заявления, озвученные десятью годами ранее: «"Тотальный традиционализм" ...как особая идеология, ратующая за полный и бескомпромиссный возврат к ценностям традиционной священной цивилизации, чьим абсолютным отрицанием является современная материалистическая и секуляризованная цивилизация — "современный мир" как таковой» (Дугин А. Пути Абсолюта. М.: Арктогея, 1990. Предисловие; 2-е изд.: Абсолютная Родина. М.: Арктогея, 2000).

¹⁹ Нетрадиционность традиционализма Дугина может служить темой отдельного исследования. См.: Умланд А., Шеховцов А. *Philosophia Perennis* и «неоевразийство»: роль интегрального традиционализма в утопических построениях Александра Дугина // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2010. № 2 (<www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/forumruss14/7Shekhovtsov.pdf>, последний доступ 19.03.2013).

²⁰ Постмодернизм становится господствующей теоретической установкой на относительно краткий период, во второй половине 1990-х

на меняется, если сопоставлять оба явления не дискурсивно, а институционально. Здесь выясняется, что даже моральное осуждение постмодернизма именем «традиционных ценностей» или «здорового консерватизма» — всего лишь входной билет в то же самое пространство ослабленных академических иерархий. В этом пространстве для постмодернизма, традиционализма, квазирелигиозного прозелитизма, биологического и культурного расизма, как и для ряда иных увлеченно импортируемых или изобретаемых «-измов», одинаково характерна интеллектуальная автаркия: изоляция высказывания, претендующего на академический авторитет, от его возможной *коллегиальной проверки*. Зона такой парадоксально ненаучной (в процедурном отношении) науки (по самоназванию и формальной принадлежности) в 1990–2000-е годы существенно расширяется, смещая баланс сил в Академии: она препятствует интеллектуальному самоконтролю изнутри дисциплин и подкрепляет внешний скептицизм в адрес науки. В этих обстоятельствах инфильтрация расизма, традиционализма, радикального консерватизма в разные дисциплины указывает не на ужесточение внешнего политического давления и даже не на обострение межфракционной борьбы внутри Академии. Она демонстрирует принципиальную слабость структур внутринаучного (коллегиального) *самоконтроля*, которая делает академический мир дерегулированным и сохраняется по сей день. Присутствие в стенах Академии таких деятелей, как Александр

годов. Однако интеллектуальные последствия академической дерегуляции могут выражаться в гораздо большем разнообразии форм, в том числе прямо отрицающих свое генетическое родство. Так, сторонники упомянутой «мультипарадигмальности» в социологии могут критиковать постмодернистов, к слову, крайне расширительно толкуя эту принадлежность, но придерживаться общего с ними тезиса о «конце больших нарративов», который в послесоветском контексте методологически дооформляет даже не отдельные интеллектуальные позиции, а глобальный отказ от «единственно верной теории» догматического марксизма. В свою очередь, этот общий отказ и тяготение к логике «мульти-» служит поводом для их осуждения справа. Здесь можно заметить, что вполне хайдеггеровские мотивы критики «постмодернизма» как беспочвенной, т.е. «блуждающей» мысли, вскрывает за коллизией «традиционализм *versus* постмодернизм» не только политическую, но и не менее глубоко укорененную интеллектуальную оппозицию между эссенциализмом и релятивизмом, в целом характерную уже для первой половины XX в.

Дугин, который всеми своими экспертными позициями обязан дерегуляции, по сути являясь ее продуктом, — яркое тому подтверждение.

В целом наличие ограниченного рыночного спроса на расистский и ультраправый тип высказывания со стороны обширной консервативной клиентуры становится еще одним важным фактором, превратившим расистскую чувствительность из мотива кухонных бесед в предмет карьерной и публичной специализации, привлекательной в том числе и для молодых «экспертов», чей опыт крайне далек от позднесоветских кухонь. По сути, вместе с дерегулированным послесоветским рынком публичности формируется рынок расистской речи, который всерьез изменил конфигурацию индивидов и групп в отношении к возможным формам публичного высказывания. Это изменение прослеживается и в содержательном плане расистской систематики, в частности в принципиальном сдвиге от внутренней «еврейской опасности» позднесоветского периода к внешней угрозе со стороны «кавказцев и мигрантов» или «русских оккупантов» (в политическом контексте ряда послесоветских государств), а также в фабрикации имплицитно расовых или открыто националистических, политически прибыльных экспертных мифологий, активно эксплуатируемых при легитимации новых политических режимов: «Россия в кольце врагов», «Триполье — древнейшая цивилизация планеты» (в украинском случае) и т.п.

ИМПЕРАТИВ САМОРЕГУЛЯЦИИ: ИЗГНАНИЕ РАСИСТОВ ИЗ АКАДЕМИИ

В целом монополизация академической власти руководством и ужесточение иерархий не являются препятствием на пути расистского высказывания в Академию. Напротив, именно эти тенденции делают институты нечувствительными к рискам расиализации объяснительных моделей и столь же «естественно» располагают их сотрудников к правой и крайне правой политической чувствительности. Данное обстоятельство служит действенным аргументом равно против морального или организационного «восстановления СССР» в стенах Академии, и против ее дальнейшей «общеευропейской», а на деле более радикальной, чем в Европе, менеджериализации. Но он не отменя-

ет вопроса о том, какими способами участники академических обменов могут сегодня справляться с подобными издержками дерегуляции.

Избегая традиционного противопоставления послесоветских и западноевропейских примеров, можно найти ответ гораздо ближе. В этом отношении особенно ценным представляется опыт Центра визуальной культуры и ряда других инициатив на базе Киево-Могилянской Академии (КМА). Вместе с рядом малых реформистских институций, учрежденных после 1991 г. на послесоветском пространстве, они представляют собой интересное и обнадеживающее исключение из общего ряда. Созданная в начале 1990-х как национальный и даже националистический проект, кузница ученых, управленцев и политиков новой Украины, на исходе 2000-х годов КМА превращается в один из ключевых центров критической и левой рефлексии по мере плюрализации центров академической власти в ее стенах. Источник этой контртенденции заключается прежде всего в той роли, которую в управлении заведением и в создании его публичной повестки сыграли коллегиальные формы: центры, созданные молодыми преподавателями, действующие ученые советы, содержательный диалог между коллективами факультетов и администрацией заведения. Недавние события — политический запрет руководством КМА работы Центра визуальной культуры (2012), выстроенный по паритетному ассоциативному принципу, поставил эту модель под сомнение. При этом Центр продолжил свою автономную работу за стенами Академии, его сотрудники продолжили выпуск журнала «Политическая критика» (украинская версия), а ряд ассоциированных с Центром преподавателей сохранили свои должности в КМА. Подобная «неполнота» административного контроля над опасной интеллектуальной автономией, которая способна реактивировать политические основания дисциплины или междисциплинарных альянсов без внешней санкции, дает надежду. Даже при временном поражении прогрессистских позиций в межфракционной борьбе наличие институциональных процедур, через которые исход подобных коллизий может быть заново переопределен, составляет решающее преимущество коллегиальной модели власти. Консультации и решения, реализованные в горизонтально ориентированных связях, которые объединяют участников не простой формальной принадлежностью к институции,

а взаимным интеллектуальным признанием, способны заново учредить ту Академию, которая наиболее естественно осуществляет нерепрессивный интеллектуальный и политический самоконтроль. При всей своей исключительности, неизбежных трудностях и ограничениях локальные опыты, подобные Центру визуальной культуры, демонстрируют, что именно коллегиальные объединения — сообщества равных — работают как самая производительная²¹ контрвласть в отношении расистской и крайне правой чувствительности, равно как и прочих разновидностей агрессивного дилетантизма.

Безусловно, этот опыт историчен и, как показали недавние события, не является необратимым. В послесоветских контекстах подобная академическая практика всегда балансирует на хрупкой грани, где коллегиальным отношениям могут угрожать не только попытки авторитарного перезахвата, но и менеджериализация, т.е. превращение связей внутри институции из отношений между интеллектуальными коллегами, обладателями взаимно признанных научных свойств, в специфический тип производственных отношений, ориентированный на «эффективность»: сверхвысокие показатели публикаций, растущее число аудиторных часов, нагрузку, начитку и т.д. Вместе с тем коллегиальный опыт воспроизводим, он может быть подкреплен и усилен направленным конструированием паритетных связей и сознательным противодействием эффектам дерегуляции без ущемления академических свобод.

Предпринимая шаги в этом направлении, было бы опасно пренебрегать действительной академической и рыночной механикой производства расистской речи. Это, в частности, относится к нередкому объяснению расизма академических деятелей в терминах административного и политического заказа — заказа внешних инстанций Академии на то, чтобы интерпретировать мир в расовых и национальных, а, например, не в классовых или институциональных терминах. Полагаю, можно с основанием утверждать, что от государственных и большинства частных инстанций прямой заказ подобного рода исходит редко. И если иные академические деятели резко критикуют институции за излишнюю мягкость, терпимость, либерализм, республиканизм, предлагая взамен простые расистские или шовинистиче-

²¹ А не исключительно реактивно-протестная.

ские рецепты, и впоследствии эта критика оказывается каким-то образом интегрирована в государственную повестку, то это происходит не потому, что сегодня государство как централизованный аппарат размещает подобный заказ и затем пользуется его плодами. В подавляющем большинстве случаев можно наблюдать не более чем факт встречи на рынке публичного высказывания отдельных групп и фракций чиновников с отдельными группами и фракциями расистов, имеющих формальное отношение к Академии. Их проекции внутриинституционального опыта, простирающиеся от банальной ксенофобии до не менее банальных теорий заговора, приведенные в форму систематического высказывания, оказываются коммодифицируемыми и коммерциализуемыми.

Помимо того, следует принимать в расчет и то, что, несмотря на дерегуляцию пространства публичной речи, никакая форма расистской чувствительности не обладает сегодня внутренней научной легитимностью или привлекательностью. Это ведет нас к отказу от гипотезы силового генезиса расистской речи в современной Академии. Расистское высказывание, которое содержательно ассоциируется с режимом жесткости, иерархии и превосходства, на деле является всего лишь результатом *слабости научной саморегуляции* — повторяюсь, решающей слабости или отсутствия тех коллегиальных структур, ассоциативных форм самоуправления, и прежде всего действенных ученых советов, которые принимали бы решения по карьерным вопросам и по содержанию учебных и исследовательских программ и которые единственные способны эффективно (нерепрессивно) регулировать оборот публичной академической речи, препятствуя интеграции в нее расистского высказывания.

Эти два обстоятельства ведут к одному важному политическому выводу. Нужно всегда помнить о том, что легитимность академических расистов на рынке публичной речи, по-прежнему находящимся под сильным воздействием дерегуляции, на деле очень хрупка и зависима от легитимности, которую им сообщает формальная принадлежность к институциям. Порой достаточно открытого осуждения от лица Академии, чтобы спугнутая политическая клиентура на время прекратила доступ академическим расистам к экспертной и публичной сцене. В практике инициативных коллегиально устроенных научных центров подобная критика почти неустраима, что ведет — как можно

наблюдать в западноевропейской Академии — к утверждению антирасистского академического консенсуса. В этом смысле публичная сила и авторитет антирасистской критики напрямую определяются силой и действенностью коллегиальных связей. В то время как даже наиболее обоснованному и убедительному анализу расистской речи, проводимому изолированными критиками и не встроенному в коллегиальные механизмы академической саморегуляции, почти наверняка уготована судьба узкой специализации.

Как может формулироваться организационная задача академической саморегуляции? Ряд исследований расистской чувствительности, в том числе академической, заканчивается призывами, которые ставят своей целью усовестить носителей расистской речи или заключить с ними моральный пакт, обращаясь к ним как к равным собеседникам. Полагаю, подобная тактика глубоко ошибочна — не потому, что моральный торг в принципе невозможен и «с этими людьми не о чем говорить», а потому, что моральный взгляд на расизм, попытки его увещевания и заговаривания по-прежнему наследуют логике дерегуляции 1990-х годов. В ее рамках все обладатели для начала признаются равноправными членами институций, обладателями ученых степеней, формальными коллегами, что делает их легитимными участниками академической коммуникации, и лишь затем им грозят моральными санкциями.

Полагаю, сегодня ответ на расистскую речь, равно как и на весь паноптикум не легитимных с научной точки фантазмов, публично воспроизводимых от имени науки и университета, должен быть более современным, т.е. исключительно политическим. Действенная практика ограничения агрессивного дилетантизма вкупе с любого рода крайне правой чувствительностью в ее публичном выражении может лежать только в русле создания политической организации в стенах Академии, которая в ходе своей производящей активности напрямую занималась бы делегитимацией обладателей расистской чувствительности как ученых и преподавателей. И только в том случае, когда разговор перестает вестись на равных, когда расисты политически исключены из научных институций и из университета, когда кухонные мыслители загнаны обратно на свои кухни, можно начинать обсуждение принципов новой социальной науки.

Bikbov, A.

The Grammar of Order: A Historical Sociology of the Concepts That Change Our Reality [Text] / A. Bikbov; National Research University Higher School of Economics. — Moscow: HSE Publishing House, 2014. — 432 p. — (Social Theory). — 1000 copies. — ISBN 978-5-7598-1001-8 (hardcover).

The nature of Russia's political and social system sparks animated debates among scholars and experts, while the Soviet past remains a matter of equally passionate research and discussions. Sociologist Alexander Bikbov has made an original contribution to these debates with this new book. In this fundamental study of Russian and Soviet societies, Bikbov has based his research on a pioneering method, the historical sociology of concepts. Analysis of large-scale social change is articulated here with a meticulous study of the conceptual apparatus that provides different historical periods with their public vocabulary.

The book thus provides a new and a more profound view of Russian society over the last twenty years, including the transformations of its public sphere, its political and academic structures, and struggles around the concepts of middle class, democracy, Russian science, and the Russian nation. The book likewise introduces a revolutionary approach to the Soviet period, reconstructing the hidden social and political dimensions of such concepts as scientific progress, the well-rounded individual, socialist humanism, and the social problem. Special attention has been paid to the role of academic expertise in investing the political regime with meaning, a matter rarely addressed in historical studies of the Soviet era.

Chronologically, the book spans the period from the social upheavals of the late nineteenth century to the 2011–2012 protest movement. A look at the similarities and differences in Russian and international (primarily French) social history gives the study particular vividness and depth.

With its theoretical ingenuity, innovative research techniques, clarity, and brilliant systematization of extensive factual material, the book will be of great interest to historians, sociologists, political scientists, social linguists, philosophers, and students of Russian society, as well as the wider public of educated and critically thinking readers.

CONTENTS

I. The Structure of the Project: A "Middle Class" for a "Democracy"

II. The Russian "Middle Class": The Energy of Rupture and Dissipation

III. The Function of "Humanism" in Official Soviet Rhetoric

IV. The Bourgeois "Personality" in the Realm of "Mature Socialism"

V. The Birth of the "Scientific Progress" State

VI. "Science" without "Progress": The Post-Soviet History of the Concept

VII. Russian Sociology: Conceptual Genesis and Continuity

VIII. A Non-Collegial Discipline: Towards a Political Micro-History of Russian Sociology

Epilogue. Academic Deregulation: A Final Reckoning

Научное издание
Серия «Социальная теория»

АЛЕКСАНДР БИКБОВ

ГРАММАТИКА ПОРЯДКА:
ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
ПОНЯТИЙ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ
НАШУ РЕАЛЬНОСТЬ

Главный редактор
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Заведующая книжной редакцией
ЕЛЕНА БЕРЕЖНОВА

Редактор
МАРИНА КОВАЛЕВА

Художник
СЕРГЕЙ ЗИНОВЬЕВ

Компьютерная верстка
ОЛЬГА БЫСТРОВА

Корректор
ЕЛЕНА АНДРЕЕВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
Тел./факс: (499) 611-15-52

Подписано в печать 13.05.2014. Формат 60х90/16. Гарнитура Minion Pro
Усл. печ. л. 27,0. Уч.-изд. л. 23,9. Тираж 1000 экз.
Изд. № 1620. Заказ № 2454.

Отпечатано способом ролевой струйной печати
в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область,
г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru,
т/ф. 8(496)726-54-10

ISBN 978-5-7598-1001



9 785759 810019